БЕНКЕНДОРФ

Дмитрий Дюжиков

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

OZON.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Александр Христофорович Бенкендорф слишком долго играл роль антигероя отечественной истории. Историки и литературоведы, писатели и сценаристы наделяли его всевозможными отрицательными чертами. Это неудивительно — за полтора века не было написано ни одной заслуживающей внимания биографии Бенкендорфа, а значительная часть его мемуаров заросла архивной пылью. Георгиевский кавалер, разведчик и партизан, боевой генерал, герой войны 1812 года, освободитель Голландии от наполеоновского господства, член Государственного совета и Комитета министров, Бенкендорф попытался создать государственный механизм борьбы с коррупцией и казнокрадством. Он был личным другом таких несхожих деятелей, как император Николай I и декабрист Сергей Волконский; ходатайствовал за Пушкина, Лермонтова и Гоголя; увёл любовницу у Наполеона и пережил трагический роман с той, которой посвящено тютчевское «Я встретил вас».

Книга историка Дмитрия Олейникова рассказывает о том, как жил, воевал, путешествовал, любил граф Бенкендорф.

- Дмитрий Олейников
  - Глава первая
    - Родители
    - «На заре туманной юности»
  - Глава вторая
    - К землям полунощным…
    - К землям полуденным…
    - Война за войной
    - Парижский роман
    - Орден Георгия и «когорта добромыслящих»
  - Глава третья
    - Герой, партизан Бенкендорф
    - Kozakkendag
    - «Драгун из Гадяча»
    - В гвардии
    - Сердитая стихия
  - Глава четвёртая
    - «Гвардия победила гвардию»
    - Следователь
    - Создание высшей полиции
    - Теория и практика
    - Пушкинисты, опустите ваши пушки…

- Глава пятая
  - Бок о бок с императором
  - Шлосс Фалль
  - «Не забуду и не заменю…»
- Основные даты жизни
- Литература

- notes
  - 1

Дмитрий Олейников
Бенкендорф

Глава первая
СЕМЬЯ

Родители

Отставной генерал от инфантерии Христофор Иванович Бенкендорф мог бы рассказать немало забавных историй о собственной забывчивости — если бы он их помнил.

Из-за этой забывчивости он и попал в число «замечательных чудаков и оригиналов» под обложку знаменитой книги Михаила Пыляева1[1]. Велика сила печатного слова! Генерал стал всего лишь одним из забавных «екатерининских стариков», а его личная история рассыпалась на пригоршню занимательных «анекдотов»…

«Однажды Христофор Бенкендорф был у кого-то на бале. Бал довольно поздно окончился, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор шёл плохо: тому и другому хотелось отдохнуть. Хозяин, видя, что гость его не уезжает, предложил пройти в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, ответил: „Пожалуй, пойдём“. В кабинете им не легче. Бенкендорф, по своему положению в обществе, пользовался большим уважением, и хозяин не мог объявить напрямик, что пора бы гостю ехать домой. Прошло ещё некоторое время; наконец хозяин решился: „Может быть, экипаж ваш ещё не приехал, не прикажете ли, я велю заложить вам свою карету“. — „Как вашу карету? Да я хотел предложить вам свою!“ Дело объяснилось тем, что Бенкендорф вообразил, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся».

Конечно, это уже Христофор Бенкендорф в отставке. Но ведь «екатерининские старики» были во времена оны и «екатерининскими орлами»!

Родившийся в 1749 году (стало быть, ровесник Гёте и Радищева), Христофор Бенкендорф поступил на службу ещё при Елизавете Петровне — точнее, как тогда было принято, был записан в полк и сразу получил увольнительный паспорт до окончания наук. Начав «действительную службу» в звании подпоручика, он стал участником того заключительного периода Семилетней войны, когда взошедший на трон Пётр III повелел русской армии выступить в союзе с прежним неприятелем, Пруссией.

Настоящее боевое крещение Христофора Ивановича произошло в Русско-турецкую войну 1768–1774 годов, когда он сначала воевал под Перекопом и в Крыму под начальством генерала М. В. Берга, а потом в составе армии П. А. Румянцева преследовал турок и убегал от чумы. Осенью 1770 года Бенкендорф-старший был направлен на Дунайский театр военных

действий в распоряжение знаменитого в то время генерала Ф. В. Боура (Бауэра). Глубокий знаток екатерининской армии граф Ланжерон пишет: «Его противники и сторонники… утверждают, что этот искусный и знающий офицер, бывший… генерал-квартирмейстером, доставил известность фельдмаршалу (Румянцеву. — Д. О.). Действительно, кампания 1770 года, которою руководил Бауер, была самая прекрасная и самая искусная во всю эту войну; она была образцом величайшей тактики и рассчитанной и обдуманной смелости»2.

За Дунаем, в сражении под Бухарестом, Бенкендорф добыл чин премьер-майора (24 ноября 1770 года). Жильбер Ромм, пристальный наблюдатель русской придворной жизни того времени, отметил, что тогда для дворянина это был обычный способ подняться по лестнице Табели о рангах: «Люди со связями идут в гвардию или поступают в адъютанты к какому-нибудь генералу и остаются на этом месте, пока не получат чин майора»3.

Последовавшее затем назначение Христофора Ивановича на должность обер-квартирмейстера (15 марта 1772 года) стало признанием его профессиональных заслуг. Генерал Боур взял его в заново созданный Генеральный штаб, куда отбирали опытных, исполнительных и преданных офицеров. «Он наводнил Генеральный штаб немецкими офицерами, и в числе их было несколько превосходных. В свое время этот корпус был вполне способен бороться против офицеров Генерального штаба других европейских держав», — сообщает Ланжерон4.

Однако наступило мирное время, и хотя считалось, что Генеральный штаб предоставляет молодым людям удобную и необременительную «возможность получать чины»5, карьера Христофора Бенкендорфа затормозилась. Положение усугубилось в 1775 году, когда скончался его отец, Иван Иванович, генерал-лейтенант и ревельский обер-комендант, известный своей распорядительностью и прославленный храбростью на полях сражений Семилетней войны.

В том же 1775 году и произошёл поворот сюжета, повлиявший на будущность рода Бенкендорфов. Мать Христофора и вдова Ивана Ивановича, София Елизавета, урождённая Левенштерн, вскоре была призвана Екатериной II ко двору «в знак уважения к заслугам её мужа» — в качестве няньки новорождённого великого князя Александра Павловича. София Бенкендорф оказалась как бы посредницей между двумя дворами: «большим» екатерининским и «малым» павловским. По-видимому, она и сыграла решающую роль в переходе её сына от квартирмейстерских забот к придворной жизни. Это произошло в

1778 году, когда Христофор попал в окружение Павла Петровича. Как писал знавший высший свет князь Вяземский, «Бенкендорф постоянно пользовался особенным благоволением и, можно сказать, приязнью Павла Петровича и Марии Фёдоровны, что не всегда бывает при дворе одновременно и совместно: равновесие — дело трудное в жизни, а в придворной тем паче».

Уже через год Христофор стал довольно близким Павлу и Марии человеком: ему давали весьма деликатные поручения, командировали в Европу то с крупной суммой денег для матери Марии Фёдоровны, то с очень важным письмом, содержавшим секреты частной жизни Вюртембергского семейства (один из советников отца великой княгини, некто Гонси, оказался интриганом, и она добилась удаления его из Монбельяра, предложив на выбор — получить солидную пенсию от Павла Петровича или «подвергнуться гневу»6).

Эта поездка 1779 года и последовавшие за ней события связали Христофора Бенкендорфа с семьёй Павла Петровича ещё крепче.

* * *

Если нужно отыскать в истории пример долгой и преданной женской дружбы, стоит обратиться к взаимоотношениям Марии Фёдоровны, жены великого князя Павла Петровича, и Анны Бенкендорф. «Моя мать, — напишет в мемуарах А. Х. Бенкендорф, — была самым близким (/e plus intime) другом… великой княгини Марии»7. Это была дружба на всю жизнь, от детства и до смерти. Началась она ещё в Пруссии, тогда, когда одну из них звали София Доротея Августа Луиза Вюртембергская, а другую — Анна Юлиана Шиллинг фон Канштадт. Отец Софии Доротеи, будущий «августейший дед императоров российских» Фридрих Евгений, служил тогда своему дяде, прусскому королю Фридриху Великому.

Любитель тайн великосветской жизни не преминул бы указать на робкий намёк биографа Марии Фёдоровны Е. С. Шумигорского на возможное родство двух девочек. Намёк этот спрятан в сноску к обстоятельной биографии императрицы, где упоминается, что Анна Юлиана «считалась как бы членом семейства» принца Вюртембергского, и указывается, что в одном из сохранившихся личных писем 1791 года она обратилась к Фридриху Евгению топ adorable papa — «мой обожаемый папенька»8.

Но догадка о том, что София и Анна были единокровными

сёстрами, пока так и остается только догадкой. Как бы то ни было, отношения между двумя девочками, потом девушками, затем дамами всегда оставались по-родственному близкими и доверительными. Да и к детям своей подруги императрица Мария Фёдоровна всегда проявляла особое внимание.

Летом 1769 года, когда из тумана истории появляется карета с семейством Фридриха Евгения, главы младшей ветви Вюртембергского герцогского дома, мы уже видим двух неразлучных подруг — десятилетних Софию Доротею и её верную «Тилли».

В тот год Христофор Бенкендорф отправился на турецкую войну, а Фридрих Евгений вступил в управление южной окраиной герцогства, бывшим независимым графством Монбельяр.

Монбельяр, последние 200 лет принадлежащий Франции, в наше время больше всего знаменит автомобилями «пежо», на чью эмблему помещён лев с городского герба. В XVIII веке это был небольшой город, расположившийся по течению реки Дуба, в живописной местности между отрогами горного массива Вогезов.

Любимой резиденцией новых правителей Монбельяра был летний дворец, выстроенный близ деревни Этюп. Он представлял собой элегантный двухэтажный дом с крыльямифлигелями; со статуями во дворе, ограждённом изящной решёткой. Вокруг простирались огромные роскошные сады с характерными для европейских парков архитектурными «изюминками» вроде «храма Флоры», «дома молочницы», «хижины пустынника», с многочисленными беседками в обрамлении роз, жасмина и жимолости. Идиллическая жизнь осталась в памяти подруг как самое светлое и беззаботное время. Принцесса-мать воспитывала девочек в духе только что распространившихся педагогических идей Руссо. Они увлекались садоводством, из любопытства забегали на ферму, играли на лужайках парка в мяч и «в шары». По вечерам семейный круг собирался для общего чтения и бесед.

В 1776 году шестнадцатилетнюю Софию Доротею отправили в дальнюю дорогу — ей предстояло стать женой русского наследника Павла Петровича. В слезах прощалась она с родным домом, с беззаботным отрочеством, с лучшими подругами. Инструкция от имени будущего мужа прямо запрещала ей иметь близких друзей: «Что касается тех лиц, которые будут допущены в её интимный круг, то… не думаю, чтобы принцесса сама особенно пожелала, чтобы при ней постоянно находились посторонние лица. Кроме того, я должен предупредить её, что всякий интимный кружок, составленный из иных лиц, нежели те, которые так или иначе должны составлять его по своему служебному положению, становится подозрительным в глазах

публики и даёт повод к пересудам, как бы ни была невинна его цель, тем более что всякая личность, входящая в интимный круг, считается допущенной в него предпочтительно перед другими, а это возбуждает, само собою разумеется, зависть и, следовательно, даёт повод к неудовольствию, чего, как я уже сказал выше, принцесса должна всячески избегать»9.

В далёкой России София не могла забыть родных мест. Выполнив государственный долг — осчастливив империю Александром и Константином, двумя продолжателями династии, — она обратилась к обустройству собственной жизни. Знаменитый ныне Павловск, презент Екатерины II за «многообещающий подарок, сделанный России»10, то есть за внуков, создавался Марией Фёдоровной именно как воспоминание о Монбельяре. Здесь один за другим стали появляться знакомые с детства «хижина отшельника», «китайская беседка», «домик молочницы», «руина», а позже и деревня Этюп.

Следующим решительным шагом Марии Фёдоровны стало воссоединение с милой «Тилли». Был найден ловкий обход запретительной инструкции супруга: приезд давней монбельярской подруги оказывался возможным при условии, что она выйдет замуж за российского подданного, причём обязательно приближённого «малого двора». В поле зрения великой княгини оказался преданный, проверенный и, главное, холостой подполковник Христофор Иванович Бенкендорф. «Смотрины» могли состояться во время упоминавшейся командировки Бенкендорфа в Монбельяр в 1779 году.

В следующем году между Анной и Христофором уже ведётся переписка как между женихом и невестой. К одному из писем «Тилли» к жениху Мария Фёдоровна приписала собственной рукой: «Я обещаю своей милой Тилли и её достойному Бенкендорфу пожизненный пенсион в 500 рублей. Великий князь согласен со мной»11. На дорогу от Монбельяра до Петербурга «девице Анне Юлиане Шиллинг фон Канштадт» было отправлено две тысячи рублей, и в 1781 году мы встречаем её в России как Анну Бенкендорф.

* * *

Свадебное путешествие Анны и Христофора Бенкендорф оказалось совершенно необычным. Когда осенью 1781 года Мария Фёдоровна и Павел Петрович отправились в неофициальное путешествие по Европе — под скромными, но не вводившими никого в заблуждение псевдонимами «граф и графиня Дю Нор

(Северные)», — супруги Бенкендорф вошли в немногочисленный круг сопровождавшей их свиты.

Ноябрь в Вене, мягкая зима в Италии, благоухающий май в Париже и Версале… Обгоняя кортеж путешественников, от одного европейского правящего двора к другому летели письма с отзывами о наследнике русского трона. В этих сообщениях нам интересны характеристики окружения Павла, в котором Бенкендорфы занимают одно из ведущих мест. Австрийский император Иосиф, у которого «Северные» прогостили полтора месяца, сообщал своему брату, тосканскому герцогу Леопольду: «…Госпожа Бенкендорф, доверенное лицо великой княгини, преимущественно сопровождает её повсюду, и к ней следует обращаться за советом во всех случаях, когда нужно сделать что-либо угодное великой княгине. Бенкендорф — женщина редких достоинств и вполне заслужила внимание, которое их высочества ей оказывают: она его чувствует и никогда им не злоупотребляет… Все подробности по путешествию и производство расходов возложены на полковника Бенкендорфа, очень разумного молодого человека»12. Письмо это тем ценнее, что носит частный характер: Иосиф делился с братом опытом приёма столь высоких особ, и его характеристики даны в строго деловом стиле, без ненужных дипломатических реверансов и украшений. Письмо дополняют записки австрийской графини Хотек, сопровождавшей семейство Дю Нор по Европе: сблизившись с Марией Фёдоровной, графиня отметила, что та не жаловала свою свиту и «всегда хотела быть с одной г-жой Бенкендорф»13.

В Версале Марию и Анну запросто, «нарушая условия этикета», приглашала на семейные дворцовые вечера Мария Антуанетта. В один из таких вечеров, когда у «Тилли» случилась сильная головная боль, французская королева прислала ей чашку шоколаду с просьбой сохранить на память. Эта изящная чашка севрского фарфора — жёлтое плетение с цветами по тёмно-зелёному фону — стала на многие десятилетия семейной реликвией Бенкендорфов.

Затем пути графов Северных и Анны Бенкендорф разошлись — по уважительной причине.

Павел и Мария отправились в Голландию, а Анна поехала к родным, в Монбельяр14. Там, в знакомой обстановке, среди предупредительного окружения, 23 июня 1782 года она родила мальчика — нашего героя, Александра Христофоровича Бенкендорфа.

Имя ему было дано в честь первенца Марии Фёдоровны, будущего императора Александра I. Эта дань уважения станет у

четы Бенкендорфов традицией: второго сына они назовут Константином. Дочерям будут даны имена венценосной подруги: старшей — русское, Мария, младшей — немецкое, Доротея.

Через пять дней после рождения сына Христофор Бенкендорф был произведён в вожделенный чин: он стал полковником Нарвского пехотного полка. Награда была довольно высока. «Чин этот составляет предмет честолюбия всякого русского офицера, который надеется дослужиться до него, и он один привязывает его к службе», — замечал знающий граф Ланжерон15. Реальный годовой доход командира пехотного полка в екатерининское время мог достигать десяти тысяч рублей.

Летом 1782 года полковник Бенкендорф последовал за «Северными» обратно в Россию (граф и графиня прожили в Монбельяре лишь один летний месяц). А 23-летняя полковничиха решила пропустить долгую русскую зиму и только в 1783 году вместе с сыном вернулась в Павловск.

Все восьмидесятые годы Бенкендорфы были практически неразлучны с Павлом Петровичем и Марией Фёдоровной. Они делили их радостные и трагические переживания. Когда в конце 1786 года несчастья брата Марии Фёдоровны, принца Фридриха Вюртембергского (тот был выслан из Петербурга по обвинению в шпионаже в пользу Швеции), «обременили её ужасной печалью» и даже довели до болезни16, она затворилась в покоях Зимнего дворца и допускала до себя почти исключительно одну «госпожу Бенкендорфшу», способную понять и облегчить её переживания — и при этом сохранить их в секрете. Позже, в 1790 году, увещевать Фридриха, снова попавшего в неловкое положение, отправляется Христофор Бенкендорф, «о котором их высочества думают, что сей преподаст принцу лучшие советы, нежели определённый к принцу Будберг, на которого всю вину относительно принцева поведения возлагают»17.

Анна выполняла многие частные поручения Марии Фёдоровны, требовавшие иногда определённой смелости. Так, например, «Тилли» доставила записку великой княгини и передала слова ободрения двадцатилетней фрейлине Головиной, у которой неудачные роды осложнились тяжелейшей формой кори18.

Мария Фёдоровна с восторгом отзывалась о своей наперснице: «Она всегда остаётся добрым и терпимым другом, честной, достойной женщиной, прекрасной, обаятельной, чувственной, дружелюбной и немного забавной…»19 Слегка ироничное отношение к подруге, даме довольно крупной (даже по меркам эпохи, когда пышность тела считалась нормой), видно и в описании досуга великой княгини: «После обеда проводим время

в чтении, а вечером я играю в шахматы… восемь или десять партий кряду. Бенкендорф и Лафермьер сидят возле моего стола, а Нелидова… за другим… Когда пробьёт восемь часов, Лафермьер, с шляпой в руке, приглашает меня на прогулку. Мы втроём или вчетвером… делаем сто кругов по комнате; при каждом круге Лафермьер выбрасывает зерно из своей шляпы и каждую их дюжину возвещает обществу громким голосом. Иногда, чтобы оживить нашу забаву и сделать её более разнообразной, я и Бенкендорф пробуем бегать на перебежку. Окончив означенные сто кругов, Бенкендорф падает на первый попавшийся стул при общем смехе»20.

…Но эта Нелидова, «сидящая за другим столиком»! Фаворитка Павла, смолянка, увековеченная на портрете Левицкого. «По наружности она представляла полную противоположность с великою княгинею, которая была белокура, высокого роста, склонна к полноте и очень близорука. Нелидова же была маленькая, смуглая, с тёмными волосами, блестящими чёрными глазами и лицом, полным выразительности. Она танцевала с необыкновенным изяществом и живостью, а разговор её, при совершенной скромности, отличался изумительным остроумием и блеском», — вспоминал знаток придворных тонкостей Н. А. Саблуков21. Ему вторит фрейлина Варвара Головина: «Нелидова была небольшого роста, некрасива: с тёмным цветом лица, с маленькими узкими глазками, широким ртом и с длинной талией на коротких ножках. Всё это, вместе взятое, не представляло очень привлекательной внешности, но у неё было много ума и талантов, между прочим, сценический. Великий князь Павел, долго смеявшийся над ней, влюбился в неё, увидев в роли Зины в „Сумасшествии от любви“»22.

Павел разрывался между этими женщинами. Уезжая в 1788 году на театр военных действий против Швеции, он оставил каждой по трогательной записке: Марии Фёдоровне — в память о прошлом: «Пока я жив, я не забуду того, чем обязан вам»; Е. И. Нелидовой — в напоминание о настоящем: «Знайте, что, умирая, я буду думать о вас».

При «малом дворе» развернулась борьба «партий»: за влияние на наследника престола всерьёз схватились приверженцы Марии Фёдоровны и сторонники Нелидовой. Одной из жертв этой борьбы кланов стала Анна Бенкендорф. Её выставили в глазах Павла представительницей тех, что «владеют Марией Фёдоровной, которая их слушается»23, а стало быть, влияют и на самого Павла, который «слушается» жены. Самолюбие цесаревича было задето, он решил доказать Марии Фёдоровне, что она никакого влияния на него иметь не может, а, напротив, он сам

волен распоряжаться и собой, и супругой. Доказательством стало отлучение от «малого двора» самых близких и преданных великой княгине людей, за которых она, несомненно, заступалась, но тщетно — Павел лишь получал удовлетворение от созерцания собственной твёрдости и непреклонности.

В ноябре 1791 года «Бенкендорфша» уехала в Дерпт, к родственникам мужа, ждать, когда Христофор вернется с турецкой войны.

Затем, «чтобы избежать последствий высочайшей немилости», семейство отправилось к родителям Марии Фёдоровны в Германию, в Байрейт. Более чем на год «великая княгиня была оставлена, пренебрежена и унижена всеми льстецами и угодниками»24, но потом мир в семье наследника престола восстановился. Бенкендорф вернулся — но только не в Петербург, а в Ригу, в качестве командира кавалерийской бригады.

Воцарение Павла Петровича 6 ноября 1796 года неожиданным образом привело к окончательному примирению Марии Фёдоровны и Екатерины Нелидовой. Биограф Павла Н. Шильдер объясняет это желанием обеих женщин «обере-гать государя от последствий присущих ему неразумных увлечений и необдуманных распоряжений»25. Одним из результатов произошедшего примирения было возвращение Анны Бенкендорф: она стала вновь ежедневно бывать в Зимнем дворце26. К тому же 12 ноября Павел I произвёл Христофора Ивановича в генерал-лейтенанты и назначил его, как «своего», на должность рижского военного губернатора.

Увы, радость от воссоединения подруг была недолгой: зимой 1796/97 года Анна Бенкендорф заболела настолько серьёзно, что не смогла сопровождать Марию Фёдоровну на коронационные торжества в Москве. В феврале, в день отъезда двора, подруги попрощались — как оказалось, навсегда.

Уже в Москве, в Петровском замке, в канун коронации «государыня получила извещение о смерти любимой подруги, г-жи Бенкендорф. Она оплакивала её целые сутки»27. Весь день Мария Фёдоровна провела в уединении и никого не хотела видеть. 27 марта, в Вербное воскресенье, двор готовился к торжественному въезду императора в Москву, и только императрица Мария больше всего беспокоилась о судьбе осиротевших детей своей лучшей подруги. Вот отрывок из написанного ею в тот день письма начальницам Смольного института: «Я только что получила печальное известие о кончине г-жи Бенкендорф. Несмотря на мою грусть по поводу этой утраты, моя первая забота была об её семье. Из двух дочерей, оставленных ею, одной едва минуло двенадцать, а другой

одиннадцать лет. Мне кажется, я поступлю лучше всего, поместив их в Смольный; вашим материнским попечениям, г-жа Пальменбах, я препоручаю их в особенности. Итак, прошу вас сделать распоряжение, чтобы для них была приготовлена предварительно и притом немедленно хорошая комната, где они могли бы поместиться с их гувернанткой… Я желаю, чтобы мои две юные питомицы обедали за вашим столом, моя дорогая г-жа Лафон, и чтобы их гувернантка, с своей стороны, пользовалась таким же хорошим содержанием, как и классные дамы. Как только обе девочки, которые утешатся, может быть, только по прошествии некоторого времени, будут в состоянии принимать участие в уроках, я желаю, чтобы они присутствовали в классах, на уроках музыки, рисованья, истории и т. п…Я желаю, чтобы эти две девочки находились, таким образом, на моём иждивении, до моего возвращения; после чего я сделаю, может быть, иные распоряжения, поместив их окончательно пансионерками в классы и отпустив их воспитательницу… Убедительно поручаю вам моих двух бедных сирот, в которых я принимаю участие столь же горячее, сколь горяча была моя дружба к их покойной, превосходной матери. Прощайте, я уверена, что вы разделите моё горе; мой привет нашему дорогому Смольному. Мария»28.

Авторитет императрицы в деле воспитания молодых Бенкендорфов был подкреплён материальным фактором. Вскоре Мария Фёдоровна поместила в кассу Воспитательного дома довольно значительные суммы на содержание каждого из четверых детей своей компаньонки. Каждый год им выплачивалось по пять процентов с этой суммы, что было одновременно материальным обеспечением и педагогическим инструментом: в любой момент Мария Фёдоровна могла лишить подопечных части капитала.

Дети жили в столице, а Христофор Бенкендорф губернаторствовал в Риге. В 1798 году он получил чин полного генерала. Однако, как часто случалось в то короткое царствование, монаршая милость неожиданно сменилась монаршим гневом. А. Х. Бенкендорф вспоминал: «Мой отец потерял свою должность и фавор у императора только из-за рапорта о том, что кто-то видел на улицах Риги круглые шляпы!»29 Формально Христофор Иванович был «уволен по болезни от службы с ношением мундира и с пенсионом полного по его чину жалования» 13 сентября 1799 года30, после чего окончательно поселился в Прибалтике. Впрочем, «на прощание» Павел заметно расширил основу дальнейшего материального благополучия рода Бенкендорфов: Христофор Иванович получил во владение большую часть Сосновки, крупного процветающего

села в Моршанском уезде Тамбовской губернии.

Отец покинул службу «близ царя, близ чести», но успел передать эстафету сыновьям. Он приблизил их ко двору, заботу о них взяла Мария Фёдоровна, — дальше всё зависело от них самих. А отставной генерал ушёл из нашего повествования в частную жизнь и анекдоты о «чудаках и оригиналах»…

«На заре туманной юности»

Детская жизнь Александра Бенкендорфа поначалу связана с Павловском, одной из резиденций полуопального «малого двора» цесаревича Павла. В семейных преданиях сохранились воспоминания о том, что старший сын Анны и Христофора Бенкендорф был любимцем царской семьи с ранних лет. Кроме того, Саша был пажом Елизаветы Алексеевны, супруги великого князя Александра Павловича. Потомки сберегли подарок будущей императрицы — табакерку с её портретом и надписью «Моему амурчику»31.

В те времена в домах большого света личная забота родителей о воспитании детей не была в моде. Проявить родительскую заботу значило тогда выписать из Парижа гувернанта по рекомендации, а чуть позже — отдать ребёнка в частный пансион. Как вспоминал почти ровесник Бенкендорфа, Федор Толстой, «эти почтенные родители… видели своих детей только по утрам, когда гувернёры и гувернантки приводили их к родителям сказать „бонжур“, а ввечеру — „бон нюи“, и пробыв с полчаса, уводились гувернёрами и гувернантками в их половины. Модным и знатным людям во весь день не только следить за воспитанием детей, но и вспомнить об них было некогда… Папенькам приходилось тратить время по утрам, если не по обязанностям службы, то по обязанностям затеянных ими интриг, а остальное время — за завтраками и обедами, вечером — за театрами, любоваться хорошенькими актрисами и танцорками, а более всего — за карточными столами у приятелей и в клубах»32.

Тем не менее павловское время было эпохой придворных увеселений — праздников, балов, маскарадов, и дети тоже принимали в них участие.

Увы, в конце 1791 года удаление Бенкендорфов от «малого двора» разрушило идиллическую картинку придворного детства. В далеком от России Байрейте одиннадцатилетнего Александра поместили в пансион, и ему пришлось испытать на себе все неприятные последствия придворно-домашнего образования. Немецкие сверстники юного Бенкендорфа оказались намного лучше подготовлены, и он должен был отыскивать свой путь для столь важного в этом возрасте самоутверждения. Любопытно, что, по воспоминаниям самого Бенкендорфа, среди «маленьких немцев» он чувствовал себя русским. Он заставил уважать и себя, и «имя своей нации» не столько достижениями на учебном поприще, сколько участием в потасовках между мальчишескими «армиями», регулярно, по субботам, вступавшими в сражения.

Вскоре Бенкендорф завоевал право возглавлять одну из «армий», и она даже стала называться «русской».

«Это было всё, что мне было нужно для того, чтобы уберечь свою честь от тех немногих успехов, которые я делал в учёбе, — вспоминал Бенкендорф. — Моя репутация стала ужасом для уличных проказников, которые каждый раз, когда представлялся случай, нападали на учеников нашего пансиона и были во множестве стычек биты молодёжью под моим командованием. Моё тело, покрытое шишками и ранами, являлось гарантией моих подвигов, а телесные наказания, которые я получал за эти акции, только воспаляли моё мужество и прибавляли мне силы. Апогеем моей славы стала дуэль с учеником из Эрлангена, против которого, в возрасте только тринадцати лет, я дрался на саблях. Все прусские офицеры гарнизона стали на мою сторону и много меня чествовали: на балу я получил щелчок и ответил пощёчиной. Три года происходили эти упражнения, которые укрепили мое здоровье и сформировали мой характер»33.

Баварский пансион сменился петербургским. После возвращения Бенкендорфов в Россию Мария Фёдоровна посодействовала помещению Александра и Константина в самое престижное и дорогое учебное заведение для высшей столичной знати.

Сам Бенкендорф вспоминал об этом так: «Поражённые моим невежеством родители отправили меня в Петербург в модный тогда пансион; им управлял аббат Николь. Этот пансион привлёк всю блестящую молодежь столицы. Мастерство уличных баталий, сила и смелость больше не были востребованы, следовало учиться, заниматься с усердием, а 9-летние мальчики делали это куда лучше меня. Чтобы настичь их, потребовалось три долгих зимних месяца»34.

Появление такого своеобразного учебного заведения, как пансион Николя, было следствием массовой эмиграции, вызванной событиями Великой французской революции. Если в прежние времена русская знать, желавшая дать своим чадам европейское (в их мнении наилучшее) образование, отправляла детей в Париж, то в начале 1790-х годов сам Париж — его дворянская элита, носители утончённой и возвышенной культуры «старого порядка», — оказался в России. Вместе с семействами французских аристократов приезжали и воспитатели; вследствие страстного желания петербургского света обучать своих наследников вместе с детьми эмигрантов система французского образования начала укореняться и на русской почве. Именно так случилось с аббатом Николем, первоначально — частным учителем в семье графа Мари Габриеля Флорана Опоста де

Шуазель-Гуфье.

Этот обласканный двором Екатерины II аристократ в «прежней жизни» был членом Французской академии и послом Людовика XVI в Османской империи. В России граф занял весьма высокое положение, соответствующее, по мнению императрицы, его культурному уровню. Шуазель-Гуфье стал директором Императорских библиотек, президентом Академии художеств и чуть было не возглавил ещё и Академию наук! Всё семейство Шуазеля-Гуфье было принято в великосветских салонах Петербурга, а вместе с ним — и воспитатель молодого графа аббат Николь, когда-то бывший иезуитом и усвоивший иезуитскую систему воспитания. Его педагогическая слава стараниями французской эмиграции выросла и распространилась неожиданно быстро. «Стремление почерпнуть просвещение у знаменитого французского педагога пробудилось в сердцах многих сынов православной России»35. Можно привести и несколько более позднее письмо «столь известного у нас за самого русского» графа Ростопчина к Николю: «Когда речь идёт о гербах или качестве вина, я охотно советуюсь с г.*** и г.***. Но когда дело касается воспитания, я обращаюсь к вам… Надеюсь, что я этим доказал вам, насколько я люблю моё дитя»36.

Шуазеля стали умолять, чтобы он позволил сыновьям виднейших российских семейств вместе с его детьми приобщаться к знаниям у «самого» Николя. А поскольку аристократический дом французского графа невозможно было обратить в учебное заведение, даже самое привилегированное, то появилась мысль открыть в Петербурге специальный французский институт или пансион, благо у Николя был опыт — во Франции он возглавлял престижный колледж Святой Варвары.

Пансион открылся в 1794 году. «Он (Николь. — Д. О.) нашёл в отличающемся хорошим воздухом квартале на берегу чудного канала Фонтанки дом, расположенный между двором и садом. Каждый из… учеников имеет свою особую комнату, за которой наблюдает воспитатель из окна, проделанного в занимаемых ими покоях и позволяющего видеть все двери пансионеров», — расхваливал своего соотечественника и единоверца аббат Жоржель, живший в Петербурге в 1799–1800 годах37. Первыми учениками Николя стали юные Юсуповы и Голицыны. В пансионеры к Николю стремились многие, но в год открытия заведения аббат согласился принять только шестерых воспитанников.

Шарль Доминик Николь был потрясён неожиданно представившейся возможностью реализовать свои педагогические воззрения. «Подумать только! — восклицал он в одном из

писем. — Проект, родившийся в аллеях Люксембургского сада, пересёкший Францию, Голландию, Германию, Италию, избегнувший столько бурь и невзгод, прибыл из Константинополя в Санкт-Петербург, чтобы осуществиться именно здесь!»38

Николь намеренно сделал свое заведение особо привилегированным. Цена за обучение в нём составляла неимоверную для того времени сумму в 1500 рублей в год (потом она только росла). Именно из-за непомерной платы Пушкины отказались от идеи поместить к Николю своего сына Александра.

Тем не менее, несмотря на чрезвычайно высокую плату, число пансионеров быстро выросло до 12, затем до 24, а в XIX веке достигало даже 33 человек. Знать считала это заведение необыкновенно престижным. Помимо Юсуповых и Голицыных здесь получили воспитание Орловы, Нарышкины, Гагарины, Меншиковы, Плещеевы, сыновья принца Вюртембергского, Гурьева, Кочубея, а также Волконские, Полторацкие, Дмитриевы, Потёмкины…

И Бенкендорфы.

Самое время отметить, что понятие «иезуитское воспитание» весьма далеко от расхожей трактовки «иезуитского» как чего-то жестокого, холодного и коварного. Как раз наоборот, для XVIII века система иезуитского воспитания считалась одной из наиболее продуманных и передовых. Её хвалили Вольтер и Монтескье, а в XIX столетии Шатобриан отзывался о ней в своих записках: «Образование никогда больше не поднималось так высоко… [Иезуиты] были особенно приятны для молодежи; их учтивые манеры устраняли из их уроков педантический тон, который отталкивает детей. Так как большую часть их учителей составляли писатели, известные в свете своим изысканным стилем, то молодые люди считали, что они находятся в знаменитой Академии»39. Один из воспитанников Николя, А. Сумароков, так описывал своего педагога: «Наружность аббата Николя была располагающая, речь мягкая, черты лица внушающие уважение, доброта неописанная, не слышно было, чтобы он крикнул на кого-нибудь… Словом сказать, он был нежным отцом и попечительной матерью… Он не был фанатиком и каждое воскресенье и праздник присутствовал при божественной литургии в нашей (православной. — Д. О.) церкви, а по окончании божественной литургии служил мессу для католиков…» Николь обладал изысканным слогом, однажды приятно поразившим Марию Фёдоровну. Великая княгиня посещала заведение аббата и сохранила к нему своё «неизменное расположение» и «благоволение», став императрицей. Она верила в педагогические способности Николя и доверила ему Александра

и Константина Бенкендорфов.

Мальчикам разрешали спать не более девяти часов, поднимали в шесть утра, приучали ежедневно принимать холодную ванну, кормили «простой» пищей без приправ и пряностей. Два капитана, флотский и драгунский, водили их в сад «заниматься различными телесными упражнениями с непокрытой головой». Много внимания уделялось религиозному воспитанию. Молитвы читались вслух, утром и вечером, до и после еды; пансионерам вменялось в правило по пятницам есть постное, регулярно ходить в церковь, говеть как минимум раз в год. Обязательным считалось писать письма родным по воскресеньям — и не менее двух часов в день, а также употреблять половину карманных денег на помощь бедным. Обучение и общение с учениками велось на французском языке, среди учебных предметов были французский и латинский языки, география, история, математика, «мораль», но, как вспоминал пансионер 1802–1806 годов С. Г. Волконский, «преподаваемая нам учебная система была весьма поверхностной и вовсе не энциклопедическая». Ф. Ф. Вигель, ещё один пансионер с довольно саркастическим взглядом на жизнь, добавлял: «…О высших науках никто не помышлял». Этот пробел припоминали Бенкендорфу всю жизнь. «При очень приятных формах, при чём-то рыцарском в тоне и словах и при довольно живом светском разговоре он имел лишь самое поверхностное образование», — вспоминал М. Корф. Но поверхностным, заметим, оно было по аристократическим меркам XIX века. К тому же передача знаний и воспитание — понятия различные, а как воспитатель Николь заслуживал только похвалы. Отзывы о качестве преподавания в пансионе никогда не переносились на самого аббата. Большинство выпускников согласились бы с мнением известного поэта Константина Батюшкова: «Дай Бог здоровья аббату, который изготовляет полезных людей для государства, он неусыпен, и метода его прекрасная… Я говорил с родственниками детей: все просвещённые и добрые люди относятся к нему с благодарностью»40.

Бенкендорф в мемуарах не стремился приукрасить свои успехи в пансионе. 15-летний подросток некоторое время пытался «прилагать усердие», но сосредоточился вовсе не на поглощении преподаваемых ему наук. Он признавался: «Мне и брату стали позволять по воскресеньям бывать в компании девушек, видеться с сестрами… вместо всех этих математик, грамматик и прочих предметов любовь заполонила мою голову». Вот почему «аббат Николь не особенно стремился удерживать повесу (gamement), который больше не занимался учёбой и дурно влиял на

остальную паству, вверенную его попечению»41. Едва Бенкендорфу исполнилось шестнадцать лет, что в то время считалось возрастом совершеннолетия, он поспешил поступить на военную службу. Иного начала взрослой жизни и карьеры для молодого дворянина в то время фактически не знали. Был и конкретный стимул, столь понятный для этого возраста: один из приятелей Александра, гвардеец, объяснял свои успехи в дамском обществе необыкновенной привлекательностью военной формы.

В 1798 году Александр Христофорович Бенкендорф был зачислен унтер-офицером в лейб-гвардии Семёновский полк.

Даже по сравнению с порядками иезуитского пансиона военная дисциплина павловского Петербурга поначалу слишком стесняла Бенкендорфа. К тому же невысокое унтер-офицерское положение его смущало, и он сперва не стремился к обществу сослуживцев. Вместо этого он отдался новому увлечению — черчению: нанял учителя и через некоторое время добился заметных успехов — смог начертить довольно выразительный план острова Мальта. План был настолько хорош, что его не стыдно было поднести в подарок самому Великому магистру Мальтийского ордена — Павлу I. Подношение пришлось весьма кстати — это было время увлечения императора всем, что имело отношение к романтическому и несчастному рыцарскому ордену. В результате повышенное внимание и благоволение государя материализовались в первое заметное продвижение по службе. С 31 декабря 1798 года Александр Христофорович Бенкендорф стал настоящим офицером — прапорщиком Семёновского полка и к тому же флигель-адъютантом императора Павла Петровича42.

Описание внешнего вида семёновского офицера павловских времен оставил Фёдор Петрович Толстой. Его взгляд профессионального художника отметил и передал детали новой униформы, оказавшейся столь же некрасивой, сколь и неудобной. Брат Толстого, офицер-семёновец, предстал однажды «в широком неуклюжем тёмно-зелёного цвета кафтане, …в белых суконных штанах и в чёрных суконных щиблетах выше колен, застёгнутых с боков часто маленькими медными пуговицами, в весьма некрасивой уродливой треугольной шляпе с огромною золотою петлицею, …а вверху петлицы, где в прежней гвардейской шляпе был красивый бант из белой атласной ленты о четырёх петлях с двумя концами, …вместо белого султана торчала неуклюжая небольшая серебряная кисть, воткнутая вверх концами, с двумя короткими пуклями, одна за другою на обоих висках; а сзади от самого затылка шла длинная коса, свитая чёрною лентою. Шпага на нём была надета не сбоку, как всегда я видел, а совсем сзади, и эфес… с серебряным темляком выглядывал из левой задней

фалды. Я не мог не расхохотаться над этим смешным костюмом. Сначала мне пришло в голову, что брат для смеху так нарядился, но это был форменный мундир гвардейского полка. Ещё больше я удивился, и насмешило меня, когда брат сверх этого широкого мундира стал надевать точно такой мундир. Я не мог понять, зачем это; мне растолковали, что первое его одеяние был мундир, а второе, называемое юберрок, был сюртук, надеваемый, когда была холодная погода. Брат шёл в этот день куда-то в караул; на руках у него были белые перчатки с большими раструбами, как у нонешних конных. В правой руке у него было оружие вроде старинного бердыша и называемое ешпантоном. Долго я не мог привыкнуть к этому одеянию и не смеяться при встрече с братом в мундире»43.

Но и такая форма гвардейского офицера служила ключом ко многим дамским сердцам. Прапорщик Бенкендорф, в полном соответствии с эпохой, начал создавать свой «дон-жуанский список». Он оставил в мемуарах заметки о своих метаниях между молодой и весёлой женой господина Бале и очаровательной актрисой Джулиани. Его увлечение женским полом — такое понятное в восемнадцать лет! — привело к череде бурных, хотя и поверхностных романов, вызывавших негодование Марии Фёдоровны.

* * *

Служба в лейб-гвардии и должность флигель-адъютанта приблизили молодого человека к трону. О доверии императорской семьи говорит тот факт, что в 1800 году Бенкендорф даже ездил «по высочайшему повелению» в МекленбургШверин с частными поручениями44, среди коих было извещение дружественных немецких правящих дворов о свадьбах великих княжон Александры и Елены45, состоявшихся почти одновременно в Гатчине*.

Седьмого октября 1799 года, не пробыв прапорщиком и года, Александр Христофорович стал подпоручиком, а через год с небольшим, 28 ноября 1800 года — поручиком. В этом продвижении, видимо, сыграл свою роль ещё один могущественный патрон Бенкендорфа при дворе, начальник Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-адъютант граф Христофор Ливен. Секрет его покровительства был прост: жена Ливена, Дарья Христофоровна, была младшей сестрой Александра и очень любила брата.

Находясь близ трона, Бенкендорф, по его признанию,

наблюдал жизнь Павла «со всеми его буйствами». Именно Бенкендорфу император поручил передать приказ губернатору Палену о восстановлении «на следующее же утро» на Першпективной улице некогда бывшей там аллеи. Курьёз заключался в том, что дело происходило зимой, и сама мысль пришла Павлу в голову во время традиционной послеобеденной прогулки в санях. Как ни был смущён Бенкендорф, он передал приказ «слово в слово», а обратно повёз бодрый рапорт губернатора о том, что приказ уже исполняется. В записках он вспоминает трагикомическую картину: тысячи рабочих убирали снег, кололи лёд, долбили мёрзлую землю и — среди зимы — сажали деревья, тысячами выдранные из окрестных садов46.

«Мы… с трудом верили во все бурные картины, которые чередовались с неимоверной быстротой, — передает Бенкендорф взгляд младшего офицерства на павловские перемены и перемены перемен. — Кто поверил бы, что этот всесильный правитель России, чьи победоносные армии маршировали по Италии, чьи флоты приводили в трепет великого визиря, с кем искал союза Бонапарт, заводил войну против круглых шляп, против сапог с отворотами, против жилетов?»47 В целом же Александр Христофорович входил в число тех, кто был недоволен императором и считал его политику террором. Он знал (о чём писал в воспоминаниях) о многочисленных жертвах, несправедливо сосланных в Сибирь по прихоти императора или вследствие интриг его приближённых. На гатчинских плац-парадах, вспоминал Бенкендорф, молодежь самого благородного происхождения трепетала при мысли о реальной возможности отправиться с плаца прямо в крепость или в ссылку. Казалось, что «трепещет» вся Россия, а Петербург переживает пору бедствий и осады.

Хороший знакомый Александра Христофоровича, 25-летний преображенец Сергей Марин, сыграл важную роль в перевороте 11 марта 1801 года. Сам Бенкендорф в событиях не участвовал, но принадлежал к многочисленному кругу сочувствующих. Ранняя весна 1801 года, одновременное начало нового века и нового царствования, совпала с ранней весной его жизни. Отсюда такое радостное и полное надежд восприятие правления молодого царя Александра, при котором страна перешла «от террора к счастью», когда «на улицах все поздравляли друг друга» и «вся Россия приветствовала своего нового императора с радостью и любовью».

Но есть в мемуарах Бенкендорфа одна сцена, которая показывает, что в его душе нашлось место не только ликованию: на следующий день после переворота он посетил Зимний дворец и был тронут переживаниями маленькой великой княжны Анны,

шестилетней дочери убитого императора. Девочка была потрясена всеобщим весельем, в рыданиях указывала в окна на праздничную иллюминацию города: «Посмотрите, как все радуются смерти моего отца»48…

И всё-таки: «Век новый, царь младой, прекрасный!»… Ожидание предстоящей коронации, назначенной на сентябрь 1801 года, казалось Бенкендорфу нескончаемой чередой праздников, маскарадов и фейерверков — возможно, оттого, что после долгих лет пансионных строгостей и павловской армейской муштры его охватило необыкновенное ощущение свободы. Он даже назвал тот период своей жизни «безумным летом» (fol ete). Центром встреч столичной великосветской молодежи стал великолепный дом Нарышкиных на Английской набережной. Он привлекал весельем и достойным обществом, собиравшимся вокруг прекрасной молодой супружеской пары: Елизаветы Нарышкиной и Аркадия Суворова, сына великого полководца. Скорее всего, Бенкендорф стал частым гостем этих «новых Афин» благодаря своему приятелю по пансиону Николя Льву Нарышкину. Он сблизился с офицерами Преображенского полка, среди которых его особое внимание привлекли поэт Сергей Марин, его друг Дмитрий Арсеньев и двоюродный брат Льва Нарышкина, только что приехавший из Англии Михаил Воронцов.

Казалось, такие полезные знакомства дополнят удачное начало гвардейской и придворной карьеры. Однако при новом императоре «люди Павла» и окружение вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны пришлись не ко двору. Своё восхождение по служебной лестнице Бенкендорфу пришлось начинать заново, вдали от ставшего привычным Петербурга.

Глава вторая
ОФИЦЕР

К землям полунощным…

Придворные игры начала XIX века принесли много разочарований приближённым Марии Фёдоровны. Вдовствующая императрица, вмешивавшаяся в политические дела, была «неудобна» и собственному старшему сыну, и его окружению. То ползли слухи, что в пользу Марии Фёдоровны хотят сделать «перемену правления», то она сама принималась за негласное расследование убийства мужа. В результате придворная партия императрицы-матери попала в немилость у нового императора, так что рассчитывать на большие успехи при дворе её сторонники не могли. Это нерасположение Александра, при всех временных приливах монаршей симпатии, Бенкендорф будет чувствовать почти четверть века — на протяжении всего александровского царствования. «Свобода» лета 1801 года стала уже к концу года всё больше ощущаться им как ненужность, а отсутствие ответственных поручений — как безделье.

Случай помог решить накопившиеся проблемы, избавить молодого Бенкендорфа от немилостей нерасположенного к нему «большого двора», дать ему возможность проявить себя в мирное время и расширить круг познаний.

В конце февраля 1802 года приятель Джакомо Казановы, политический авантюрист Егор Максимович (Георг Магнус) Спренгтпортен, швед на русской службе, отправился из Петербурга в длительную инспекционную поездку по России. По высочайшему повелению (и наверняка благодаря хлопотам генерала Христофора Ливена) в его свиту были зачислены два флигель-адъютанта: артиллерии майор М. Ф. Ставицкий и гвардии поручик А. Х. Бенкендорф. В их задачу входило разъезжать по прилегающим к маршруту регионам и представлять генералу Спренгтпортену «коротенькие отчеты или, вернее, наброски»1.

К экспедиции был также прикомандирован художник Е. М. Корнеев, подающий надежды пансионер Академии художеств, чьей обязанностью было делать зарисовки с натуры.

В европейской культурной традиции того времени молодому человеку для окончательного взросления было необходимо пережить «годы странствий», период соприкосновения книжных представлений с реальным миром. Путешествия наследников российского престола в конце XVIII и на протяжении всего XIX века считались необходимой завершающей ступенью в их образовании. В. А. Жуковский, отправлявшийся по России вместе с 19-летним Александром Николаевичем, будущим царём-

освободителем, писал императрице: «Пусть это похоже на такое чтение книги, при котором великий князь ознакомится только с оглавлением. Зато он получит общее понятие о её содержании». «Оглавление», просмотренное Александром Бенкендорфом в 1802–1804 годах, было весьма подробным. Да и с «содержанием» ему в ряде случаев удалось познакомиться довольно близко: Шлиссельбург, Тихвин, Рыбинск, Большая Волга («Волга-матушка» — пишет Бенкендорф), Казань, Оренбург, а там — Урал, Сибирь, Забайкалье, Якутия…

Дневник, который Бенкендорф вёл на протяжении путешествия, лёг в основу его мемуаров. Эти воспоминания могли бы стать заметным явлением в литературе путешествий — особенно в начале XIX века, — если бы были в своё время опубликованы. Увы, желание прославиться в качестве писателя начнёт привлекать молодых людей более поздних поколений. Его же записки о путешествии пролежат в архиве до самого начала XXI века2, хотя они весьма далеки от скучного перечисления географических названий. Молодой человек, составлявший эти записки, предстаёт достаточно инициативным, любознательным и — сколько бы ни говорили о «поверхностности» его образования — довольно знающим.

Уже окрестности Петербурга, медленно проплывающие перед молодым поручиком по берегам Ладожского канала, наводят его на размышления о «созидательном гении» Петра Великого, чьи колоссальные проекты «встречаешь и узнаёшь на каждом шагу». Бенкендорф восхищён плодами деятельности монарха, которая принесла «процветание и славу России». Это не только флот и армия, но и город, явившийся свидетельством того, что можно «покорить природу», «сама наша столица, воздвигнутая на болоте, ныне ставшая образцом красоты и великолепия, местопребыванием наук и искусств; эти загородные дворцы со всех сторон Петербурга, которым Пётр умело выбирал место и сам планировал парки; и, наконец, этот водный путь, который доставляет к набережным столицы товары со всего обширного пространства России!». Интересно, что дальнейшее путешествие по стране несколько умеряет восхищение Бенкендорфа Петербургом: он начинает осознавать чересчур удалённое положение столицы от «большой» России, её торговых путей. Город, «где всякий русский оказывается чужаком и где всякий собственник находится, по меньшей мере, в 300 верстах от своих владений», куда «все предметы первой необходимости должны прибывать с большими издержками из глубины страны», даже покажется издалека «язвой, разъедающей Россию». В Нижнем Новгороде Бенкендорф приходит к мысли о том, что именно здесь

было бы идеально расположить столицу России (между прочим, за два десятилетия до предложений Пестеля и Никиты Муравьёва о переносе туда столицы, переименовывавшейся, по проекту последнего, в Славянск). По его мнению, географическое положение Нижнего Новгорода «в центре самых прекрасных губерний подлинной России» чрезвычайно благоприятно. Этот город, «сближая дворян с их поместьями, был бы центром культуры, чьи лучи проникали бы в самые дальние уголки и окраины России. Присутствие государя только поддерживало бы интерес собственников и устранило бы притеснения, отягощающие население, а коммерция легко вернулась бы в руки русских торговцев, которых совершенно вытеснили иностранные предприниматели и которые теперь чужеземцы в Петербурге». При этом Бенкендорф прекрасно осознаёт, что его идея достаточно утопична, ибо за минувший век столичный статус детища Петра I уже устоялся и вряд ли кому «придёт в голову оставить Петербург, когда в него вложено столько миллионов, где появились на свет все наши князья, где сосредоточены финансы и где деньги значат всё»… Характерная для молодости критичность мышления присуща и Бенкендорфу. В Оренбурге («по названию — крепость, а на деле — скорее нищий городок, окружённый ничтожными крепостными стенами») его возмущает бездеятельность местных властей, которые не стремятся использовать выгодное географическое положение города. «Вне всяких сомнений, — рассуждает Бенкендорф, — если бы провидение хоть один раз послало в Оренбург губернатора, руководствующегося в своих действиях разумными взглядами, коммерческими и деятельными, то город смог бы извлечь из здешнего товарообмена огромное богатство для империи… Но до настоящего времени наши губернаторы остаются неспособными решать подобные задачи, они скорее полицейские надзиратели, притесняющие торговцев, а для находящихся в их полной зависимости киргизов — ограниченные и алчные начальники». В Сибири Бенкендорф поражается тому, что этот необыкновенный край, «который щедро одаривает Россию богатствами», получает взамен «только отбросы людей, чьи преступления должны караться смертью, или известных интриганов, сосланных другими интриганами»…

То там, то тут в записках о путешествии проступает «имперский патриотизм» автора. В том же Оренбурге он искренне желает вызвать в «киргизах» (так тогда называли казахов) «естественную склонность к оседлому заселению этого пустынного края», а до этого с большой симпатией рассуждает о татарах, потомках золотоордынцев, «некогда грозы мира и

поработителей Руси». «Теперь, — пишет он, — этот народ подаёт пример покорности и спокойствия. Татары — законопослушные граждане, преданные и храбрые солдаты». Казань названа в записках «одним из самых важных городов империи благодаря своему богатству, народу и безграничным ресурсам, кои она предоставляет для внутренней торговли». Восхищение Бенкендорфа вызывают и башкиры — ловкие наездники, демонстрировавшие удивительные для столичных гостей трюки. «Самым красивым, но и самым опасным зрелищем было, когда один из них водружал на свою пику шапку и нёсся во весь дух, преследуемый всей группой, которая старалась сбить эту шапку стрелой или пистолетным выстрелом». Через десять лет Бенкендорфу доведётся командовать башкирами во время Отечественной войны, и он ни разу не выразит недовольства своими подчинёнными.

Впрочем, в записках Бенкендорф не стремится представить себя ни политическим мудрецом, ни «философом в осьмнадцать лет». Рассуждения и путевые заметки сменяются описаниями романтических похождений, притом достаточно откровенными. Молодой гвардейский офицер в провинции — явление примечательное, и в любом городе и городке дамы местного «общества» не перестают баловать его своим вниманием.

Сергей Марин, ко всему прочему известный тогда стихотворец, словно на это случай сочинил куплеты:

Девицы, опасайтесь
Гвардейских вы господ.
На них не полагайтесь,
Не суйте пальца в рот!

Учтивостью пленяют
И взгляд их очень льстив,
Но вас переменяют
Как будто часовых!3

В Костроме неожиданная болезнь Бенкендорфа сделала его объектом забот сразу полудюжины дам. Среди них счастливый больной немедленно выделил некую мадемуазель, ежедневно приходившую справляться о его здоровье («но так как могло показаться двусмысленным приходить одной к постели молодого офицера, то она приходила вместе со своей сестрой»). Барышня «была столь недурна», что и болезнь, и задержка в путешествии из-за начавшегося ледохода показались Бенкендорфу кстати. Когда же настала пора трогательного расставания, поклонница

снабдила своего героя рекомендательным письмом к подруге в Нижнем Новгороде. Подруга оказалась «прехорошенькой женщиной, пухленькой и очень доступной», а арсенал ухаживаний Бенкендорфа пополнился таким классическим приёмом, как ночное проникновение в окно спальни предмета вожделения. Потом было душещипательное прощание на рассвете накануне отплытия, и «новая и неутолённая страсть» осталась позади. Подобного рода приключения Бенкендорфа продолжались и далее, причём особого упоминания удостоилась встреченная в Екатеринбурге жена полкового командира генерала Певцова: она была «мила, любезна и приятна в обхождении», но осталась в памяти тем, что «высокомерно» отвергла ухаживания нашего любителя лёгких побед. Это разожгло в Бенкендорфе страсть, даже было принятую им за любовь, а вместе с ней и гнев на «тупого солдафона» — мужа, недостойного такой супруги. И тем не менее из Екатеринбурга к границам Сибири незадачливый воздыхатель уехал, получив несколько отказов кряду. (На обратной дороге он снова потерпел фиаско при попытке новой осады неприступной генеральши…)

Сибирь! Как и многие путешественники, Бенкендорф пересекал её границу с чувством какого-то «безотчётного смятения» — ведь он въезжал в край, считавшийся в Европе, да и в Петербурге, землёй ссыльных (их здесь называли «несчастными»). Для передачи этого чувства в записках автор использует довольно поэтичные, хотя и мрачноватые образы: «гибельная тюрьма», «могила позора», «земля, орошённая столькими слезами»… Всё это рождает «грустное и тяжёлое» впечатление от Сибири.

И вдруг — Тобольск, столица края, после которого мнение Бенкендорфа о Сибири начинает переменяться. Тобольск «скрашивает» его впечатление: в нём есть каменные дома и даже свой театр, в котором играет труппа из ссыльных. Побывавший здесь за год до Бенкендорфа (не по своей воле, а по капризу Павла) немецкий драматург Август Коцебу был потрясён тем, что в тобольском театре идут его пьесы и имя их автора хорошо знакомо губернатору. Пьесы, правда, исполнялись столь своеобразно, что сочинитель выдерживал на спектаклях не более четверти часа. Год спустя Бенкендорфу также запомнилось не столько актерское мастерство ссыльных, сколько вид дирижёра оркестра — итальянца с рваными ноздрями, осуждённого и сосланного за убийство из ревности.

А широкий Иртыш манил на север. И Бенкендорф выхлопотал у своего начальника командировку «на край ночи», к берегам Ледовитого океана. Для экспедиции была запасена провизия,

куплена и опробована лодка с палубой и парусом, наняты гребцы. В конце июня 1802 года Бенкендорф вместе с художником Корнеевым, двумя казаками для охраны и слугой пустился вниз по течению.

С каждой сотней вёрст цивилизация отступала всё заметнее: попадавшиеся поначалу по берегам городки сменялись скромными селениями, в месте слияния Иртыша и Оби стоял маленький монастырь, в котором несли послушание всего три монаха. После него уже не было и селений — изредка встречались только кочующие остяки (манси) «со своими переносными шалашами». Лес мельчал, затем сменился кустарником; через 300 вёрст ниже слияния Иртыша и Оби исчез и кустарник, землю покрыл мох.

Вместе с цивилизацией отступало и лето. Дни, правда, становились всё длиннее, но неожиданные холодные порывы ветра пронизывали путешественников насквозь и поднимали такие волны, что не слишком умелая команда старалась прятаться от непогоды в укромных бухтах или на островах. На одном таком острове пришлось провести целый день: приполярный июль казался промозглой осенью. В довершение Бенкендорф был вынужден питаться весь день «отвратительной вяленой рыбой». Правда, остяки, пережидавшие непогоду рядом с участниками экспедиции, предложили попробовать проверенные «консервы» — оленье сало, но Бенкендорф не отважился даже взять его в рот. Один из аборигенов сносно говорил по-русски и охотно отвечал на расспросы о своём народе. Бенкендорф передаёт его рассказы с симпатией и состраданием. Он жалеет этот небольшой народ, «обладающий тихим и покорным нравом» и живущий в «невесёлой» стране, покрытой снегами девять месяцев в году; с осуждением говорит о «казаках и авантюристах», которые «нещадно эксплуатировали их и в конце концов прибрали к рукам все природные богатства края, оставив этим несчастным только то, что невозможно было отнять, — непригодные для жизни условия, суровость которых пагубно воздействует на народонаселение». Неприязненно отзывается автор записок и о купцах, приезжающих «обирать» остяков и наживающихся на «беззаконной спекуляции пушниной». Табак, водка и уничтожающий народ сифилис — вот следствия прихода сюда «цивилизации».

Почти через тысячу вёрст плавания экспедиция Бенкендорфа достигла знаменитого городка Берёзова. Путешественники разместились у одного из «благородных ссыльных» — бывшего конногвардейского офицера, наказанного за участие в афере с печатанием фальшивых ассигнаций. За 28 лет ссылки этот

«несчастный» завёл здесь семью и достиг весьма обеспеченного существования благодаря своей ловкости и предприимчивости. Тем не менее он мечтал вернуться, и Бенкендорф с радостью отметил: «Впоследствии я имел счастье способствовать его помилованию».

Видимо, этот ссыльный рассказал о последних годах жизни в Берёзове знаменитого Александра Даниловича Меншикова. Судя по запискам, симпатии Бенкендорфа были на стороне «полудержавного властелина», потому что в беде и нищете тот оказался человеком «стойким и достойным — к стыду своих гонителей». Наш путешественник считал, что причиной опалы Меншикова были зависть придворных к его могуществу, их страх и жажда мести. Бенкендорф восторгался тем, что в Берёзове Меншиков сам построил для своей семьи дом и небольшую часовенку: «…Те же руки, что помогали держать императорский скипетр, должны были взяться за топор».

С ощущением того, что Берёзов — место самого страшного во всей империи климата, Бенкендорф устремился ещё дальше — туда, где Обь становится настолько широкой, что кажется морем. Июльская жара перебивалась пронизывающим ветром, прилетавшим с Ледовитого океана. Тот же ветер гнал против слабевшего течения несколько льдин. Солнце, едва упав к открывшимся хребтам приполярного Урала и скрыв свой диск не более чем наполовину, немедленно начинало снова подниматься вверх, знаменуя наступление нового дня.

Крайней точкой путешествия Бенкендорфа стало местечко Обдорск (ныне Салехард), добавлявшее к длинному полному титулу императора Всероссийского звание «князь Обдорский». Примечательным было не само местечко и не остатки построенного давным-давно острога, а большое поселение самоедов, собиравшихся к реке именно летом из-за обильной рыбной ловли. Общение с вождём проходило по правилам дипломатического этикета: Бенкендорф нанёс ему визит с вручением соответствующих «посольских даров» и был принят с большим почтением. На следующий день вождь, сопровождаемый приближёнными, предпринял ответное посещение. Его вид заставлял путешественников в момент приветствия сдерживать смех: босой, с «туземной причёской» вождь был облачён в обшитый галуном французский кафтан из малинового бархата и панталоны. Этот наряд, присланный ему когда-то из Петербурга, надевался только для наиболее ответственных официальных мероприятий.

В последовавшей затем продолжительной беседе (прошедшей, конечно, в обстановке полного взаимопонимания)

высокие стороны обсудили возможность дальнейшего путешествия экспедиции по суше к полярному Уралу. Вождь поведал о таком количестве препятствий для этого предприятия, что от идеи пришлось отказаться.

На прощание последовал обмен ценными подарками. Делегация Бенкендорфа получила четыре шкурки соболей, огромную рыбу и бутылку водки. Вождю преподнесли табак, сукно и украшения.

Обратная дорога была намного труднее. 350 вёрст до Берёзова, а затем ещё 1250 до Тобольска предстояло преодолеть против течения. Помогал северный ветер, ранее осложнявший путешествие; зато мешала собранная в дорогу провизия — ненавистная вяленая рыба, единственная доступная еда, в то время как хотелось привычного хлеба. Как-то раз ветер загнал судно на подводный камень, и часть дороги пришлось буквально ползти вдоль берега, вычерпывая воду, прибывавшую сквозь еле залатанные пробоины. Прибытию в Берёзов, недавно казавшийся столь суровым, радовались, словно возвращению в родной дом; здесь экспедиция пару дней наслаждалась цивилизованной жизнью. Дальнейшее продвижение вверх по реке оказалось ещё труднее. Кое-как добравшись до слияния Оби с Иртышом, измученные путешественники бросили свою лодку и оставшиеся до Тобольска 300 вёрст проделали посуху.

Вояж казался бесконечным, и Бенкендорф удивился тому, что в Тобольске его назвали счастливчиком. Оказывается, срок, за который его экспедиция добралась до «края ночи» и вернулась обратно, — семь недель — был необыкновенно коротким. В пустынных неприветливых краях с капризной погодой, с небольшими запасами пищи путешественники чудом избежали большого количества проблем, обычно удлинявших путь на месяцы.

Однако Спренгтпортен не собирался ждать своего подчинённого даже несколько недель. Он отправился дальше на восток, по пограничной линии, тянувшейся в то время по Иртышу более тысячи вёрст, от Омска до Усть-Каменогорска. Бенкендорф и Корнеев догнали его в Семипалатной (нынешнем Семипалатинске) — генерал путешествовал за казённый счёт, а потому не торопился. В Усть-Каменогорске — очередная продолжительная остановка. Любознательный Бенкендорф выпросил эскорт из шестидесяти казаков и отправился во владения киргизов, за сотню вёрст по безлюдной, безводной и пустынной степи — ради того, что увидеть своими глазами развалины легендарного буддистского монастыря-крепости Аблайкит, свидетеля разгоревшейся в XVII веке борьбы казахов с

нашествием джунгаров.

В жаркую ночь, проведённую близ Аблайкита, Бенкендорф долго не мог заснуть, поражаясь размаху проделанного путешествия. Не более двух месяцев назад он ночевал в устье Оби, в полярном Обдорске, «окружённый самоедами и льдинами», а теперь улёгся под открытым небом, в пышущей жаром пустынной степи, «среди киргизов, у развалин неведомого храма»!

Ко времени возвращения Бенкендорфа в Усть-Каменогорск Спренгтпортен отбыл в Томск, столицу недавно образованной губернии. Лишь к началу XIX века петербургские власти осознали, что Сибирь настолько велика, что управлять ею при помощи только двух губернаторов, тобольского и иркутского, невозможно. Из двух губерний сделали три, каждая из которых всё равно была больше, чем любое европейское государство.

Дорога на Томск, а потом через Красноярск на Нижнеудинсˆ окончательно переменила предвзятое отношение нашего героя к Сибири. Он увидел благодатную страну, объединённую широким и красивым Енисеем. «Поистине Сибирь — край изобилия, — восхищается Бенкендорф. — Реки полны чудной рыбой, леса — дичью всех видов, скот здесь великолепен и невероятно размножается; здешняя земля даёт обильный урожай, строевой лес в изобилии, и неудивительно, что крестьяне живут в достатке, а деревни здесь выстроены лучше, чем в России… Даже преступники, чьи деяния не были столь тяжкими, чтобы быть приговорёнными к работам в рудниках (которые повсюду разбросаны по деревням и городам), живут здесь очень хорошо. Многие обзаводятся семьёй, строят дома и становятся полезными и законопослушными гражданами».

Тридцатого сентября Спренгтпортен и его чиновники прибыли в Иркутск — «по величине второй после Тобольска, а по богатству — первый город Сибири». Здесь, в 6500 верстах от Петербурга, удивляла не необычность внешнего облика города, а, наоборот, его похожесть на «нормальные» европейские города России: основательная постройка, лавки, полные разнообразных товаров, и даже экипажи на улицах. Сходной, увы, была и степень мздоимства чиновников. Тогдашний военный губернатор генерал Н. П. Лебедев был наиболее одиозной фигурой. Он «любил пунш и вино и „вся яже к тому есть“». В членах столичной комиссии Спренггпортена видели долгожданных заступников; посланец императора «изумился, каким людям иногда вверяют отдаленные провинции»4.

Бенкендорф рассказывал: «Мы нашли в действиях иркутского военного губернатора столько деспотизма, несправедливости и

различных нарушений закона, что по возвращении сочли необходимым сразу же уведомить об этом императора. Он тотчас же отозвал этого самоуправца, который, пользуясь отдалённостью губернии от столицы, безнаказанно злоупотреблял доверенной ему властью». «Сразу же… по возвращении», то есть через несколько месяцев; «тотчас же отозвал» — значит, повеление пришло в Иркутск только на следующий год. Спренгтпортен покинул Иркутск 19 ноября 1802 года, а Лебедев был отставлен в 1803 году; в 1804-м он занимал должность командира Иркутского гарнизона.

Можно допустить, что обширная и познавательная, но необыкновенно долгая поездка Бенкендорфа зародила в нём первые сомнения в рациональности «инспекции» как чрезмерно медленного способа сбора информации о состоянии империи. Получалось, что сведения о злоупотреблениях местных чиновников доводились до центральной власти только периодически, а водворение справедливости растягивалось на многие месяцы, если не годы.

Но Иркутск не был конечным пунктом поездки Спренгтпортена. Там, за Байкалом, существовала весьма нечёткая граница с Китаем и на ней — главная и единственная точка реального соприкосновения двух гигантских империй, город Кяхта. Чтобы туда добраться, пришлось на довольно утлом судёнышке пересечь хмурые воды Байкала и проделать долгий путь через Верхнеудинск и Селенгинск.

Кяхта оказалась городком торговцев, чиновников и военных, поселением исключительно «служивым» — там не было ни одной женщины. Большая площадь делила Кяхту на две части, русскую и китайскую.

Военный комендант китайской части устроил посланникам русского императора званый обед «на манер своей страны». Бенкендорф удивлялся огромному количеству маленьких фарфоровых чашечек, в которых подавались многочисленные блюда, «в столь маленьких порциях, что их еле удалось распробовать».

Столичный гвардейский поручик с любопытством знакомился с иной цивилизацией, в то время ещё слишком закрытой для европейцев. В его описании увиденного звучат ноты уважения к великому соседу. Ему нравятся ухоженные дома, со вкусом отделанный «языческий» храм, дисциплинированные солдаты; он замечает, что здешние пушки не являются подражанием европейским, что подтверждает китайское первенство в изобретении и применении пороха. Вообще же Бенкендорфа поразили древность империи и «стабильность законов, которые

ею управляют»: чего стоят правительственные распоряжения об исполнении некоторых установлений на протяжении будущего полустолетия!

В окрестностях Кяхты Спренгтпортен и Бенкендорф посетили буддистский храм, удивляясь его обрядам, украшениям и больше всего — совершенно непривычной музыке. Ближе и понятнее им были военные упражнения бурятских конников, охранявших вместе с казаками границы империи. Вечером в дороге офицеров застал буран; сильно замёрзнув, они остановились на ночь в бурятской юрте.

Эта ночёвка под войлочной крышей вместе с бурятским семейством подвигла Бенкендорфа на философские рассуждения, демонстрирующие его знакомство с идеями мыслителей Просвещения. «Я хотел бы, — писал он, — чтобы наши великие философы, проповедники человеческого счастья в его первобытном состоянии, провели бы эту ночь в этой юрте вместе со мною; они, я думаю, изменили бы свою максиму и воспели бы счастье цивилизованного человека. Но они также умилились бы вместе со мной, увидев, как эта семья, изнемогающая под тяжестью нищеты, встретила первые лучи солнца. Все они вышли из своего бедного кочевого шалаша, вход которого всегда обращён на восток, упали ниц на землю, приветствуя благодетельное небесное светило, и елейно помолились. Есть ли в самом деле более прекрасный храм, нежели природа; более прекрасное божественное изображение, чем светило, которое освещает и греет мир! Насколько самые величественные церкви малы, насколько самые торжественные обряды мелки!»

Достигнув фактически восточной окраины империи, Спренгтпортен поспешил на зимовку обратно в Иркутск. Он даже не стал дожидаться, пока на Байкале станет лёд, и приказал лично для него продлить срок навигации. В результате обратное плавание по озеру-морю вышло куда более утомительным, нежели предыдущее. Первый выход «на отвратительном торговом судёнышке» оказался неудачным, хотя даже Бенкендорф до полного изнеможения боролся с бесчисленными льдинами, отталкивая их от борта. Лоцман не решился продолжить плавание и повернул к берегу, когда команда окончательно потеряла силы (а Александр Христофорович даже уснул от усталости). Судёнышко пристало в 30 верстах от порта отправки. Только поднявшийся ночью сильный восточный ветер — редкость для этого сезона необычайная — позволил быстро поднять паруса и перелететь Байкал за одну ночь. Вместо унылого и долгого ожидания на берегу Байкала экспедиция Спренггпортена вернулась в Иркутск к Рождеству 1802 года.

В самом же начале 1803 года наш неутомимый поручик предпринимает ещё один бросок на север. Пока генеральский эскорт медленно тянулся обратно в Тобольск, он по быстрому санному пути помчался в другую сторону, к Якутску. Почти тысячу вёрст до Киренска на берегу Лены посланец императора преодолел на удивление легко, пользуясь правом требовать себе хоть восьмёрку лошадей. В Киренске Бенкендорф пересел на нарты и отправился в путь по замёрзшему руслу Лены.

В Якутске накрытый полярной ночью Бенкендорф дал волю романтическим переживаниям: «…Как не видел я ночи в Обдорске в течение лета, так не увидел я дневного света здесь в конце декабря. Только в полдень его еле хватило, чтобы прочесть на столбе: 2600 вёрст от Иркутска и 9250 от Москвы! Это расстояние не на шутку меня испугало: вот что мне ещё предстоит преодолеть, чтобы вернуться; я вдруг осознал, что был без преувеличения на краю света, этот столб произвёл на меня впечатление зловещего оракула, в одно мгновение я живо представил все испытания, все тяготы, которые меня ещё ожидали и которые казались теперь, когда любопытство путешественника было уже удовлетворено, тем более невыносимыми».

Неожиданное появление адъютанта императора вызвало переполох среди якутского чиновничества и купечества. Город был центром Российско-американской компании, которая в то время стала, как писал Бенкендорф, местом обогащения многих мошенников. До «человека из центра» местная «общественность» постаралась немедленно донести всю правду о несправедливостях, творящихся в компании, и опасения, что она вообще скоро исчезнет, ибо «основы её торговли и её связей с островами японских морей, с Кадиаком (островом у берегов Аляски. — Д. О.) и американским континентом стали основываться на обмане, лицемерии и самом постыдном унижении». Некий морской офицер живописал Бенкендорфу «жуткую картину преступлений и махинаций, кои служащие Американской компании позволяют себе не только с несчастными обитателями Курильских островов, алеутами большого острова Кадиака, но даже с русскими матросами». Конечно, гвардейский поручик не обладал никакой властью для изменения положения к лучшему; всё, что ему оставалось, — это передать тревожную информацию «по инстанциям».

Якутск — крайняя точка поездки Бенкендорфа. И нам самое время остановиться и подумать: не является ли такое дальнее и непростое, особенно для гужевого XIX века, путешествие выдумкой мемуариста? Благодаря сохранившейся «Летописи» иркутского купца Василия Кротова можно с уверенностью сказать:

нет, не выдумка. «30-го числа сентября, — записал Кротов, — прибыл в Иркутск генерал от инфантерии Егор Максимович Шпрейпартен с 15-летним сыном. При нём находился Его Величества флигель-адъютант Бекендорф. По каким делам приезжал в Иркутск этот генерал, неизвестно, а меж тем Бекендорф ездил в Якутск»5.

Итак, в Якутске Бенкендорф действительно был. Более того, ему хотелось продолжить свой вояж до Охотска и Камчатки, но он был обязан возвращаться к Спренгтпортену и выделенные на Якутск восемь дней потратил на знакомство с жизнью и бытом якутов. По сравнению с самоедами и остяками это племя показалось ему куда более цивилизованным, правда, танец шамана, завораживающе действовавший на туземцев, показался ему весьма удручающим, а сам шаман «зловещим».

К середине января Бенкендорф уже вернулся в Иркутск, на обратном пути довольно сильно обморозив ноги. Прежде чем отправляться вдогонку за начальником, ему пришлось потратить время на лечение и только потом нагонять инспекторов по самому быстрому и удобному зимнему санному пути. Делая по 350 вёрст в сутки, Бенкендорф присоединился к Спренгтпортену в Тобольске (никаких особых происшествий по дороге — только привычное романтическое приключение с одной «горячей сибирячкой», женой станционного смотрителя). Здесь он застал Масленицу и с восхищением отдался народной забаве — катанию с ледяных гор. Даже в саду своего тобольского пристанища Бенкендорф велел построить такие горы и порой проводил на них целый день.

Но среди масленичных развлечений стала сказываться усталость от путешествия, чей срок пошёл уже на второй год! Вот почему обратное пересечение границы Сибири вызвало у Бенкендорфа нескрываемую радость. Он покидал громадную территорию с суровым климатом, «приговорённую к слезам и покаянию», край, в котором своими глазами увидел «столько несчастных и столько несправедливости».

Соскучившись по родным и петербургским друзьям, Бенкендорф выпросил у начальника командировку в столицу и поспешил назад без длительных остановок. Последние вёрсты он мчался наперегонки с оттепелью, уже царапая полозьями землю в проталинах, и успел прибыть в Петербург вместе с наступлением весны 1803 года.

К землям полуденным…

Как приятно в двадцать лет играть роль бывалого путешественника, вернувшегося из дальних и необычных краёв! Восхищённые взоры барышень, уважительное внимание друзей, бесконечные расспросы, искреннее удивление…

Но на это удовольствие отведены только три недели. А потом пришло время оставить и друзей, и привычные столичные удовольствия — и снова в дорогу! Инспекция Спренгшортена не закончена, но на этот раз путь лежит в другую сторону — на южную окраину империи.

В перерыве между двумя маршрутами шестидесятилетний генерал не терял времени — он женился! Теперь он ехал вместе с женой и оттого, в отличие от Бенкендорфа и его приятеля, молодого графа Гурьева, не очень спешил увидеть небезопасные пограничные земли. Спренгтпортен совмещал удовольствие от даровой казённой поездки с радостями первых недель семейной жизни и потому подолгу останавливался в волжских городах. Когда Бенкендорф и Гурьев примчались через Рязань и Тамбов в Царицын, где надеялись перехватить своего начальника, то выяснилось, что о нём там и не слыхивали. (Семейство генерала добралось только до Нижнего Новгорода.) Пришлось подниматься по Волге и встречать Спренггпортена в Симбирске, где «молодец-генерал» сделал продолжительную остановку; он всецело отдавался радостям медового месяца, а его окружение умирало со скуки.

Единственным развлечением стал доморощенный театр одного из местных помещиков. Три вечера подряд этот любитель искусства демонстрировал почётным гостям оперу, комедию и трагедию в провинциальной трактовке; в дополнение он не забывал потчевать их концертами за каждым обедом и ужином. «Кто устоит перед обаянием крепостного театра!» — восклицал Бенкендорф, вспоминая, как он попытался завязать роман с оперной примадонной, покорившей его красотой и обаянием. Развязка оказалась совсем не романтичной: за чрезмерный интерес к столичным зрителям примадонну высекли на конюшне. Незадачливый ухажёр предпочёл придержать свои чувства, дабы наказание не повторилось.

Тем временем наступило лето. Долг службы принудил Спренгтпортена оставить Симбирск и направиться в Царицын, близ которого к Волге сходились три разных мира, объединённых — относительно недавно — Российской империей.

К юго-западу от города лежали владения калмыков. К их

правителю нужно было ехать верхом не менее сотни вёрст, поэтому необходимый инспекционный визит генерал доверил Бенкендорфу. На ходу меняя выносливых калмыцких лошадей, флигель-адъютант в один день доскакал до резиденции тамошнего князя, изведал особенности местного этикета, вытерпел торжественный церемониал приёма гостей, отметил многочисленность и ухоженность конских табунов, верблюжьих и бараньих стад и вернулся обратно.

Чуть ниже Царицына по течению Волги жили немецкие поселенцы-протестанты. Бенкендорф посетил аккуратный городок Сарепту с населением в 600 душ обоего пола и удивился, насколько типично немецким он оказался: «…Здесь всё вас заставляет забыть, что вы находитесь в степи, населённой калмыками, и на границе с первобытной Азией. Всё напоминает Германию, и можно даже получить чисто немецкое удовольствие в настоящей харчевне, с хорошим обслуживанием и отличной немецкой едой».

Совсем иным был простирающийся к востоку от Царицына мир донского казачества. Именно здесь Дон подходит к Волге ближе всего, и Бенкендорф демонстрирует в записках осведомлённость о грандиозных, но нереализованных попытках Сулеймана Великолепного, а позже и Петра Великого прорыть здесь канал, соединяющий бассейны Волги и Дона. Более того, Бенкендорф оставил предсказание: «Думаю, государь, который осуществит этот грандиозный проект, сделает больше для процветания и обогащения России, чем те, кто прибавляет новые губернии к и без того бескрайней её территории. Канал даст возможность вывозить в Чёрное море продукцию плодородных частей России и соединит Каспийское море с морями Европы».

В первой же донской казачьей станице посланца императора принимало знаменитое семейство Орловых-Денисовых. В. П. Орлов долгое время являлся войсковым атаманом (только в 1801 году его сменил М. И. Платов), а породнившийся с ним род Денисовых был первым графским родом среди донских казаков.

Нагостившись, генерал Спренгтпортен, не любивший без надобности жертвовать комфортом, отправился к казачьей столице, Черкасску, напрямую, по большой почтовой дороге. Бенкендорф же и его молодые спутники Гурьев и Нехлюдов выбрали путь верхом вдоль Дона, от станицы к станице.

Донское казачество вызвало искреннее восхищение Бенкендорфа. Его радовали видимый достаток населения, здоровье и весёлость всех встреченных мужчин и женщин, их чувство собственного достоинства — следствие отсутствия принуждения.

«Истинное удовольствие, — признаётся Бенкендорф в записках, — находиться среди этого свободного, воинственного народа, управляемого своими собственными законами, не имеющего иного страха, кроме страха каких-либо в своей жизни перемен, и иного желания, чем всегда оставаться в том состоянии, в котором он находится. Невольно думалось: насколько же у нас мало правительств, достаточно мудрых и либеральных, для того, чтобы народ не желал никаких изменений!» В этом пассаже впервые проявляются консервативные черты мировоззрения Бенкендорфа: казачьи порядки представляются ему идеальным общественным устройством, а их носители — достигшими золотого века, для которого любые перемены будут ухудшением, а не улучшением. Сам казак — одновременно воин и гражданин — кажется нашему наблюдателю примером для армий всех стран. Там — «несчастные наёмники», оторванные от семьи и родного очага, гнущие шею в казармах и лагерях, ради защиты своих соотечественников перестающие быть членами общества; здесь — воины, готовые идти в бой по первому призыву императора, но при этом возвращающиеся к своим родным, в свои дома, на землю, которую знают с детства.

Такое состояние достигается, по Бенкендорфу, мудрой деятельностью «либеральных» правительств. Конечно, здесь имеется в виду вовсе не политический лцберализм (такого термина в то время и не существовало). Бенкендорф понимал «либерализм» как терпимость и понимание.

В столице Войска Донского, Черкасске, золотой век воплотился наиболее зримо. Казаки, казачки, лошади, даже казачья кухня — всё казалось Бенкендорфу совершенным. С неохотой покидал молодой поручик Донские земли.

Путь экспедиции лежал на юг, степями, к столице новообразованной Кавказской губернии, городу Георгиевску. Большой Черкасский тракт — главная в то время сухопутная дорога на Кавказ — шёл вдоль пограничной Кавказской линии, протянувшейся во времена императрицы Екатерины II от Азова через Ставрополь к Моздоку. Между девятью крепостями этой линии каждые 25–30 вёрст располагались редуты или форты, а каждые 3–5 вёрст — казачьи пикеты. Поскольку это была ещё и граница христианского и мусульманского миров, императрица повелела дать крепостям имена святых: Святой Екатерины, Святого Павла, Святой Марии, Святого Александра Невского… Крепость Святого Георгия стала городом Георгиевском.

В этой небольшом административном центре края с крутого обрыва над рекой Подкумок Бенкендорф мог наблюдать Главный

Кавказский хребет от Казбека до Эльбруса (Шат-горы, как называли её местные жители). Он видел не просто горную цепь, но «предел побед Александра Македонского» и «границу рабства, которое Рим навязал народам», одновременно и каменные ворота, через которые проходили бесчисленные полчища завоевателей, и гигантский склеп для многих канувших туда армий…

Через 20 вёрст от Георгиевска, прямо у подножия пяти гор, именуемых Бештау, начинался русский фронтир — шов цивилизаций, одновременно разделявший и соединявший разные миры. Непрочный пограничный покой охраняли здесь крепостца Константиногорская, два полка казаков и 16-й егерский полк. Именно вездесущие егеря заново открыли у подножия горы Машук горячие воды и за десять лет до приезда Спренгтпортена рассказали о целебных свойствах источников учёному-путешественнику Палласу. Слава минеральных вод начала распространяться по России, и в 1803 году сюда стали приезжать для лечения ревматизма, подагры, кожных болезней и т. п. Незадолго до прибытия инспекции, 24 апреля 1803 года, был издан императорский указ о признании Кавказских вод «целебной местностью государственного значения».

В этой «целебной местности» уставший от однообразной дороги Спренгтпортен решился лично и обстоятельно проверить исполнение царского указа. Для проверки сведений о лечебных свойствах серных вод он вместе с супругой принялся за ежедневный приём ванн. Молодёжь же, чтобы не скучала и не докучала, была отослана за тридцать вёрст, к водам кислым. Здесь — пока не в домах, а в шатрах — уже разместилось «водяное общество», хотя черкесы, по признанию Бенкендорфа, весьма неодобрительно смотрели на подобное «чужеземное заведение, расположенное в их родных горах». Тем не менее в 1803 году вели они себя довольно мирно и даже гостеприимно, несмотря на то, что соблазн поживиться за счет состоятельных больных из «водяного общества» был весьма велик. Под впечатлением от спокойной жизни на пограничной линии Спренгтпортен даже «порицал постройку на Кавказе крепостей, когда довольно было бы, по его отзыву, десяти пушек для того, чтобы держать всё в порядке и контролировать поведение черкесской знати»6.

С одним из кабардинских князей, Росламбеком Мисостовым, Бенкендорф завёл дружбу, тем более что князь числился полковником лейб-гвардии казачьего полка, а двоюродный брат его был известной в Петербурге личностью. Звали брата Измаил Атажукин, он с 14 лет воспитывался в России и получил Георгиевский крест за штурм Измаила. Похождения этого

Исмельпсыго (как звали его на родине) уподоблялись кабардинцами подвигам легендарных нартов.

Как не вспомнить:

На нём чекмень, простой бешмет,
Чело под шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолет
Блестят насечкой небогатой;
И перетянут он ремнём,
И шашка чуть звенит на нём;
Ружье, мотаясь за плечами,
Белеет в шерстяном чехле…

…Читатель, хорошо знакомый с творчеством Лермонтова, немедленно переспросит: неужели Бенкендорф был знаком с прототипами «восточной повести» «Измаил-бей»? Судя по мемуарам Бенкендорфа, дело обстояло именно так. Летом 1803 года он прикоснулся к началу легенды, которую декабрист Якубович будет пересказывать как давнее предание, достойное литературного сюжета7, а Лермонтов обратит в «повесть про старину»:

Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встаёт,
А за крутым Бешту садится…

В том году полковник Росламбек отнёсся к прибывшим из Петербурга офицерам с примерным гостеприимством и даже уговорил их отправиться за 30 вёрст от Кислых вод, вглубь черкесской территории, чтобы посмотреть на жизнь горцев, их воинов и жилища. Особенно увлекла Бенкендорфа идея увидеть сестру Росламбека — красота черкесских девушек была известна по всему Кавказу. Сестру князя он, правда, увидел только мельком, подивившись её восхитительной фигуре («элегантное одеяние черкешенок даёт возможность показать её»), но зато стал участником грандиозного пира и свидетелем воинских состязаний, состоявших из различных упражнений, в том числе поразительно меткой стрельбы по мишени на полном скаку. «Это была кавалерия наивысшего уровня, самая искусная и наилучшим образом вооружённая из всех, какие только могут быть», — утверждал Бенкендорф в воспоминаниях.

Вид четырёх сотен черкесов, прискакавших невесть откуда по

одному знаку Росламбека, вызывал кроме восхищения и некоторую тревогу. Бенкендорф знал, что князь периодически принимал участие в боевых действиях против России; к тому же предводитель горцев заметил русским офицерам, как бы между прочим, что посреди этого воинственного окружения с ними всего-навсего небольшой казачий конвой…

Тонкость намёка Бенкендорф осознал только после возвращения, к счастью, благополучного. В русском лагере его уже не чаяли увидеть живым — настолько рискованной и дерзкой считалась подобная поездка. Пришлось выслушать немало упрёков в легкомыслии, и упрёков справедливых. Всего через год (по мемуарам Бенкендорфа — через два), в июле 1804-го, Росламбек ушёл в горы и стал «одним из самых диких и бешеных абреков». Перед этим он обманом заманил за Кубань роту егерей и тридцать пять казаков, прикинулся дружелюбным союзником — и перебил почти всех, организовав внезапное нападение своих воинов — видимо тех, которыми так любовался Бенкендорф.

Жизнь на водах с её непременными курортными романами («это была очень красивая женщина, более чем легкомысленного поведения, и, надо сказать, это было именно то, что нужно для путешественника…») продлилась недолго. Пограничная линия не заканчивалась в Георгиевске, поэтому инспекция направилась на восток, к Моздоку и Кизляру.

В этих неспокойных местах дорога шла по левому берегу Терека, и проезд по ней всех более или менее значительных персон обязательно сопровождала внушительная охрана из казаков Гребенского казачьего войска, древнейшего на Северном Кавказе. Бенкендорф с удовлетворением заметил, что снаряжение и воинская сноровка гребенцев не уступают горской. Казаки переняли у соседей всё лучшее, выработанное опытом столетий, — оружие, снаряжение, одежду, — но при этом не утратили основ русской духовной жизни. Как писал историк казачества Михаил Караулов, «всё это невероятное смешение выработало в гребенце тип хозяина-воина редких качеств, всегда выделявшего его из общей массы даже в среде таких войск испытанной отваги и удали, какими были войска Кавказской линии»8. С таким эскортом Спренгтпортен и его спутники достигли восточного края пограничной линии без приключений. Затем были наводящее уныние движение по пустынной калмыцкой степи — и прибытие в большой торговый город Астрахань.

Здесь, в Астрахани, началась прочная и долгая — на ближайшие сорок лет! — дружба Александра Христофоровича Бенкендорфа с его ровесником Михаилом Семёновичем

Воронцовым. Два гвардейских офицера были знакомы ещё в Петербурге, но сблизились именно в Астрахани в сентябре 1803 года. Их общий столичный товарищ С. Н. Марин, узнав об этой встрече, немедленно откликнулся: «Завидую, любезный друг, очень завидую Бенкендорфу, которому, пожалуйста, от меня поклонись, и хвала ему, что едет с тобой; а тебя с тем поздравляю, он прелюбезный…»9 Как тут обойтись без хрестоматийного «Скажи мне, кто твой друг…»?

Михаил Воронцов, сын русского посланника в Лондоне и племянник влиятельного канцлера, фактически всё детство и отрочество провёл с отцом в Англии, где получил всестороннее систематическое образование. В 12 лет он свободно читал римских классиков в оригинале и хохотал над пьесами Мольера, но при этом тесно общался со священником посольства и «на всякий случай» изучал столярное ремесло. На последнем настоял отец, Семён Романович, считавший, что ремесло может пригодиться Михаилу: чтобы, «когда его крепостные скажут ему, что они его больше не хотят знать, а земли его разделят между собой, он мог заработать себе на жизнь честным трудом и иметь возможность сделаться одним из членов будущего пензенского или дмитровского муниципалитета».

С 16 лет — времени вступления во взрослую жизнь — Михаил служил в канцелярии посольства, получив, благодаря семейным связям, высокий придворный чин камергера. Отец не спешил отсылать его в Петербург на военную службу — но не от страха, а из-за чрезвычайно скептичного отношения к «новомодным» павловским порядкам. Как только наступила весна александровского царствования, весна 1801 года, восемнадцатилетний Михаил Воронцов немедленно был отправлен в Россию и стал офицером Преображенского полка, в который был записан ещё в четырёхлетнем возрасте. Он мог бы сразу стать генералом (при переходе из придворной службы в военную камергеру полагалось звание генерал-майора), но отказался. Эта история стала широко известна и только добавила уважения к Воронцову со стороны его новых друзей, гвардейских подпоручиков и поручиков. Он начинал вровень с ними — тем справедливее был его дальнейший взлёт. Но пока, в начале 1800-х годов, его ждала рутина повседневной службы: караулы, разводы, смотры, парады. А хотелось дела — и Михаил использовал авторитет дяди, чтобы отправиться на «настоящую войну». 20 августа 1803 года последовал рескрипт императора Александра, командировавший «лейб-гвардии Преображенского полку поручика графа Воронцова» в единственную в то время «горячую точку» империи.

Таким образом, в Астрахани поручик Воронцов был проездом. Он направлялся на Кавказ, волонтёром в войска князя П. Д. Цицианова, недавно занявшего пост астраханского военного губернатора и главноначальствующего Грузии (в 1801 году принятой в состав России Картли-Кахетии), фактически — кавказского наместника. Дядя Воронцова, канцлер Александр Романович, писал в рекомендательном письме к Цицианову: «В нынешней службе мало есть чему научиться, но поелику нигде, кроме края, где вы командуете, нет военных действий, где бы молодому офицеру усовершенствоваться можно было в воинском искусстве, да к тому присовокупляя, что под начальством вашим несомнительно более можно в том успеть, нежели во всяком другом месте…» Далее добавлялось, что от Михаила ждут, «чтобы он был полезен Отечеству» и «усовершенствовался во всём, к тому относящемся»10.

Цицианов, не в пример своему предшественнику, барону Кнорринг, больше занятому собственным обогащением, проводил в Закавказье весьма активную политику. Как писал знаток эпохи В. А. Потто, «при Цицианове уже не враги разоряют Грузию, а сама Грузия берёт в свои руки судьбу окружавших её народов»11. Именно тогда

…почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подьялся наш орёл двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов…

Весной 1803 года «пылкий Цицианов» (ещё бы не пылкий — выходец из древнего грузинского княжеского рода, двоюродный брат последней грузинской царицы Марии Георгиевны!) начал расширять южные границы империи — под предлогом восстановления «территориальной целостности» Грузии.

Бенкендорф одобрительно относился к присоединению закавказских территорий. По его мнению, хотя Грузия и требует от империи «множества людей и денег», её следует «рассматривать как передовой рубеж, который Россия имеет в Азии, для того, чтобы быть вовремя осведомлённой о военных приготовлениях, которые Азия может однажды предпринять за непроницаемым заслоном, каким является Кавказ».

В Астрахани Бенкендорф увлёкся идеей побывать за Кавказом

и решил вместе с Воронцовым ехать в края, где можно испытать и проявить себя. Уже ничто — ни губернские балы, ни потрясающее зрелище колоссального сезонного промысла идущей на нерест рыбы («настоящая морская баталия, в движении одновременно находятся больше сотни баркасов»), ни очередной командировочный «романчик» с симпатичной армянкой — не могло его отвлечь от желания поучаствовать в настоящем «деле». Благо неторопливый Спренгтпортен оказался весьма покладист и разрешил отлучиться на несколько месяцев. Почему бы и не разрешить? Ведь ехал Бенкендорф почти по служебной надобности, к новым границам России, продвинувшимся на юг, за Кавказ, всего два года назад.

И снова — калмыцкая степь, богатый винами Кизляр, неспокойная Линия и угасающий заштатный город Екатериноград с его двенадцатиметровой триумфальной аркой потёмкинских времён. По красно-белой арке шла надпись: «Дорога в Грузию»: за ней действительно начиналась дорога, много позже получившая название Военно-Грузинской.

Чтобы пройти по ней, необходимо было дождаться серьёзного конвоя, состоявшего из роты егерей и почти сотни казаков: с самого начала движения, сразу после переправы через Терек, за дорогой с безопасного расстояния наблюдали черкесы.

На ближайшей остановке, близ Елизаветинского редута, Бенкендорф и Воронцов были взбудоражены известиями о появлении противника. Они немедленно оседлали своих рассёдланных было лошадей и помчались с небольшим отрядом вперёд. Молодые офицеры стремились поскорее ввязаться в первую схватку, но, к их разочарованию, замеченные всадники обратились в бегство. Ещё большим разочарованием стало то, что эти всадники, как вскоре выяснилось, оказались вовсе не неприятелем, а казаками, конвоировавшими почту из Владикавказа.

Боевого крещения в первый же день не получилось, но в неспокойном краю гор это оказалось легко поправимо. Вскоре после крепости Владикавказ, в узкой теснине между селениями Балты и Ларс, конвой попал под ружейный обстрел. На этот раз противник был настоящий. Гвардии поручик Бенкендорф возглавил авангард отряда, гвардии поручик Воронцов — главные силы, и оба устремились в первую в своей жизни атаку. «Я был бы счастлив, — писал Бенкендорф, — если бы каждый последующий в моей военной карьере бой позволил мне ощутить столь радостный подъём духа, какой я пережил в те минуты боевого крещения!» Нападение горцев было сравнительно легко отбито, и отряд добрался до ночлега за стенами редута в Ларсе.

И вот — естественные ворота Кавказа, самая суровая и величественная часть Военно-Грузинской дороги, Дарьяльское ущелье. На протяжении 17 вёрст приходилось 20 раз пересекать быстрые воды Терека. (Первый постоянный мост появится здесь только в 1809 году, а колёсная дорога будет пробита сквозь скалы ещё позже.) К страху быть унесённым горным потоком, легко перекатывающим камни, примешивался страх перед ущельем глубиной почти в версту, с нависающими над головой скалами («небо чуть видно, как из тюрьмы…»). Вдобавок казаки предупреждали: «Здесь на путников нападают чаще всего». Но всё обошлось, и в конце трудной дороги приятелей встречал замок правителя Хевсурии, князя Казбеги, объявившего о своей преданности России. Вид этой крепости настроил молодых офицеров на романтический лад: он напомнил им «готические» романы модной в то время английской писательницы Анны Радклиф с их суровыми средневековыми подземельями, рыцарями, мрачными тайнами. Бенкендорфу показалось, что здесь, среди гор, средневековье сохранилось в полной мере и они с Воронцовым перенеслись то ли в прошлое, то ли в мир, созданный воображением.

Казалось, что после Дарьяла природа стала благосклоннее к путешественникам; однако им ещё предстояло преодолеть Крестовый перевал. Он оказался так высок, что было страшно взглянуть вниз — туда, где плывут облака и еле угадываются водные потоки: с одной стороны — Терека, а с другой — Арагви, начинающей свой путь в Грузию. Но зато, спустившись с перевала в долину Арагви, офицеры почувствовали, что попали в другой мир: с доброжелательной природой, живописными пейзажами, мягким климатом и укутанной в тень деревьев дорогой. В селении Ананури они отметили переход Кавказского хребта местным вином, приятно удивившим их. До места назначения было рукой подать.

Наутро Бенкендорф и Воронцов оставили медленный конвой и поспешили в Тифлис верхом. Только несколько казаков «на всякий случай» последовали за ними. По дороге пришлось объезжать русскую воинскую часть, отгородившуюся штыками от внешнего мира: недавно по всему Кавказу прокатилась эпидемия чумы, и часовые получили приказ не пропускать в лагерь никого, включая офицеров. Затем — короткая остановка в Мцхети, древней столице Грузии: просто невозможно было не отдать дань живописному пейзажу, сплетающимся водам Арагвы и Куры, необычной для российского глаза архитектуре храмов. Этот прекрасный вид на фоне гор останется в памяти Бенкендорфа.

Ещё 20 вёрст — и Тифлис! Контрасты Кавказа проявляются и

здесь: красота города — и чумное кладбище, напоминающее о недавней трагедии; древние стены, скалы над Курой — и опустевшие улицы, дома, брошенные жителями, бежавшими от морового поветрия (в 1803 году население города уменьшилось на треть).

Князь Цицианов в это время готовился к серьёзному походу на Гянджинское ханство. Предлогом стало «арестование и ограбление грузинских купцов» его правителем Джавадханом. Реальной же причиной было стремление Цицианова к «собиранию грузинских земель». К лету 1803 года к Грузии — а значит, и к России — была присоединена Алазанская долина, бывшая прежде базой для лезгинских набегов на Кахетию. Осенью настал черёд лежавшего к югу, вниз по течению Куры, Гянджинского ханства. Как считалось в то время, «прежде Гянджа находилась в подданстве Грузии и платила дань царю Ираклию, но с недавнего времени отложившийся Джеват-хан предался Персии и был главнейшею причиною разорения Тифлиса, в 1795 году случившегося, посему князь Цицианов решился наказать сего хана и Гянджинскую область присоединить обратно к Грузии»12.

Нелишне добавить, что схожие аппетиты были и у Персии, и у Турции: начало XIX века явилось пиком соперничества трёх империй за обладание Кавказом. Отсюда такое обилие Русско-персидских и Русско-турецких войн. В то же самое время персидский шах, например, заявлял в послании к имеретинскому правителю Соломону И: «Ведайте, что земли грузинские есть часть самодержавного иранского владения, а Георгий царь и его дети изменничеством и безумием привели малое количество войск российских для своей защиты и пособия и поставили их в Тифлисе»13.

Цицианов не боялся войны с Персией (официально она начнется через полгода с небольшим), но прежде желал обеспечить России выгодный плацдарм на юге. Именно Гянджа считалась ключом ко всему Южному Азербайджану. В конце ноября «главноначальствующий Грузии» выступил в поход с драгунским полком, шестью батальонами пехоты и двенадцатью орудиями. Пока отряд шёл вниз по правому берегу Куры, к нему присоединялись местные правители с собственными хорошо вооружёнными отрядами (грузины, армяне, «татары», то есть азербайджанцы). Бенкендорф отметил их искусную выездку и владение оружием.

На седьмой день пути войско достигло новой южной границы России. Отсюда Цицианов отправил Джавад-хану письмо с требованием добровольной покорности. «Гянджа со времени царицы Тамары, — писал князь, — принадлежала Грузии и

слабостью царей грузинских была отторгнута от оной… Недостойно бы было с силой и достоинством высокомощной и Богом вознесённой Российской империи оставить Гянджу, яко достояние и часть Грузии, в руках чужих. Пришед с войсками брать город, я, по обычаю европейскому и по вере, мной исповедуемой, должен, не приступая к пролитию крови человеческой, предложить вам о сдаче города… Буде завтра в полдень не получу ответа, то брань возгорится, понесу под Гянджу огонь и меч, чему вы будете свидетель…»14

Войска остановились в ожидании близ развалин древнего города Шамхора, известного высоким минаретом, получившим прозвание «одинокий столб». Ответ из Гянджи последовал довольно быстро. Джавад-хан счёл подобное обращение неверного оскорбительным и отреагировал соответственно: «Где это видано, чтобы вы были храбрее персиян? Видно, несчастный рок доставил вас сюда из Петербурга, и вы испытаете его удар». Бенкендорфу запомнилось ещё утверждение, что «если русские пушки длиной в аршин, то пушки хана — длиной в четыре аршина». После такого обмена любезностями осада и штурм города стали неминуемы. Для изучения обстановки 2 декабря 1803 года Цицианов придвинулся со значительными силами к городу и совершенно неожиданно натолкнулся на сопротивление в окружавших город садах и предместьях: их глинобитные и каменные ограды превратились в настоящие полевые укрепления.

Завязался бой, ставший первым серьёзным сражением для Бенкендорфа и Воронцова. Они упросили Цицианова позволить им принять непосредственное участие в деле. Каждый получил по 30 егерей и приказ выбить неприятеля из укреплений. Благодаря помощи артиллерии это удалось, и войска с разных сторон пробились через предместье Гянджи к торговой площади. За ней возвышалась довольно внушительная крепость с шестью башнями, двумя рвами, двойной стеной и цитаделью.

Первый успех окрылил молодых офицеров. Они решили с ходу взять передовое укрепление перед главными воротами, но попали под страшный обстрел с крепостных стен. Вокруг градом защёлкали пули, стали падать убитые и раненые. В этот момент был ранен в ногу капитан Котляревский, ровесник Бенкендорфа и Воронцова, в то время командир роты, а в будущем легендарный кавказский генерал. Воронцов и рядовой Богатырёв бросились на помощь. Богатырёва сразила пуля, но Воронцов сумел вытащить Котляревского из-под огня. Уцелевшие силы атакующих закрепились за стенами слободы, туда стали подтягивать орудия. Из-за укреплений Бенкендорф впервые увидел жуткую подробность восточной войны: сделавшие вылазку солдаты

противника добивали оставшихся у стен раненых и отрезали им головы. Так сложилась «непропорциональная» статистика потерь в войсках Цицианова: на 70 убитых только 30 раненых… Правда, Джавад-хан недосчитался не только 250 погибших в боях за предместье, но и 500 перебежавших к русским (в том числе 200 армян).

За участие в овладении городским предместьем, садами и караван-сараем Гянджи Бенкендорф и Воронцов получили первые боевые награды. На эфесах шпаг обоих поручиков засветился красный финифтевый медальон с крестом — «клюква», знак ордена Святой Анны 3-й степени. Теперь им хотелось новых боевых подвигов. Но война приобрела характер неспешной лагерной жизни: обед на открытом воздухе, верховая прогулка-рекогносцировка, иногда несколько ружейных выстрелов по крепости. Потянулась рутина осады с неторопливым ходом сапёрных работ, устройством батарей и укреплений, проведением переговоров.

Цицианов несколько раз предлагал Джавад-хану сдаться, чтобы избегнуть лишнего кровопролития, но ответом были неизменное «ты найдёшь меня мёртвым на крепостной стене» и ночные вылазки осаждённых. Не добавляло желания сдаться и размещение штаба Цицианова в мечети.

И вот в один из декабрьских дней Цицианов вызвал к себе Воронцова и Бенкендорфа и сказал, ч+о хочет избавить их от скуки долгой осады и поэтому отправляет назад, в Грузию, под начало генерала Гулякова, готовящего военную экспедицию в горы. Там, убеждал начальник, у них будет гораздо больше шансов отличиться.

Цицианов хитрил. Он уже решил брать Гянджу приступом и, насмотревшись на характерную для молодости безудержную храбрость обоих поручиков, хотел застраховать себя от неприятной обязанности сообщать о смерти героев их столичным покровителям. В письме Цицианову канцлер Александр Романович Воронцов просил поберечь племянника Мишу: «Он один у нас». С другой стороны, предложение Цицианова послать молодого Воронцова в Петербург с сообщением о первой же одержанной победе было отклонено Воронцовыми-старшими как недостойный способ получения чина и награды (вестников удачи в то время награждали независимо от их вклада в победу). Компромиссом стала отправка заезжих столичных гвардейцев на казавшийся более безопасным участок.

Пятидесятидвухлетний генерал-майор Василий Семёнович Гуляков считался храбрым и опытным воином и «бывалым» кавказцем. Он находился здесь уже три года и заслужил Георгия

3-й степени. Его успешный поход против лезгин весной 1803 года заставил этих неспокойных соседей присягнуть на верность России. Но, как это часто бывало на Кавказе, присяга, принесённая на бумаге, не смогла остановить опустошительные набеги на Грузию. В октябре 1803 года даже военный лагерь Гулякова подвергся атаке десятитысячного «скопища» горцев (лезгин и дагестанцев), которую пришлось отбивать с помощью пушек. На самое начало 1804 года был запланирован новый поход русских сил в Алазанскую долину. Однако пока войска собирались, пришло известие о том, что один из дагестанских правителей, казикумыкский Сурхай-хан (тот, что нападал на лагерь в октябре), перешёл пограничную реку Алазани и грабит грузинские селения в сорока верстах от русского лагеря. Гуляков решил атаковать вторгшихся грабителей.

Бенкендорф и Воронцов попали в боевой поход, словно с бала на корабль. Ещё недавно они встречали Рождество с весёлым тифлисским комендантом, «в окружении певцов и бутылок», наперегонки увивались за княжной Юстинианой в тщетных надеждах ей понравиться; теперь в самый канун новогодней ночи им пришлось выступить в поход и почти немедленно идти в бой.

Первого января 1804 года в первых рядах стрелков приятели пошли в атаку на неприятельский лагерь. Однако личной храбрости оказалось недостаточно для немедленного прорыва обороны. Знаменитая русская штыковая атака натолкнулась на яростное сопротивление горцев. Завязалась долгая интенсивная перестрелка. Вообще, судя по воспоминаниям Бенкендорфа, эта схватка с Сурхай-ханом не была такой успешной в военном отношении, какой её рисуют донесения Гулякова и Цицианова и вторящие им исторические исследования. Горцы не бежали, как писали в реляции, «спасаясь вплавь», а обеспечили отход главных сил со значительной частью захваченной добычи. Бенкендорфа поразила картина, дающая представление о размерах награбленного: когда он с одним из отрядов двинулся в обход, то издалека увидел на горе и большой части долины словно гигантское белое покрывало — это были стада овец, угнанные у местных жителей. Запомнилась ему и ночёвка в чистом поле, под снегопадом: отряд построился в каре и ощетинился штыками, опасаясь внезапной атаки вражеской конницы. Стонали раненые, хотелось пить, но воды не было ни для людей, ни для лошадей — до самого возвращения в лагерь.

В общем, наступление Гулякова не стало яркой военной победой, однако главную свою задачу выполнило: набег был отбит и не нанёс такого вреда, какой мог бы быть, останься нападение горцев безнаказанным. Личная храбрость

флигельадъютанта Бенкендорфа и графа Воронцова была замечена Гуляковым и достойно вознаграждена. В петлице Бенкендорфа вскоре появился малый крест ордена Святого Владимира 4-й степени. Почти сразу после боя в лагерь пришло важное известие: в ночь с 2 на 3 января Цицианов штурмовал Гянджу и овладел ею после упорного и кровопролитного боя. Джавад-хан, как и обещал, пал на крепостной стене, до последней минуты отбиваясь от противников саблей. В современном Азербайджане эта славная гибель сделала правителя героем борьбы за независимость. Над могилой Джавад-хана возвели мавзолей из красного кирпича, ему сооружают памятники, о нём пишут книги и снимают эпический художественный фильм. Родовой герб Джавад-хана стал гербом современной Гянджи, а 3–5 января в городе отмечают как «дни героизма Джавад-хана»15.

Между тем Гуляков приготовился перейти границу Грузии и заново привести горцев к покорности. У берегов Алазани Бенкендорфу и Воронцову пришлось разлучиться: флигель-адъютанту пора было ехать назад, чтобы присоединиться к заждавшемуся Спренгтпортену, а графу предстояло отправиться с Гуляковым в горы. Разлука чуть было не стала вечной: обычно удачливый генерал через несколько дней попал в Закатальском ущелье в классическую горную засаду. В теснине его отряд был обстрелян и тут же атакован лезгинами сразу со всех сторон. Гуляков, который по обыкновению шёл впереди колонны, пал от пули одним из первых; его тело пришлось отбивать у горцев. Началась жестокая схватка, в которой Воронцова спасла не столько храбрость, сколько случайность: бросившийся назад авангард смял основную колонну, и в безумной давке под обстрелом многие, и в их числе Воронцов, были скинуты толпой в «прекрутой яр». Сберегло Воронцова только то, что его падение смягчили тела людей и лошадей, упавших раньше. Кое-как выбравшись, он даже принял участие в бою, закончившемся спасительным отступлением.

О случившемся несчастье Бенкендорф узнал в Тифлисе: сначала сообщили, что Воронцов погиб. Трагическое известие понеслось дальше, в Петербург и Лондон, и на несколько дней повергло отца, дядю и сестру Михаила в «ужас отчаяния». Но сам он, к радости друзей, вскоре объявился в Тифлисе — живой, хотя и не вполне невредимый.

Воронцов ещё примет участие в войне с Персией, заслужит капитанский чин и орден Святого Георгия 4-й степени, будет ходить в походы то по выжженным степям, то «по горло в снегу», перенесёт две горячки и три лихорадки и только в конце 1804 года покинет Цицианова, получив от него похвалы и предложение

остаться в дружеской, «а не чиновной» переписке.

А Бенкендорф уже в начале 1804 года отправится назад через заснеженные перевалы Кавказского хребта. Позади останется страна, поразившая его контрастом роскоши и бедности, героизма и предательства, восхитительной, но безжалостной к человеку природой; благодатный край, страдавший от междоусобиц, набегов, войн и эпидемий.

Напоминания о недавней чуме не оставляли путников на всём протяжении Военно-Грузинской дороги. А в самом её конце, уже у Моздока, как и все прибывавшие из Закавказья, Бенкендорф попал в «прескучный карантин». Он вспоминал: «Нас заперли на несколько дней в отвратительной хижине, в которой ветер и снег, проникавший во все дыры, как нельзя лучше очистили нас от всех возможных заразных болезней». Только в полюбившемся ему казачьем Черкасске Бенкендорф провёл несколько спокойных дней, наслаждаясь забытыми городскими радостями: житьём в удобстве, не имея надобности ни в оружии, ни в охране и «по возможности развлекаясь».

Проезжая по Новороссии, Бенкендорф отдал должное гению Потёмкина, по его словам, «творца всего Юга России».

В Херсоне, тогда ещё гордившемся званием главной базы Черноморского флота, Бенкендорф не мог не признать величия сделанного всего двумя десятилетиями ранее: «Значительный город, внушительная крепость, активная торговля, которую ведёт Херсон, — всё это тоже деяние Потёмкина, этого — можно даже наградить его титулом высшего должностного лица побеждённой им империи — визиря императрицы, великого и замыслами, и талантами, и пороками». С заметными нотками сожаления записывает Бенкендорф историю о том, как в царствование Павла был разорён мавзолей «визиря», а его тело выброшено в волны Днепра. Сделанный из неё вывод перекликается с его личным опытом: «Низость придворных всегда идёт дальше желаний тиранов»…

В Херсоне Бенкендорфа и других своих подчинённых дожидался «старина генерал». В его планах были не только Новороссия и Крым, но и Константинополь, и Греческий архипелаг, с посещением которого экспедиция должна была завершиться.

Бенкендорф начинает задумываться о будущем. 5 марта 1804 года он пишет Воронцову письмо, где делится полупланами, полусомнениями: «Я ещё не знаю, чего и желать. Хочется объехать архипелаг, повеселиться в Италии, видеть Берлин и через Польшу возвратиться домой, но в таком случае, если войны не будет; а коли скоро наши войска тронутся, то ни за что не останусь при

генерале или в чужих краях. Если князь Павел Дмитриевич (Цицианов. — Д. О.) останется главнокомандующим в Грузии, то с радостию и под Эривань постараюсь поспеть… Ты видишь, любезный Михаил Семёнович, не ведаю, что со мной будет, и жду на это от Ливена письма»16. (Зять Бенкендорфа генерал Х. А. Ливен всё ещё оставался начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества, и от него во многом зависели будущие назначения.)

В начале весны, когда в сборе были все участники экспедиции, Спренгтпортен направился в Крым, завоевание которого было ещё совсем недавней историей. Бенкендорф снова вспоминает Потёмкина; но, наблюдая пустынные земли от Перекопа до Ак-Мечети (Симферополя), то есть на протяжении более 100 вёрст, он составляет весьма критическое мнение о присоединении полуострова: «Справедливости ради следует сказать, что вечным позором для завоевателей и для царствования Екатерины будет то, что эта прекрасная область, когда-то житница Константинополя и всей Малой Азии, покрытая городами с цветущими садами и питавшая более миллиона трудолюбивых жителей, была превращена в пустыню. Весь Крым сделался безлюдным». Добравшись до Кафы (Феодосии), Бенкендорф расстроился ещё больше: «Весьма просторная бухта была некогда заполнена судами; теперь здесь нет и полутора сотен жалких лачуг, ни тени торговли; разруха и нищета овладели этим городом с того момента, как он перешёл под власть великой Екатерины. Находясь в Кафе, испытываешь стыд; татары здесь искусно строили, русские всё варварски разрушили». Удручённое настроение усугубляет поразившая молодого поручика красота Крымского побережья, тогда практически неизвестная в России. Он отправляется на прогулку пешком от Феодосии до Судака, пересекает знаменитые «плюшевые» холмы в районе Коктебеля, взбирается на гору с генуэзской крепостью и с её высоты любуется «незабываемым видом на безбрежные дали Чёрного моря». По воспоминаниям видно, как романтические и поэтические чувства захлестывали 22-летнего офицера: «Весь этот край завораживает древностью и легендарностью своей истории, потрясениями, которые он испытал, народами, которые его населяли и, сменяя друг друга, владели этой землёй, — следами присутствия греков, генуэзцев, татар и вот теперь — русских».

В Бахчисарае экспедицию размещают в знаменитом ханском дворце, тщательно сохраняемом со времён Екатерины. И здесь, среди былой роскоши Гиреев, среди фонтанов, мраморных купален, садов Бенкендорф проникается чувством симпатии к былым правителям края. Уезжая в Севастополь, он «всё пытался

представить печаль, которую должен был испытывать хан, вынужденный навсегда покинуть свой дворец и сам прекрасный Крым».

Только построенный по строгому плану Севастополь с его обширной бухтой-портом («все флоты Европы могли бы здесь встать на якорь») кажется Бенкендорфу оправданием завоевания Крыма.

Что же, Крым — место, «где обрывается Россия / Над морем чёрным и глухим», — конец путешествия? Вовсе нет. В Севастополе участников вояжа подхватывает военный бриг и несёт к берегам Босфора, в Турцию, в Константинополь.

Война за войной

Это было время первого равноправного и взаимовыгодного русско-турецкого союза, заключённого в 1799 году. После него русско-турецкая эскадра под командованием адмирала Ушакова начала операцию по освобождению Ионических островов, захваченных французами. Именно тогда «корабли штурмовали бастионы», а Ф. Ф. Ушаков вошёл в историю уникальной победой — взятием мощной приморской крепости не с суши, как это предписывалось правилами военного искусства, а с моря. Ни последующий мир с Францией, ни дипломатические игры Наполеона с целью отвадить Турцию от России долго не могли разрушить этого союза, продлённого в 1805 году. А в 1804-м султан Селим ясно выразил свою позицию в одном из посланий великому визирю: «Если Франция объявит войну моему государству и России, моему союзнику, то по требованиям договора мы выступим против Франции. Так я понимаю этот вопрос, и таковы мои намерения». Он же в знак расположения переслал Александру письмо Наполеона с резкими выпадами против российского императора17.

Вот почему в 1804 году русский военный бриг так легко вошёл в укреплённый Босфор, отсалютовал у самого входа в него форту Килия и через несколько часов бросил якорь в самом широком месте пролива, у деревушки Буюк-Дере, близ которой находилась (и находится до сих пор) летняя резиденция русского посланника.

Многолюдный город, расположенный в двух частях света, потряс молодого поручика. Налюбовавшись Константинополем с бирюзовых вод Босфора, он записал: «Восхищённый взгляд сначала теряется на неохватном пространстве нагромождения домов, построек, минаретов и, наконец, замирает на вершине, где среди окружающих его садов возвышается дворец султана… Поистине Константинополь представляется столицей мира. Не только величие греков, могущество султанов — кажется, что и сами небеса обосновались здесь, между Европой и Азией, между Севером и Югом, чтобы властвовать на земле».

Русских союзников встречали в Стамбуле весьма радушно. Министр иностранных дел принял Спренгтпортена и его спутников в Диване — средоточии османского государственного управления. Сам султан Селим III пригласил посланцев императора присутствовать на манёврах и любезно угощал их в своем шатре кофе и трубками.

Гостям было позволено посетить султанский дворец Топкапы

(пока правитель был в загородной резиденции) и даже самые красивые мечети Стамбула. Правда, прогулка по мечетям должна была проходить непременно в сопровождении янычар — что, как буднично объяснили турки, просто необходимо для защиты российских подданных от фанатичных мусульман: они «не любят, когда христианские собаки заходят в эти священные места», так что без охраны могут и убить…

Однако особой религиозной строгости Бенкендорф не заметил. Точнее, строгость эта у многих турок была внешней, напускной. В немусульманском районе Пера, отделённом от старого города бухтой Золотой Рог, вечерами и ночами гуляла турецкая молодёжь, забывавшая предписания пророка ради вина и чувственных удовольствий. В посольстве рассказывали историю о некоем хитроумном греке, представлявшем молодых женщин-европеек, посещавших его сомнительное заведение, исключительно как «жён дипломатов и послов». Такой качественный живой товар приносил значительные доходы до тех пор, пока мошенничество не привело к скандалу. Поверившие греку молодые турки начали хвастать своими «международными победами» по всему Стамбулу, и эти похвальбы достигли ушей великого визиря. Тот обратился с нотой к иностранным посланникам, в которой призвал их унять своих «беспутных жён». Потрясённые дипломаты потребовали объяснений и расследования. В конце концов мошенник-грек был повешен.

…А Бенкендорф наслаждался жизнью большого и необычного города — то ли турецко-мусульманского Стамбула, то ли антично-византийского Константинополя. Он бродил по экзотическим восточным лавочкам и базарам, совершал верховые прогулки в Буюк-Дере и, конечно, не забывал о приключениях амурных, разрываясь между некой прекрасной вдовой и благосклонной женой неаполитанского консула. Времени было предостаточно: Спренгтпортен ждал, когда в Константинополь прибудет русская эскадра.

Корабли пришли тайно, под торговыми флагами, с задраенными орудийными люками и выкрашенными в чёрный цвет бортами. Эти предосторожности явились данью режиму проливов, согласно которому Оттоманская империя не позволяла проход через них иностранным военным судам. На кораблях находились войска, артиллерия и амуниция — всё это предназначалось для укрепления важного средиземноморского форпоста России — Ионических островов. В 1804 году считали, что Бонапарт захочет взять реванш за неудачу Египетского похода. Поэтому, делали вывод эксперты, сосредоточение значительных французских сил на берегах Адриатического моря и

в Неаполитанском королевстве «не оставляет сомнения в том, что Бонапарт имеет намерение предпринять в ближайшее время высадку в Далмации и Греции»18. Личный эмиссар Первого консула Франции Ф. Себастьяни опубликовал в официальной правительственной газете отчёт о поездке по Восточному Средиземноморью, в котором настаивал на повторном захвате Египта и Ионических островов19.

В конце концов император Александр отправил в Средиземноморье экспедиционный корпус генерал-майора Р. К. Анрепа — военачальника, которому прочили большое будущее. Его задачи поясняла инструкция: «…Знатные приуготовления, чинимые в разных пунктах Италии, и готовность флота Тулонского к отплытию с немалым корпусом десантных войск утверждают доходящие до нас сведения о видах Первого консула на Ионические острова и области турецкие со стороны Адриатического и Белого моря. Поелику в политической системе Россиею признано необходимым препятствовать всеми силами разрушению Оттоманской империи по многим соображениям, а наипаче по бессилию, в коем ныне оная находится и которое соделывает её соседом для России безопасным, а потому наилучшим, то и принята здесь решимость тому соответственная, вследствие коей назначены к отправлению на Ионические острова в подкрепление находящегося там малого корпуса войск наших, для внутреннего токмо устройства и охранения, ещё двенадцать батальонов инфантерии и две роты артиллерийские…»20

Дойдя до Константинополя, корабли открыли пушечные порты только для приветственного салюта — и подняли флаги. Состоялась торжественная встреча русской и турецкой эскадр. Как вспоминал Бенкендорф, «трудно увидеть более впечатляющее зрелище: порт, пролив были покрыты бесконечным множеством баркасов и лодок, берега Азии и Европы наводнили толпы народа». Над Босфором «бушевало дружное „ура“ и клубился дым орудий; раскаты залпов ещё долгое время неслись над проливом».

Вдогонку за русской эскадрой направилась и экспедиция Спренгтпортена. Бриг покинул стоянку у Буюк-Дере, скользнул мимо Галаты с её высокой генуэзской башней, мимо усыпанного лодками Золотого Рога, мимо высокого мыса с султанским дворцом, мимо мрачного Семибашенного замка у городских стен и — прощай, Стамбул! Бенкендорф больше не увидит этот город никогда.

К вечеру уже показались пустынные берега Дарданелл, навеявшие мысли о войнах персов и греков, о Ксерксе, приказавшем высечь непослушное море, о долгом соперничестве мусульман и генуэзцев…

Дальнейшее путешествие Бенкендорфа на бриге вдоль берегов Эгейского моря — в то время внутреннего моря Турции — окончательно окунуло его в легендарный мир античной Греции. «Видя все эти места, которые занимали твой ум в детстве, приходишь в состояние сна наяву», — признавался он. Классика обретала здесь реальные черты: вот Ламзак, родина Эпикура; вот Троя Александра, близ которой где-то в холме спрятана Троя Гомера. Вот остров Лесбос, а вот и Измир, ниспадающий с гор к заполненной кораблями бухте. Здесь была остановка в резиденции русского консула и затем — верховая прогулка в некогда великолепный Эфес. Море отступило, что заставило людей покинуть богатый город. В окружении античных руин Бенкендорфом овладела меланхолия: два дня провёл он в мёртвом городе, исходив его вдоль и поперёк, и развалины постоянно наводили его на мысли о бренности бытия. Облегчение принесло только отплытие: с борта брига молодой путешественник размышлял об Азии, казавшейся ему «обреченной на долгие века варварства и забвения: может быть, исчезнут даже следы руин Эфеса, прежде чем цивилизация и свобода вернутся, чтобы осчастливить свою колыбель».

Меланхолию излечили бело-голубые цвета островов Греческого архипелага с их запоминающимися запахами моря и апельсинов. С острова Хиос открылся вид на обширную Чесменскую бухту, памятную громкой победой русского флота в 1770 году. Любопытно, что Бенкендорф видит её не глазами русского офицера, а глазами местного населения. «Я подумал, — записывает он, — каким ужасным зрелищем тогда должны были предстать для жителей Хиоса взрыв нашего линейного корабля и гибель более семидесяти турецких судов».

Венец «путешествия в древность» — Афины. Записки отражают наполнивший душу путешественника восторг: «Мои взоры не могли оторваться от этого прославленного города или, скорее, от воспоминаний, связанных с этой античной твердыней, одно только имя которой воскрешает в памяти череду великих событий, великих лиц, великих подвигов, эпохи его процветания и превратностей его судьбы. Я с восторгом созерцал прекрасное зрелище последних закатных лучей между колоннами храма Минервы, золотивших отполированный веками мрамор. Наш бриг бросил якорь в порту Пирея! Я провёл бессонную ночь на борту нашего брига, пытаясь пожить за две тысячи лет до моего рождения. Едва занялся день, я сошёл на берег и не могу выразить того живого ощущения, которое я испытал, ступая по этой земле; мое воображение поднимало из руин разрушенное, вновь отстраивало храмы, воскрешало рядом со мной Алкивиада

и его великих воинов».

Болезнь Спренгтпортена подарила Бенкендорфу целых шесть недель общения с миром Античности. Он обстоятельно исследовал Афины и их окрестности, начиная с Парфенона и превращённого в мечеть храма Минервы и заканчивая Элевсином, некогда известным своими пышными мистериями.

Искренние восторги доверялись путевому дневнику; друзьям же, в частности Воронцову, Бенкендорф писал о своих экскурсиях не без иронии: «Бегаю по развалинам, занимаюсь вырытыми вазами, заключающими пепел знаменитых греков… и если б Минервины, Тезеевы, Юпитеровы и Ерехтеевы храмы не были в столь жарком крае, я бы тебе о них славное описание послал»21.

Спренгтпортен был чужд восторгов, вызываемых памятниками Античности. Поправив здоровье на одном из живописных греческих островов, он приехал в Афины только для того, чтобы собрать свою экспедицию и отправиться дальше. Прощаясь с центром легендарной Эллады, Бенкендорф еле сдерживал эмоции: «Надо ли говорить, с каким чувством я отплывал! В виду… исчезающего в море силуэта (греческих берегов. — Д. О.) я дал обет — как бы ни сложилась моя судьба, однажды сюда вернуться, чтобы поднять его из руин».

А вот художник Емельян Корнеев воспринимал отплытие из Афин с радостью: он для того провёл почти три года со Спренгтпортеном, чтобы в конце концов посетить вожделенную Италию. Его ждала встреча с Неаполем и Венецией, Бенкендорфу же попасть в Италию и Германию на этот раз не довелось.

Конечный пункт маршрута экспедиции Спренгтпортена — остров Корфу — стал отправной точкой в карьере Бенкендорфа-командира. Он стал, если применить современное понятие, «иностранным военным специалистом». Пришедший из Петербурга приказ «изымал» поручика из-под начальства Спренгтпортена и вверял в руки генерала Р. К. Анрепа, командовавшего русской военной базой на Корфу. В сентябре Бенкендорф сообщает Воронцову: «Итак, дорогой друг, я вновь волонтёр, не знающий точно, против каких войск мы будем драться, что меня не волнует, лишь бы была возможность участвовать в бою»22.

К этому времени Россия имела на Ионических островах мощную военную базу: около 11 тысяч солдат и не менее 16 кораблей23. Важно отметить, что эти силы не просто снискали расположение местных жителей, а находили в них искренних союзников.

Гвардии поручику Бенкендорфу была доверена военная подготовка особого отряда, так называемого Албанского легиона.

Его составили «зилоты» — жители горной Албании, бежавшие от турецких притеснений на независимые греческие острова. До этого они 17 лет пытались отстаивать свою свободу, так что Бенкендорф получил под начальство 600 опытных воинов, правда, незнакомых с воинской дисциплиной и способами ведения «правильного» боя в строю. Разномастный отряд предстояло превратить в подобие регулярного войска, провести его строевую и тактическую подготовку. «Наши учения и военные игры, — замечает Бенкендорф, — обычно следовали после приёма пищи и весьма забавляли это воинственное племя». Для лучшего понимания образа мышления греков поручик время от времени надевал их национальную одежду. Вскоре он завоевал расположение своих подчинённых: они даже обещали, что однажды на руках вознесут командира на стены Константинополя. «Невольно думалось, глядя на них: грек всё ещё остаётся тем, чем он был в лучшие времена Афин, одно проникновенное слово может воодушевить его; думаю, что энтузиазм, к которому он восприимчив более, нежели все народы Европы, вознесёт на высочайший уровень могущества того, кто сумеет его зажечь и вернуть этой нации её прежнюю независимость».

Результаты обучения легиона проверял сам генерал Анреп. Ему были продемонстрированы небольшие манёвры, состоявшие из атаки и защиты деревни и садов. Прошли они успешно: Бенкендорф показал себя неплохим строевым командиром.

А вот манёвры на любовном фронте вовлекли 23-летнего поручика сначала в шпионскую историю, а потом и в политическую интригу.

Ещё в Константинополе, за несколько дней до отплытия на Корфу, с ним «случайно» познакомилась обаятельная француженка, некая генеральша Леюойер. Так же «случайно» она через некоторое время оказалась на судне, поставленном в карантин у берегов Корфу. К французам, как к потенциальным противникам, греки относились весьма подозрительно и на берег старались их не выпускать. Мадам Леюойер поспешила дать знать Бенкендорфу, что она рядом: муж-генерал отправил её в Париж в обществе секретаря, а она еле уговорила провожатого остановиться на Корфу на несколько дней — ради возможности увидеться с запавшим ей в душу русским поручиком. Привыкший к собственной неотразимости Бенкендорф поверил такой романтической истории и через генерала Анрепа добился, чтобы местные власти избавили красавицу от карантина. Мадам Леюойер и её сдержанный спутник ступили на берег и вскоре уже обживали приготовленную для них квартиру. Сопровождавший

генеральшу секретарь с пониманием отнёсся к её желанию сполна вознаградить освободителя за его заботу, поэтому не мешал романтическим свиданиям. Вскоре наш гвардейский поручик пригласил французского секретаря отобедать в компании русских офицеров, и тут случился конфуз: один из моряков узнал в госте… самого генерала Лекюйера, сотрудника французского посольства в Константинополе и заботливого супруга вызволенной из карантина дамы. Леюойер бросился вон из комнаты, следом — Бенкендорф, немедленно поспешивший доложить Анрепу о затеянной французской четой игре. Выяснилось, что супруги были шпионами, собиравшими сведения о русской военной базе на Ионических островах. Податливость Бенкендорфа на женские чары сделала его пешкой в искусной игре и чуть было не позволила генеральше и её «секретарю» узнать всё необходимое из первых рук. Анреп получил дополнительные сведения о парочке Леюойер по другим каналам, но снаряжённая погоня опоздала, — свежий ветер уже нёс французский корабль подальше от опасности. Для Бенкендорфа этот опыт стал потрясением: он впервые встретился и с бесчестностью мужа, торгующего собственной супругой ради достижения корыстных целей, и с мошенничеством женщины (теперь он называл её «бесстыдной»). Подобные разведывательные методы французского правительства Бенкендорф считал «грязным макиавеллизмом».

Полученный урок добавил молодому поручику осторожности, но вовсе не отвратил его от поиска новых побед на любовном фронте. В результате новый виток амурных приключений, которые Бенкендорф подробно, чуть ли не смакуя, описывал в своих мемуарах, столкнул его с русским посланником на Корфу графом Е. Д. Моцениго. Причиной раздора стала первая красавица острова, юная вдова мадам Армани, общительная, музыкальная и, в дополнение ко всем своим достоинствам, богатая. У неё не было недостатка в кавалерах, но именно трудность задачи вновь (и не в последний раз) распалила влюблённость 23-летнего поручика настолько, что он оставил дела, посвятив все усилия предмету своего вожделения. Он вошёл в круг обожателей мадам Армани и благодаря настойчивым ухаживаниям не просто освоился в нём, а постепенно выдвинулся на первые роли. Для окончательного достижения успеха у молодой вдовы Бенкендорф применил сильнодействующее средство: он «рискнул внушить, что может жениться на ней». В результате конкуренты-ухажёры были отправлены в отставку, в том числе и посланник Моцениго. Этот венецианец по происхождению и дипломат по профессии немедленно сделался

«другом» удачливого Бенкендорфа и дал ему понять, что совершенно смирился со своим фиаско. На самом же деле хитроумный Моцениго затеял ловкую интригу и к весне 1805 года добился удаления Бенкендорфа с Корфу. Для этого посланник «открылся» правительству Ионических островов и генералу Анрепу, что, как друг Бенкендорфа, потрясён его коварством, скрытностью и подозрительностью. Как пишет сам пострадавший, «он измыслил, что я занимаюсь обучением зилотов лишь для осуществления каких-то своих тайных и опасных политических планов, в его наветах я был выведен как тщеславный выскочка, внушавший зилотам видеть во мне их вождя, якобы… даже приказывал им называть себя ромейским эфенди».

Впрочем, Анреп попытался найти компромиссное решение: удаление нашего героя произошло под благовидным предлогом. Бенкендорф, как флигель-адъютант, был отправлен к императору Александру с докладом: ему было вменено в обязанность лично сообщить царю и министрам о состоянии русской военной базы на Корфу и дать все необходимые пояснения. Он охотно отправился в Россию — он был уверен, что вернётся, самое позднее, через несколько месяцев.

Спустя неделю после отплытия корабль, взявший на борт Бенкендорфа, пробился через мартовские штормы к Триесту. Здесь посланцу Анрепа пришлось провести двадцать дней в карантине, а потом, простыв от слишком ранних морских купаний, ещё шесть недель проваляться с лихорадкой в Вене. После этого он помчался в столицу России так быстро, что даже обогнал по дороге австрийского курьера, выехавшего на сутки раньше.

«Его Величество Император принял меня с добротой и приказал мне побеседовать с министром военно-морских сил и министром иностранных дел о различных вопросах, касающихся наших сил и нашей позиции в Корфу; после этого мне было объявлено, что я должен оставаться в Петербурге».

В предчувствии большой войны он торопится вкусить прежних прелестей столичной гвардейской жизни. «Надо, — читаем мы в очередном письме Воронцову, — посмеяться в Петербурге и приготовиться к кампании против французов». Бенкендорф ещё надеялся, что эта кампания начнётся в Средиземноморье; но вернуться на Корфу ему не пришлось.

В Петербурге вся гвардия распевала «Марш Преображенского полка», бравую песню, написанную другом Бенкендорфа и Воронцова Сергеем Мариным:

Пойдём, братцы, за границу, бить Отечества врагов!

Война с Наполеоном становилась неизбежной. Осенью 1804 года Россия и Австрия подписали декларацию о тесном союзе, а зимой 1805-го был заключён союзный договор с Швецией. Весной того же года подобный договор соединил Россию и Англию, которая уже воевала с Наполеоном и с тревогой вглядывалась во французский берег Ла-Манша, где собралась гигантская армия вторжения. Наконец, летом Австрия объявила о своём присоединении к союзу России и Англии. Оставалась ещё колебавшаяся Пруссия, но и без неё сложившаяся антифранцузская коалиция (третья по счёту) могла направить против Наполеона полмиллиона штыков, поддержанных миллионами английских фунтов стерлингов.

Война должна была прокатиться по всей Европе: части под командованием бывшего начальника Бенкендорфа генерала Анрепа планировалось перебросить морем с Ионических островов в Неаполь, чтобы наступать в Италии (где в марте новым королём был провозглашён Наполеон). Войска Кутузова должны были вместе с австрийцами вступить в Баварию. Почти стотысячная русская армия под командой Михельсона (некогда победителя Пугачёва) стояла на границе с Пруссией, то ли «подталкивая» этого соседа к присоединению к коалиции, то ли готовясь направиться в Австрию следом за Кутузовым.

На север континентальной Европы, для совместного с англичанами и шведами действия в Шведской Померании, Ганновере, а потом и Голландии, предполагалось направить 20-тысячный корпус графа П. А. Толстого. Именно в этом корпусе довелось продолжить службу Бенкендорфу и Воронцову. Полковник М. С. Воронцов, поправивший здоровье после возвращения с Кавказа, занял должность бригад-майора24, то есть начальника штаба корпуса; его двоюродный брат Л. А. Нарышкин и А. Х. Бенкендорф, оба поручики, стали адъютантами Толстого.

Граф Пётр Александрович Толстой, личность в своё время весьма приметная, стал на ближайшие годы не просто начальником, но и покровителем Бенкендорфа. Художник Ф. П. Толстой, весьма близко знавший своего дядю, в семье которого одно время воспитывался, дал ему такую характеристику: «Граф Пётр Александрович… был неглупый человек, но и не отличался своим умом; образование получил также совсем не отличное, он и по-французски говорил плохо. Он, кажется, полагал, что более того, что он знал, и знать не нужно. Я

никогда не видал, чтобы он занимался чтением, не знаю, учился ли он топографии… Зато он был очень добр, правдив, щедр и честен в высшей степени и за правду готов был стоять перед чем бы то ни было непоколебимо»25.

П. А. Толстой был племянником графа Салтыкова, представителя одного из самых влиятельных семейств при дворах русских императриц, и состоял либо в родстве, либо в самых тесных связях со всей знатью. Удачная женитьба на княжне Голицыной (фрейлине и одной из богатейших невест России, при этом круглой сироте, воспитанной под присмотром императрицы) принесла ему материальное благополучие. Участие в Польском походе 1794 года под началом Суворова было отмечено (по личному представлению великого полководца) орденом Святого Георгия 3-й степени и званием полковника. Впрочем, всё это добавило обязанностей: под командование Толстого был отдан самый крупный кавалерийский полк русской армии, Псковский драгунский, чтобы, как вспоминал Ф. П. Толстой, «он деньгами своей жены поправил положение полка»: «Тогда говорили, что этот полк был дан Петру Александровичу потому, что никто его не принимал, так он был расстроен в финансовом отношении»26. Парадокс ситуации заключается в том, что тогда многие офицеры жаждали полковничьей должности, чтобы, наоборот, поправить своё материальное положение за счёт армейской кассы.

В царствование Павла Толстой стал генералом в двадцать восемь лет, а членом Военной коллегии — в тридцать! Правда, в ту нестабильную эпоху ему пришлось испытать не только милость, но и гнев неуравновешенного монарха: однажды ему было велено в три дня вместе со всем семейством выехать из Петербурга. Впрочем, вскоре он уже был назначен сенатором…

К 1805 году Толстой командовал первым гвардейским полком, Преображенским, и одновременно занимал важный пост петербургского военного губернатора. Рассказывали, что ему предлагали совместить этот пост с должностью гражданского губернатора столицы, но он ответил, что примет её только при выполнении определённого условия, а именно, что всем подведомственным ему чинам содержание будет увеличено настолько, чтобы их потом можно было карать за получение взяток. При существующих убогих окладах, заявлял Толстой, преследовать за взятки просто невозможно. Такое условие центральные власти удовлетворить не смогли. Но и на должности военного губернатора Толстой завоевал заметную популярность, поскольку заботился не только о внешнем порядке и благоустройстве города, но и о нуждах населения. Современники вспоминали, что в праздничные дни у его дома собирались толпы

народа: граф щедро оделял деньгами бедняков и нуждающихся солдат. Щедрость Толстого была настолько велика, что к лету 1805 года он залез в долги и даже заложил бриллианты жены. Отправляя Толстого в действующую армию, император Александр предложил заплатить долги губернатора, на что тот гордо ответил, что в силах расплатиться сам; если же состояние не позволит ему продолжать службу, то он удалится в деревню. «Толстой был типичным русским барином, — пишет биограф, — не особенно глубокого ума, не слишком образованный, честный, прямой и добрый, но до крайности гордый и беспечный, он… искренне считал большую часть того, чем ему приходилось заниматься, „плёвым делом“ — любимое его выражение. <…> Единственное, что заставляло его стряхивать с себя по временам лень, это был его глубокий патриотизм… Не простой фразой были для графа слова: „Россия, это, брат, мать наша“»27.

А между тем 1 сентября был объявлен большой рекрутский набор: по 4 человека с каждых 500 душ да ещё с разрешением брать рекрутов ростом ниже нормы. Сопровождавший его указ Сенату не оставлял сомнений: война начинается. В нём говорилось: «Среди происшествий, покой Европы столь сильно возмутивших, не могли мы взирать равнодушно на опасности, ей угрожающие. Безопасность империи нашей, достоинство ея, святость союзов и желание, единственную и непременную цель нашу составляющее, водворить в Европе на прочных основаниях мир, решили двинуть часть войск наших за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия»28.

Девятого сентября 1805 года император Александр отслужил молебен в Казанском соборе и прямо’Оттуда поехал к армии. Через три дня, 12 сентября, отправился на театр военных действий корпус Толстого. Бенкендорф запомнил торжественный момент отбытия на «большую войну»: фрегат «Эммануэль» выходил из порта через лес мачт, под крики «ура!» и звуки полковых оркестров.

Для того чтобы перебросить из Кронштадта, Ревеля и Риги29 в Шведскую Померанию более двадцати тысяч «строевых чинов», понадобилось нанять 140 частных купеческих кораблей. Именно на море, задолго до начала боевых действий, русский экспедиционный корпус подстерегало самое суровое испытание всего похода. Двигавшаяся на запад «армада» попала в жестокую бурю, которая разметала суда по морю, да так, что не обошлось без жертв. В результате кораблекрушений погибло около четырёхсот казаков, а взвод кирасиров оказался выброшенным на какой-то дальний остров и остался там зимовать. Уцелевшим кораблям пришлось приставать где придётся: кому-то у берегов

Померании, кому-то — у острова Рюген. Только потом, уже сухим путём, полки стали сходиться к намеченной точке прибытия, в окрестностях Штральзунда.

Войска собрались, но как и против кого действовать — ясности не было даже у Толстого. Задача ему была поставлена нечётко: всё зависело от того, какую позицию в начавшейся войне займёт Пруссия. Александр I не был уверен, станет ли его друг, прусский король Фридрих Вильгельм, его военным союзником. На всякий случай он говорил с Толстым о трёх вариантах развития событий: либо, если Пруссия отнесётся к России враждебно и объявит войну, блокировать порты и отвлекать её силы в Померании; либо, если она займёт враждебный нейтралитет и откажется пропускать по своей территории войска Михельсона, самим войти в Пруссию и идти на Берлин; если же Пруссия проявит дружественное расположение и пропустит русские войска — вариант наиболее вероятный и благоприятный — то… ждать.

Прошёл сентябрь. Пруссия в конце концов склонилась на сторону России, оскорблённая бесцеремонным проходом войск Наполеона через германские территории. Тогда Александр вызвал Толстого в Берлин и там, наконец, обозначил задачу. Командующему «Северной группой войск» предписывалось уговорить шведов к скорейшему открытию похода, соединиться с англичанами и изгнать французов из Голландии. Если шведы замешкаются, то Толстому предлагалось вдги в Ганновер и взять крепость Гамельн — единственную занятую французами.

В уговорах шведского короля Густава Адольфа (боявшегося, что пруссаки займут его владения в немецкой земле) прошёл и октябрь. За это время Наполеон успел перебросить свои главные силы от Ла-Манша в Баварию, окружить и заставить капитулировать австрийскую армию, вынудить Кутузова к отступлению. Только 31 октября, когда авангард Мюрата уже подходил к Вене, Толстой двинул свой корпус через Мекленбург на Ганновер. Во главе русских колонн двигался авангард под командованием Бенкендорфа, состоявший из двух полков уральских казаков (около 600 человек). Бенкендорф вспоминал, что этот марш русской армии (русских не было в Германии со времён Семилетней войны) «уподоблялся торжеству» и население встречало идущие колонны «с восторгом и любопытством». Особый интерес вызывали казаки, которых тогда представляли в Европе не иначе как «орду кровожадных варваров»30. Герцог МекленбургШверинский и владетельные князья выезжали навстречу русской армии, в крупных городах устраивались балы для офицеров, а простые жители угощали проходивших через их

селения солдат.

В конце концов Ганновер был занят войсками Толстого, а к крепости Гамельн выслан отрад «для наблюдения». С этим отрядом отправился и Бенкендорф — чтобы коснуться реальных боевых действий.

Формуляр Бенкендорфа — и следом за ним биографы — делает ошибку, сообщая, что он «1805 года в генваре лично командовал казаками в первой атаке при крепости Гаммле, где разбил неприятельские передовые посты»31; конечно, это произошло в ноябре. Казаки Бенкендорфа были на самом острие авангарда. Перед ними была поставлена задача очистить окрестности Гамельна от боевого охранения противника. Французы оказались застигнуты врасплох; несколько десятков человек бросили прикрывавший дорогу к крепости форт и бежали к ближайшему лесу. К тому времени, когда к Гамельну подошли пехота и артиллерия авангарда, все окрестности на пушечный выстрел от грозной крепости были взяты под контроль.

Правда, ни штурма, ни даже полноценной блокады города не получилось: союзники никак не могли найти общий язык. Бенкендорф с казаками ушёл на запад; его аванпосты доходили почти до самой границы с Голландией, однако никаких распоряжений о наступлении всё не поступало.

Двадцатого ноября для взаимодействия с Толстым наконец-то прибыло внушительное 25-тысячное войско англичан. К тому же шведский король Густав Адольф позволил себя уговорить и выставил армию, дополненную Ганноверским легионом добровольцев, снаряжённым «на счёт России». Через несколько дней он присоединился к русским войскам в Люнебурге, где был устроен военный совет, на котором было решено начать активные действия на северном участке коалиционного фронта. Правда, Густав Адольф понимал активность весьма своеобразно. Он настоял на том, чтобы «в ожидании, пока просохнут дороги», ограничиться обороной переправ и овладеть Гамельном, и только когда заморозки стянут землю, идти к Нижнему Рейну. Увы, даже такая «активность» осталась лишь на бумаге: не успел ещё закончиться военный совет, как примчался князь Гагарин, посланник императора Александра, «с горестным известием об Аустерлицком сражении, переговорах Австрии с Наполеоном и повелением Толстому не быть под началом шведского короля, быть под началом прусского»32. Слушая рассказ Гагарина о трагической битве «трёх императоров» — первом за 100 лет проигрыше русской армией генерального сражения, — русские офицеры поначалу отказывались ему верить. Ни Бенкендорф, ни Воронцов, ни Нарышкин не допускали даже вероятности

поражения, а тут произошёл настоящий погром. «Я не знаю, — писал Воронцов в Россию, — как после этого стыда русские будут смотреть в глаза французам». Потрясение усугублялось известием о том, что Сергей Марин, друг Бенкендорфа и Воронцова, получил под Аустерлицем тяжёлые раны: две пули в грудь, картечь в голову и в руку…

Последовавшие события подтвердили печальную правду: вскоре Лондон отозвал своих генералов, да и шведский король в недовольстве отвёл войска. Пришлось уходить и от Гамельна: новый командующий, прусский король, дипломатично решил, что гарнизон обложенной крепости не должен терпеть голода. Воронцов возмущался: неужели русских прислали сюда не воевать с французами, а заботиться о их продовольственном снабжении?! Секрет такой королевской любезности был прост: уже 3 декабря Пруссия подписала договор с Наполеоном, получив от него в «дар» Ганновер, принадлежавший ранее Англии. Корпус Толстого начал оттягиваться в Россию. Воронцов воспользовался возможностью, чтобы повидать отца в Лондоне; Бенкендорф занял его место начальника штаба корпуса.

Впрочем, надежды на союз с Пруссией не покидали офицеров экспедиционного корпуса. Возвращение через Пруссию проходило во вполне доброжелательной атмосфере. Офицеры — да и сам Толстой — были очарованы молодой прусской королевой Луизой, грациозным символом антифранцузских настроений Германии. Бенкендорф признавался, что немедленно в неё влюбился. Королева выезжала навстречу идущим колоннам в «зелёной амазонке с красными выпушками» — традиционных цветах русской армии, чем вызывала неизменный восторг. Трём образцовым солдатам Кексгольмского полка Луиза передала «ожерелья и серьги, велев вручить их своим жёнам». Позже Бенкендорф вспоминал, как во время одного из смотров, проходивших в Шведте, он был представлен королю, «дотоле союзнику Франции, а тут вдруг решившемуся перейти на нашу сторону и объявить себя против Наполеона, за что сей последний через год отомстил занятием всей Пруссии и принудил короля удалиться в Мемель». «В то время ещё очень молодой, — писал Бенкендорф, — я был очарован красотой королевы и старался посредством её фрейлин отвлечь её от союза с Францией и побудить действовать в том же смысле своим влиянием на короля. На несчастье Пруссии, это нам тогда вполне удалось»33. «Нам» — это, конечно, не Бенкендорфу и Толстому, а русской дипломатии.

Действительно, в середине 1806 года Фридрих Вильгельм III наконец-то выступил против складывавшегося в Европе порядка,

при котором наполеоновская Франция начала претендовать на роль «объединительницы Германии» со столицей в Париже. Воинственные настроения Пруссии (чьи молодые офицеры даже точили сабли о порог французского посольства) определили решительность ультиматума, предъявленного Франции в сентябре 1806 года. Его условия (вывести обратно за Рейн французские войска, живущие за счёт местного немецкого населения, созвать конгресс для общего примирения Европы, не препятствовать образованию Северогерманского союза, то есть стремлению Пруссии объединить Германию) были достаточным поводом для начала войны.

…А через три недели после предъявления ультиматума Пруссия уже была разгромлена и оккупирована до самой Эльбы. В середине октября 1806 года Наполеон принял ключи от Берлина и наложил на побеждённых чудовищную контрибуцию. Королевская чета бежала в Кёнигсберг, надеясь отсидеться под защитой русских штыков. Стремительность событий не позволила русской армии прийти на помощь пруссакам. Первые её части пересекли прусскую границу только через неделю после капитуляции Берлина ещё и потому, что Пруссия готовилась к неторопливой войне и не позволяла России вводить части ранее 17 октября под тем предлогом, что «продовольствие для русских войск ещё не готово»34.

В эти трудные осенние дни граф Толстой, находившийся с июля 1806 года в бессрочном отпуске, был снова вызван Александром I в Петербург, а оттуда отправлен к прусскому королю в Кенигсберг, чтобы «ободрить его и уверить в добром отношении русского императора», а главное — быть посредником между королём и идущими ему на помощь русскими генералами. Смысл такого посредничества (вызванного горьким опытом предыдущих лет) государь пояснял в рескрипте-инструкции: «Отнюдь не хочу я предоставлять произволу иностранной державы благо и славу армий моих. Строжайше наблюдайте, чтобы передаваемые вами русской армии повеления никогда не могли вредить её достоинству и славе»35. Волю прусского короля Толстой должен был передавать русским войскам, и через него же шли к королю донесения русских генералов.

С Толстым поехал и его адъютант, гвардии поручик Бенкендорф. «В 1806 году командирован был к Е. В. королю Прусскому, — гласит запись в его формулярном списке, — в том же году состоял при дежурном генерале графе Толстом»36.

Поначалу казалось, что главной заботой Толстого — а стало быть, и его адъютанта — станет координация усилий Пруссии и России («наблюдать за политическими и военными действиями

пруссаков, чтобы не случилось никакого несчастия русским войскам»37). Однако реальной проблемой стало отсутствие согласованности в самих русских частях, особенно между корпусами двух вечно ссорившихся военачальников, Л. Л. Беннигсена и Ф. Ф. Буксгевдена. Именно эту проблему пришлось улаживать Толстому в качестве представителя императора, «облечённого полной его доверенностью». Буксгевден, которому достались корпуса «второй линии», чувствовал себя обиженным и жаловался, что Беннигсену, младшему в чине, вверили войско большее и лучшего качества; следовательно, именно последнему, в прежних войнах подчинённому Буксгевдена, оказали больше доверия. В конце концов царь поставил над обоими 69-летнего фельдмаршала графа М. Ф. Каменского, имевшего опыт войны с турками и старшинство в чине и над Беннигсеном, и над Буксгевденом. Толстой привёз Каменского к частям 7 декабря — в тот же день, когда прибыл к своим войскам Наполеон. Враждующие армии двинулись навстречу друг другу, чтобы сойтись северо-восточнее Варшавы.

, Бенкендорфу довелось участвовать в одном из первых боевых столкновений русской армии с французами, произошедшем под Насельском 12 декабря 1806 года. Русский арьергард под командованием графа А. И. Остермана-Толстого встретился здесь с главными силами Наполеона. Бенкендорф впервые услышал, как французские колонны идут в атаку с криками Vive I'empereuti («Да здравствует император!»); это означало, что сам Наполеон находится на поле боя. Приехали к войскам и Толстой, и фельдмаршал Каменский, который дал приказ отходить, если французы будут слишком наседать. Поэтому когда густые колонны французов двинулись в обход позиций Остермана, тот отвёл свой арьергард спокойно, «будто на учебном плацу», как заметили прусские наблюдатели. Так участием в боевых действиях Бенкендорф отметил день рождения императора Александра.

Главные силы противников сближались, наступало время решительных схваток, и в этот ответственный момент командующий Каменский… начал терять рассудок. Он бомбардировал императора письмами, в которых жаловался, что «стал стар для армии», что утомляется даже от ведения переписки, что не в состоянии ездить верхом, что ничего не видит и не может найти на карте, а местности не знает. В довершение всего как раз 12 декабря под Насельском фельдмаршал чуть не был захвачен французскими разъездами и с этого момента приказывал только отступать. В недоумении читали корпусные и

дивизионные командиры повеление готовить отход «до самой границы», «чтобы ни в чём остановки не было», по каким угодно дорогам и в случае необходимости даже бросать по дороге тяжёлую артиллерию.

Мудрый М. И. Кутузов, переживавший время опалы в Киеве, писал жене: «Не могу надивиться всем чудесам Каменского. Ежели всё правда, что ко мне из армии пишут, надобно быть совсем сумасшедшему»38.

О том, что Каменский не в себе, заговорили и в действующей армии. Обострение состояния главнокомандующего произошло накануне важного сражения у города Пултуск. Во время сильной ночной пурги, в три часа ночи, Каменский вызвал к себе Беннигсена и письменно передал ему приказ отступать до границы и находиться в подчинении Буксгевдена. Через час об этом стало известно всем офицерам штаба, в том числе и Бенкендорфу. Он и Толстой поспешили к Каменскому и застали его мечущимся по комнате в необычайном возбуждении. «Неужели пришли какие-то неутешительные сведения о противнике?» — поинтересовался Толстой. Вопрос его был встречен пространными жалобами фельдмаршала на то, что под его началом неопытные генералы и необстрелянные части, и сообщением, что он уезжает, что он умывает руки, что он уже отдал все необходимые приказы для отступления всех корпусов к границе, что ради спасения людей он приказывает бросить все экипажи и артиллерию. «Такие слова потрясли нас, как удар молнии, — вспоминал Бенкендорф. — На наших глазах выступили слёзы»39. С этого момента все смотрели на Каменского как на дезертира, вечером отдавшего приказ к сражению, а утром бегущего в панике.

Ещё не рассвело, когда Каменский сел в повозку и покинул войска. Он прокомандовал ровно неделю и только запутал дела. На долю Толстого снова выпала миссия быть «соглядатаем Петербурга» при двух рассорившихся генералах — и это в день сражения. Он немедленно помчался к корпусу Буксгевдена, расположенному в 15 верстах от места предстоящей схватки, и «пригласил» генерала поспешить на помощь к Беннигсену. Тот отказался, уверяя, что «не поспеет», так как войска его «слишком устали и больше не хотят никуда маршировать». К счастью, Беннигсену удалось добиться успеха в Пултуском сражении, и наполеоновский план разгрома русской армии по частям был сорван.

Любопытно, что Каменский, прослышав об успехе у Пултуска, сделал попытку вернуться с дороги, но боевые генералы подняли голос против его нахождения в войсках: бывшему

главнокомандующему было объявлено, что он непричастен к успеху армии и потому ей не нужен.

Между тем Наполеон понял, что быстрой и лёгкой победы не получится, и вскоре отвёл свою армию на зимние квартиры. Успех Беннигсена позволял преследовать отступавших французов, но новый командующий Буксгевден не понял перемены ситуации и не собирался «идти на поводу» у своего удачливого соперника Беннигсена. Он приказал начать общее отступление. Бенкендорфу удалось отличиться ещё раз — теперь уже в последнем деле 1806 года, арьергардном бою под Маковом.

Самое время отметить, что адъютантская должность тогда не предполагала уютного сидения у тёплой штабной печки. Адъютанты осуществляли непосредственную связь с войсками на полях сражений и поэтому постоянно оказывались в самых жарких местах боёв. С. Г. Волконский, служивший в ту кампанию адъютантом генерала Остермана-Толстого, писал: «…Моё боевое крещение было полное, неограниченное. С первого дня я приобык к запаху неприятельского пороха, к свисту ядер, картечи и пуль, к блеску атакующих штыков и лезвий белого оружия, приобык ко всему тому, что встречается в боевой жизни, так что впоследствии ни опасности, ни труды меня не тяготили»40.

Отбившись от наседавших наполеоновских войск, русская армия пошла к границе России, и это отступление — днём в распутицу, ночью в мороз, да ещё без продовольствия — породило в ней бродяжничество и мародёрство. Беннигсен, храбрый и умелый в бою, оказался слаб в организации повседневной жизни вверенных ему частей. Во время одной из стоянок мародёры ворвались даже в его комнаты, и генерал хладнокровно отреагировал: «Выгоните негодяев!» Толстой доносил Александру и о бедственном положении армии, и о неутихавшей вражде двух генералов (один из них даже сжёг единственный мост через реку Нарев, чтобы корпуса отступали по разным берегам). Александр писал в ответ, что и сам пришёл в смятение: «Трудно описать затруднительное положение, в котором я нахожусь. Где у нас тот человек, пользующийся общим доверием, который соединял бы военные дарования с необходимой строгостью в деле командования? Что касается до меня, то я его не знаю. Уж не Михельсон ли, Григорий Волконский из Оренбурга, Сергей Голицын, Георгий Долгорукий, Прозоровский, Мейендорф, Сухтелен, Кнорринг, Татищев? Вот они все, и ни в одном я не вижу соединения требуемых качеств»41. О Кутузове, «провинившемся» под Аустерлицем, Александр даже не упоминал.

В конце концов выбор пал на Беннигсена как на победителя

при Пултуске. Буксгевден был удалён из армии, а Толстой, с его опытом петербургского военного губернатора, должен был в качестве дежурного генерала компенсировать неумение Беннигсена поддерживать порядок в войсках. Граф получил право проводить самостоятельные расследования и наказывать мародёров с любой строгостью, вплоть до смертной казни. На эту жестокую меру он получил разрешение лично от Александра: «Бродяг и непослушных расстреливать именем императора». Естественно, во всех делах борьбы за дисциплину в армии Толстому помогал Бенкендорф. Уж не тогда ли он впервые задумался о необходимости специальной военно-полицейской структуры, подобной той, что успешно действовала в армии Наполеона, где её служащих называли «вооружённый всадник», или «жанд'арм»? Впрочем, в самом начале 1807 года Бенкендорф стремился в бой — просил выделить ему кавалерийский отряд в 400 сабель для рейда за Вислу, к осаждённому французами Данцигу, в чём ему было вежливо, но решительно отказано42.

Вслед за установлением единоначалия Александр I потребовал от Беннигсена наступления в Восточной Пруссии. Оно началось в январе. Беннигсен торопился разгромить французов по частям, застав их в неведении на зимних квартирах. Бенкендорф, измученный изнурительной борьбой с мародёрством, жаждал встречи с неприятелем. В составе войск генерала Маркова он участвовал в столкновении авангардов под Липштадтом, когда застигнутые врасплох ночной атакой французы бежали, потеряв почти 300 человек пленными. Через день, в самом начале боя, неподалеку от Липштадта погиб начальник Бенкендорфа на Корфу, талантливый генераллейтенант Р. К. Анреп.

Увы, зимнее наступление было слишком медленным, «отлично задуманный план оказался скверно выполненным»43. Наполеон успел собрать войска в кулак, и уже Беннигсену пришлось уходить от охвата, собирать разрозненные дивизии и разворачиваться навстречу идущему ему во фланг противнику. Манёвры по заснеженной Пруссии привели к тому, что 22 января армии встали друг напротив друга в боевом порядке. Бенкендорф ждал первого в своей жизни генерального сражения. Но Наполеон, хотя и прощупал расположение русских довольно активными действиями, не решился на немедленную серьёзную битву из-за усталости своих войск. Он дал им отдохнуть, а Беннигсен свернул оборону и отступил по Кёнигсбергской дороге на позицию, казавшуюся ему более выгодной. За скромной записью в послужном списке Бенкендорфа («от Гинькова следовал до Прейсиш-Эйлау»44) стоит череда четырёхдневных арьергардных боёв. Смысл этого неблагодарного дела, заранее

обречённого на отступление, передал участвовавший в нём Барклай де Толли. После весьма жаркой схватки при Гофе 25 января он написал: «Мне и сотоварищам моим, в сём деле храбро сражавшимся, остаётся успокоиться тем, что удержана была наша позиция и через то армия от внезапного наступления сил неприятельских была защищена: таково было наше назначение и вся цель наша, и если сие удалось, то вознаграждены все жертвы»45. В последнем бою было даже отбито первое французское знамя. Эту диковинку возили по всему расположению русской армии для поднятия боевого духа накануне уже решённого сражения.

А поднимать дух войск было необходимо. Тяжелейшая война шла зимой, что было для того времени необычно: зимой полагалось отдыхать от летних кампаний. Армия то замерзала, то пробиралась по бездорожью, завязая в снегу или в такой грязи, что в ней тонули пушки (именно тогда Наполеон назвал грязь «пятой стихией»).

«По прекращении битв, — пишет А. М. Михайловский-Данилевский, — солдаты кидались на мёрзлую землю для краткого отдыха и засыпали мёртвым сном. Когда при мерцании зари надлежало подниматься от ночлега, трудно бывало разбудить усыплённых. Впросонках глядели они как одурелые, а слабейшие, отойдя небольшое пространство от лагерного места, ложились на снег и опять засыпали. Природа вступала в свои права, брала верх над силами храбрых, но не истощала мужества французов и русских, готовых биться до последней капли крови»46.

Двадцать седьмого января 1807 года Бенкендорф принял участие в сражении при Прейсиш-Эйлау, самом жестоком и кровопролитном из всех, состоявшихся в этой кампании. В своих мемуарах он уделил описанию битвы несколько страниц — таким сильным оставалось воспоминание о ней даже много лет спустя.

Войска сошлись на полях и холмах, заваленных снегом на четверть аршина. Время от времени место боя накрывала метель. В штыковых схватках сходилось одновременно до двадцати тысяч человек. Снег вился под скачущими в атаку всадниками, подобно облакам пыли. «Штык и сабля гуляли, роскошествовали и упивались досыта, — вспоминал участник битвы Денис Давыдов (в то время — адъютант Багратиона). — Ни в каком почти сражении подобных свалок пехоты и конницы не было видно… То был широкий ураган смерти, всё вдребезги ломавший и стиравший с лица земли всё, что ни попадало под его сокрушительное дыхание». Ранние сумерки не остановили боя: он длился при свете от горящих селений до девяти часов вечера. К

пожарам и кострам сползались раненые.

Битву не выиграл никто. Однако Толстой на ночном военном совете был среди сторонников наступления на Наполеона, поскольку тому даже эта «ничья» далась огромным напряжением сил. Действительно, это было сражение, после которого во французском лагере вместо «Да здравствует император!» впервые раздались выкрики «Да здравствует мир!».

Однако Беннигсен решил, что надёжнее будет отступить, и велел отходить на север, к Кёнигсбергу. Бенкендорф не одобрял такого решения и много позже считал его «слабостью (faiblesse), которая ещё раз спасла Бонапарта»47 (первый раз спасение принесло неожиданное сумасшествие Каменского накануне Пултуского сражения).

Наполеон, воспользовавшись тем, что русские покинули поле боя первыми, объявил об очередном выигранном сражении («слегка выигранном», — иронично поправлял Талейран), однако прекратил военные действия до весны. Он был, даже по признанию симпатизирующего ему биографа, «в состоянии нервного истощения»48 и собирался начать переговоры о мире.

Наутро Толстой отправил Бенкендорфа в Кёнигсберг вместе с драгунским полком, призванным навести там порядок: он получил новости о погромах, устроенных в городе русскими мародёрами49. Без немедленного принятия мер русская армия, уже выступившая к городу, не получила бы ни удобных квартир, ни пополнения. Факт довольно примечательный: ещё до создания жандармерии Бенкендорфу была поручена работа именно такого рода.

Из Кёнигсберга Бенкендорф, как флигель-адъютант, был отправлен в Петербург для сообщения императору подробностей о сражении и оправдания отступления (большие потери, падение дисциплины, мародёрство). За участие в боях (и особенно за Прейсиш-Эйлау) он был произведён в капитаны и получил орден Святой Айны 2-й степени. Будучи формально посланцем Беннигсена, Бенкендорф должен был сообщить государю точку зрения Толстого (которую он разделял), не одобрявшего чрезмерной пассивности командующего. В то время как вся Европа уже говорила об успехе русской армии, Бенкендорф не удержался от того, чтобы назвать исход сражения неудачным. Ведь Толстой верил в возможность разгрома Наполеона в случае продолжения сражения под Прейсиш-Эйлау на следующий день.

Однако ещё до Бенкендорфа, сразу после сражения, предусмотрительный Беннигсен отправил в Петербург полковника Ставицкого (некогда участвовавшего в экспедиции Спренгтпортена). Этот посланец главнокомандующего не привез

рапорта с подробностями боя, но зато доставил в столицу пять отбитых у французов знамён. Для 1807 года это был необыкновенный знак триумфа, явное свидетельство успеха русского оружия. Под трубные звуки кавалергарды возили знамёна по улицам, вызывая восторги публики. 1 февраля в театре публика, позабыв про сцену, смотрела на Ставицкого, появившегося в ложе Строгановых. Актёрские реплики увязали в громком шёпоте, плывшем над партером: «Полная победа… кровавая битва… много жертв… Остерман… Тучков… Кутайсов…» На следующий день и в присутственных местах, и за обедом у Гаврилы Романовича Державина, и на литературном вечере у «аз есмь зело словенофила» Шишкова все разговоры вились вокруг того, как развить успех: добивать Бонапарта в Пруссии или немедленно требовать у него выгодного для России мира?

Бенкендорф опоздал. Петербург уже праздновал победу, и все попытки донести до власти и публики иную трактовку случившегося оказались тщетными.

Он всё говорил невпопад, не так, как от него ожидали. Он давал «плачевные» отзывы о прусском королевском доме, то есть о друзьях и союзниках Александра I50; он сообщал неприятные вещи о Беннигсене, который, как говорили, на должность командующего был выбран самой императрицей. Любопытно, что Толстой критиковал Беннигсена, а тот в своей реляции о сражении очень хвалил Толстого, отмечая как его неустрашимость и мужество, так и целесообразность его распоряжений, «совершенно способствовавших удержанию порядка и достижению счастливых успехов»51.

Первая роль Бенкендорфа в большой политике, пусть эпизодическая, оказалась провалена. Его приняли холодно. Император Александр дипломатично, но жёстко заметил ему: «Вы взвалили на себя слишком неприятное поручение»52. «Мне жаль Бенкендорфа — его очень холодно приняли», — писал Воронцову Сергей Марин53.

Тем не менее традиция награждать посланников не была нарушена. Капитан Бенкендорф, пробыв в этом чине всего две недели, 2 марта 1807 года был произведен в полковники — к великому удивлению света. Он поехал обратно в армию, увозя для Беннигсена голубую ленту ордена Святого Андрея Первозванного, известие о пенсионе в 12 тысяч рублей и монаршую похвалу: «На вашу долю выпала слава победить того, кто ещё не был побеждён».

Обнадёженный успехами Беннигсена, Александр I в марте лично отправился к войскам в Восточную Пруссию. При этом

Беннигсен получил от него полную и неограниченную власть командующего, а роль Толстого в качестве представителя государя стала излишней. Сияющий славой и признанный императором главнокомандующий отправил Толстого подальше от Главного штаба: начальствовать сначала над одной из дивизий, затем — над резервными частями армии; наконец, поставил во главе отдельного корпуса на второстепенном направлении — дальнем левом фланге возобновившихся в мае 1807 года военных действий. Из-за этого Толстой и Бенкендорф не присутствовали лично при разгромном поражении главных сил русскбй армии в злополучном Фридпандском сражении 2 июня, которое разом перечеркнуло все прежние заслуги Беннигсена. В нём участвовали Воронцов и несчастный Марин, получивший ещё одно тяжёлое ранение, осколком гранаты в голову.

Толстой действовал на своем участке относительно удачно, хотя и осторожно. Из-за малочисленности его корпус «оставался в оборонительном положении, стараясь сколь можно вредить неприятелю». Бенкендорф добавил в свой послужной список разгром французского авангарда и взятие неприятельского лагеря «за рекою Наревою против Остороленки». Когда же поражение под Фридландом предопределило необходимость отхода для защиты границы России, Бенкендорф проявил себя «в делах арьергардных при отступлении корпуса графа Толстого к Белостоку». Войска сумели отойти «счастливо и без особых потерь». А через месяц император Александр вернулся в Петербург и привёз с собой новое позорное слово: «Тильзит». Рассказывали, что разгневанный С. Р. Воронцов предложил, чтобы сановники, подписавшие унизительный для России договор и даже пошедшие на союз с Наполеоном, совершили въезд в Петербург на ослах…

Круг вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны стал центром недовольства новой политикой. Государыня Елизавета Алексеевна сердито писала тем летом: «Императрица, которая как мать должна была бы поддерживать, защищать интересы своего сына, по непоследовательности, вследствие самолюбия (и, конечно, не по какой-либо другой причине, потому что она неспособна к дурным умыслам) дошла до того, что стала походить на главу оппозиции; все недовольные, число которых очень велико, сплачиваются вокруг неё, прославляют её до небес, и никогда ещё она не привлекала столько народа в Павловске, как в этом году. Не могу вам выразить, до какой степени это возмущает меня»54.

Тень высочайшего недовольства опять упала на Бенкендорфа, принадлежавшего к окружению Марии Фёдоровны. К неумению

подстроиться к запросам двора, которое многие заметили после Прейсиш-Эйлау, добавилась ещё и «оппозиционность».

Парижский роман

Граф Пётр Александрович Толстой был в отчаянии. Он метался по кабинету своего усадебного дома, разрываемый противоречивыми чувствами. Государь вызывал его в столицу, чтобы отправить посланником ко двору императора — скажите на милость, императора! — Наполеона I. С однбй стороны, Толстому надлежало повиноваться, с другой же — он считал, что не вынесет этого бремени, противного его убеждениям. Жена его, о которой злые языки петербургского света говорили, что «долговязая, тощая, несветская, неуклюжая, неумная, она, тем не менее, держит в руках своего мужа», уговаривала Петра Александровича отказаться. Но письмо Александра Павловича мягко требовало выполнения верноподданного долга: «Моё глубокое убеждение осталось непоколебимым, что именно вы, более чем всякой другой, отвечаете тому месту, которое я предназначаю вам… Помните, мне нужен вовсе не дипломат, а храбрый и честный воин, а эти качества принадлежат именно вам». И привычка повиноваться преодолела «семейную оппозицию». В конце августа 1807 года Толстой отправился в Петербург и согласился принести себя в жертву на алтаре Отечества. Генерал умолял государя только об одном: чтобы его отозвали из Парижа по первой же просьбе. Император пообещал, а в разговорах с французским посланником Савари попытался обеспечить Толстому наиболее выгодный приём при дворе Наполеона.

«Это прекрасный человек, — убеждал царь французского дипломата, — я ему безусловно доверяю и отправляю его к императору как человека, которого считаю самым подходящим». Затем, доверительно взяв Савари за руку, Александр попросил его «как друга» помочь Толстому в создании связей и обзаведении знакомствами в Париже, ведь есть «тысяча маленьких способов, которые часто лучше скрепляют узы, чем все официальные приемы, которые только утомляют».

Вскоре после этой встречи последовал отъезд русского посольства. Фёдор Толстой, племянник графа, записал в дневнике: «Пётр Александрович, к удивлению многих назначенный посланником в Париж к Наполеону, на днях уехал со своим адъютантом графом Бенкендорфом, очень обыкновенным человеком, покровительствуемым императрицею Марией Фёдоровною, и графом Нессельроде, в качестве первого секретаря»55. Поставим пометку в биографии Александра Христофоровича: в 1807 году, в возрасте 25 лет, он в глазах

петербургского общества представал «обыкновенным человеком, покровительствуемым императрицею».

Что же касается Толстого, то «удивление многих» — ещё мягко сказано! Петербургская аристократия прекрасно знала, что дипломатическим даром Пётр Александрович обделён. Вспоминали, как вскоре после Тильзита Толстой отказался принять орден Почётного легиона от самого Наполеона. Когда же тот спросил, почему граф так поступил, то получил ответ: «Не заслужил!» «Ну, заслужите впредь», — пробовал настаивать Наполеон. «Не надеюсь», — отреагировал Толстой, и недовольный император Франции отошёл.

Среди петербургского света распространилась эпиграмма на Толстого-дипломата. При всей патриотичности светской оппозиции эта эпиграмма была на французском языке: «Nous imitons les Grand: On le savait d'avance / Caiths fit son cheval consul du Rome / Et nous faison tout comme / En envoyant un ans / Ambassadeur du France». Русский же перевод примерно таков:

> Казалось, миновали времена те,
> Когда Калигула коня держал в Сенате.
> Так нет же: шлём во Францию посла — Осла!

И вот: «Бель Франс, как не влюбиться в тебя путешественнику!» — с этим восхищённым восклицанием Бенкендорфа соседствует печальная заметка о нескольких сотнях русских пленных, встреченных у Люневиля…56

Двадцатого октября 1807 года русское посольство прибыло в Париж. 25-го Пётр Толстой был в Фонтенбло и вручал верительные грамоты Наполеону, специально надевшему в этот день пожалованный ему Александром I высший российский орден Святого Андрея Первозванного.

Бонапарт был само радушие. Посольству были предоставлены покои в императорском дворце, Толстой получил все привилегии придворного звания, был допущен на утренний прием Наполеона и в тесный кружок императрицы (что обычно не было принято в отношении посланников и иностранцев).

Наполеон прямо-таки излучал дружбу; граф же Толстой больше напоминал холодного парламентёра, присланного в лагерь победителей подписывать неприятные условия капитуляции. Но первоначально такое поведение Толстого было расценено французами лишь как некоторая робость прямодушного военного, «который впервые представляется великому человеку столь высокой гениальности».

Пока дипломаты гадали, хватило ли Толстому

дипломатической тонкости для того, чтобы почувствовать «всю цену необыкновенного приёма, сделанного ему императором», Бенкендорф жил совсем иными заботами…

В первые дни пребывания русского посольства в Фонтенбло случай (так, по крайней мере, считал сам Бенкендорф) свёл его с необыкновенной женщиной. На одном из первых придворных спектаклей он был потрясён удивительным талантом и необыкновенной красотой трагической актрисы. Высокая, крупная, черноволосая, с красивыми руками, она заставляла зрителей отождествлять её с возвышенными героинями, роли которых она исполняла.

«Голова её могла служить моделью ещё более ваятелю, чем живописцу, — описывал актрису видевший её в пору расцвета Ф. Ф. Вигель, — в ней виден был тип прежней греческой женской красоты, которую находим мы только в сохранившихся бюстах, на древних медалях и барельефах… Самая толщина её была приятна в настоящем, только страшила за неё в будущем… В игре её было не столько нежности, сколько жара; …везде, где нужно было выразить благородный гнев или глубокое отчаяние, она была неподражаема»57.

Актриса «впивалась в душу зрителей» (а порой и зрительниц) величавой и гармоничной декламацией, чистым и ясным голосом, сверкающим взглядом, точно рассчитанными переходами между сильнейшими эмоциями. Вот она в исступлении, смешанном с нежностью; вот она в ярости; вот гневно обвиняет отца, а вот уже рыдает над трупом возлюбленного… В душах зрителей она поочерёдно задевала струны умиления, восторга, ужаса, трепета, и они начинали звучать в непередаваемой гармонии:

Танкред, о, друг души, как мне столь слабой быть,
Для твоего врага любовь свою забыть?

Имя актрисы было Маргарита Жозефина Веймар, но публика запросто называла её мадемуазель Жорж. Все знали, что уже несколько лет она была любовницей Наполеона. Париж распевал на эту тему фривольные куплеты, далёкие от трагических стихов Расина. Самым скромным среди них был такой:

Во дворце Сен-Клу,
Не стыдясь ничуть,
Чаровница Жорж
Обнажила грудь…

В первые же дни пребывания посольства Толстого в Фонтенбло «чаровница Жорж» избрала оригинальный способ познакомиться с молодым флигель-адъютантом русского императора. Она отправила Бенкендорфу сердитую записку, где было сказано, что его слуга — самый скверный в Париже. В вину слуге было поставлено то, что он однажды поднялся в апартаменты актрисы и наделал там шуму (какого рода — не уточнялось). Это был прекрасный предлог для преисполненного учтивости Бенкендорфа отправиться в её квартиру самому — с намерением принести извинения. При встрече Бенкендорф попросил прощения за то, что ни наказать, ни уволить слугу он не может, ибо «только благодаря ему имеет возможность видеть предмет всеобщего обожания». Актриса снисходительно позволила договорить комплименты, но запретила Бенкендорфу посещать её впредь — как в Фонтенбло, так и в Париже. Было ли это сказано искренне или с тонким намерением разжечь страсть у очередного именитого поклонника — впечатление было произведено неизгладимое. Красивейшая женщина красивейшего города мира, любовница могущественнейшего правителя Европы стала для 25-летнего Бенкендорфа предметом вожделения неизведанной ранее силы, только разжигавшегося от её недоступности.

Жорж вернулась в Париж; к счастью для Бенкендорфа, русское посольство также покинуло Фонтенбло. Оно было устроено в столице, на улице Черутти, в особняке, специально купленном Наполеоном у Мюрата за весьма выразительную сумму. В Петербурге передавали следующий диалог императора со своим маршалом, владельцем особняка:

— Мюрат, сколько стоит ваш отель на улице Черутти?

— Четыреста тысяч франков.

— Я не говорю о четырёх стенах; я подразумеваю отель и всё, что в нём находится: мебель, посуда и прочее…

— В таком случае он стоит мне миллион.

— Завтра вам заплатят эту сумму: это будет отель русского посланника.

В Париже Бенкендорф попытался увидеться с мадемуазель Жорж — но она не приняла его. В результате мечты о недоступной красавице окончательно заполонили мысли молодого дипломата. Он стал пробовать самые разные подходы к «царице театра»: побывал у её дяди, матери, у всех других членов её семьи. Он подкупил её горничную, дабы получать об актрисе максимум информации. Чем больше было трудностей, тем сильнее распалялся поклонник.

Возможно, Бенкендорф вспоминал стихи своего друга

Марина:

Как залп ужасный средь сраженья
Разит стоящих пред собой,
Так точно был без защищенья
Твоей сражён я красотой.

Без сердца стал я, как без шпаги, Я под арест тобою взят. И нет во мне такой отваги, Чтоб штурмом взять его назад.

…И я, как часовой в ненастье,
Тобой заставлен век стоять,
Во фрунте видеть лишь несчастье,
А с флангов горести встречать…

Штурм сменился долгой осадой. Не переставая мечтать о Жорж, Бенкендорф, как и другие его сверстники, дорвавшиеся до Парижа, находил утешение, как он сам вспоминал, «в некоторых домах», предлагавших лёгкие, необременительные и разнообразные знакомства по сходной цене. Впрочем, для светских повес того времени это было нормой жизни. С. Г. Волконский писал о той эпохе: «Круги товарищей и начальников моих в этом полку, за исключением весьма немногих, состояли из лиц, выражающих современные понятия тогдашней молодежи. Моральности никакой не было в них, весьма ложные понятия о чести, весьма мало дельной образованности и почти во всех преобладание глупого молодечества, которое теперь я назову чисто порочным»58.

Между тем дипломатическое положение русского посольства ухудшалось. Довольно скоро Наполеон разочаровался в графе Толстом. Он искал в нём компетентного собеседника, с которым, как с доверенным лицом Александра I, можно было бы обсуждать европейские проблемы, а нашёл сдержанного военного, дававшего односложные ответы на самые замысловатые вопросы. Лицо русского посла при дворе Наполеона было скорбно и непроницаемо. Оживлялся Толстой только при разговорах о войне и армии, но иногда делал это очень не вовремя. В феврале 1808 года он чуть было не подрался на дуэли с горячим от природы маршалом Неем — только оттого, что начал при нём расхваливать русские войска, считая их непобедимыми, и, разошедшись, договорился до упоминания о возможности скорого реванша.

В деле переговоров о насущных европейских делах Толстой

также показал себя усердным исполнителем, но чересчур прямолинейным для дипломата. Наполеон жаловался своему послу в Петербурге Коленкуру, что Толстой всего-навсего «дивизионный генерал, который не осознаёт нескромности того, что говорит»; а ловкий австрийский дипломат Меттерних окрестил Толстого «посол поневоле» (ambassasdeure malgre lui). Однажды Бонапарт попробовал говорить с Толстым на его языке: на одной из охот (приглашение на них было редкой, даже завидной милостью) император Франции театрально швырнул на землю свою «имиджевую» шляпу и заявил представителю России: «Теперь к вам обращается не император, ведёт разговор один дивизионный генерал с другим дивизионным генералом. Пусть буду я последним из людей, если не исполню свои обязательства!..» Но и эта попытка подстроиться под сурового русского имела не много успеха. В отчаянии Наполеон упрекал Толйюго: «Вы вовсе не дипломат! Вы хотите, чтобы дела шли, как идут бригады и полки; вы хотели бы пустить их в галоп. А они должны хорошенько назреть…»

А Толстой жил печальным предчувствием неизбежного столкновения с Францией. Он видел, как Наполеон готовит разгром Австрийской империи, и предупреждал Александра I, что его следует рассматривать «как предвестник нашего разгрома, как средство для него»59. Советы, поданные в 1808 году, удивительным образом подходили к ситуации начала 1812-го. С точки зрения военного они были весьма резонны. Толстой советовал, во-первых, довести армию до максимально возможной численности и готовить её к обороне западной границы; во-вторых, насколько возможно скорее заключить мир с Турцией; в-третьих, поддерживать мир с Англией и Швецией; в-четвёртых, как можно теснее сблизиться с Австрией. Однако с точки зрения дипломата и политика — а именно так видел ситуацию Александр — советы Толстого были несвоевременны. Россия не наращивала численность войск, двинула армию не к западным, а к южным и северным границам, продолжила воевать с Турцией и объявила войну Швеции, а значит, и её союзнице Англии. Австрии же вскоре, в 1809 году, предстояло сражаться с Наполеоном в одиночку.

Александр I будто не слышал собственного посланника. Наполеон разочаровался в Толстом. Толстой был недоволен своими сотрудниками. Задачей Бенкендорфа, как тот сам признавал, был сбор полезных сведений и секретных данных. Ради этого он познакомился с женой Савари, недавнего посла в России и шефа личной полиции Наполеона. Через эту пылкую креолку, а также через любовницу военного министра маршала

Бертье, красивую и любвеобильную графиню Висконти, Бенкендорф должен был добывать нужную информацию. Но для него это были «малоинтересные связи»; вся его энергия была направлена на завоевание сердца мадемуазель Жорж. Он жаждал победы над любовницей Наполеона, словно это была бы победа над самим императором французов, своеобразный реванш за две проигранные войны.

И, наконец, усердие (как считал сам Бенкендорф), а также представления парижской публики о том, что адъютант русского императора непременно должен быть богат, заставили Жорж капитулировать. Однако для того чтобы соответствовать такому образу, Бенкендорфу пришлось наделать долгов — благо парижские кредиторы пока относились к нему с доверием. Деньги шли на богатейшие подарки предмету его поклонения.

Бенкендорф на время забыл о служебных обязанностях. Он бросался в объятия предмета восхищения всей парижской публики! Счастье это было усилено чувством маленькой личной победы над Наполеоном. Правда, Жорж требовала сохранения их романа в тайне — но разве можно было его спрятать? За пять лет до этого и Наполеон, тогда ещё Первый консул Бонапарт, хотел скрыть свои близкие отношения с Жорж. Но однажды на представлении трагедии Корнеля «Цинна», когда юная актриса начала одну из сцен словами: «Если Цинну я обольщу, как многих других обольщала…», все зрители встали и, повернувшись к ложе Первого консула, начали бурно аплодировать.

Париж узнал и о романе актрисы с молодым русским полковником, тем более что скрывать его стало невозможно: Бенкендорф проводил с предметом своего обожания дни и ночи, иногда забегая утром в посольство, чтобы переменить платье и показаться на глаза начальству. Бенкендорф сопровождал Жорж на репетиции и помогал облачиться в театральный костюм. Любовники были неразлучны: вместе ездили по театрам и загородным паркам, стали завсегдатаями Версаля. Недовольство Толстого росло — Бенкендорф всё меньше времени уделял своим обязанностям. Рассерженный посол стал всё чаще направлять своего недавнего адъютанта в длительные командировки за тысячу вёрст от Парижа: то в Вену, то в Триест, то в Венецию. В Триесте, например, на посланца легла обязанность предупредить эскадру капитан-командора Салтанова (который когда-то командовал кораблями, доставившими членов экспедиции Спренгтпортена на Корфу) о грозящем нападении английского флота и отыскать ей новую стоянкуб0. Миссия эта была выполнена успешно, и Бенкендорф вписал в историю русского флота несколько коротких строк: «Капитан Салтанов, получив в

Корфу известие о разрыве с Англией, поспешил перевести свой отряд в союзные австрийские порты Триест и Венецию. Попытка англичан захватить суда, оставленные в Триесте, не удалась, и… все суда этого отряда были сданы по оценке французскому правительству, а команды возвратились в Россию сухим путём»61.

Однако разлука с черноокой красавицей не излечила от страсти, а только усилила чувства Бенкендорфа. Он торопился выполнить поручения и мчался обратно в Париж, чтобы поскорее броситься в объятия возлюбленной.

Роман развивался полным ходом — с ревностью, ссорами, примирениями. Бенкендорф ревновал Жорж к австрийскому посланнику Метгерниху, Жорж устраивала сцены по поводу встреч Бенкендорфа с мадам Кассани. Письма об очередном «окончательном» разрыве чередовались с бурными объяснениями, нервными припадками и обмороками. Александру Христофоровичу казалось, что он стал действующим лицом — конечно, главным — пьесы с ловко закрученным сюжетом.

Но то, что кажется персонажу пьесы, может вовсе не соответствовать тому, что видят зрители. Ими оказались агенты французской полиции. При всех внешних проявлениях любви и дружбы к русскому посольству Наполеон тесно обложил его сотрудниками министра полиции Жозефа Фуше. В результате все наступательные действия Бенкендорфа в отношении мадам Жорж проходили под внимательным контролем могущественного ведомства. Даже кредиторы Бенкендорфа были связаны с этой организациейб2. Весной 1808 года Наполеону донесли, что граф Толстой, отчаявшись остудить пыл своего сотрудника, придумал остроумную политическую комбинацию. Он был убеждён в неотразимости красоты мадемуазель Жорж и решил использовать её для того, чтобы отвлечь Александра I от влияния его давней фаворитки Марии Антоновны Нарышкиной (это была давняя мечта окружения императрицы Марии Фёдоровны), а потом через череду мимолётных увлечений вернуть императора в объятия законной супруги. Формально же театральная звезда Парижа должна была отправиться блистать на российской сцене. При встрече Толстой обещал Жорж гигантское содержание, называл посредников, ведущих переговоры с петербургским театром (между прочим, тоже работавших на Фуше). Весьма кстати пришлась просьба Бенкендорфа отправить его на войну со Швецией — Толстой понимал, что безумно влюблённый полковник не сможет уехать без Жорж, более того, постарается увезти её, пообещав то, чего не мог пообещать Наполеон: женитьбу. У него была и ещё одна веская причина покинуть Париж. Хорошо осведомлённый о тайнах петербургского

большого света князь Пётр Долгоруков (на основе виденных им бумаг А. Б. Куракина) утверждал, что «Бенкендорф по молодости и широте натуры понаделал в Париже долгов и бежал от кредиторов; долги платила за него вдовствующая императрица Мария Фёдоровна»63. Кто был причиной долгов, мы теперь знаем.

«…Наконец русский посол, визиты которого ко мне были довольно частыми, важно заговорил со мной о России и императоре Александре» — так в мемуарах Жорж отмечено начало комбинации Толстого. Приезд в Россию блистательной актрисы мог стать хотя бы частичным оправданием его в целом неудачной миссии. Возможно, Александр, обладавший арсеналом утончённых дипломатических ходов, и не считал посольство неудачным, но для графа тягость пребывания на несвойственном ему посту была нестерпима. «Государь, — в который раз молил Толстой, — я бы почёл себя виновным перед лицом Вашего Величества, оставаясь доселе здесь; я буду вреден Вашим интересам и интересам моей страны, и не могу заблуждаться в последнем случае». Опять он напоминал: «Вы же обещали уступить первой же моей просьбе!»

Ответа от Александра снова не последовало. Толстой был в отчаянии.

Поступки русского посла выглядели всё более вызывающими: он посещал Сен-Жерменское предместье — аристократический оплот «старого порядка», сходясь, будто нарочно, с лицами, наиболее неприятными Наполеону. Дошло до того, что граф (по примеру своего адъютанта?) завёл роман с госпожой Рекамье, чей салон был центром оппозиции, и сделал это именно тогда, когда Наполеон объявил при дворе, что на любого иностранца, посещающего эту даму, он «будет смотреть, как на личного врага». Однако в данном случае Наполеон решил просто оставить генерала-посланника в покое. При необходимости императоры стали решать русско-французские проблемы через Коленкура, наполеоновского посла в Петербурге, а то и напрямую, при помощи курьерской почты. Толстой был оставлен без внимания фактически до новой встречи двух императоров в Эрфурте.

Только осенью 1808 года, в первый же день эрфуртского свидания, Александр освободит Толстого от посольского бремени. Но пока на дворе была весна, и Бенкендорф готовился к отъезду. Толстой добился того, что «царица сцены» Жорж получила поистине «царский» контракт: полторы тысячи рублей подъёмных и десять тысяч ежегодно (в семь раз больше, чем знаменитая русская актриса Катерина Семёнова).

А что же сама мадемуазель Жорж?

Она видела происходящее совсем в ином свете. «Зачем же я

уезжала? Зачем я покинула Париж и французский театр? Разве я знаю? Нет, не знаю! Этот отъезд, этот каприз был следствием встречи с графом Толстым, русским послом…» Мемуарные восклицания актрисы кажутся патетической декламацией новой роли: «Я говорила „да“, а на следующий день — „нет“… Граф Толстой покинул меня только тогда, когда я дала честное слово, что утром подпишу контракт».

А как же любовь к Бенкендорфу? Увы, в мемуарах речь идёт о совсем других чувствах и переживаниях: «Некоторое время я не видела императора — несомненно, по собственной вине! Определённо, по моей собственной вине! Мне было скучно, я наделала долгов, но я не хотела ни о чём просить и находила для себя множество самых разных оправданий; и самым верным оправданием было моё желание переменить окружающую атмосферу на заграничную. Какое безумство молодой актрисы! Откровенно говоря — какая глупость!..» А вот и признание, позволяющее понять глубинные мотивы девицы Жорж: «Деньги? Что пользы в них? Я предпочитала успех…»64

Только здесь в воспоминаниях актрисы на мгновение мелькнёт лицо влюбленного Бенкендорфа — но вовсе не в качестве главного героя, от силы в роли статиста: «Один из его (Толстого. — Д. О.) адъютантов, граф Бенкендорф, предложил мне от его имени уехать».

Покидать Францию собирались тайно: ни Толстой, ни Бенкендорф не ведали о том, что Наполеону известно о их намерениях. Чтобы обмануть прислугу и соглядатаев, Бенкендорф неоднократно вывозил Жорж в Версаль на несколько дней, приучая её окружение не беспокоиться из-за их отсутствия. В русском посольстве «незаметно» была приготовлена дорожная карета с необходимыми для долгой дороги припасами. В дружественном австрийском посольстве был затребован паспорт на имя некоей горничной. (Версия Жорж: «У меня был друг, который продал мне паспорт за сотню луидоров, — как друг, он не мог запросить меньше»65.) Полиция Фуше изо всех сил делала вид, что ничего не замечает.

А что же Наполеон? Его отношение к Жорж давно не было ни страстью, ни привязанностью — скорее привычкой. Громкое для обывателей звание «любовница Наполеона» сохранялось за Жорж не столько как констатация реальных отношений, сколько как своего рода охранная грамота. Когда император узнал о предполагаемом бегстве Жорж, он решил, что его вполне можно допустить. В преддверии эрфуртского свидания с Александром I, ради укрепления отношений с Россией хотя бы на время войны в Испании и разрешения назревавшего конфликта с Австрией, он

вполне мог пожертвовать отношениями с поднадоевшей актрисой.

Полиция «не замечала», Наполеон не проявил особого интереса к намерениям своей Жоржины. Но неожиданным препятствием стал… потрясающий успех актрисы в новом спектакле «Артаксеркс». Накануне премьеры Жорж обещала Бенкендорфу провалить спектакль; но на сцене, окружённая восхищённым вниманием зала, она ни разу не вспомнила о своём обещании. Восторг публики только подхлёстывал актрису; премьера завершилась триумфом, подтвердившим, что Жорж достигла пика своей театральной карьеры. Спектакль, собиравший полные залы, планировали давать почти каждый вечер. Для того же, чтобы выбраться за пределы Франции, Жорж нужно было несколько дней. В противном случае чудо прогресса — оптический телеграф смог бы передать информацию о беглянке быстрее любого курьера и она бы не пересекла границу. Сценарий побега срочно подредактировали: Жорж взяла несколько выходных по причине якобы больного горла и объявила, что отдохнёт от спектаклей в Версале в компании Бенкендорфа. Вместо Версаля фиакр привёз её к спрятанной дорожной карете, а Бенкендорф укрылся у своего друга князя Гагарина. Он прекрасно понимал, что сопровождать Жорж значило бы провалить побег: русский полковник был слишком заметной (особенно для полиции) фигурой. Оставалось только надеяться, что Жорж со свитой, в которой были её личный репетитор Флорио и танцовщик «Комеди Франсез» Дюпор, проедут Страсбург и пересекут пограничный Рейн прежде, чем сведения о их побеге начнёт сообщать телеграф.

Седьмого мая 1808 года, когда «вакации» Жорж закончились, публика собралась насладиться очередным представлением «Артаксеркса». Но актриса не появилась, спектакль был отменён, и разразился скандал. Бенкендорфа, естественно, допрашивала полиция, а он, разумеется, разыгрывал полное неведение. Однако вестей от Жорж всё не было, а Бенкендорф стал (наконец-то) замечать за собой филёров, считая это следствием бегства Жорж. Между тем театр «Комеди Франсез» объявил о новом представлении «Артаксеркса». По Парижу поползли слухи о том, что Жорж поймана, помещена под арест и будет доставлена прямо на спектакль, чтобы сыграть свою роль.

Совсем другая, достаточно курьёзная версия отъезда мадемуазель Жорж распространилась в Лондоне. Она вобрала в себя несколько гулявших по Франции анекдотов. Согласно ей, Жоржина была вызвана к Наполеону в Сен-Клу, чтобы провести с ним ночь. Неожиданно среди любовных утех у Наполеона

случился припадок эпилепсии. Перепуганная Жорж устроила невероятный шум и подняла на ноги весь дворец. На помощь сбежались все, включая императрицу Жозефину. Когда император пришёл в себя, он туг же спросил: что императрица и всё окружение делают в его спальне? Узнав, что их вызвала Жорж, Наполеон набросился на актрису, осыпал её ударами и пинками, разодрал платье. На следующий день она была выслана из Парижа. Газетам якобы было приказано сообщить, что Жорж бежала из столицы, переодевшись в юношуб6.

А между тем в день нового спектакля сплетни об аресте Жорж были такими упорными, что Бенкендорф на какое-то время поверил в них. Он отправился на спектакль, чтобы увидеть, кто же исполнит главную женскую роль принцессы Манданы. Театр был переполнен. Многие пришли, чтобы из патриотических чувств освистать «перебежчицу и изменницу». Принцесса Мандана появилась в маске и получила первую порцию свиста и шума, предназначенных Жорж. Но Бенкендорф узнал бы предмет своего обожания и под маской. Это была не она. Слухи, видимо, были рекламным трюком, рассчитанным на то, чтобы привлечь публику. Вместо Жорж на роль поставили юную актрису Бургоэн, и успокоенный Бенкендорф уехал, не досмотрев пьесы. А вскоре пришло письмо из Мюнхена. Это было сообщение Жорж о благополучном пересечении границы Франции. Она стала недосягаемой для французской полиции и направлялась в пока ещё дружественную России Вену.

«Как честный человек», Бенкендорф немедленно поделился с Фуше известиями о том, что уже не могло повредить Жорж. Он был уверен, что обыграл французскую тайную полицию, и, по собственному признанию, «чрезвычайно гордился победой над её бдительными сотрудниками». Фуше его не разуверял. А Наполеон отправил Коленкуру в Петербург инструкцию: «снисходительно отнестись» к «бегству нескольких актёров оперы». «Моё желание, — писал император, — чтобы вам не было известно о их дурном поступке. В чём другом, а в танцовщиках и актрисах у нас в Париже недостатка не будет». Вскоре посол передал это мнение Александру: «Франция настолько населена, что может не гоняться за беглецами»67. В Вене же французский посол выдержал паузу для получения инструкций из Парижа и затем сообщил Жорж, что она может ехать куда угодно.

А Бенкендорф уже доживал в Париже оставшиеся до разрешённого отъезда недели. Когда же парижское «сидение» закончилось, он домчался в Петербург за 14 дней. Степень его спешки становится понятной при сравнении с тем фактом, что в октябре 1812 года срочные эстафеты Наполеона покрывали

расстояние от Москвы до Парижа в среднем за 15 с половиной днейб8.

Жорж к тому времени уже прибыла в Петербург и остановилась в отеле «Норд». Именно туда явился с дороги Бенкендорф и только на следующее утро отправился представляться императору. Его ждал холодный приём. То, что флигель-адъютант из хорошей семьи привёз актрису с намерением на ней жениться, вызвало неодобрение и Александра, и Марии Фёдоровны (в этом случае не последнюю роль, видимо, сыграло ещё и признание в долгах). «Я чувствовал, — повинился Бенкендорф, — что она была права».

Нет, не женитьбы Бенкендорфа ожидала партия вдовствующей императрицы. Все предвкушали первый спектакль Жорж, на котором ей предстояло покорить Александра так же, как некогда Наполеона.

Поначалу события развивались в нужном направлении. 15 июля состоялся дебют Жорж на петербургской сцене. Ради неё играли «Федру» Расина. Уже за два часа до начала спектакля театр был переполнен. Прибыла на представление императорская семья и сам Александр I. Занавес поднялся…

«Мы увидели величественную женщину в прекрасном белом платье с маленькой диадемой на голове, в богатой мантии, — вспоминал потрясённый Жуковский, — походка, бледность её лица — следствие внутренней скорби, глаза мутные, лишённые последнего блеска, но полные выражения страстей, — всё изображало Федру, томимую внутренним неестественным огнём»69. Посетивший спектакль с участием актрисы чуть позже П. А. Вяземский добавляет: «Я до того времени никогда ещё не видел олицетворения искусства в подобном блеске и подобной величавости. Греческий царственный облик её и стан поразили меня и волновали».

Жорж доказала, что по праву носит титул королевы европейского театра. Как вспоминал присутствовавший на представлении С. Т. Аксаков, «восторг зрителей был таков, что от хлопков и криков дрожали стены»70. О том же докладывал Коленкур Наполеону.

Но среди зрителей не было… Бенкендорфа. В этот день он по должности исполнял обязанности дежурного адъютанта при государе императоре. А тот, отправляясь любоваться Жорж, «на всякий случай» оставил своего подчинённого во дворце на Каменном острове. Сказать, что Бенкендорф был огорчён, — всё равно что не сказать ничего.

Диалог Александра I с Жорж в первый же вечер после спектакля вышел за рамки обычной учтивости, а после

следующего спектакля (это была трагедия «Меропа») император признался Жорж, отирая глаза: «Поверьте, это первые слёзы, которые я проливаю в театре!»

Не успело миновать лето 1808 года, как актриса Жорж была приглашена к царю в Петергоф для дебюта в несколько иной роли. Придворная партия императрицы-матери возликовала, но очень ненадолго. Это оказалось такое представление, продолжения которого Александр не пожелал. В разговорах с Коленкуром он признавался, что сожалеет о том, что актриса не свободна и «является вещью французского императора», хотя Наполеон заранее предупредил своего посла: «Актрис могут оставлять у себя и забавляться ими, сколько угодно»71, — что тот и передал Александру.

Замысел Толстого и придворной партии «друзей императрицы» в Петербурге не удался. Мария Антоновна Нарышкина стойко придерживалась правила «не обращать внимания на увлечения», и государь, отдав дань сиюминутному удовольствию, возвратился к прежней привязанности.

Но театральный успех Жорж возрастал после каждого сыгранного спектакля. Фурор достиг высшей точки после представления 31 августа «Семирамиды» Вольтера. Прежняя любимица публики, Катерина Семёнова, отошла в тень на несколько месяцев (при этом она посещала все спектакли соперницы и готовилась к реваншу). В октябре 1808 года Жорж поехала в Эрфурт, где состоялось свидание Наполеона и Александра, и играла там для них в классических трагедиях. По слухам, императоры даже обменялись парой фраз о всевозможных достоинствах актрисы.

А что запомнила сама мадемуазель Жорж от первого года своего пребывания в Петербурге? Череду представлений, балов и приёмов. Рандеву с великой княгиней Екатериной Павловной. Празднество в доме старого графа Строганова, встречу там с сестрой императрицы. Нитку жемчуга, присланную на следующий день стариком Строгановым вместе с короной «Жорж-Мельпомене». Выходку принца Вюртембергского, представившегося собственным лакеем и умолявшего принять кольцо с великолепными бриллиантами и бархатный кошелёк, наполненный золотыми луидорами. А вот Бенкендорфу в мемуарах актрисы опять не нашлось места.

Но, быть может, это были обиды обманутой любовницы, стремление отомстить хотя бы молчанием в мемуарах? Ведь в 1808 году, в письмах матери, Жорж распространялась о достоинствах своего «доброго Бенкендорфа» и даже примеряла подпись Жорж-Бенкендорф11. Да и Александр Христофорович

вспоминал, что через некоторое время преодолел отчуждённое отношение света к этому роману и поселился вместе с Жорж в её апартаментах, в видном и дорогом доме Косиковского на углу Мойки и Невского проспекта (ныне Невский, 15). Несколько месяцев они жили открыто почти как муж и жена.

Это «почти», видимо, и было той границей, которую установила для своего подопечного Мария Фёдоровна. Она умела быть жёсткой и требовательной в принципиальных вопросах. Выступая покровительницей актрисы Жорж, она всё же не хотела видеть «девицу Жорж» в роли «мадам Бенкендорф».

Чувство долга влекло нашего героя на поля сражений со Швецией (ведь именно воевать он отпросился из Парижа); но пока недавний дипломат наслаждался почти семейной жизнью в Петербурге, война неожиданно быстро закончилась. «Кто-то приобрёл… громкое имя, а я этот шанс упустил», — сожалел Бенкендорф в мемуарах. Оставалась возможность отличиться на войне с Турцией, затухшей было в 1808 году и вновь разгоревшейся в 1809-м. Теперь Бенкендорф осознал, что если он пересидит в Петербурге и эту кампанию, то «честь его будет запятнана». Он упросил императора отправить его в действующую армию генерала Прозоровского, в Галац.

Двадцать девятого мая 1809 года было опубликовано официальное уведомление военного министра «об отправлении флигель-адъютантов Ставицкого в армию князя Голицына, а Бенкендорфа в армию генерала Прозоровского».

Сцена прощания с Жорж прошла в лучших театральных традициях. Мадемуазель провожала Бенкендорфа до самой Гатчины. Затем последовали громкие клятвы в вечной любви и верности до гроба, обещания преодолеть любые испытания, непомерная грусть расставания и т. д. и т. п.73

…А через некоторое время произошла полная перемена декораций. Петербург облетела весть о том, что французские актёры собрались отпраздновать кряду три бракосочетания. С. Н. Марин откликнулся стихотворной репликой «Свалился Гименей как бомба за кулисы…», в которой были такие строки:

На свете видим мы всечастны перемены!
И кто б подумать мог, царица чтоб Мессены,
Пред коей трепетал страны тоя тиран,
Меропа мудрая, забыв и род, и сан,
Не устыдилася ужасного позора —
И, словом, мамзель Жорж выходит за Дюпора74.

Мужем актрисы стал бежайший с ней из Франции танцовщик

Дюпор, её давний «подручный» любовник и, надо сказать, действительно блестящий танцор. Когда Бенкендорф узнал об этом, он, по собственному признанию, был болен три месяца. Однако за телесным выздоровлением последовало и душевное: «Я понял, насколько же постыдным было моё поведение». Излечившись от этого чувства, Бенкендорф на многие годы получил прививку от серьёзных увлечений.

А «девицу Жорж», как называли её в России театральные критики, ожидали ещё несколько лет успеха в России, покорение театральной Москвы, сценическое соперничество с Катериной Семёновой, которую поддерживали патриотически настроенные поклонники, а затем — холодный приём у публики и пустующие залы во время войны 1812 года.

В декабре 1812 года Жорж покинула Россию и весной 1813-го вновь встретилась с Наполеоном, собиравшим армию в Дрездене. По приказу императора Жоржину не только снова приняли в парижский театр, а даже выплатили жалованье за все годы её отсутствия, будто она и не уходила с французской службы (а может, и вправду не уходила?). Муж-танцовщик будет ею сменён на немолодого, но надёжного директора театра, что поспособствует продлению её театральной карьеры75.

…В конце 1830-х годов некогда потрясённый игрой «девицы Жорж» П. А. Вяземский, будучи в Париже, решил разыскать предмет своего давнего обожания. Вот его рассказ:

«Лет тридцать спустя… захотелось мне подвергнуть испытанию мои прежние юношеские ощущения и сочувствия. Девица Жорж уже не царствовала на первой французской сцене, сцене Корнеля, Расина и Вольтера: она спустилась на другую сцену, мещанско-мелодраматическую. Я отправился к ней. Увидев ее, я внутренне ахнул… Теперь предстала передо мной какая-то старая баба-яга, плотно оштукатуренная белилами и румянами, пёстро и будто заново подмалёванная древняя развалина, изображённый памятник, изуродованный временем обломок здания, некогда красивого и величественного. Грустно мне стало за неё и, вероятно, за себя.

Она уверяла, что очень хорошо помнит и Москву, и меня. Спасибо за добрую память! Но от того было не легче. Вот новый удар по голове поэзии моей.

В виду одна печальная прозаическая изнанка. Можно ли было, глядя на эту безобразную массу, угадать в ней ту, которая как будто ещё не так давно двойным могуществом искусства и красоты приковывала благоговейное внимание многих тысяч зрителей, поражала их, волновала, приводила в умиление, трепет, ужас и восторг? Как! — говорил я, печально от неё

возвращаясь, — эта баба-яга именно та самая, которая в сиянии самовластительной красоты передавала нам так верно и так впечатлительно великолепные стихи Расина, ещё и ныне звучащие в памяти…»

Орден Георгия и «когорта добромыслящих»

Давно ли наблюдал Бенкендорф, как русская эскадра торжественно проходила через Босфор, а турецкие пушки гремели в её честь торжественным салютом? Давно ли султан Селим угощал русских посланников кофе в своём шатре?

Теперь всё переменилось. Реформатора Селима смела с престола волна янычарского бунта. Турция, впечатлённая успехами Наполеона, стала ориентироваться на «императора, который под Аустерлицем победил двух императоров». Разногласия между Россией и Оттоманской империей стали накапливаться так быстро, что осенью 1806 года переросли в открытый вооружённый конфликт.

Поначалу военные действия шли без явного преимущества одной из сторон. Вскоре после Тильзитского мира и во многом благодаря ему противники пошли на перемирие, длившееся с осени 1807-го до зимы 1809 года.

Весь 1808 год Турцию сотрясала смута: янычары вели себя в Стамбуле, как «горячие скакуны, носившиеся на воле по лугам беспорядка»76, выставляли на столичных площадях головы казнённых сановников, меняли у кормила власти не только визирей, но и монархов. Султан-реформатор Селим был убит, на престол взошёл консервативный Мустафа; однако вскоре армия возвела на его место умеренного Махмуда, который «на всякий случай» казнил предшественника. Одновременно тянулись, то прерываясь, то опять возобновляясь, русско-турецкие переговоры. Вокруг них шла тонкая дипломатическая игра, в которую были вовлечены Франция и Великобритания. Ни первой, ни второй быстрое разрешение конфликта не было выгодным.

Бенкендорф отправился в армию в июне 1809 года, вскоре после того, как закончился — фактически безрезультатно — очередной раунд мирных переговоров.

Провожавший его С. Н. Марин отозвался большим стихотворением «На отъезд флигель-адъютанта в армию»:

…Наш друг точить не хочет лясы,
А едет воевать он в Ясы,
Преплыть готов Днепр, Днестр, Дунай.
Пролейте слёзы вы ручьями,
И в горести сплеснув руками,
Кричите все: Прощай, прощай!77

В июне 1809 года конца войне не предвиделось. Русская армия застряла на Дунае, главной оборонительной линии Турции в Европе. Причина была не только в системе мощных крепостей, но и в крайне нездоровом климате, столетиями «охранявшем» северо-восточные рубежи Оттоманской империи. Дневная жара, сменяющаяся холодными ночами, плохое водоснабжение, массовое употребление солдатами незрелых и к тому же немытых фруктов вели к развитию эпидемий, делавших армию небоеспособной. Число умерших от болезней порой доходило до 20–30 человек в день78. Александр I лично требовал решительных действий, приказывал начать немедленное наступление за Дунай; но стоявший во главе русской армии 76-летний фельдмаршал А. А. Прозоровский не мог действовать «немедленно»: он ждал, когда просохнет от весеннего паводка заболоченная долина великой реки — без этого переправить большую армию было немыслимо.

Конечно, хорошим выходом был бы захват одной из охранявших мосты крепостей, однако в течение весны Прозоровский потерпел несколько чувствительных поражений именно при подобных попытках. Несмотря на помощь выписанного из России опального Кутузова (точнее говоря, действуя вопреки его советам), Прозоровский провалил штурм Браилова и, «увидя ужасное зрелище и безнадёжность успеха… предался отчаянию, плакал, бросался на колени, рвал на себе волосы» на глазах у всей армии. «Кутузов стоял подле него, храня хладнокровие. Он утешал Прозоровского: „И не такое бывало со мной, я проиграл Аустерлицкое сражение, решавшее участь Европы, да не плакал“»79. А турецкий визирь отметил победу посылкой в Константинополь ценного подарка — восьми тысяч русских ушей в мешках: оставшихся во рву крепости раненых по традиции добили80.

В конце концов именно Кутузова Прозоровский обвинил во всех бедах дурно начатой кампании и добился его удаления из армии. На смену Кутузову из Петербурга прислали Багратиона: со временем он должен был заменить престарелого, медлительного, страдавшего множеством болезней фельдмаршала — но только тогда, когда сам Прозоровский признает, что не в состоянии исполнять свою должность. Но для него этот пост был венцом карьеры, местом, с которого не уходят, а «уносят». Он держался до последнего, и его действительно «унесли» (престарелый фельдмаршал скончался 9 августа). А пока войска жили прежней невесёлой жизнью, ругали Прозоровского, с именем Багратиона связывали надежды на перемены к лучшему.

Волонтёр Бенкендорф появился в действующей армии в дни

смены Кутузова Багратионом. Он попал под начало атамана М. И. Платова — и не случайно: именно в первой половине 1809 года Платов, зимовавший в Петербурге, заметно сблизился с Марией Фёдоровной и её кругом; полковник и атаман встречались на приёмах и званых обедах у вдовствующей императрицы.

Двадцать шестого июня, вскоре после прибытия, Бенкендорф принял участие в «поиске» отряда Платова в окрестностях Браилова: Прозоровский «напоследок» решил хоть както отомстить туркам за недавнее поражение. Десять казачьих полков, один драгунский и вверенный Бенкендорфу егерский полк с казачьей артиллерией подобрались в темноте к окрестностям крепости, спрятались в большом овраге и утром напали на вышедший за стены отряд. Пока в крепости поняли, что происходит, собрали и выслали на подмогу внушительную массу кавалерии, казаки Платова порубали и взяли в плен несколько сотен турок, угнали две сотни лошадей и четыреста голов скота.

Выбор цели, скрытное сближение, засада и, в неменьшей степени, уклонение от боя с превосходящими силами преследователей — все эти навыки партизанской борьбы Бенкендорф перенимал у лучших специалистов, и в будущем они ему не раз пригодились. Отряд благополучно вернулся в расположение русских войск у Галаца и почти на месяц погрузился в утомительную лагерную жизнь с жарой, несносными насекомыми и скудным пайком питьевой воды (её возили за 12 вёрст).

Наконец вода в Дунае спала, болота просохли и началась постройка моста и гати для переправы войск. Рвавшийся вперёд Бенкендорф возглавил отряд «охотников» из казаков и переправился через Дунай одним из первых81. Однако в конце июля, когда сооружение моста было окончено и армия начала долгожданный переход на турецкую сторону, с Бенкендорфом произошёл несчастный случай. Шёл сильный дождь, дорога в низине снова превратилась в болото, и его ослабевшая от бескормицы лошадь рухнула на разбитой ногами и копытами гати, да так, что седок сильно повредил левую руку и ключицу. К болезненной травме в первые дни после падения добавились страдания из-за невозможности отмахиваться от приставучих мух и комаров.

Армия уходила вперёд, начала одерживать победы, а стремившийся к подвигам волонтёр терял время в тыловом Галаце — без привычных развлечений, даже без книг. Только к концу августа он отправился вслед отряду Платова и догнал его у крепости Кюстенджи (Констанца), расположенной на скалистом

мысу, выступавшем в Чёрное уоре. Отсюда начинался легендарный Траянов вал, некогда служивший границей Римской империи, а позже — «цивилизованного» мира Европы. Бенкендорф не преминул упомянуть в своих записках этот «барьер, возведённый против варваров Севера, через который теперь двигались цивилизованные народы Севера против варваров Юга»82.

В 1809 году Кюстенджи была турецкой крепостью с двухтысячным гарнизоном «отчаянных разбойников из Болгарии»83. Этот гарнизон попробовал было отогнать передовые посты Платова, однако атаман отправил к крепости Бенкендорфа с двумя батальонами пехоты и четырьмя орудиями. Вновь окунувшийся в родную военную стихию Бенкендорф преследовал противника до самых городских стен, закрепился на городском кладбище и дал возможность подвезти артиллерию для обстрела крепости. Командовавший турками Измаил-паша в предчувствии артиллерийских бомбардировок и грозившей голодом блокады вступил в переговоры, окончившиеся согласием сдать крепость на условии свободного выхода её гарнизона. Турок отпустили с оружием и обозами, взяв с них честное слово не воевать против русских в этой кампании. Специально приставленный к уходившему противнику русский офицер проводил его до Балкан. А освободившийся Платов пошёл на запад, на соединение с главными силами Багратиона и подошедшим из Валахии отрядом Милорадовича. Войска под командованием трёх популярных генералов соединились в самом начале сентября и тут же нанесли туркам очередное поражение: 4 сентября Бенкендорф принял участие в бою под Расеватом. Это большое село на берегу Дуная, в пяти верстах от Траянова вала, было атаковано с двух сторон: Милорадович наступал вдоль берега реки, а Платов совершил глубокий обход и развернул свои полки к югу от позиций противника. Главной атакующей силой были построенные в каре пехотные полки. Они шли, ощетинившись штыками, и представляли собой совершенно неприступные даже для многочисленной и умелой турецкой конницы движущиеся квадраты войск. Бенкендорф командовал «двумя фасами» одного из каре. Много позже полковые историки Чугуевского уланского полка припишут своим старшим однополчанам честь участия в бою рядом с Бенкендорфом. В полковой песне появятся восторженные строки:

Бенкендорф под Расоватом
Был в чугуевских рядах!84

Их авторы не ошиблись, а просто перепутали: «в чугуевских рядах» Бенкендорф был позже, в самом памятном для него сражении под Рущуком, в 1811 году; но о нём речь впереди.

Сам Александр Христофорович вспоминал, что дело под Расоватом было решено в четверть часа85 (хотя в целом столкновение длилось около трёх часов), а видавший виды Милорадович вообще назвал его «охотой с борзыми»86. Тем не менее в далеком Петербурге победу оценили как долгожданный успех русского оружия по ту сторону Дуная. Багратион получил высший орден Святого Андрея Первозванного, Платов и Милорадович стали «полными генералами». Все нижние чины, участвовавшие в сражении, получили по рублю. На долю Бенкендорфа досталось «монаршее благоволение»87.

Нельзя сказать, что турки покорно наблюдали за бодрым продвижением Багратиона. Наоборот, они попытались использовать уход русской армии из-за Дуная для организации наступления собственных главных сил из Рущука на Бухарест. Сам великий визирь Юсуф возглавил войско в 25 тысяч пехоты и конницы, и на некоторое время главный город Валахии охватила паника. К счастью, генерал Ланжерон (тот самый, чьи подробнейшие мемуары остаются важнейшим источником по истории турецкой войны) сумел остановить турок, имея под началом шеститысячный отряд. Юсуф отступил к Дунаю и укрепился в крепости Журжа. Багратион тем временем подступил к важнейшей дунайской крепости Силистрия и 11 сентября обложил её. Крепость была прекрасно укреплена, её защищал 11-тысячный гарнизон, обладавший солидными запасами провианта и боеприпасов. Исход осады Силистрии определял результаты всей кампании 1809 года.

В этот критический момент произошло событие, заставившее Бенкендорфа забыть о войне. На бивуаке, в двух переходах от Силистрии, он получил письмо из Петербурга. Это было прощальное послание от мадемуазель Жорж. В нём сообщалось, что актриса выходит замуж за своего давнего спутника, танцовщика Дюпора.

Оказалось, Бенкендорф был не из тех, в ком чувство ревности ослабляет любовь. Наоборот, эмоции вновь всколыхнулись в нём. Утихшая было страсть подогревалась горьким чувством досады: «…Любовь, снова пробудившаяся во мне, сменялась огорчением от того, что я покинут… я не мог больше думать ни о чём ином, только о возвращении в Петербург, о необходимости расстроить этот брак»88. И покинутый любовник стал искать официальную возможность вернуться в столицу — бежать с войны он не мог. …

Тем временем сухой и неэмоциональный послужной список

продолжает отмечать военные заслуги Бенкендорфа: «В том же году находился за Дунаем в первых атаках при крепости Силистрии и в других делах во время блокады оной; за сие вторично получил монаршее благоволение»89.

За туманным выражением «в других делах» стоит незнаменитое поражение Багратиона при селе Татарницы, фактически решившее исход кампании 1809 года. У этого села, в десяти верстах от Силистрии, расположился в укреплённом лагере визирь Юсуф, приведший свою армию на помощь осаждённому городу. Штурмовать Силистрию, имея в ближнем тылу двадцатитысячное турецкое войско, засевшее в окопах, траншеях и ретраншементах, Багратион не мог. Поэтому 10 октября он попытался атаковать укреплённый лагерь Юсуфа, вызвать его на решительное сражение, разбить, прогнать — и затем заняться осадой. Увы, на открытое сражение Юсуф не пошёл, а все попытки с наскока овладеть лагерем, ставшим настоящей полевой крепостью, турки отбили с помощью вылазки, предпринятой гарнизоном Силистрии. К вечеру битва стихла, армии застыли в прежнем положении.

Тогда Багратион решил снять осаду. «Если бы я имел 50 000 под ружьём, — писал он в своё оправдание Аракчееву, — тут бы штык мой был самым искусным дипломатом… визиря бы заставил подписать мир не на барабане, а на его, визиря, спине… Я вам описать не могу, какую нужду мы терпим… Даже я не имею, из чего себе есть изготовить…»90 Время, отпущенное природой для кампании, выходило. По уграм начались заморозки, быстро истреблявшие остатки подножного корма. Ослабли лошади; от этого и кавалерия не смогла проявить себя при Татарнице, и пострадали зависящие от гужевой тяги обозы и артиллерия. А начальник интендантской службы вообще прислал Багратиону рапорт о том, что снабжение войск, стоящих под Силистрией, невозможно, и он «отрекается»91. В довершение всех напастей в армии началась очередная эпидемия.

Среди всеобщего уныния Бенкендорфа радовало только то, что он поедет в Петербург — пусть даже с неприятными известиями. Именно ему, флигель-адъютанту, Багратион поручил сообщить императору своё решение о необходимости снятия осады, запланированного на середину ноября. Армия начала отступать вниз по Дунаю, обратно к переправе у Гирсова.

— Александр был возмущён! Он так надеялся на успехи именно в 1809 году, когда Наполеон был занят войной с Австрией и Испанией. А тут вся Европа заговорила: «Если русские не могут одолеть нестройные толпы мусульман, то где устоять им против Наполеона!»92 Император потребовал от Багратиона оставаться

на турецкой стороне Дуная, и тот формально выполнил повеление: армия сгрудилась у Гирсовской переправы и оставалась там до конца года, но никаких активных действий предпринять уже не могла. Багратион возмущался: «Виноват ли я, что в 24 часа не смог победить Оттоманскую Порту? …Я не трус, но безрассудную отвагу признаю я также большим пороком полководца». В конце концов он вспылил и попросил снять с него бремя командования: «Пусть лучший приедет, я докажу, что умею повиноваться!» Недовольный царь принял прошение главнокомандующего об отставке и одновременно признал кампанию оконченной; войска в самый Новый год вернулись из-за Дуная на зимние квартиры. Военные действия прекратились, и Бенкендорфу незачем было возвращаться в армию; он остался в Петербурге, поселившись в доме Воронцова.

Увы, мадам Жорж в столице не было. Её соперничество со знаменитой Семёновой достигло своего пика, и в зимний сезон 1810/11 года великая французская актриса отправилась покорять Москву. Броситься за ней вдогонку Бенкендорфу помешала довольно сильная болезнь: то ли от тоски по утраченной любви (как он сам пишет в мемуарах), то ли сказались полгода тягот полевой жизни в Молдавской армии. Как бы то ни было, только в начале зимы он начал появляться в свете на обедах, балах и маскарадах, тщательно скрывая свои переживания. Лишь в откровенных письмах Воронцову («Дорогой Воронцов! Только ты один и можешь читать в глубинах моего сердца…») прорываются жалобы покинутого любовника на то, как тяжело искать радости, будучи объятым унынием, а для того, чтобы развеселиться, приходится быть навеселе…93

…По возвращении мадам Жорж радости не прибавилось: актриса не желала общаться с бывшим возлюбленным. Только приезд на гастроли другой французской актрисы, Терезы Бургоэн (тоже пользовавшейся в своё время благосклонностью Наполеона), позволил Бенкендорфу отвлечься от переживаний и даже попробовать пережить подобные чувства во второй раз. Ему очень нравилось, что новая претендентка была полной противоположностью Жорж. Невысокая, с изящной фигурой, светлыми глазами и лукавой улыбкой, она была прозвана «богиней веселья и наслаждений». Бурного романа, правда, не получилось: Бенкендорф сам признавался, что добивался расположения и дружбы Бургоэн только для того, чтобы позлить Жорж94. По весне новый объект его увлечения вернулся во Францию, но душевная боль затихла, наступило некоторое облегчение.

Бенкендорф не поехал обратно в Молдавскую армию.

Александр хотел, чтобы флигель-адъютант продолжил дипломатическую карьеру, и собирался отправить его в Испанию, в посольство Н. Г. Репнина95. Репнин до лета 1810 года был послом при дворе вестфальского короля, брата Наполеона, Иеронима. Александр намеревался перевести его в Мадрид, к другому брату Наполеона, Иосифу, дабы иметь непосредственную информацию о ходе дел на последнем наполеоновском фронте в Европе. Такому довольно прозрачному намерению император Франции решительно воспротивился. Он не мог прямо отказать своему русскому «союзнику», но и присутствие «злейших друзей» во враждебной, хотя и завоёванной Испании его совершенно не устраивало. Наполеон почти месяц откладывал встречу с приехавшим в Париж Репниным; потом просил его подождать с поездкой до сентября, поскольку в августе в Испании слишком жарко; потом месяц развлекал русского посла прелестями придворной жизни в Фонтенбло; потом (а был уже октябрь, и Молдавская армия уверенно наступала за Дунаем) заверил Репнина, что ему вообще нет необходимости ехать в Испанию…

Ждал Репнин, ждал Александр I, ждал и Бенкендорф. Воронцов тем временем отличился в турецкой войне — взял со своим отрядом Плевну и Ловчу, заслужив очередной орден, у Описывая позже свою жизнь в 1810 году, Бенкендорф в основном вспоминает собственные душевные переживания и амурные приключения. А вот о попытках начать политическую карьеру он не сообщает ничего. Только из воспоминаний сблизившегося с ним С. Г. Волконского мы знаем, что именно в этот период наш герой впервые выступил с идеей создания тайной политической полиции. Он хотел организовать её на манер французского ведомства Фуше, с работой которого достаточно близко познакомился во времена пребывания в Париже. Эффективность деятельности французской тайной полиции подвигнула недавнего дипломата на попытку организовать нечто подобное и в России.

Как пишет Волконский, «в числе сотоварищей моих по флигель-адъютантству был Александр Христофорович Бенкендорф… Были мы сперва довольно знакомы, а впоследствии — в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какие услуги оказывает жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышлёных, введение этой отрасли соглядатайства может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления, пригласил нас, многих его товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, людей добромыслящих, и меня в их

числе. Проект был представлен, но не утверждён. Эту мысль Александр Христофорович осуществил при восшествии на престол Николая, в полном убеждении, в том я уверен, что действия оной будут для охранения от притеснений, для охранения вовремя от заблуждений. Чистая его душа, светлый его ум имели это в виду…»96.

Известный декабристовед профессор О. И. Киянская считает, что сам Волконский вполне мог стать в то время соратником Бенкендорфа по «когорте добромыслящих», поскольку «он был и остался убеждённым сторонником не только тайной полиции вообще, но и методов её работы в частности»97. Это не покажется удивительным, если вспомнить и другие подобные примеры. Такой положительный герой русской истории, как И. И. Пущин, «первый и бесценный друг» Пушкина, в своё время вышел в отставку из армии и собрался поступить на службу в полицию на низовую должность квартального надзирателя, чтобы доказать, «каким уважением может и должна пользоваться та должность, к которой общество относилось в то время с крайним презрением». Вняв просьбам сестры, умолявшей его «не совершать безрассудного шага», Пущин оставил мысли о службе в полиции98, но выбрал службу в судебном ведомстве — сначала в качестве сверхштатного члена Петербургской палаты, затем судьи Московского надворного суда. М. А. Корф подтверждал, что Пущин «пошёл служить в губернские места, сперва в Петербурге, потом в Москве, с намерением возвысить и облагородить этот род службы, которому в то время не посвящал себя ещё почти никто из порядочных людей»99, а Пушкин позже отозвался на его решение стихами:

> Ты, освятив тобой избранный;Сан,
> Ему в очах общественного мненья
> Завоевал почтение граждан…

Текст проекта Бенкендорфа не сохранился, но благодаря Волконскому общий смысл его понятен: следуя принципу «не место красит человека, а человек место», Бенкендорф полагал, что «честные лица», объединившись на «честных началах» в «когорту добромыслящих», смогут тайно наблюдать за обществом и те самым охранять его как от «притеснений», так и от «заблуждений».

Император Александр не принял предложений Бенкендорфа, хотя и полагал, что «секретная политическая полиция… необходима в теперешних обстоятельствах»100, то есть во время противостояния с Наполеоном. Бенкендорф просто опоздал со

своим проектом. Пока он был на войне, в столице уже был образован родственный его идее Комитет общей безопасности, по-другому называвшийся Комитетом 13 января 1807 года. (Любопытно, что «Комитет общей безопасности» — это одна из форм русского перевода названия Комитета общественного спасения, существовавшего в революционной Франции. Её, например, употреблял П. И. Пестель, считавший, что Франция «блаженствовала под управлением Комитета общей безопасности»101.) Это учреждение, призванное заполнить вакуум, оставшийся после упразднения ещё в 1801 году Тайной экспедиции Сената, поначалу состояло из министра юстиции и двух сенаторов; однако дел для него накопилось столько, что уже через месяц после начала работы комитет обзавёлся собственной канцелярией102. Помимо этого комитета, были созданы секретные («таинственные») отделы полиции в Москве и Петербурге. По примеру «большого уха Парижа» они были призваны «получать и ежедневно доносить» начальству «все распространяющиеся в народе слухи, молвы, вольнодумства, нерасположение и ропот, проникать в секретные сходбища». Предполагалось «допустить к сему делу людей разного состояния и различных наций, но сколько возможно благонадёжнейших», заботящихся «о беспристрастном донесении самой истины и охранении высочайшей степени тайны». При этом планировалось, явно по примеру тайной полиции Фуше, иметь своих людей «во всех стечениях народных между крестьян и господских слуг; в питейных и кофейных домах, трактирах, клобах, на рынках, на горах, на гуляньях, на карточных играх, где и сами играть могут, также между читающими газеты — словом, везде, где примечания делать, поступки видеть, слушать, выведывать и в образ мыслей входить возможно»103. В довершение ко всему именно в 1810 году, 17 августа, из Министерства внутренних дел по предложению М. М. Сперанского было выделено Министерство полиции с его «особенной канцелярией», занимавшейся «делами благочиния» и состоявшей примерно из двух десятков чиновников. О том, что глава министерства А. Д. Балашов использовал для работы именно опыт Франции, свидетельствует его письмо русскому посланнику в Пруссии: «Что же касается до устава высшей секретной полиции во Франции, то на доклад мой Его Императорское Величество изъявить изволил высочайшее соизволение на употребление вашим сиятельством нужной для приобретения сего манускрипта суммы, хотя б она и ту превосходила, которую австрийское правительство заплатило, лишь бы только удалось вам сделать сие, теперь весьма нужное, приобретение, чем особенно Его Величество изволил

интересоваться»104.

Как позже признавался Александру министр внутренних дел В. П. Кочубей, немедленно после создания нового министерства «город закипел шпионами всякого рода: тут были и иностранные, и русские шпионы, состоявшие на жалованьи, шпионы добровольные; практиковалось постоянное переодевание полицейских офицеров; уверяют, даже сам министр прибегал к переодеванию. Эти агенты не ограничивались тем, что собирали известия и доставляли правительству возможность предупреждения преступления; они старались возбуждать преступления и подозрения. Они входили в доверенность к лицам разных слоёв общества, выражали неудовольствие на Ваше Величество, порицая правительственные мероприятия, прибегали к выдумкам, чтобы вызвать откровенность со стороны этих лиц или услышать от них жалобы. Всему этому давалось потом направление сообразно видам лиц, руководивших этим делом»105. И хотя подобные методы были далеки от благородных желаний Бенкендорфа и его товарищей, сама идея тайной полиции была сполна реализована, и император Александр имел все основания не утверждать проект Бенкендорфа.

Однако флигель-адъютант попытался найти «когорту добромыслящих» в другом месте. Он стал членом тайной организации, давно стремившейся избавить род человеческий от свойственных ему недостатков, достичь «златого века» и даже построить царство Божие на земле.

Начиная с 1810 года мы видим Бенкендорфа в списках членов масонской ложи «Соединённых друзей» (Les amis reunis), причём не на низшей ступени «ученика», а в продвинутом разряде «мастера»106. (Позже в донрсе А. Б. Голицына утверждалось, что вследствие причастности к масонскому ордену Бенкендорф не был беспристрастен в решении политических дел107.) В неё в разное время входили такие разные люди, как великий князь Константин Павлович, граф Станислав Костка-Потоцкий, граф А. И. Остерман-Толстой, министр полиции А. Д. Балашов, П. А. Вяземский, А. С. Грибоедов, П. Я. Чаадаев, С. Г. Волконский, П. И. Пестель, М. И. Муравьёв-Апостол… Намерения основателя ложи А. А. Жеребцова* казались вступающим в неё важными и благородными: «Стереть между человеками отличия рас, сословий, верований, воззрений, истребить фанатизм, суеверия, уничтожить национальную ненависть, войну, объединить всё человечество узами любви и знания»108. Тайное и благородное объединение единомышленников (каким, видимо, казалась ложа неофиту) ради достижения благих целей по совершенствованию рода человеческого — не образ ли «когорты добромыслящих», о

которой мечтал Бенкендорф? В обоих случаях главной для Бенкендорфа была причастность к кругу целеустремлённых людей, обеспокоенных тем, как портится год от года род человеческий. Как привлекательно звучали слова гимнов:

Не Вавилонску башню
Мы созидаем здесь,
А истину всегдашню,
Чтоб свет был счастлив весь…109

или

Оставьте гордость и богатство,
Оставьте пышность и чины, —
В священном светлом храме братства
Чтут добродетели одни110.

На таинственном треугольнике, считавшемся символом ложи «Соединённых друзей», были выписаны три латинские буквы S, обозначавшие Soleil, Science, Sagesse — солнце, науку и благоразумие. Впрочем, братья-масоны не замыкались исключительно на «работе над своим диким камнем» (то есть умосозерцательным совершенствованием нравственности). Наоборот, постепенно ложа приобрела репутацию «беспокойной», отличающейся пышными обрядами, буйными пиршествами и богатым убранством собственного помещения для собраний, что говорило о высоком статусе её завсегдатаев. К братским торжественным трапезам порой приглашались «прекрасные нимфы двора Купидона», то есть дамы; на некоторых собраниях играл весьма неплохой оркестр «братьев гармонии», как тут называли музыкантов111. Был даже издан печатный сборник песен с нотами: «Гимны и кантаты для петербургской ложи „Соединённых друзей“». Одним из известных авторов гимнов был дядя и «парнасский отец» А. С. Пушкина Василий Львович. В его стихах на французском языке воспевалась любовь к России. Одна из песен даже вышла за стены ложи. Она начиналась строками:

Servir, adore sa Patrie
C’est le devoir d’un bon magon
(Служить своей Отчизне, восхищаться ею —
Вот обязанность истинного каменщика!)112.

При всём этом «беспокойная ложа» беспокойств политических не доставляла. Вхожий в неё министр полиции и генерал-адъютант А. Д. Балашов именно в 1810 году лично призвал к себе управляющих петербургскими ложами и добился согласия «доставлять в министерство полиции ежемесячные отчеты о всём происходящем в собраниях их, которые сам несколько раз посещал»113.

Александр I в то время был прекрасно информирован о деятельности масонов. Вот приводимый в мемуарах Я. де Санглена (управляющего упоминавшейся Особой канцелярией Министерства полиции) его диалог с императором:

«— Вы франкмасон или нет?

— Я в молодости был принят в Ревеле; здесь, по приказанию министра, посещал ложу „Астрея“.

— Знаю; это ложа Бебера. Он честный человек; брат Константин бывает в ложе его. Вам известны все петербургские ложи?

— Кроме ложи „Астреи“, есть ложа Жеребцова, Шарьера и Лабзина.

— Сперанского ложу вы забыли?

— Я об ней, государь, никакого понятия не имею…

— Балашов сам вступил в ложу Жеребцова.

— Знаю, государь, от самого министра, и удивляюсь, каким образом министр полиции принят в сотрудники и собраты.

Государь засмеялся. <…>

— Почему не вступили вы в ложу Жеребцова?

— Я предпочёл ритуал немецкий. Оц проще; французский слишком сложен, театрален и не соответствует настоящей цели франкмасонской»114.

Сам М. М. Сперанский, находясь на вершине своего положения, составлял для Александра записку, «которая обеспечила бы государю более благотворное влияние» на масонство, и даже пытался создать единую «масонскую конституцию». Масонство в России переживало расцвет.

Однако ложа Жеребцова постепенно стала всё больше зам]ыкаться на внешних, церемониальных сторонах обрядности. Рассматривая акты ложи, министр народного просвещения писал: «Учения масонского в них мало, и предмету нет никакого, в чём сами начальники согласуются; признавались мне, что они определительной цели не имеют и тайны масонской никакой не ведают»115. Даже если предположить, что это был хитрый масонский манёвр и «братья» высших степеней обладали другими, таинственными намерениями, Бенкендорф не достиг такого уровня посвящения, чтобы знать о целях ложи больше, чем

знал министр. В результате его желание активно действовать «на пользу царю и Отечеству» не находило достаточной реализации внутри масонской системы. Выход из образовавшегося тупика был уже привычным: Бенкендорф направился туда, где служба на благо Отечества была понятна и почётна, — в действующую армию.

В конце 1810 года в Петербург приехал М. С. Воронцов. Он как бы «сменял» Бенкендорфа в Молдавской армии во время прошедшей кампании, на протяжении которой успешно командовал полком — по крайней мере до тех пор, пока не заболел весьма распространённой в войсках молдавской лихорадкой. Получив два месяца отпуска на лечение, Воронцов провёл их в столице, а когда собрался обратно, то пригласил Бенкендорфа поехать вместе. Император Александр не возражал (тем более что Репнин, так и не пропущенный французами в Испанию, вернулся в Петербург), и весной 1811 года друзья отправились на юг, в весёлое и необременительное путешествие, конечным пунктом которого был театр военных действий с Турцией.

За время отсутствия Бенкендорфа русская армия добилась некоторых успехов. Сменивший Багратиона молодой и многообещающий генерал Н. М. Каменский, один из любимых учеников Суворова, одержал несколько звучных побед. Он овладел важными дунайскими крепостями, в том числе не давшейся Багратиону Силистрией. Теперь Россия утвердилась в дунайских княжествах Молдавии и Валахии, а также на важнейшем оборонительном рубеже Оттоманской империи — Дунае. Впрочем, война была далеко не закончена: впереди высились Балканские горы — ещё один турецкий защитный пояс, к району боевых действий перебрасывалась главная ударная сила Турции — армия великого визиря. А русская Молдавская армия уменьшилась почти вполовину: часть войск была переброшена к западным границам, чтобы подготовиться к войне с Наполеоном, которая стала неизбежной.

В таких условиях мир с Турцией был для России жизненно необходим. Но добиться его без решительных военных побед было невозможно: турки считали, что первым мира просит тот, кто слабее. Именно в 1811 году султан Махмуд надеялся, как писал военный историк Михайловский-Данилевский, «более, нежели когда-либо, пожать плоды своего упорства». К тому же Наполеон упрашивал: не мириться с Россией ни в коем случае! Император Франции не мог открыто признаться в задуманном разрыве с Россией, однако о приближении этого конфликта говорила уже вся Европа. Вопрос был только в сроках.

В этот критический момент главнокомандующий Н. М. Каменский внезапно умер. Бенкендорф застал его в агонии… (Словно какой-то рок висел над русскими командующими в ту войну: в 1807 году, накануне перемирия, скончался генерал И. И. Михельсон, известный как «поразитель полчищ Пугачёва»; в 1809-м в мир иной отправился фельдмаршал Прозоровский, и вот теперь армия оплакивала Каменского.)

Александр, понимавший всю необходимость скорейшего окончания войны, принял решение доверить Молдавскую армию М. И. Кутузову — не только как военачальнику, но и как знатоку Турции: генерал провёл там немало времени на дипломатических должностях.

Кутузов прибыл к армии 7 апреля 1811 года. К тому времени Бенкендорф уже осуществил небольшую, но успешную боевую операцию. Он принял под своё командование Староингерманландский полк, расквартированный вместе с 34-м егерским полком в крепости Ловча, далеко впереди главной линии Молдавской армии, в предгорьях Балкан, примерно в 70 верстах за Дунаем. Старинный болгарский город должен был стать опорным пунктом в намеченном Каменским наступлении за Балканы. При новом командующем планы изменились, и Бенкендорф повёл полки из Ловчи назад, на соединение с главными силами. Идти пришлось «через неприятельскую землю» — без карт, без артиллерии, не имея ни единого кавалериста для разведки. Тем не менее задача была выполнена: полки пришли к Дунаю, к покорённой Каменским крепости Рущук, ставшей пунктом сбора разбросанных по широкому фронту частей.

Объединение сил стало первой частью плана Кутузова. Главнокомандующий понимал, что защищать всю тысячекилометровую линию вдоль Дуная с доставшейся ему 46-тысячной армией невозможно. Он оставил небольшие отряды на флангах и сконцентрировал главные силы у Рущука. Теперь ему нужно было спровоцировать турок на переход от осторожной тактики к активным наступательным действиям.

Дипломатически тонкими средствами Кутузов намекнул новому великому визирю Ахмет-паше о своей «слабости»: он написал турецкому командующему учтивое письмо (вспомнив дружеские отношения в давние константинопольские времена), в котором завёл речь о необходимости мира. Одновременно Кутузов велел войскам придерживаться «скромного поведения», чтобы этим подтолкнуть 70-тысячную турецкую армию к решительному наступлению.

Оставалось ждать. В это время деятельность Бенкендорфа свелась к привычной разведывательно-диверсионной службе во

главе отряда лёгкой кавалерии. В «Журнале военных действий Молдавской армии» читаем: «5 июня… Чтобы иметь беспрерывные известия о неприятеле… послано было опять в Писанцы под командою флигель-адъютанта Бенкендорфа 100 уланов Чугуевского полка и 100 казаков Луковкина…»116 Известия о движении главных сил неприятеля стали появляться ближе к двадцатым числам июня. Как точно рассчитал Кутузов, Ахмет-паша, при Прозоровском удачно отбивший штурм Браилова и познавший сладость победы над русскими, пошёл с основными силами именно на Рущук. Там перед городом встала лагерем русская армия.

Бенкендорф начальствовал над передовыми постами армии в то утро 20 июня, когда турецкие войска вошли в боевое соприкосновение с армией Кутузова. Ещё перед зарею, пользуясь густым туманом, ловкие турецкие кавалеристы неожиданно напали на казачью сторожевую цепь и опрокинули её. Разбуженный стрельбой Бенкендорф не растерялся и быстро посадил в сёдла подчинённых ему уланов Чугуевского полка. «Слыша выстрелы, но за туманом не имея возможности рассмотреть происходившее, Бенкендорф приказал кричать „Ура!“ изо всей мочи. Заключая из крика о близости войск наших, турки оставили преследование казаков»117.

Как замечал в записках ворчливый генерал Ланжерон, до той поры Чугуевский полк «не пользовался хорошей репутацией, но на этот раз он превосходно вёл себя, имея во главе полковника Бенкендорфа, флигель-адъютанта императора и волонтёра нашей армии. Именно последнее обстоятельство очень важно, так как он доказал, что и волонтёры могут быть хоть на что-то годны»118.

Тем не менее бой не закончился: едва туман рассеялся, русский авангард увидел освещённые солнцем густые толпы турецкой конницы. Во главе чугуевских улан и части ольвиопольских гусар Бенкендорф принял участие в кавалерийской стычке и выдерживал стремительный натиск турок до тех пор, пока начальник кавалерии генерал Воинов не прислал подкрепление. Турки понесли чувствительные потери и были оттеснены от расположения главных сил; было взято около семидесяти пленных.

Пленные показали, что Ахмет-паша приказал провести разведку боем. Кутузов выстроил части для сражения — на единственной более-менее пригодной позиции в четырёх верстах южнее Рущука. Войска стояли в три линии: первые две были образованы расположенными в шахматном порядке пехотными каре, в третью командующий поставил кавалерию.

Через день, 22 июня, в шесть часов утра казаки передовых

постов примчались к армии с криками «турки, турки идут!». Кутузов, казавшийся окружающим «веселее и приветливее обычного», приказал войску подняться в ружьё.

Появление турок, по признанию очевидцев, имело картинный характер: блестело дорогое оружие, играли красками разноцветные одежды, пестрело бесчисленное количество знамён и значков. Перед строем на породистых лошадях гарцевали наездники — великий визирь ехал в окружении важных сановников и многочисленной свиты.

В семь утра 78 турецких орудий выдвинулись на позиции, и началась артиллерийская перестрелка. Через некоторое время многочисленная турецкая кавалерия двинулась сразу на оба фланга русской армии. Пока пехотные каре и артиллерия отражали эти атаки, великий визирь скрытно подготовил главный удар, призванный решить исход сражения.

В девять часов утра десять тысяч отборных анатолийских всадников под командой прекрасно знающего местность Бошняк-аги, бывшего коменданта Рущука, понеслись на левый фланг русской армии. Конница не расстроила русские каре, но прорвалась в промежутки между ними, частично обошла их левее, через сады и перелески, и кинулась на стоявшую в третьей линии кавалерию. Атал^а была настолько стремительной, что два казачьих полка и располагавшиеся за ними драгунский и гусарский полки оказались смяты и откатились назад. Часть турецких всадников бросилась захватывать орудия, пока артиллерия не спряталась за штыки неприступных каре; другая часть понеслась в тыл, к Рушуку, в надежде отрезать войска Кутузова от крепости и переправы. Начался грабёж маркитантов, чьи повозки стояли на дороге неподалёку от русского лагеря.

«Хоть этот момент и был несчастлив для нас, — вспоминал генерал Ланжерон, — но я должен признаться, что никогда не был свидетелем такого чудного зрелища. Среди великолепной турецкой конницы развевалось от 200 до 300 знамён различных ярких цветов, они были в руках офицеров в богатых одеждах, сидевших на богато убранных чудных конях; золото, серебро и драгоценные камни, украшавшие сбрую лошадей, ярко блестели на солнце… среди этой толпы врагов виднелись наши непоколебимые каре, открывшие со всех сторон сильнейший огонь, хоть и наносивший потери туркам, но не останавливавший ни скорости, ни стремительности неприятеля»119.

Сам Кутузов говорил позже, что за все свои многочисленные походы против турок он никогда не видывал атаки яростнее и отчаяннее той, которую провёл Бошняк-ага.

Бенкендорф в тот день командовал батальоном чугуевских

улан (пятью эскадронами, то есть половиной полка), занимавшим позицию в центре третьей линии обороны. Среди дыма, пыли и грохота, среди невообразимого беспорядка, вызванного прорывом турецкой конницы и смешавшимися казаками, гусарами, артиллеристами, он сумел сохранить хладнокровие. Спокойно, как на учении, Бенкендорф заставил свои эскадроны совершить «заезд направо» и повёл их во фланг прорвавшихся анатолийцев. «Это движение, хорошо направленное, а главное, вовремя совершённое, много помогло делу», — признаёт очевидец атаки генерал Ланжерон120. «При нападении неприятеля на тыл левого фланга, — подтверждает послужной список Бенкендорфа, — опрокинул с Чугуевским уланским полком сильные турецкие толпы и истребил значительное число наездников»121.

Неожиданная контратака Бенкендорфа расстроила наступление турок; потом последовал общий натиск русской кавалерии, подкреплённой присланными Кутузовым егерским полком и артиллерией. Критический момент был преодолён. Главный удар, на который делал ставку турецкий командующий, был не просто отражён — атакованные во фланг, попавшие под артиллерийский обстрел толпы турок оказались в ловушке. Русские каре остались стоять у них за спиной непреодолимой преградой, а тех, кто доскакал до Рущука, встретили огнём и штыками вышедшие из крепости батальоны. Между ними турок атаковала и гнала русская конница, за которой «мерной поступью шла пехота, очищая пространство между Рущуком и армией от метавшихся без цели и без памяти всадников»122. Остатки побитых анатолийцев ускакали от поля боя далеко на юг.

Одновременно была отражена ещё одна турецкая атака с фронта (здесь отличился Воронцов, командовавший двумя пехотными каре). Кутузов почувствовал, что в сражении наступил переломный момент, и отдал приказ о наступлении всех трёх линий русской армии. Под барабанный бой и крики «ура» полки пошли вперёд. Ахмет-паша, увидевший, как на его позицию начала неотвратимо надвигаться русская пехота, приказал отступать. Турок преследовали до их лагеря, затем заняли и его…

Победа была полной, и Кутузов лично отметил тех, кто внёс наибольший вклад в её достижение, в том числе всех офицеров Чугуевского полка. Бенкендорф за организацию своевременной атаки был «в воздаяние мужества и храбрости» представлен к самой почётной награде — ордену Святого великомученика и Победоносца Георгия. Как говорилось в статуте ордена, подписанном Екатериной Великой, «ни высокая порода, ни полученные перед неприятелем раны не дают быть пожалованным сим орденом, но даётся оный тем, кои не только должность свою

исправляли во всём по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили себя особливым каким мужественным поступком». По статуту золотой, покрытый белой эмалью крест ордена полагалось «никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается»123.

Блистательный успех под Рущуком вызвал восторг у генералов, просивших главнокомандующего немедленно продолжить преследование турок. Но Кутузов неожиданно ответил отказом, пояснив: «Они добегут до Шумлы и запрутся. Что станем делать? Придётся возвращаться, и визирь снова объявит себя победителем, как в прошлом году. Гораздо лучше ободрить моего друга Ахмед-бея, и он опять придёт к нам!»124 После этого последовал неожиданный приказ готовиться к разрушению и оставлению укреплений Рущука и к отступлению за Дунай, на «свой» берег. Турки сначала не поверили удаче, а потом восприняли занятие остатков Рущука как свою победу. Её пышно отметили в Константинополе — и в Париже. Русский военный агент во Франции, полковник Чернышёв, доносил, что давно, не видел Наполеона таким радостным, как при получении им известия об отступлении Кутузова.

Так начиналась одна из самых блестящих стратегических операций, итогами которой стали окружение главной армии великого визиря, завлеченной за Дунай притворным отступлением от Рущука, её сдача и, в итоге, заключение столь необходимого России мира.

Увы, ни Бенкендорф, ни Воронцов не приняли непосредственного участия в финальных сценах этой поставленной Кутузовым драмы, хотя задача, порученная им, также способствовала общему успеху. Прежде чем перейти Дунай (и попасться в приготовленную ловушку), великий визирь Ахметпаша отдал приказ Измаил-бею переправиться через реку западнее, у Видина и Калафата. Ему предписывалось нанести отвлекающий удар: вторгнуться в Валахию и этим растащить на части, ослабить уступавшую по численности армию Кутузова.

Двадцатого июля Измаил-бей перешёл Дунай с войском, вчетверо превосходившим противостоявший ему отряд под командованием генерала Засса, но дальнейший путь оказался закрыт. Засс оседлал обе дороги, ведущие вглубь Валахии через заболоченные низины Дуная, и все попытки прорваться отбивал силами пехоты и артиллерии. Когда от жары болото стало постепенно высыхать, генерал попросил у Кутузова подкреплений. Вот тогда главнокомандующий и отправил ему на помощь Воронцова с пехотой и Бенкендорфа с его батальоном чугуевских улан и ротой конной артиллерии. На новой позиции,

которую Засс усилил полевыми укреплениями, Воронцов принял начальство над центром позиции; Бенкендорф, уже «по привычке», командовал форпостами и был «в разных стычках, ежедневно встречавшихся между нашим и турецким лагерем»125. Как ни пытался Измаил-бей вырваться на «оперативный простор», у него ничего не получалось — ни в июле, ни в августе, ни в сентябре… А с середины октября уже Засс перешёл к активным действиям: его задачей стало сковать войска Измаил-бея так, чтобы они не смогли двинуться на помощь обложенной под Рущуком главной армии. Воронцов прошёлся с боем по турецким тылам и создал угрозу повторения, хотя и в меньшем масштабе, рущукского окружения прижатых к Дунаю турецких сил. Напуганный Измаил-бей в октябре оставил свой плацдарм на левом берегу Дуная. 13 ноября, когда Ахметпаша подписал акт о перемирии (фактически предваривший капитуляцию его главной армии), Измаил-бей начал отводить войска от Видина к Софии. Это отступление представляло собой жалкое зрелище: остатки турецких войск были изнурены, пехота шла босой, лошади сотнями падали по дороге… Многие солдаты бросали полки и расходились по домам.

Двадцать третьего ноября блокированные под Рущуком остатки главной турецкой армии (две трети её умерли от голода и болезней) «запросили амана», сложили оружие. Это было фактическим окончанием боевых действий. Отряд Засса с 2 декабря расположился на зимовку в Малой Валахии, и за дело взялись дипломаты. Кутузов успел вовремя. Окончательно мир был подписан в Бухаресте 16 мая 1812 года, а ратифицирован Александром 111 июня в Вильно. Это был день, когда Наполеон уже стоял на горе напротив Ковно и отдавал последние распоряжения о наведении мостов через пограничный Неман.

Глава третья
ГЕНЕРАЛ

Герой, партизан Бенкендорф

Брат нашего героя, Константин, начал свою Отечественную войну в первые же дни нового, 1812 года. 5 января он, будучи советником русского посольства при дворе неаполитанского короля Мюрата, бился на шпагах со ставленником Наполеона, графом Эксельманом. Это была «четверная» дуэль: одновременно русский посол Долгоруков дрался с французским послом Дюраном. Причиной стали разногласия в понимании тонкостей дипломатического протокола: на новогоднем приёме Дюран нагрубил Долгорукову и толкнул его, а в ответ получил оплеуху. За вызовом Дюрана последовал и вызов «оскорблённого» случившимся Эксельмана — его и перехватил Бенкендорф-младший. Долгоруков зацепил Дюрана своим клинком, и они примирились. Константин закончил дуэль «вничью»: ранил противника и был ранен сам. Самолюбие было удовлетворено, но дипломатическая карьера испорчена — всем участникам была гарантирована отставка.

Пока велось разбирательство, пока между Неаполем, Парижем и Петербургом скакали курьеры, тёмная грозовая туча наполеоновской армии уже нависла над границами России.

Для Александра Христофоровича война началась со сцены, известной по великому толстовскому роману, соответствующему эпизоду знаменитого фильма С. Бондарчука и произошедшей на самом деле: с бала в загородном имении генерала Беннигсена Закрет, близ Вильно. Празднество было устроено высшими сановниками в честь императора Александра I; на его организацию было решено сделать «сбор» в свите по сто червонцев с человека. Вошёл в долю и Бенкендорф.

«Блестящее собрание разряженных женщин, военных в богатых мундирах и орденах с алмазами; рассыпавшаяся на зелёной лужайке огромная толпа, пестревшая разнообразными и блестящими цветами своих одежд; старые деревья, образовывавшие обширные пространства зелени; река Вилия, отражавшая в своём извилистом течении и лазурное небо, и розоватые оттенки солнечного заката; лесистые вершины гор, исчезавшие в туманном горизонте, — всё представляло чудную картину…»1

В самый разгар «роскошных увеселений» к царю подошёл генерал-адъютант Балашов и тихонько доложил о приезде курьера от генерала Орлова-Денисова, чей казачий полк стоял на самой границе. Курьер привёз известие неожиданное — и давно ожидавшееся: Наполеон навёл мосты через Неман и начал

переход на русскую территорию.

Александр потребовал от Балашова сохранить эту новость в тайне и пробыл на балу ещё час, стараясь сохранять самообладание и даже весёлость. Однако, как заметил генерал Ермолов, от окружающих (в том числе и от Бенкендорфа) не могло укрыться произошедшее смятение, что «дало повод к заключениям о причине внезапного прибытия… Вскоре затем разгласила молва, что французы перешли Неман недалеко от Ковно, что город занят ими и казаки на передовой страже отступают, разменявшись выстрелами»2. Бенкендорф запомнил, что последовавший наутро «отъезд императорской квартиры, всех военных и гражданских чиновников, их жён и множества жителей Вильны… представлял настоящий базар. Остановились и пришли в себя только в Свенцянах»3.

Роль флигель-адъютантов в развернувшихся затем событиях оказалась далека от выполнения незначительных придворных поручений мирного времени. А. Х. Бенкендорф и С. Г. Волконский очутились среди тех, чей вклад в относительно благоприятный исход начального периода войны был весьма значительным.

Как известно, Наполеон быстро вбил клин между двумя основными русскими армиями — Барклая и Багратиона. Предугадав вполне резонное желание этих армий соединиться, он решил устроить ловушку второй, меньшей по численности, армии Багратиона. Вместо того чтобы всей массой навалиться на первую армию и подставить тыл Багратиону, Наполеон разделил свои войска на две группы, каждая из которых численно превосходила противостоящие ей русские войска. Идущий на север Багратион должен был натолкнуться на силы лучшего наполеоновского маршала Даву. А если бы он отказался от намеченного командованием «наступления», остановился или начал отход, то его настигли бы другие вторгшиеся колонны (с юга шли корпуса австрийцев и саксонцев, а с запада надвигались части вестфальцев под командой младшего брата Наполеона Жерома). В своих «Записках» Бенкендорф сообщает, что посланному для переговоров Балашову Наполеон уже объявил, что «армия Багратиона несомненно отрезана и погибла»4. Опасность была реальной: отряд знаменитого Дорохова, промедливший всего два дня из-за ожидания так и не пришедших предписаний, вырывался потом из затягивавшейся петли чуть ли не на виду у всей Великой армии; при этом его пехоте пришлось совершать по жаре переходы, изнурявшие до кровавого пота.

Флигель-адъютанты обеспечивали ту жизненно необходимую связь, которая поддерживала координацию двух разобщённых русских армий, выясняя попутно реальную обстановку.

Бенкендорф был отправлен Александром I, фактически взявшим на себя роль главнокомандующего, непосредственно к Багратиону, сообщение с которым прервалось уже на третий день войны.

Не все посланцы императора добирались до мест назначения. Некоторые не находили адресатов в районе квартирования, другие, наткнувшись на французские части, возвращались назад.

Бенкендорфу удалось прорваться. 18 июля он не только привёз Багратиону письменные приказы, но и передал наиболее секретную информацию, которую нельзя было доверить бумаге: первая армия не атакует французов и не будет давать битву у Вильно, а отходит на северо-восток, к Дрисскому укреплённому лагерю, чтобы там принять сражение. Поэтому Багратиону нельзя идти к Вильно, где его ждёт ловушка; он должен отклониться к востоку и, таким образом, избегнуть столкновения с поджидающими его войсками Наполеона.

Об изменение планов Багратион немедленно сообщил своему соседу атаману Платову: «С флигель-адъютантом Его Императорского Величества Бенкендорфом… я имел счастие получить именное повеление, чтобы тянуться в соединение к 1-й армии, взяв путь на Новогрудок и Вилейку (то есть намного восточнее намеченного ранее маршрута. — Д. О.)… Его Императорскому Величеству в заключение своего повеления благоугодно было поставить мне, ввиду устремления неприятеля на меня в превосходных силах, иметь Минск и Борисов пунктами моего отступления»5.

Скорректировав таким образом планы, Багратион отказался от «наступательного движения» в западню. Он поспешил на северо-восток, ускользая от преследовавшего его Жерома Бонапарта и надеясь обогнать войска Даву на дороге к Минску. Это состязание двух армий в «беге» было поважнее некоторых сражений.

«Мы шли так скоро, что нередко делали 70 вёрст в сутки, не имея времени сварить кашицы солдатам, — вспоминал один из багратионовских офицеров, — часто навешивали котлы, разводили огни и в мгновение варку сию убирали, выливали наземь и продолжали ретироваться. Было начало июля, жар нестерпимый. Мы несколько раз переправлялись через Неман в Могилёвской губернии. В больших лесах бывали пожары, зрелище ужасное, для нас трудное и опасное для артиллерии. По дороге обе стороны были в огне. Как нас Бог пронёс, это непостижимо».

Возвратившись от Багратиона, Бенкендорф нашёл первую армию отступившей ещё дальше и на следующее утро был отправлен на юг с новым приказом. Ситуация осложнилась

настолько, что император Александр не дал своему адъютанту для передачи никаких бумаг. Всё — только на словах: изменившаяся ситуация, планы, направления…

Маршрут Бенкендорфа удлинялся с каждой поездкой, поскольку разрыв между армиями не уменьшался, а увеличивался. Первый раз он должен был преодолеть около 250 вёрст туда и примерно 350 обратно. Во вторую поездку до армии Багратиона пришлось отмахать более 400 вёрст, а при возвращении — уже более 500! Но печальнее всего было то, что на подъезде к Минску — пункту вожделенных устремлений второй русской армии — Бенкендорф встретил тамошнего губернатора и всех его чиновников, спасавшихся бегством. Они отговаривали посланца императора ехать в город, к которому уже подошли французы. Но другой дороги к Багратиону не было, и Бенкендорф успел проскочить Минск за час до входа туда передовых частей Даву. В мемуарах командира французского авангарда Ю. Ф. Био даже сохранилось упоминание об ускользнувшем у них из-под носа «русском штабном полковнике»6.

Доставленное Бенкендорфом свежее известие о занятии французами Минска оказалось для Багратиона даже важнее царского распоряжения идти на соединение с Барклаем к другому городу — когда-то тыловому Витебску. Бенкендорф повёз (теперь ещё более удлинившимся кружным путём) донесение о том, что командующий второй армией «нырнул» южнее, к Бобруйску, в надежде опередить идущего по более короткой дороге Даву у Могилёва.

Вернулся царский адъютант уже в Дрисский укреплённый лагерь — «твердыню», в которой до войны, по плану прусского теоретика Фуля, предполагалось встретить и разбить главные силы Наполеона. Теперь этот план подвергся всеобщей критике: место было признано неудачны^ по целому ряду причин — стратегических, тактических, инженерных. Все офицеры знали, что «весьма смелый на язык» начальник штаба армии Паулуччи заявил Фулю в лицо: «Этот план выбран или изменником, или невеждой — выбирайте любое, ваше превосходительство». В конце концов Первая армия бросила лагерь и стала отходить к Витебску. Сообщения с Багратионом не было почти неделю, и к нему были отправлены сразу несколько связных. Из-за опасения, что Волконский, посланный первым, по самому короткому и потому самому опасному маршруту, «непременно должен попасться в руки неприятеля», чуть погодя и более надёжным путём был отправлен Бенкендорф.

А войска Багратиона снова совершали изнурительные марши.

Генерал Паскевич вспоминал: «Князь Багратион приказал запастись в Бобруйске только сухарями и усиленными маршами спешить к Могилёву, чтобы там предупредить неприятеля. Трудно найти в военной истории переходы усиленнее отступления 2-й армии. В день делали по 45 и 50 вёрст; несносный жар, песок и недостаток чистой воды ещё более изнуряли людей. Не было времени даже варить каши. Полки потеряли в это время по 150 человек. Находясь с 26-ю дивизиею в голове колонны, к счастью, я имел большой запас сухарей и водки. Отпуская двойную порцию, поддерживал этим солдат, но, несмотря на то, у меня выбыло из полка по 70 человек». Впрочем, как позже говорил генерал Драгомиров, «никогда не думай, каково тебе; думай, каково неприятелю». В корпусе Даву урон от изнурительных гонок на опережение был ещё выше. Здесь насчитывали «бесчисленное» количество отставших: в среднем около трети списочного состава полков. Например, во 2-м полку польского Легиона Вислы каждая рота потеряла в среднем 15–20 человек, из положенных по штату 2400 солдат 800 «осталось лежать на дорогах, в полях и лугах, некоторые мёртвыми, другие — не в силах следовать за нами»7.

И вновь повторилась минская история: теперь уже Волконский, не доезжая десяти вёрст до Могилёва, встретил спасавшегося бегством начальника внутренней стражи, уверявшего, что в город вошли французы. Ямщик согласился ехать дальше, только увидев направленный на него пистолет. Могилёв был ещё пуст, но аванпосты французов находились всего в 15 верстах к западу.

Вовремя предупреждённый Багратион успел изменить свои планы: в бумагах, привезённых Волконским 8 июля и продублированных прибывшим чуть позже Бенкендорфом, было обозначено новое место соединения — Смоленск.

С третьей попытки Багратион и Платов сумели обмануть опытного Даву: сковали его боями на подступах к Могилёву и внушили мысль, что будут всеми силами сражаться за этот город, обладавший удобнейшей переправой через Днепр. Пока Даву по всем правилам военной науки готовился к серьёзному сражению, казаки Платова, «кружа как рой пчёл»8 вокруг Могилёва, создали непроницаемую для французской разведки завесу. Под её прикрытием русские войска переправились через Днепр ниже по течению и через восемь дней беспрепятственно достигли Смоленска. Армии соединились.

Первый этап войны закончился, с ним завершилась и курьерская служба Бенкендорфа и Волконского. К этому времени император Александр уже покинул действующую армию, но большая часть его свиты осталась на войне и попала в

распоряжение главнокомандующего Барклая де Толли.

Бенкендорф и Волконский поступили под начало генерала Ф. Ф. Винцингероде, командовавшего в то время резервами в Смоленске и окрестностях.

Фёдор Фёдорович Винцингероде формально был подданным Наполеона, поскольку его отечество — Гессен — вошло в состав Первой империи. Но фактически он был «профессиональным борцом с Наполеоном», сражался с французами с 1790-х годов то на стороне России, то на стороне Австрии, заслужил боевого «Георгия» и орден Марии Терезии, был ранен. 11 мая 1812 года он вновь вернулся на русскую службу — чтобы опять воевать с Наполеоном. Когда война началась, император французов объявил его своим личным врагом.

Позже Бенкендорф вспоминал, с каким огорчением он отправлялся к месту нового назначения — в тыл, в резервный корпус. Он вместе со всеми испытывал горечь от постоянного отступления и надеялся поскорее вступить в бой. Позже в мемуарах Бенкендорф вспоминал: «Каждый верстовой столб, приближавший нас к столице, печалил нас и солдат. Удручённые скорбью, мы предавали наши губернии и их великодушное население неприятельскому разорению. Сколько проклятий навлёк на себя честный и благородный генерал Барклай, который, исполняя своим отступлением мудрые указания императора, принимал на себя ненависть и проклятия народа и ропот солдат». Бенкендорф мог слышать, как Барклай, подъехав к солдатам, когда они обедали, спросил: «Ребята, хороша ли каша?» — и в ответ раздалось горькое: «Хороша, да не за что нас кормить»…

Бенкендорф приехал в Смоленск незадолго до соединения русских армий и здесь пережил пару тревожных дней. Уже тогда было ясно, что город станет ареной битвы, но ещё совершенно непонятно, кто подойдёт к нему первым: Барклай с северо-запада или обогнавший Багратиона Даву с юго-запада.

Винцингероде попытался, не дожидаясь подхода основных сил, создать хоть какую-то линию обороны города из подчинённых ему частей. «Состоявший при особе его флигель-адъютант полковник Бенкендорф» и артиллерийский офицер Н. М. Коншин немедленно отправились объезжать город, чтобы «составить проект укреплений, самый простой, удобный для исполнения по обстоятельствам и времени». Тревожный день сменился беспокойной ночью: обсуждался вопрос о возможном уничтожении моста через Днепр; только к утру Бенкендорф развёз подчинённым Винцингероде сведения о том, что Барклай уже на марше, а «в авангарде нашем в Красном не слышно нападательного движения»9.

Правда, участвовать в сражении у древних смоленских стен Бенкендорфу не пришлось.

* * *

Однако в резерве Александр Христофорович тоже не засиделся. Уже 21 июля Винцингероде получил приказ главнокомандующего Барклая де Толли, согласно которому резервный корпус расформировывался, а генерал становился командиром самостоятельного боевого отряда, или «партии», как тогда говорили. «Я поручил генералу Винцингероде, — вспоминал впоследствии сам Барклай, — начальство над войсками, собранными между Поречьем и Духовщиной… Он обязан был прикрывать с сими войсками дорогу к Духовщине и Белой, освободить Велижский уезд от набегов неприятеля и наблюдать за ним в Поречье, Сураже и Витебске»10. «Назначение указанного отряда, — добавлял в мемуарах Бенкендорф, — было служить для связи между большой армией и армией под командованием графа Витгенштейна, охранять внутренность страны от неприятельских отрядов и фуражиров и действовать, в зависимости от обстоятельств, в тылах французской армии, не теряя из виду движений Барклая де Толли». Специальным приказом отряду вменялось в обязанность «брать пленных и узнавать, кто именно и в каком числе неприятель идёт, открывая об нём сколько можно». Тыл стал фронтом, резервы — боевыми частями, полковник Бенкендорф — командиром авангарда, ротмистр Волконский — дежурным штаб-офицером.

В состав отряда Винцингероде первоначально вошла исключительно кавалерия: Казанский драгунский и четыре казачьих полка (Ставропольский калмыцкий, В. Д. Иловайского 4-го, И. Д. Иловайского 12-го и Краснова 1-го), подкреплённые парой конных орудий. Это позволяло отряду перемещаться необыкновенно быстро — при необходимости преодолевать более 80 вёрст в сутки — и не только неожиданно атаковать, но и быстро отступать. Отсюда иное название «партии» Винцингероде — «летучий корпус». Историки позже назовут его «первым партизанским отрядом», что в принципе не противоречит тогдашнему, довольно широкому, толкованию. Слово «партизан» пришло из французского языка (partisan) и обозначало, согласно словарю Даля, «начальника» или «соучастника» партии, то есть «лёгкого летучего отряда, вредящего внезапными покушениями с тылу, с боков»12. Именно из-за такой размытости термина неудивительны упоминания мемуаристов и о французских

партизанах в 1812 году. «Когда партизаны неприятельские уже начинали грабить около нашей подмосковной…» — писал, например, в воспоминаниях князь И. М. Долгоруков.

Для того чтобы очутиться на фланге и в тылу наполеоновской армии, «летучий корпус» ушёл за полторы сотни вёрст к северу от Смоленска, на время растворился среди девственных елово-дубовых лесов и бесчисленных ледниковых озёр на границе России и Белоруссии. Журналист, путешествовавший по этим краям почти через двести лет после описываемых событий, не преминул отметить нетронутость природы даже в XXI веке: «Щемящей красоты вокруг пейзажи! В принципе, места болотистые, куликовые, клюквенные, перемежаемые иногда то лиственным лесом, то хорошим, светлым сосняком. Небольшие речки тяготеют разлиться в покойные равнинные озёра, поросшие камышом… Дорога всё так же узка и пустынна… Людей не видать. Благодать затерянной в лесах провинции, откуда хоть три года скачи, никуда не доскачешь…»13

Но в июле 1812 года до неё доскакали передовые разъезды Наполеона. Следом спрут Великой армии вытягивал по окрестным местечкам и деревням мелкие щупальца — отряды мародёров. Казаки «летучего корпуса» частенько заставали их врасплох и захватывали в плен без особого сопротивления. Однако это было «побочное» занятие; главным было обнаружить, где кончаются партии мародёров и начинается левый фланг основных сил Наполеона.

Для военных операций такого рода существовало довольно точное определение: поиск. Ибо прежде чем атаковать неприятеля после долгого скрытого марша, его нужно было отыскать. Информация, полученная в Смоленске, через несколько дней устарела. Ротмистр Волконский убедился в этом, когда ринулся с сотней казаков в местечко Усвят, но… никого там не встретил. Ещё один быстрый поиск — на Сураж, где, как «достоверно знали» в штабе Барклая, находится противник. И снова — только следы пребывания корпуса Евгения Богарне, а вся «добыча» состоит из горстки отставших больных итальянцев. Куда ушёл целый армейский корпус наполеоновской армии? Эти сведения представляли интерес не только для отряда Винцингероде. Командование соединённых русских армий, впервые за всю войну решившееся наступать, жаждало подробной информации о перемещении главных сил противника. Наконец разведка донесла: регулярные части в городке Велиж!

Утром 28 июля, в сонный час перед рассветом, отряд незаметно подобрался вплотную к самому Велижу и изготовился к бою. Затем авангард под командованием Бенкендорфа сбил

пикеты противника и атаковал предместье, а ещё одна сотня казаков «гикнула вдоль большой улицы». Генерал Винцингероде выжидал во главе своей главной ударной силы, Казанского драгунского полка, чтобы закрепить успех казаков и войти в город. Увы, наполеоновская пехота (это были вольтижёры Далматского полка) оказалась готова к отпору и встретила атакующих дружным ружейным огнём. В конце концов завязавшаяся перепалка привела к путанице: ночью, да ещё в городе, стало трудно отличать своих от чужих. В один момент того полуслепого предрассветного часа Бенкендорф и Волконский выскочили друг на друга с саблями наголо — благо всё кончилось дружным смехом над таким «невольным наездничеством»14..

С рассветом стало понятно, что атака лёгкой кавалерии против засевшей в домах пехоты не принесёт успеха, и Винцингероде приказал прекратить бой. Итальянский конноегерский полк попытался было преследовать русских за городом, но после их энергичной контратаки уже итальянцы бежали назад, под защиту своих стрелков.

Это был один из тех боёв, в которых добытая информация оказывается важнее тактического успеха. К Барклаю немедленно отправился курьер с известием о перемещениях правого фланга главных сил Наполеона15.

Через неделю с небольшим именно в связи с делом при Велиже столичные газеты, «Северная почта» и «Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям», впервые объявили, что неприятель отступил: «Главнокомандующий армиями Барклай де Толли от 3 августа доносит: Имею щастие донести Вашему Императорскому Величеству, что неприятель, будучи обеспокоен отрядом генерал-майора барона Винцингероде от стороны Велижа и генерал-майор Краснов со своим отрядом зашед ему в левый фланг, отступил от Поречья и сосредоточил силы свои у Рудни. Таким образом обеспечив правый мой фланг, я подвинулся со всею армиею вперёд».

В жаркие (и в прямом, и в переносном смысле) дни начала августа, пока большие армии маневрировали и сражались у Смоленска, отряд Винцингероде вёл свою, малую войну. Выделенные для борьбы с ним французские части стерегли русских у Рудни, северо-западнее Смоленска; но полки «летучего корпуса» помчались на запад и 7 (19) августа вызвали переполох среди войск неприятеля в Витебске. Почти одновременно Бенкендорф с казачьей сотней совершил лихой налёт на населённый пункт Городок, захватив «по дороге» около трёхсот пленных. Однако Винценгероде имел приказ поддерживать контакт с главной армией и был обязан отходить вслед за ней

вглубь России, прикрывая её левый фланг. Именно поэтому он, едва «коснувшись локтем» у Полоцка корпуса Витгенштейна (превращённого в самостоятельную единицу, защищавшую петербургское направление), развернул свои полки, быстро двинулся на запад и ушёл из Белоруссии обратно в Смоленскую губернию. Руководимый Бенкендорфом авангард стал арьергардом. Преодолев за 36 часов 124 версты, он нагнал Винцингероде у того же Велижа, теперь бывшего не «прифронтовым городком», а глубоким тылом наполеоновской армии. И в этом тылу партизаны Винцингероде продолжили игру на нервах неприятельских коммуникаций.

К этому времени на «охоту» за отрядом Винцингероде командир левофлангового корпуса наполеоновской армии Богарне отрядил целую дивизию генерала Пино. Даже с учётом потерь после изнурительных переходов она более чем вчетверо превосходила русский «летучий корпус», да к тому же под командование генерала поступали конные части: дивизия лёгкой кавалерии генерала Пажоля и кавалерийская бригада Гюйона, недавно потревоженная партизанами в Витебске. Однако угнаться за подвижными сотнями казаков и калмыков все эти силы были не в состоянии, тем более что симпатии местного населения, белорусов и местечковых евреев, были на стороне русских, которые поэтому всегда имели свежую информацию и осведомлённых проводников. Последствия этой малоудачной для французов операции вышли за рамки стычек на фланге Великой армии. Отвлекшись на охоту за Винцингероде, весьма боеспособная дивизия Пино (почти семь тысяч человек) своей задачи не выполнила, а потом, как ни старалась догнать главные силы, опоздала к Бородинскому сражению. Так реализовывалксь идея русского командования: до начала генерального сражения «растащить» французские силы на куски, ведь на каждый русский отряд Наполеон старался выделить превосходящие силы Великой щриии. В результате численное преимущество её ядра всё таяло и таяло…

Этому способствовали не только армейские партизаны, но и отряды местных жителей. Бенкендорф заметил, что крестьяне явно осмелели: они уже не просто прятали в лесах женщин, детей и скот, а отбивали у французов оружие и, вооружившись, «спешили на защиту своих церквей, поджигали свои дома и готовили муки несчастным, которые попадали в их руки».

Но главные силы отступали на восток, и за ними следовал, выполняя приказ, отряд Винцингероде. Это было отступление по территории уже искорёженной войной Центральной России. Бенкендорф запомнил сожжённые и ограбленные деревни, следы

погромов и святотатства в православных храмах, прятавшихся в лесах крестьян. G ними приходилось быть осторожными: здесь, во внутренних губерниях, поначалу любой военный мундир принимали за французский. В какой-то брошенной оранжерее Бенкендорф натолкнулся на группу вооружённых селян. Щёлкнули курки, он был взят на прицел, и… только «сильное слово», которое он поспешил крикнул, «заставило узнать» в нём русского.

Нередко отступление становилось тыловым рейдом: на пути постоянно попадались наполеоновские фуражиры и отряды мародёров. Они, по словам Волконского, «грабили и неистовствовали». В ответ казаки и солдаты тоже действовали беспощадно. В селе Самойлове, недалеко от Вязьмы, около сотни застигнутых за мародёрством вестфальцев засело в домах. На все предложения сдаться они отвечали выстрелами. Винцингероде спёшил два эскадрона драгун, приказал примкнуть штыки и идти на приступ. В результате штурма были уничтожены все мародёры: в пылу рукопашной схватки раненых грабителей не пожалели — добили всех, несмотря на приказ взять хотя бы одного «языка». В том же Самойлове, в усадьбе княгини Голицыной, Бенкендорфу запомнились большие старинные часы: уцелевшие посреди разграбленного господского дома (двери настежь, окна разбиты), они продолжали ходить и мерно бить, отсчитывая время.

Большая армия по-прежнему отступала, и, прикрывая её фланг, отходил отряд Винцингероде. День Бородинского сражения он провёл в Поречье, усадьбе Разумовских, заслоняя противнику удобную переправу через Москву-реку верстах в тридцати к северу от поля боя. Любая попытка скрытно обойти бородинскую позицию русской армии немедленно была бы раскрыта.

Несмотря на небольшое расстояние, пушечный гром эпической битвы не донёсся до Поречья, растворившись в густых кронах деревьев окрестных лесов. Лишь на следующий день, по дороге на Волоколамский тракт, казаки начали приводить французов-очевидцев, «блуждавших по деревням в поисках пищи и убежища». Исход боя был не ясен, и Винцингероде в компании Волконского поспешил в Можайск, к Кутузову. Вернулся он в полной уверенности, что Бородинское сражение проиграно, и привёз приказ снова отступать — на соединение с резервами.

И опять непосредственным противником Винцингероде стал вице-король Италии, пасынок Наполеона, принц Евгений Богарне. Вечером 28 августа под Рузой, а 31-го у Звенигорода Бенкендорфу пришлось участвовать в боях с семикратно превосходящими силами противника. В качестве командира арьергарда (трёх

казачьих полков) он оказывался на самом острие схваток. Кутузов опасался, что Богарне, «сделав форсированный марш… и раздавив отряд Винцингероде, …возымеет дерзкое намерение на Москву», а значит, успеет туда раньше медленно отходивших главных сил русской армии.

Но части Винцингероде не были раздавлены. У Рузы они озадачили Богарне налётом с тыла и заставили его простоять целый день, «выясняя обстановку»; при этом Бенкендорф «с двумя казачьими полками опрокинул неприятельские передовые посты». На высотах у Звенигорода Винцингероде продержался шесть часов, до наступления темноты, и выиграл ещё один день для отхода основных сил. Надежды Наполеона на то, что Богарне появится у стен Москвы раньше Кутузова, не сбылись. В том бою под Звенигородом Бенкендорф удерживал позицию у Саввино-Сторожевского монастыря. К вечеру, когда перевес противника стал сказываться, он оказался в опасной ситуации, был отрезан от Винцингероде и смог уйти только в темноте, остановив преследователей у узкого моста через болотистую речушку Разварню. Отступать пришлось при отблеске пожаров: горели деревенские дома, несжатый хлеб, разбросанные по лугам стога.

Между тем война докатилась и до Москвы. В канун ожидаемого сражения за столицу Винцингероде лично отправился за распоряжениями в штаб Кутузова, оставив отряд на Бенкендорфа, «отличного и достойного офицера». Это было проявлением особого доверия: при наличир двух казачьих генералов именно полковник Бенкендорф Получил приказ руководить отрядом и представлять свои донесения непосредственно Кутузову. Ему вменялось в обязанность прикрывать переправу через Москву-реку у села Хорошево «до последней крайности».

На рассвете 2 сентября показался неприятель: в его лагере намеренно устроили ранний подъём, чтобы поскорее добраться до Москвы, представлявшейся французам столь же вожделенной целью, как Иерусалим крестоносцам. Бенкендорф перевёл отряд на правый берег и сжёг единственный мост. Казаки авангарда успели потрепать вражеские передовые колонны и даже захватили пару десятков пленных, но были отбиты, пересекли реку вплавь и присоединились к своим.

Вскоре к левому берегу вышел весь корпус Богарне. Он развернулся в боевые порядки и только ожидал сигнала к общему наступлению. Бенкендорф приготовился вести неравный бой за переправу, который, как казалось, должен был стать частью грандиозной битвы за Москву. Но в этот момент из штаба возвратился Винцингероде. Он привёз приказ, казавшийся

невероятным: столицу оставить без боя. Как записал один из очевидцев, от этого приказа войска охватили «робость и уныние».

Никем не преследуемый, отряд отходил по северным московским окраинам к Ярославской заставе. Глазам Бенкендорфа предстала та суетливая паника, которую отметил М. М. Снегирёв: «Трудно описать суматоху и тревогу в Москве, которая представляла из себя позорище какого-то переселения: все суетились, хлопотали, одни зарывали в землю или опускали в колодцы свои драгоценности или прятали их в потаённые места в домах; другие собрались выехать из Москвы, не зная ещё, куда безопаснее укрыться от врагов, искали лошадей и ямщиков; иные оставались на своих местах, запасались в арсенале оружием или в уповании на Божью помощь молились. Многие даже готовились к грозившей напасти исповедью и причащением Св. Тайн…»

На окраине отряд остановился, чтобы прикрыть бежавших из города жителей. Этот массовый исход гражданского населения, которое «хлынуло изо всех ворот», навсегда запечатлелся в памяти Бенкендорфа: «Сердца самых нечувствительных солдат разрывались при виде ужасного зрелища тысяч этих несчастных, которые толкали друг друга, чтобы выйти скорее из города, в котором они покидали свои пепелища, своё состояние и все свои надежды. Можно было сказать, что они прощались с Россией. Едва мы услышали нестройный шум народа, который бежал, и неприятеля, вступавшего в Москву, нас охватил ужас». День оставления Москвы стал днём наибольшего уныния и отчаяния. Солдаты вполголоса, чтобы офицеры не слышали, говорили друг другу: «Лучше уж бы всем лечь мёртвыми, чем отдавать Москву!» Офицеры заявляли, что если будет заключён мир, они «перейдут на службу в Испанию». Однако когда стемнело и солдаты Бенкендорфа стали устраиваться на ночлег, они увидели, что в нескольких местах над Москвой показалось зарево. «При первом говоре о том, что Москва горит, отряд, которым начальствовал Бенкендорф, самопроизвольно выстроился и, оборотясь к Москве, прокричал ура! С этой минуты, замечал Бенкендорф, солдаты снова сделались бодры и охотны к службе»16.

«Огонь успокоил наши опасения, — вспоминал сам Бенкендорф. — Французская армия вступала в ад и не могла пользоваться средствами Москвы. Мысль эта утешала нас, и ночь, освещённая гибелью нашей столицы, сделалась роковой скорее для Наполеона, нежели для России».

Очевидцы оставили немало описаний пожара, виденного в первую ночь отступавшими русскими войсками. Вот одно из них: «Огромное пространство небосклона было облито ярко-пурпурным цветом, составлявшим как бы фон этой картины. По

нему крутились и извивались какие-то змеевидные струи светло-белого цвета. Горящие головки различной величины и причудливой формы и раскалённые предметы странного и фантастического вида подымались массами вверх и, падая обратно, рассыпались огненными брызгами… Самый искусный пиротехник не мог бы придумать более прихотливого фейерверка, как Москва — это сердце России, — объятая пламенем»17.

Бенкендорфу запомнились «ужасный треск» и далеко распространявшийся свет, от которого даже ночью были хорошо видны лица солдат и следовавших вслед за армией беженцев. Волконский был потрясён тем, что зарево пожара позволяло ему «без затруднения» читать донесения, находясь в 10–15 верстах от Москвы.

С 4 сентября отряд Винцингероде, имевший в строю две тысячи человек при двух конных орудиях и подкреплённый Тверским ополчением, остался единственной силой, прикрывавшей дорогу из Москвы в Санкт-Петербург. Именно от Винцингероде — точнее, от отправленного им курьера, лейб-казачьего поручика Орлова-Денисова — Александр I узнал об оставлении Москвы. Ради сохранения тайны граф Аракчеев продержал примчавшегося в столицу поручика взаперти, в собственном кабинете, до тех пор, пока не последовал ответ императора в запечатанном пакете. Затем Орлов-Денисов был немедленно усажен на тройку и отправлен обратно под конвоем казака.

Этот пакет в штабе Винцингероде вскрывали с трепетом, ведь решение о сдаче Москвы было принято без участия императора. Не принял ли государь это известие как знак поражения, не собрался ли прекратить войну?

Когда Винцингероде прочёл письмо Александра, лицо его просветлело. Он протянул его штабным офицерам — Бенкендорфу, Волконскому и Л. А. Нарышкину — со словами: «Посмотрите, каков император у России и у нас!» Даже спустя иолвека Сергей Волконский вспоминал то письмо как удивительный пример возвышенного чувства и твёрдого духа, более того, как документ, после чтения которого отчаяние, охватившее 2 сентября, полностью сменилось уверенностью в необходимости и правильности принесённой жертвы. «Я не могу понять, — писал Александр, — что заставило Кутузова отдать врагу Москву после победы, которую он одержал при Бородине. Но одно я могу вам сказать: пусть мне пришлось бы в поте лица обрабатывать клочок земли в самой глубине Сибири, я никогда не соглашусь заключить мир с непримиримым врагом России и моим». Князь А. Шаховской вспоминал, что видел в этом письме

строки, где русский император называл мир с Наполеоном «политическим рабством и внутренней враждой».

Москва, как говорили тогда солдаты, стала «заграницей», но война продолжалась. Аванпосты противоборствующих сторон расположились на большой дороге в Петербург, у противоположных концов нынешнего Зеленограда: французы у Чёрной Грязи, русские у Чашникова. В дальнейшем сравнительно небольшой «обсервационный корпус» Винцингероде стал подобием прочной и гибкой мембраны: при давлении превосходящих французских сил он мог прогнуться до Дмитрова и Клина, но никогда не терял соприкосновения с противником. Когда французы отходили — за ними следовал Винцингероде, и его передовые отряды снова занимали позиции у Чашникова и Чёрной Грязи.

Казачьи посты не вступали в невыгодные стычки, но регулярно снабжали информацией штаб Винцингероде (а значит, и Кутузова, и Петербург). Столичные газеты постоянно публиковали известия с северо-западных окрестностей Москвы. Обыватель разворачивал газету с трепетом: не двинулся ли Наполеон на завоевание Северной столицы? И успокаивался, читая, например, в «Северной почте»:

«Генерал-адъютант барон Винцингероде… из деревни Давыдовки доносит Его Императорскому Величеству следующее: Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу: что при корпусе, авангарде, отрядах, заставах и передовых постах обстоит всё благополучно… По Санкт-Петербургской дороге неприятельских движений никаких не замечено. Разъездами захвачено несколько пленных, которые подтверждают, что войска их, находящиеся в Москве, также имеют большой недостаток в провианте…

По всем известиям, которые я имею, заключать должно, что неприятельские соединённые силы находятся в Москве. Он, претерпев неоднократно весьма значащий урон от отрядов моего корпуса, производит фуражировку с прикрытием и большою осторожностью».

«Всё обстоит благополучно» означало: идёт малая война, «партии» казаков и гусаров постоянно тревожат наполеоновских фуражиров, а на большой дороге захватывают курьеров и почту. Число пленных через месяц после оставления Москвы почти втрое превышало численность «обсервационного корпуса».

В деле захвата «трофеев» случались иногда курьёзы. Както казаки привели к Бенкендорфу несколько странных фигур в изорванных сюртуках: пленные не говорили по-русски и держали в руках духовые инструменты. Всё указывало на то, что это

неприятельские музыканты. Но оказалось, это были прибалтийские немцы, музыканты барона Фитингофа, переселившегося перед войной из Риги в Москву. Барон бежал перед приходом французов, забыв музыкантов, и они какоето время пробыли оркестрантами открытого в Москве французского театра. Потом, когда стало не до музыки, их из Москвы выгнали — и они тут же были «взяты в плен». В отряде Винцингероде «музыканты Фитингофа» с усердием играли «за кушанье», составляя «столовую гармонию при биваках их превосходительств».

В середине сентября отряд Бенкендорфа был отправлен к Волоколамску: туда, по данным разведки, двигалась неприятельская колонна. Однако пока он шёл, ситуация изменилась: в городе осталась только группа неприятельских фуражиров. Бенкендорф уже не застал и их — живыми. «Собравшиеся на удальство» городские жители и крестьяне сами управились с вражеской «партией»: одних сожгли в домах, других, застав врасплох, перерезали. Бенкендорфу с гордостью рассказывали, как «служанка казначея заколола поварским ножом двух французских подлипал, ворвавшихся один после другого в чулан, где она спряталась».

Отряду пришлось идти дальше на юг, в сторону Можайска. Там Бенкендорф применил обычную партизанскую тактику: разбил своё соединение на четыре части, указав каждой направление движения и сборный пункт на следующую ночь. Уже к вечеру мобильные казачьи группы, сопровождаемые «ватагами» крестьян, привели более восьмисот пленных, множество повозок, лошадей, скота. ¦ Столичная «Северная почта» не преминула сообщить о подвигах Бенкендорфа:

«Императорского Величества флигель-адъютант полковник Бенкендорф стоит с отрядом своим между Волоколамском и Можайском при селе Спасском. Он со своим отрядом наносил большой вред неприятелю под самым городом Рузою и Можайском. От французов посланы были два эскадрона для открытия его отряда. Полковник Бенкендорф послал против них соединённую партию из лейб-казачьего полка и Донских полков Иловайского 4-го и Чернозубова 8-го, числом не более ста человек. Сии два французские эскадроны совершенно были разбиты и взято в плен: 1 ротмистр и 152 рядовых с их лошадьми. Сам начальник французского отряда был убит».

Шестнадцатого сентября А. Х. Бенкендорф был произведен в генерал-майоры «за отличия и храбрость», в частности за давнюю атаку на Велиж18.

Под его непосредственным командованием было в то время

несколько казачьих полков, в том числе лейб-гвардейский; кроме того, он руководил действиями крайнего правото фланга «обсервационного корпуса», на котором казачий подполковник Чернозубов-восьмой действовал между Можайском и Гжатском.

Но армейские части и казаки составляли только ядро партизанской армии. Сотни крестьян не просто оказывали поддержку регулярным войскам — действовали с ними в одном строю. Центром, координировавшим их усилия на северо-западе от Москвы, стал лагерь Бенкендорфа под Волоколамском. Описание этого военно-народного лагеря, сделанное Бенкендорфом, со временем, возможно, войдёт в исторические хрестоматии — настолько оно живописно: «Мой лагерь походил на воровской притон; он был переполнен крестьянами, вооружёнными самым разнообразным оружием, отбитым у неприятеля. Каски, кирасы, кивера и даже мундиры разных родов оружия и наций представляли странное соединение с бородами и крестьянской одеждой. Множество людей, занимавшихся тёмными делами, являлись беспрерывно торговать добычу, доставлявшуюся ежедневно в лагерь. Там постоянно встречались солдаты, офицеры, женщины и дети всех народов, соединившихся против нас. Новые экипажи всевозможных видов, награбленные в Москве; всякие товары, начиная от драгоценных камней, шалей и кружев и кончая бакалейными товарами. Французы, закутанные в атласные мантильи, и крестьяне, наряженные в бархатные фраки или в старинные вышитые камзолы. Золото и серебро в этом лагере обращалось в таком изобилии, что казаки, которые могли только в подушки сёдел прятать своё богатство, платили тройную и более стоимость при размене их на ассигнации. Крестьяне, следовавшие всюду за казачьими партиями и бдительно нёсшие аванпостную службу, брали из добычи скот, плохих лошадей, повозки, оружие и одежду пленных. Было до крайности трудно спасать жизнь последних — страшась жестокости крестьян, они являлись толпами и отдавались под покровительство какого-нибудь казака. Часто бывало невозможно избавить их от ярости крестьян, побуждаемых к мщению обращением в пепел их хижин и осквернением их церквей. Особенною жестокостью в этих ужасных сценах была необходимость делать вид, что их одобряешь, и хвалить то, что заставляло подыматься волосы дыбом. Однако при неурядице и среди отчаяния, когда, казалось, покинул Бог и наступила власть демона, нельзя было не заметить характерных добродетельных черт, которые, к чести человечества и к славе нашего народа, благородными тенями выступали на этой отвратительной картине».

Вооружённые крестьяне, ставшие в «прифронтовых» районах

привычным явлением, в столице вызывали страх. Из Петербурга пришло требование, которое можно было бы назвать в создавшихся условиях нелепым, если бы оно не исходило от Комитета министров. Там разбирали дело о якобы взбунтовавшихся крестьянах Волоколамского уезда и об одном священнике, который «соучаствовал с ними». Злоумышленники, как сообщалось, «вышли из повиновения» и, говоря, «что они теперь французские», «разграбили имение Алябьева, хлеб, скот, лошадей, убили крестьянина деревни Петраковой из пистолета, хлеб и вина отдали священнику, который, не довольствуясь этим, свёл со двора последнюю лошадь»19. В результате якобы взволновалась вся волоколамская округа. Комитет министров через тверского губернатора приказал: «Барону Винцингероде предписать, чтобы он на место к взбунтовавшимся крестьянам отрядил достаточную команду и, изыскав начинщиков возмущения, в страх других велел их повесить». Винцингероде «отрядил» для решения дела воевавшего в тех местах Бенкендорфа.

— Вот как писал об этом в мемуарах сам Александр Христофорович: «На основании ложных донесений и низкой клеветы я получил приказание обезоружить крестьян и расстреливать тех, кто будет уличён в возмущении. Удивлённый приказанием, столь не отвечавшим великодушному и преданному поведению крестьян, я отвечал, что не могу обезоружить руки, которые сам вооружил и которые служили к уничтожению врагов отечества, и называть мятежниками тех, которые жертвовали своею жизнью для защиты своих церквей, независимости, жён и жилищ, но имя изменника принадлежит тем, кто в такую священную для России минуту осмеливается клеветать на самых её усердных и верных защитников».

Кроме мемуаров сохранилось и документальное подтверждение позиции Бенкендорфа. Его донесение Винцингероде написано открыто и без обиняков: «Крестьяне, которых губернатор и другие власти называют возмутившимися, вовсе не возмутились. Некоторые из них отказываются повиноваться своим наглым приказчикам, которые при появлении неприятеля так же, как и их господа, покидают этих самых крестьян вместо того, чтобы воспользоваться их добрыми намерениями и вести их же против неприятеля… Имеют подлость утверждать, будто некоторые из крестьян называют себя французами. Они избивают, где только могут, неприятельвкие отряды, отправляют в окружные города своих пленников, вооружаются отнятыми у них ружьями и защищают свои очаги… Нет, генерал, не крестьян нужно наказывать, а вот нужно сменить

служащих людей, которым следовало бы внушить хороший дух, царящий в народе». И в завершение в тексте подчёркнуто: «Я отвечаю за это своей головой»20. И такая бумага 19 сентября ушла в Комитет министров и была занесена в его официальный «Журнал»! «Этот ответ, — вспоминал Бенкендорф, — произвёл сильное впечатление… я, может быть, навлёк на меня вражду некоторых петербургских интриганов».

И снова — малая война: разгром транспортов, захват обозов и фуражиров, ежедневное пленение французов, всё более голодных и в силу этого с возраставшим отчаянием всё дальше уходящих от Москвы в поисках провианта. Лейтенант итальянской гвардии Сезар Ложье записал в дневнике: «Мы каждый день отходим на расстояние приблизительно от 10 до 12 миль от города, отрядами, составленными из разных частей армии, чтобы раздобыть съестных припасов и фуража… Было бы слишком скучно подробно говорить об этих наших экскурсиях… Они… почти всегда, за редкими исключениями, сопровождаются стычками с казаками и партизанскими отрядами. Иной раз, впрочем, нам приходится оплачивать добытые нами припасы гибелью кого-нибудь из товарищей; иные возвращаются ранеными. Эти потери, эти несчастные случаи очень чувствительно действуют на нас»21. Казаки Винцингероде захватывали пленных даже на окраинных московских огородах, куда оголодавшие неприятельские солдаты пробирались, чтобы накопать картошки.

Французы голодали, а в штабе Винцингероде наслаждались «изобилием всякого съестного припаса», бескорыстно присланного из многочисленных «подмосковных». К обеду подавали даже редкие оранжерейные фрукты. Бенкендорф, Волконский, Лев Нарышкин и их новый приятель, командир полка Тверского ополчения князь А. Шаховской развлекались тем, что под музыку «оркестра Фитингофа» (порой даже под «Марсельезу») спаивали пленных французских офицеров трофейным французским вином, с присказкой «Ин вино веритас!», и выспрашивали у захмелевших «гостей» нужные сведения.

Впрочем, это был не единственный способ добычи информации. За ней ходили в Москву пятеро прикомандированных к отряду офицеров московской полиции. Они переодевались в штатское платье и пробирались в город довольно свободно.

Однажды — это было вечером 9 октября — разведчики вернулись с вестью одновременно радостной и страшной: французы покидают Москву и собираются взорвать Кремль! Наутро Винцингероде ринулся в город, чтобы спасти его от

разрушения. С белым платком на казачьей пике он беспрепятственно доехал по Тверской до губернаторского дома, объявил первому встретившемуся французскому офицеру, что он парламентёр, и… был взят в плен. Передовые разъезды казаков находились слишком далеко, чтобы помочь своему командиру. Ожидавшие вестей Иловайский-четвёртый и Бенкендорф узнали об инциденте к вечеру и подготовились к вступлению в город на следующее же утро. Но прежде чем оно наступило, во втором часу ночи со стороны Кремля раздался ужасный взрыв, возвестивший о начале разрушения Кремля и освобождения Москвы.

Почти сразу Бенкендорф повёл на столицу свою бригаду — Изюмский гусарский и лейб-казачий полки, а вперёд послал трубача с письмом: сообщить французам, что за жизнь Винцингероде будут отвечать своей жизнью все французские генералы, находящиеся в русском плену, (винцингероде увезли к Наполеону, и одно время русский генерал и подданный подвластного Французской империи Рейнского союза находился под угрозой расстрела «за измену». Наполеон всё же не решился на казнь, и Винцингероде был отправлен для суда в Германию, но по дороге отбит казаками.)

Поспешное наступление Бенкендорфа и Иловайскогочетвёртого — двух старших по чину офицеров после Винцингероде — спасло город от многих разрушений. Как вспоминал переживший оккупацию чиновник Андрей Карфачевский, «со светом дня увидели мы русских казаков в Кремле, кои успели изловить оставленных для зажигания подрывов, французами учинённых, и, принудив их загасить многие фитили в бочках с порохом, спасли от разрушения соборы, монастыри, Спасскую башню, Оружейную палату, колокольню Ивана Великого, от коей оторвало пристройку с большими колоколами».

…Утром 11 октября Москва производила удручающее впечатление. Это было, по словам сопровождавшего Бенкендорфа Шаховского, «погорелище царской столицы». На окраинах припорошённая пеплом улица больше походила на большую дорогу, поскольку деревянных домов не осталось. Ближе к центру стали появляться обгоревшие каменные дома, «сквозные как решето, без кровель и окон». С Тверского вала «через пепелище, уставленное печными трубами и немногими остовами церквей», были видны Калужские ворота на противоположном конце города. Многие очевидцы запомнили его траурно-чёрным, потому что «полизанные пламенем дома, закопчённые снизу доверху высокие церкви были как бы подёрнуты крепом, и лики святых, написанные на их стенах, проглядывали с своими золотыми

венцами из-за чёрных полос дыма». По всему городу продолжались пожары: перед уходом французы постарались поджечь всё, что ещё не сгорело. Город не казался вымершим — он был вымершим. На пустынных улицах накопилось столько мёртвых тел и падали, что, по свидетельству Бенкендорфа, «сквозь них приходилось прокладывать дорогу». Необычную для большого города тишину прерывали раздававшиеся то тут, то там выстрелы заблудившихся французских мародёров.

Особенно жутким был вид поруганного Кремля. Его стены были подорваны в пяти местах. В подкопах ещё лежали невзорвавшиеся бочки с порохом. Спасские ворота были забаррикадированы изнутри, а Никольские завалены обломками башни и Арсенала, так что внутрь пришлось буквально карабкаться. Догорал Кремлёвский дворец, а церкви были ободраны от куполов до самого пола, так что не оставалось «ни лоскута металла или ткани». Благовещенский собор был завален бумагами и бутылками, Архангельский — залит вином из разбитых бочек. В Успенском вместо огромного серебряного паникадила со свода спускались большие весы, а на Царском месте мелом был записан вес захваченных драгоценностей: 325 пудов серебра и 18 пудов золота. Вокруг собора стояли горны, в которых оккупанты переплавляли оклады икон и церковную утварь. Бенкендорф помнил Успенский собор в дни коронации императора Александра: парадным, блистающим богатством, наполненным высшими сановниками империи. Теперь его глазам предстала удручающая картина. «Я был охвачен ужасом, — вспоминал Бенкендорф, — найдя… поставленным вверх дном безбожием разнузданной солдатчины этот почитаемый храм, который пощадило даже пламя, и убедился, что состояние, в котором он находился, необходимо было скрыть от взоров народа. Мощи святых были изуродованы, их гробницы наполнены нечистотами; украшения с гробниц сорваны. Образа, украшавшие церковь, были перепачканы и расколоты. Всё, что могло возбудить или ввести в заблуждение алчность солдата, было взято; алтарь опрокинут; бочки вина были вылиты на церковный пол, а людские и конские трупы наполняли зловонием своды, которые были назначены принимать ладан».

Бенкендорф закрыл и опечатал храмы, дабы народ не видел московские святыни обесчещенными. Вокруг проломов и входов в Кремль он организовал охрану из лейб-казаков. Одновременно были выставлены караулы на всех заставах и часовые к уцелевшим зданиям. Эта охрана оказалась очень ко времени — не потому, что Бенкендорф опасался возвращения французов (хотя слухи об этом появились в первый же день), а потому, что

начиналось второе разрушительное нашествие на Москву, нашествие подмосковного крестьянства.

«Город находится во власти нахлынувших сюда крестьян, которые грабят и пьянствуют», — жалуется Бенкендорф Воронцову в первом же письме из Москвы22. Днём и ночью, пешком и на телегах, с жёнами и детьми, группами по 10–20 человек и целыми обозами, с оружием, отбитым у неприятеля, окрестные крестьяне стекались в город поживиться запасами в недрах соляных складов и винных погребов, набрать медной монеты у Казначейства. Знаменитый актёр Сила Сандунов выдержал французское пребывание в Москве, но был настолько шокирован нашествием крестьян, да ещё сопровождавшимся кровопролитными драками за награбленное, что бросил дом, легендарные бани и бежаˆ на Украину.

Московская полиция находилась в это время во Владимире, и только небольшой отряд Иловайского и Бенкендорфа был реальной силой, способной остановить новое разграбление Первопрестольной. Бенкендорф стал первым временным комендантом Москвы и немедленно начал действовать: разделил город на части, вверив каждую штаб-офицеру, поручил дворникам выполнять обязанности стражей-будочников и принялся выпроваживать наводнивших город крестьян. «Мне пришлось выдержать несколько настоящих сражений», — писал он Воронцову. Согласно рапорту Бенкендорфа, «в течение двух дней переловлено более 200 зажигателей и грабителей, по большей части выпущенных из острога преступников, и несколько поймано в святотатстве и смертоубийстве… Жителям домов дано… приказание охранять оные с тем, что ежели обитаемые ими дома загорятся или будут ограблены, то они подвергнутся наказанию, как преступники». Тех, кто приехал грабить на возах, Бенкендорф заставлял загружать мёртвые тела и падаль и вывозить в предназначенные для захоронения места. «Чем избавил Москву от заразы, жителей её от крестьянского грабежа, а крестьян от греха», — комментировал очевидец, князь Шаховской. Одновременно Бенкендорф разыскал сотни русских раненых, оставленных по домам, поместил их в странноприимный дом графа Шереметева и обеспечил продовольствием, так же как и более шестисот пациентов главного госпиталя.

Все сотрудничавшие с французами москвичи были взяты под стражу, а пленные оккупанты собраны в остатках Петровского замка, откуда началась их отправка в Тверь. Свыше трёх тысяч раненых французов взбунтовались было, но при помощи вовремя подвезённого продовольствия были успокоены. Они остались в гигантском Воспитательном доме, им был подыскан французский

же лекарь из пленных и «отпущены нужные жизненные припасы», доставка которых была налажена из Клина.

В то же время, когда на улицах всё ещё шли драки и горели дома, формально старший в отряде казачий генерал Иловайский-четвёртый «с попечительным вниманием рассматривал отбиваемые у французов обозы». «Всё выносилось на его личное обозрение, — вспоминал Волконский, — и как церковная утварь и образа в ризах были главною добычею, увозимой французами, то на них более всего обращал внимание Иловайский и делил всё это на два отдела: что побогаче — в один, что победнее — в другой. Удивлённые Бенкендорф и Волконский недоумевали: „Зачем этот делёж? Ведь всё равно всё следует отдать духовному начальству, как вещи, ограбленные из церквей московских и следующие обратно в оные“. Ответ казачьего генерала был бесхитростен: „Нельзя, батюшка, я дал обет, что всё, что побогаче, если Бог сподобит меня к занятию от вражьих рук Москвы, всё ценное, доставшееся моим казакам, отправить в храм Божий на Дон, а данный завет надо свято исполнить, чтобы не разгневать Бога“». Сколько ни пытались Бенкендорф и Волконский убедить своего начальника отказаться от такого «обета», их увещевания не подействовали.

Напряжённая деятельность Бенкендорфа в качестве временного коменданта привела к тому, что в городе в течение трёх дней был наведён относительный порядок, пожары успокоились, потянулись обратно жители — кто в дома, кто на пепелища, заработал первый рынок — на площади у губернаторского дома. В Страстном монастыре был отслужен благодарственный молебен, над Москвой снова зазвонили колокола.

В город возвращалась мирная жизнь, но боевому генералу хотелось обратно на войну. 16 октября он передал все полицейские дела прибывшему обер-полицмейстеру генералу Ивашкину, но исполнение обязанностей коменданта всё ещё оставалось за ним.

В частных письмах Бенкендорф признавался, что тяготится этой должностью и с нетерпением ждёт, когда сможет «покинуть этот печальный и несчастный город», «оставить эти развалины, при виде которых разрывается сердце». Это произошло 23 октября, когда русская армия уже выиграла сражение под Вязьмой. Новым начальником отряда, заменившим Винцингероде, стал генерал-лейтенант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов — некогда командир кавалергардов, позже участник войны с турками, петербургский обер-полицмейстер и генерал-адъютант. Он был ранен в начале войны и после выздоровления формировал

в Твери резервы (казачий полк из ямщиков).

Отряд догнал действующую армию в конце октября, когда уже выпал снег, и немедленно вступил в бой. 29 октября казаки, по словам Бенкендорфа, буквально «натолкнулись» у Духовщины на своих старых противников — итальянский корпус Евгения Богарне. Столкновение казаков с линейной пехотой более напоминало травлю крупного зверя. Лёгкая конница не могла успешно атаковать ощетинившиеся штыками колонны и каре итальянцев; однако, пользуясь почти полным отсутствием у неприятеля кавалерии, казаки обстреливали его из конных орудий, отбивали транспорты, «как всегда», брали в плен отставших и фуражиров; уничтожали все припасы, мосты и переправы по пути следования вражеских колонн. Богарне потерял почти всю артиллерию и обозы с награбленным в Москве имуществом. За один день казаки Иловайского-четвёртого взяли более пятисот пленных, Притом что этот генерал считался, по словам Волконского, «не только осторожным, но и трусоватым». После этих боёв отряд Голенищева-Кутузова двинулся севернее Днепра, в обход Смоленска к Витебску, на соединение с частями Витгенштейна.

Война превратилась для Бенкендорфа в ремесло, рутину, и записки его стали скупее: память уже не сохраняла картин войны — они примелькались, приелись: всё те же охота на мародёров и фуражиров, уничтожение переправ и продовольствия на пути неприятеля, захват пленных и обозов, казаки, делящие «дуван»… Бенкендорф мог бы согласиться со своим боевым товарищем Волконским, состоявшим с ним в одном отряде и написавшим о том периоде: «По добросовестности моей в противность рассказов всех партизан того времени я скажу во всеобщее сведение, что большей частию действия партизан не подвергают их опасностям, ими выводимым в реляциях. Партизан рыщет там, где ему по силам, и всегда имеет в виду не попасть впросак».

Военная необходимость заставляла Александра Христофоровича действовать далеко к северу от основных событий последнего этапа войны. Из-за этого он не участвовал ни в разгроме наполеоновских войск под Красным, ни в Березинской эпопее, ни в долгожданном возвращении русских в Вильно. На фоне успехов главных сил статистика действий генерала Бенкендорфа покажется заурядной. И всё же более шести тысяч пленных, в том числе три генерала, были захвачены его полками «при преследовании неприятеля разными отрядами до реки Неменя», до выхода в качестве авангарда корпуса Витгенштейна на границу, в печальной памяти город Тильзит. Именно отряд Бенкендорфа участвовал в последних боях Отечественной войны

1812 года и был одним из первых, форсировавших пограничный Неман.

Константин Батюшков набросал поэтическую картину «Переход русских войск через Неман»:

> Снегами погребён, угрюмый Неман спал.
> Равнину льдистых вод и берег опустелый
> И на брегу покинутые села
> Туманный месяц озарял.
> Всё пусто… Кое-где на снеге труп чернеет,
> И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет…

Стихотворение Батюшкова не было закончено. Не закончилась с переходом границы и война.

В 1813 году генерал-майор Бенкендорф мог бы отметить важную дату своей жизни — ту, о которой хотели бы знать многие, но которой не угадать никому… К августу Александр Христофорович прожил половину отмеренного ему земного срока.

Именно «земную жизнь пройдя до середины», Александр Христофорович заслужил право попасть на скрижали истории. А как ещё назвать белые мраморные плиты московского храма Христа Спасителя, золотом запечатлевшие самые прославленные имена и события великой войны 1812–1814 годов? Имя Александра Бенкендорфа встречается на них не один, не два — шесть раз!

Впервые — на так называемой «26-й стене» нижнего коридора, налево от западного входа в храм. На ней отображены «высочайшие пожалования за поражение и изгнание неприятеля из России в 1812 году». «Флигель-адъютант Александр Бенкендорф» упомянут здесь вместе со своими начальниками Винцингероде и Голенищевым-Кутузовым, рядом со знаменитыми партизанами Денисом Давыдовым, Сеславиным, Фигнером, казачьими генералами Грековыми и Иловайскими…

Остальные упоминания имени Бенкендорфа относятся к Заграничному походу русской армии. Вот «49-я стена», запечатлевшая «награды, пожалованные за разные дела и сражения, бывшие в 1813 году»:

«Награждён орденом Св. Георгия 3 степени: генерал-майор Бенкендорф (Александр), за отличия в делах при преследовании неприятеля».

Этот боевой «Георгий» Бенкендорф заслужил в самом начале кампании, «в воздаяние отличного мужества, храбрости и распорядительности, оказанных при партизанских действиях

против французских войск и при поражении их при Темпельберге».

По секретному приказу Кутузова от 9 февраля 1813 года («Дабы… не дать времени неприятелю быть в покое или формироваться, то составляются летучие отряды, которые от гр. Витгенштейна, перейдя за Одер, будут следовать за неприятелем к Берлину и беспокоить его до самой Эльбы»23) «летучие отряды» торопились к Берлину наперегонки с весной. В начале февраля, по последнему, уже тонкому, «дышащему», льду они перешли Одер. Река вскрылась буквально на следующий день после этой переправы. Французы, уверенные, что они в безопасности, поскольку контролируют все мосты, не знали, что русские уже у них в тылу.

Часть отряда Бенкендорф отправил на север, на Берлин, а сам с 180 гусарами, 150 драгунами и восемью сотнями казаков решил произвести поиск в сторону Франкфурта-на-Одере. Этим он продемонстрировал качества «командного игрока»: отвлекая и сковывая наполеоновские войска к юговостоку от Берлина, Бенкендорф обеспечивал беспрепятственное наступление отрядов Чернышёва и Теттенборна и оставлял им славу овладения прусской столицей. Кроме того, князю Кутузову стали поступать важные разведывательные данные: «Отряд генерал-майора Бенкендорфа перехватил письмо, посланное к генералу Жирару начальником Главного штаба. Письмо сие служит удостоверением того, что неприятель не останется на правом берегу Одера»24. Рассеяв по дороге вражескую колонну и выдержав несколько авангардных стычек, кавалерия Бенкендорфа встретила довольно значительные силы противника. 12 февраля близ Темпельберга дорогу на Франкфурт загородил целый кавалерийский полк. Этот свежесформированный 4-й конно-егерский полк только что пришёл из Италии и, по печальному признанию Евгения Богарне Наполеону, составлял тогда всю его кавалерию (остатки прежней, некогда гонявшейся за Бенкендорфом под Смоленском, если и вернулись из России, то пешком).

Александр Христофорович показал, что неплохо овладел тактикой кавалерийского боя. Гусары были немедленно отправлены в засаду, из драгунов (главная ударная сила) сформирован резерв, а казаки изобразили атаку. Неприятельский эскадрон браво «опрокинул» атакующих донцов, бросился в преследование… и был рассеян, а остальные не испытывали острого желания поспешить на выручку товарищам. Полк начал отходить в надежде, что удастся отразить атаки казаков пистолетным и карабинным огнём. Но было поздно: ловкие гусары успели зайти с тыла, а драгуны довершили разгром. В

плен было взято 38 офицеров и 750 рядовых; спаслось чуть больше трёх десятков человек во главе с полковником. Они добрались до Франкфурта и подняли тревогу.

Когда туда прибыл Бенкендорф, его уже поджидали. Осаждать город с одной только лёгкой кавалерией — занятие бесполезное, но Бенкендорф попытался взять противника «на Испуг»: немедленно потребовал сдаться! И только получив вполне резонный отказ, он приказал отряду развернуться и идти к Берлину, чтобы не терять связи с другими частями. По дороге от Франкфурта к Берлину отряд Бенкендорфа вынудил капитулировать гарнизон городка Фюрстенвальде на реке Шпрее. При этом сдались в плен хоть и не «три батальона французской гвардии», как отмечено в формулярном списке и первой биографии генерала25, но всё же гвардейцы — итальянские, «велиты Пьемонта», во главе с комендантом Цицероном26.

А 20 февраля Берлин был взят — точнее, освобождён, ибо к тому времени Пруссия уже четыре дня как заключила с Россией союзный договор.

К марту линия фронта пролегала по Эльбе. Как ни настаивали генералы, князь Кутузов не торопился продолжать наступление: «Самое лёгкое дело — идти теперь за Эльбу. Но как воротимся — с рылом в крови?» Поуспокоившись, он объяснил своё решение: «Полезно было бы захватить больше пространства в Германии и тем самым ободрить и поднять народ. Но польза будет ли равна опасности, которая нам предстанет от… нашего ослабления… оттого, что по мере отдаления нашего неприятель станет усиливаться?»27

Наступление замерло, военные действия надолго свелись к авангардным стычкам и блокаде крепостей, но весенние подвиги Бенкендорфа запечатлела мраморная доска «34-й стены»:

> «Дело при Люнебурге,
> 21 марта (2 апреля) 1813 года
> Командовавший войсками: генерал-адъютант Чернышёв.
> Участвовавшие войска: один батальон 2-го егерского пехотного полка; 2 эскадрона Казанского и 2 эскадрона Финляндского драгунских полков; гусарские полки: Изюмский, Сводный и 4 эскадрона Гродненского полка; 14 казачьих полков при 6 Донских орудиях и 4 орудия конной артиллерии.
> Убит майор Мусин-Пушкин.
> Ранен майор Эссен.
> Выбыло из строя нижних чинов около 300.

Отличились: командовавший войсками генерал-адъютант Чернышёв, генерал-майор Бенкендорф (Александр) и барон Пален 2-й».

Ганзейский город Люнебург в нижнем течении Эльбы не стал дожидаться подхода русско-прусских войск. Едва услышав, что казаки приближаются, его жители самостоятельно прогнали наполеоновских чиновников и ввели прежнее, «дофранцузское» управление — несмотря на угрозу быть «наказанными» от расположенных неподалёку наполеоновских войск. 14 марта они даже отбили нападение французских жандармов. Поддержать непокорный город бросились отряды Чернышёва и Дёрнберга (которому теперь был подчинён Бенкендорф) — около 3,5 тысячи человек. Началась гонка между ними и наполеоновским генерал ом^Жозефом Мораном, имевшим более четырёх с половиной тысяч человек при 12 орудиях. Моран был ближе, поэтому успел первым, хотя отряд Бенкендорфа проходил до 70 вёрст в день. 20 марта французы заняли Люнебург и устроили военный суд, приговоривший к расстрелу 50 горожан.

Однако торжественную показательную казнь подготовить не успели. Уже на следующее утро, 21 марта, отряд Морана был атакован русско-прусскими партизанами и, хотя оборонялся упорно, не смог остановить их у городских стен. А сам город стал ловушкой для французов: здесь на них набросились ещё и жители. В бойне на улицах полегло до половины солдат Морана, а когда сам он был смертельно ранен, его уцелевшие подчинённые сложили оружие. Были взяты трофеи: три знамени, девять пушек, весь обоз. Уцелевшие три полковника, 80 офицеров и 2200 нижних чинов были взяты в плен. Увы, на следующий день «летучие отряды» союзников должны были оставить город ввиду приближения целого французского корпуса под начальством маршала Даву. Уходя, Чернышёв написал неприятельскому командующему, что за смерть каждого из жителей будут отвечать пленные французы. Угроза подействовала — никто из люнебургцев не был казнён.

За отличие при Люнебурге Бенкендорф был награждён орденом Святой Анны 1-й степени. С конца марта его отряд попал под командование австрийского генерала графа Вальмодена: союзнический долг принуждал Александра I продвигать «немцев». Парадоксально, но «русский немец» Бенкендорф высказывал недовольство таким поворотом событий; судя по письмам, его пугали «Вальмоден, Дернберг, Тетгенборн, за каждым из которых следует рой немцев». Он жаловался Воронцову, что «окружён немцами со всех сторон», и выражал надежду послужить под

началом своего старого товарища. Эта надежда сбылась позже, так как 23 мая военные действия приостановились, было заключено Плесвицкое перемирие и Европа замерла в ожидании: нежели наконец-то будет восстановлен мир?!

Ещё до перемирия Бенкендорф отпросился в отпуск «по болезни». Он проводил его сначала в Гамбурге, потом в Шверине, вместе с братом Константином, и, наконец, на балтийских берегах Мекленбурга28. После года беспрерывных походов — отдых в компании боевых товарищей, морские купания, «прекрасные немки», «разведка» и «осада» дамского пансиона в курортном Доберане …

Известия о подвигах Бенкендорфа — как военных, так и амурных — дошли даже до прусской королевской семьи. «…Я много слышала о нём во время войны, ещё в Берлине и Доберане, — вспоминала Александра Фёдоровна, будущая жена будущего императора Николая, а тогда ещё прусская принцесса Шарлотта, — все превозносили его храбрость и сожалели о его безалаберной жизни, в то же время посмеивались над нею».

А в ночь с 29 на 30 июля 1813 года загорелась цепочка костров от Праги до Главной квартиры союзной армии. Это был сигнал о прекращении мирных переговоров. Главнокомандующий Барклай де Толли отправил к неприятельским аванпостам извещение об окончании перемирия, и на следующий день русско-прусские войска выступили в поход.

«46-я стена» храма Христа Спасителя повествует о важнейших делах осени 1813 года:

> «Сражения при Либервольковице, Лейпциге, Вахау, Линденау и Мекерне 2–14, 4–16 и 7–19 октября 1813 года
>
> Отличились: главнокомандующий генерал от инфантерии Барклай де Толли, генералы от кавалерии Бенигсен, граф Витгенштейн и атаман граф Платов; <…> генерал-адьютанты: Васильчиков 1-й, барон Винцингероде, Коновницын, Уваров, <…> генерал-лейтенанты: князья: Голицын 1-й и Горчаков, граф Воронцов, барон Жомини, <…> генерал-майоры: <…> Бенкендорф (Александр)…»

В знаменитой Битве народов под Лейпцигом (тогда чаще говорили «побоище народов») Александр Христофорович командовал бригадой в составе кавалерийского корпуса русского ирландца Иосифа Корниловича Орурка (О’Рурка). Это была кавалерия левого крыла корпуса Винцингероде, которому на этот раз не досталось идти в самое пекло. Тем не менее в

формулярном списке отмечено, что за это сражение Бенкендорф получил «высочайшее благоволение»: кавалерия Орурка атаковала идущую в атаку дивизию французов и посланную в помощь ей отдельную бригаду, опрокинула их и отбила четыре орудия. Затем части Северной армии взяли селение Шёнфельд — с большими потерями, — и только «наступившая ночь положила предел успехам союзных войск»29. Впервые именно на участке Бенкендорфа были применены ракетные войска — английская батарея «конгривовых ракет».

«Эффект, — вспоминал Бенкендорф, — был потрясающим и ужасным»30.

С Лейпцигом у нашего героя было связано одно курьёзное происшествие. Когда он шёл в очередную атаку, то из седельной кобуры выпал пистолет. Почти через четверть века этот кавалерийский пистолет с гравированной золотом надписью «Бенкендорф» был отобран у атамана воровской шайки в Симбирске. Тот сказал, что купил оружие на толкучке в Тамбове. Местные жандармы переслали пистолет прежнему владельцу. Оказалось, у него сохранился точно такой же, парный к возвращённому.

Лейпцигский погром некоторые историки называют «истинным Ватерлоо» Наполеона31. Именно после него «покоритель Вселенной» перешёл к оборонительной тактике, отказавшись от войны за Рейном и надеясь лишь на территорию и патриотизм населения Франции.

До конца года союзные армии шли триумфальным освободительным маршем по Германии. 14 (26) октября Воронцов занял Кассель, столицу Вестфальского «королевства», чей король, Жером Бонапарт, бежал, не оказав особого сопротивления. Вестфалия присоединилась к антинаполеоновской коалиции. Впереди лежал Рейн, за ним была Франция.

Отряду Бенкендорфа достался спокойный участок в верхнем течении Рейна. Здесь, в Северной Вестфалии, стране нарядных пряничных домиков, можно было спокойно и весело готовиться к встрече Рождества: вторжение планировалось после Нового года. Но можно было пойти вперёд — и Бенкендорф пошёл, фактически по собственной инициативе.

Удивительно, что последовавший в конце 1813 года самый, пожалуй, громкий успех генерала Бенкендорфа во всём заграничном походе не запечатлён на мраморных «скрижалях» храма Христа Спасителя. Тем не менее память о нём сохраняется уже почти два столетия — увы, не столько в России, сколько в Голландии, которая обязана обретением своей независимости инициативным и решительным действиям отряда под

руководством Александра Христофоровича. Сами голландцы пишут о том, что «в начале ноября русская армия вступила в северную часть Нидерландов. Именно она изгнала французские оккупационные войска и восстановила независимость Нидерландов. Особенно большую роль в этом сыграли казаки»32.

Голландия была фактически завоёвана Францией ещё в 1795 году, став марионеточной «Батавской республикой», а после превращения Франции в империю — королевством. Как признают сами нидерландские историки, в 1806 году Наполеон «вынудил голландцев умолять его назначить королём его брата Людовика»33. С тех пор торговая страна чахла за «железным занавесом» континентальной блокады, а в 1810 году потеряла даже декоративный статус «королевства», будучи просто присоединена к Франции. При этом Наполеон объявил голландской депутации: «Я владею вами по праву завоевателя, а это, поверьте мне, самое священное право из всех!»34 Страна была наводнена французскими чиновниками и оказалась вынуждена платить «налог кровью» — около десяти тысяч её солдат не вернулись из похода на Россию.

Англоязычная история стран Бенилюкса (из оксфордской серии «История современной Европы»)35 — лучшая из тех, что можно найти в вашингтонской Библиотеке Конгресса, — необыкновенно скупа на похвалы освободителям. Вот всё, что там сказано: «Через несколько недель после битвы при Лейпциге небольшое количество союзных войск пересекло границы бывшей Голландской республики; 12 ноября они взяли Зволле, 15-го — Гронинген. Французский главнокомандующий собрал свои силы в Утрехте и, когда 15 ноября почти двухтысячный гарнизон покинул Амстердам, там немедленно начались народные волнения против оккупационных властей». Далее о роли союзных войск не говорится ни слова. «Местное население вместе с немногочисленной знатью, объявившей себя его лидерами, провозгласило независимость под властью принца Оранского… Вильгельм Оранский принял предложение „из рук народа“, как он написал в прокламации 2 декабря, при условии, что гарантирует народную свободу Конституцией. Стало ясно, что в стране установилась конституционная монархия…»36

Получается, что оккупационная власть развалилась сама по себе. Но что мешало почти десятитысячному французскому корпусу повторить майские карательные меры? Тогда попытки выступления против наполеоновского режима вызвали череду показательных экзекуций во многих городах Голландии. 14 человек были публично расстреляны, многие высланы или приговорены к разным срокам «принудительного труда»37. На

этот раз помешали войска союзников, прежде всего отряд Бенкендорфа. Он не просто «пересёк границы», а прошёл с боями через всю Голландию и принял самое активное участие в рождении того королевства Нидерландов, которое существует и по сей день.

Наступление на Голландию не обещало быть лёгкой прогулкой. Ещё в 1811 году Наполеон утвердил план, по которому её территория была опоясана цепы# мощных фортов, прикрывавших страну с суши. И хотя сил для организации надёжной обороны у французского командующего генерала Молнтора было недостаточно (он имел тогда в своем распоряжении только треть необходимого для надёжной обороны войска: около четырёх тысяч французских солдат и 400 жандармов, 2200 швейцарцев и 1500 ненадёжных испанцев38), попытка казаков взять на испуг первую же пограничную крепость Девентер не удалась. Письмо с предложением сдаться даже не было принято. Двухтысячный гарнизон, с сильной артиллерией и запасом провизии, не поддался искушению совершить вылазку против выманивавшего их Башкирского полка князя Гагарина и, ощетинившись 86 крепостными орудиями, не испугался ночного обстрела восьмипушечной конной батареи. Бенкендорф, потеряв нескольких человек, был вынужден признать неудачу. По инструкции непосредственного начальника, Винцингероде, ему следовало теперь оставить затею войти в Голландию и отступить на наблюдательную позицию у немецкого городка Бентхейм. Доводы Винцингероде основывались на резонных рассуждениях: в Голландии много мощных крепостей, которые не взять без многочисленной пехоты и осадной артиллерии (а Бенкендорф располагал лишь восемью лёгкими орудиями, одним Тульским пехотным полком и батальоном егерей, остальные — гусары и казаки). Оборонявшихся французов было больше, чем наступавших русских, у них был флот, а многочисленные реки, каналы и плотины заметно упрощали оборону и ещё увеличивали разницу в силах. Но здесь, у самых границ Голландии, Бенкендорф располагал весьма важными конкретными сведениями, которых не было у Винцингероде. Находившийся при его отряде голландский полковник установил связь с Амстердамом и даже побывал там лично, добыв важную информацию. Суть её была в том, что существовали не только сочувствующие русским горожане, но и группа «предприимчивых людей», готовых организовать русскому отряду всю необходимую поддержку «воодушевлённого народа».

Бенкендорф отказался от отступления и стал искать пути вторжения в Голландию. Он пошёл ниже по течению пограничной

тогда реки Йессель к другому укреплённому городку — Зволле. Здесь излюбленный казачий манёвр удался. Меньший, чем в Девентере, гарнизон воспылал страстью одержать победу над немногочисленным казачьим пикетом, ринулся на вылазку — и вскоре бежал назад, в город, куда на плечах противника ворвались казаки Бенкендорфа.

Двенадцатого ноября русский отряд расквартировался в Зволле, готовый первым из всей армии союзников переправиться на территорию Французской империи (точнее говоря, в Голландию). Разосланные во все стороны партии казаков вынудили к капитуляции несколько окрестных гарнизонов. «Русские идут!» — понеслось по Голландии, и этот возглас стал символом надежды и успеха. Отправленный 14 ноября к Амстердаму отряд майора Марклая (две сотни казаков) стал катализатором вывода французского гарнизона из города: численность идущей прямо на город русской кавалерии в глазах противника выросла на порядок.

К генералу Винцингероде полетело письмо: в Голландии одержаны первые победы, население страны обещает полную поддержку. Местные жители встречали казаков как освободителей, предлагая им «фрукты и напитки»; в ближайших к Зволле городках начались народные выступления, выливавшиеся в нападения на французских таможенников и жандармерию. Наступавшие к югу от отряда Бенкендорфа на Арнхейм части прусского генерала Бюлова сковали силы маршала Макдональда.

Ободряющие вести пришли из Амстердама. За неделю, прошедшую после появления русских на границе, авторитет наполеоновской империи растаял, как весенний снег. В кофейнях и тавернах, лавках и магазинчиках голландцы обсуждали самые невероятные слухи. После лейпцигского разгрома казалось возможным всё: то ли в Париже сенат сверг Наполеона, то ли Наполеон сдался императору Александру, то ли его вообще убили. Голландский «нотабль» Карл Ван Хохендорп собрал представителей оппозиции, оранжистов, и объявил им, что «сидеть в ожидании опаснее, чем действовать»39. Так была создана основа для организации «временного правительства». Ещё один оранжист, барон Крайенхоф, послал Бенкендорфу уверения во всевозможной поддержке и умолял ускорить действия. Настрадавшиеся от оккупантов голландцы просили только не проводить начавшиеся было насильственные «реквизиции» и обещали добровольно снабжать отряд всем необходимым. Забегая вперёд отметим, что столь любимые всеми армиями «реквизиции» были быстро прекращены, а за поставку фуража, провианта и снаряжения с Голландией позже сполна

расплатился император Александр Павлович.

Французские чиновники всё меньше занимались вопросами организации обороны и всё больше, думали о том, как спастись. Едва пал Зволле, как они начали эвакуацию семей, и их забитые вещами тележки и повозки запрудили все дороги на юг, к Антверпену. Как доносил Наполеону наместник Шарль Лебрен, «в Амстердаме ждут не дождутся нашего ухода, хотя и побаиваются казаков». Когда Лебрен ещё дописывал: «Пока никто не шевельнет и пальцем ни за, ни против нас», в Амстердаме загорелись будки французских таможенных постов. Военный министр Кларк слал не подкрепления, а обещания, уверяя, что через месяц в Голландии будет то ли 25, то ли 60 тысяч французских солдат. В ожидании обещанного французы стянули боеспособные войска в Утрехт. 18 ноября Лебрен написал Наполеону, что уезжает в Антверпен, поскольку его «пребывание в Голландии и прилегающем регионе абсолютно бесполезно»40.

Через месяц французы могли снова вернуть утерянное. Голландцы торопили Бенкендорфа, Бенкендорф же не мог двинуться с места без указаний от своего начальства.

Долгожданный пакет от Винцингероде пришёл 21 ноября. Ответ был обескураживающим: пограничную реку Йессель не переходить, занять наблюдательную позицию, ждать… Знал ли Бенкендорф, что в партизанские дни 1812 года прозорливый Александр I инструктировал самого генерала Винцингероде действовать по обстоятельствам и выполнять только те его распоряжения, которые соотносятся с реальной обстановкой? Скорее всего, знал, ведь Винцингероде гордился личной перепиской с императором и показывал её своим штабным офицерам.

Вот и решил генерал Бенкендорф действовать именно «по обстоятельствам». Ведь первые шаги в Голландии уже были сделаны, связь с «временным правительством» и населением установлена, Амстердам — центр возмущения против французов — встретил две сотни передового отряда Марклая и «умолял о приходе» главных русских войск. Как оставить тех, кого Бенкендорф уже обнадёжил, перед лицом постепенно приходивших в себя оккупантов? Кроме того, свою роль в решении Бенкендорфа сыграло и «счастливое опьянение… от возможности самостоятельно командовать». Ближайшей же ночью, дабы скрыть численность своего отряда, Бенкендорф выступил в сторону Амстердама.

Только как добраться до центра голландского восстания? Разбитые распутицей дороги были наименьшим препятствием. Гораздо труднее было преодолеть помеху в виде заслонявшей

путь крепости Наарден с артиллерией и мощным гарнизоном. Вдобавок ворота Амстердама стерегли хорошо укреплённые форты Мюйден и Гальвиг. Лобовая атака крепостных стен оказалась бы абсолютно бессмысленной, а водный путь контролировала часть французской эскадры адмирала Вергюэля. Вскоре водой покрылось всё направление с востока на Амстердам: гарнизон крепости Наарден спустил шлюзы, и море на некоторое время отвоевало обратно часть заботливо возделанной голландцами суши. Бенкендорф смог лишь обеспечить скрытность наступления: казаки Льва Нарышкина и павлоградские гусары пошли на юг и атаковали французские авангарды по дороге на Утрехт. Ещё южнее фон Бюлов начал штурм Арнхейма. На некоторое время внимание французов было отвлечено от Амстердама.

И вскоре выход — точнее, вход — нашёлся, поскольку русские войска были на территории союзной страны. Когда 22 ноября Бенкендорф пришёл в Харденвейк, на берег пролива Зюдер-Зее, голландцы прислали туда все имевшиеся у них суда. Моряки проскользнули мимо пушек эскадры Вергюэля и готовы были проделать столь же опасный путь обратно. Правда, для погрузки всего отряда судов было недостаточно, и Бенкендорф смог взять с собой только 600 пехотинцев.

С наступлением темноты и усилением попутного ветра на судах были подняты паруса. Наутро, через девять часов нелёгкого плавания по усеянному льдинами Зюдер-Зее, «ветер с востока» принёс отряд Бенкендорфа в амстердамский порт.

Осенний Амстердам расцвёл оранжевым цветом. Ленты и флаги цветов принца Вильгельма и голландской независимости заполнили все окна, базары, церкви, улицы и площади.

Повсюду исполняли новый гимн — «Реставрации» и «Освобождения». Он появился «вдруг» и быстро разошёлся по всей стране: его переписывали друг у друга, читали вслух на городских площадях.

Голландия свободна!
Союзники наступают на Утрехт.
Французы бегут во все стороны.
Море открыто,
Торговля оживает!
Раздоры закончились,
Прошлое забыто
И прощено.
Знать возвращается в правительство,
Правительство просит принца

Прибыть во дворец.
Все славят Бога.
Вернулись добрые старые времена!41

После вступления в Амстердам первого, отряда казаков там образовалось «временное правительство»; после прибытия Бенкендорфа с пехотой Тульского полка — была прочитана Декларация независимости. В специально составленной прокламации были упомянуты и 2500 уже пришедших на помощь русских солдат, и приближавшиеся кавалерия и артиллерия42. Такая информация стала весомым доводом для того, чтобы взяться за оружие и самим голландцам; немедленно начали формироваться полки Национальной гвардии.

В тот же день толпы народа двинулись вместе с русскими солдатами к фортам Мюйден и Гальвиг, и их гарнизоны (почти тысяча человек), напуганные густотой идущих на них колонн, в авангарде которых явственно просматривались русские мундиры и кивера, поспешили сдаться. Бенкендорфу достались 26 годных к бою орудий.

Восторг, охвативший жителей Амстердама, надолго запомнился нашему герою. «Ничто не может выразить бурную радость, которая охватила жителей этого большого и богатого города, — написал он позже в воспоминаниях. — Это поистине было пробуждением нации, чья сила и свобода, усыплённые притеснениями и несчастием, внезапно заново обрели всю свою энергию… Общественное настроение всё более и более исполнялось рвением и твёрдостью». Новое правительство начало активную деятельность.

Бенкендорфу пришлось выступить в качестве посланника России. К нему отнеслись как к официальному представителю русского императора и на ближайшем же приеме обратились с жизненно важным политическим вопросом: «Каковы замыслы союзнических государств касательно нашего политического существования?» Александр Христофорович уже запрашивал Винцингероде, как ему вести себя в подобном случае; но начальник осторожно ответил, что намерения государя ему неизвестны. Бенкендорфу пришлось проявить всё своё дипломатическое умение. «Я имею приказ, — говорил он, — узнать желание нации относительно её будущего политического устройства, оказать помощь в его осуществлении и сообщить об этом желании императору. Итак, я спрашиваю вас: чего же вы хотите?» — «Принца Оранского, — последовал ответ, — только этот дом может гарантировать нашу независимость». Немедленно

за море, в Англию, был отправлен гонец с приглашением Вильгельму Оранскому «прийти и царствовать».

Торжественная, под плеск оранжевых знамён, высадка будущего монарха произошла 30 ноября в Схевенингене. 1 декабря состоялся его официальный въезд в Амстердам — с казачьим эскортом. Бенкендорф выстроил пехоту в качестве почётного караула у дверей дворца, а сам первым встретил принца у кареты, подал ему руку и провёл через ликующую толпу к резиденции. Сама картина «призвания на царство» поразила Бенкендорфа: он увидел, что это было волеизъявление свободного народа и что восхищение Оранским являлось «не выкриками слуг, но свидетельством выбора, указывающим наиболее достойного человека для спасения государства».

Вскоре собрался военный совет: принц Оранский, прибывший с ним английский посол Кланкарти, прусский генерал Бюлов и генерал Бенкендорф. Союзники сочли, что успех уже достигнут и можно ограничиться блокадой и постепенным овладением крепостями, где ещё сидели французские гарнизоны. Бенкендорф мог бы согласиться на это, тем более что приказом Винцингероде он отослал назад четыре казачьих полка — почти половину своей кавалерии. Самое время было, как заметил Сергей Волконский, «найти в Амстердаме новую Капую», насладиться заслуженным отдыхом и почестями43; но чувство долга оказалось сильнее. Бенкендорф предложил на совете более активный план: отодвинуть войну от центра Голландии, воспользоваться замешательством французов и продвинуться как можно дальше на юго-запад; на крепости времени не терять, если сразу не сдаются — блокировать. «Правилам тактики следует иногда предпочесть гибкость, — уговаривал Бенкендорф педантичного пруссака Бюлова. — Мы должны… усугубить беспорядок, нарастающий на границах Франции; …две тысячи человек, действуя энергически сейчас, сделают больше, нежели целые армии в несколько месяцев».

Бюлов наконец согласился, пообещал содействие и прикрыл своими частями фланги. Бенкендорф разбил свой отряд на несколько «оперативных групп» и выступил в новый поход.

Kozakkendag

Лёгкость взятия Амстердама заставила французов поверить в «6000 русских», названных в прокламациях. Поэтому когда утром 28 ноября отряд князя Жевахова появился на подходе к северным воротам Утрехта — главной военной базы оккупантов, — французы не стали полагаться на глубину рвов и прочность стен и ретировались через южные ворота. День появления казаков стал городским праздником. Его так и назвали: «День казака», Kozakkendag, и отмечали на протяжении как минимум столетия, пока в 1914 году город не заняли новые оккупанты — кайзеровские войска44.

Появление в Утрехте русских казаков было запечатлено на картине, которая в путеводителе по Центральному музею нынешнего Утрехта стоит под первым номером. История этой картины заслуживает упоминания. Она была написана голландцем Питером ван Осом в 1816 году. Сам художник в дни освобождения Голландии оставил занятия живописью, чтобы вступить в Национальную гвардию. С окончанием Наполеоновских войн он вернулся к своим пейзажам, но изобразил и памятные дни освобождения своей страны в серии из десяти картин. Одна из них, «Казаки, входящие в Утрехт в 1813 году», была подарена русскому императору Александру. На ней казаки врываются на Ратушную площадь, из-под лошадиных копыт бежит прочь петух, символизирующий французов, восторженные жители приветственно машут руками…

В послании от 18 декабря 1824 года министр иностранных дел Карл Нессельроде написал художнику, что картина царю понравилась. Вместе с письмом в знак благодарности ему был передан перстень с бриллиантом.

В советское время картина в духе «голландцев XVII века» была признана не имеющей особой художественной ценности, и её продали обратно в Голландию. Она попала в Утрехт, где ей предоставили почётное место: на возвышении, в отдельном зале.

…С конца ноября 1813 года слово «казак» приобрело в Голландии невероятную популярность. Из наполеоновской страшилки оно превратилось в символ освобождения. Дорога, по которой прошли казаки близ невзятой крепости Девентер, до сих пор называется Kozakkenweg — «Казачья дорога», а большое старое дерево около этой дороги — Kozjakkenlinde, «Казачья липа». Неподалеку, в городке Горссель, есть ещё одна «Казачья дорога», а кроме того, «Гусарский проезд» и холм «Казачья шишка», на котором до 1941 года стоял домик «Казачий шалаш».

В наши дни где-то на дороге от Арнхейма к Роттердаму успешно функционирует кафебар «У казака»45, а в провинции Гельдерланд угощают «казачьим пирогом». Холодную по европейским меркам зиму 1813/14 года в некоторых провинциях Голландии окрестили «казацкой зимой». Современные жители Гааги поют русские песни, составив свой oeralkozakkenkoor — «Уральский казачий хор», а брабантцы играют в футбол в команде Kozakken Boys — «Казачки».

Казачьи отряды рассыпались по стране, быстротой перемещения и неожиданностью появления создавая видимость действия крупных сил. Они научились побеждать даже флот: отряд майора Марклая занял крепость Гельдер и блокировал побережье у места стоянки французской эскадры, после чего был заключён договор о взаимном нейтралитете: адмирал Вергюэль (голландец на наполеоновской службе) пообещал не предпринимать никаких враждебных действий, если его матросам будет позволено сходить на берег для закупки продовольствия. Это перемирие позволило начать переброску и высадку английских войск, тем более что 26 ноября русские вошли в Гаагу и Роттердам.

А 27 ноября после непродолжительного боя пала Бреда — по мнению Бенкендорфа, «одна из самых сильных крепостей и ключ Голландии». Ключ от этого «ключа», с характерной свастикой в бородке, хранится теперь в Москве, в Историческом музее. К югу от Бреды передовые отряды казаков вышли на дорогу к Антверпену — туда, где теперь пролегает граница с Бельгией.

К Воронцову полетело послание: «Любезнейший друг! Диктую тебе это письмо, лёжа в постели; вокруг меня крепостные стены Бреды, огромные рвы с водой, куртины, демилюны, равелины… Я скучаю без тебя, и у меня почти нет возможности совершать глупости и не получать твоего одобрения, которое мне дороже всего». Бенкендорф жалел, что у него недостаёт пехоты для немедленного марша на Антверпен, который Наполеон считал «пистолетом, направленным в сердце Англии». Он приостановил наступление, ограничившись рассылкой во все стороны «летучих» кавалерийских отрядов, которые заставили капитулировать мелкие гарнизоны Брабанта на границе с нынешней Бельгией.

Голландия была свободна. Но надолго ли? Из Франции в Антверпен уже пришли не просто войска, а самые боеспособные части, в том числе гвардия — вначале «молодая», а следом и «ворчуны» — одна из двух дивизий «старой» гвардии. Министр Кларк выполнил своё обещание. К тому времени нерешительный Молитор был смещён, а оборону Франции с северо-востока возглавил легендарный генерал эпохи революционных войн и

знаменитый математик Лазар Карно. Этот убеждённый республиканец, поднявшийся до политических вершин при Директории и побывавший в 1800 году военным министром, не принял наполеоновской империи и решился на внутреннюю эмиграцию, полностью переключившись на занятия математикой. Однако в конце 1813 года, когда война пришла к границам Франции и вновь зазвучал лозунг «Отечество в опасности!», Карно «надел сапоги 93-го года», вернулся на военную службу и возглавил оборону Антверпена. Он не стал дожидаться, когда его атакуют, и сам двинул 18-тысячный корпус, в том числе гвардию, на север. Целью его была крепость Бреда.

Бенкендорф узнал об этом от перехваченного казаками парижского курьера. Авангард генерала Сталя получил приказ отходить, но как можно медленнее, а казаки полковника Чеченского были отправлены тревожить неприятельские колонны с фланга. Это позволяло выиграть несколько дней для подготовки к обороне. В инженерном отношении крепость Бреда была великолепна, но она совершенно не имела ни запасов, ни артиллерии на случай осады.

Вновь выручили голландцы. Они перебросили по воде тяжёлую артиллерию и порох, захваченные недавно в укреплённых фортах, прислали артиллерийских офицеров. Французы уже начинали перекрывать водное сообщение Бреды. Только решительная атака башкирской кавалерии, причём меньшими силами, позволила выиграть тот час, за который через один из каналов прошли к Бреде корабли с артиллерией. Однако орудия ещё надо было выгрузить и установить, а французы начали атаку на Бреду с ходу: готовиться к «правильному штурму» им было некогда.

Расчёт Карно был математически точным — его войска цолучили несколько дней для развития успеха. Англичане не могли закончить высадку из-за встречного ветра и неблагоприятной зимней погоды, и их ещё можно было сбросить обратно в море. Бюлову также требовалось некоторое время, чтобы восстановить взаимодействие с Бенкендорфом: его сильно задерживали льды на реках и «пятая стихия» — грязь на дорогах.

Однако атака с ходу не удалась. Восемь русских конных орудий и пехота отразили наскок французских войск, хотя в их составе были и наполеоновская «молодая» гвардия, и гвардейские конные егеря.

Противник придвинул свои батареи поближе к городу и начал систематический обстрел. Его очень удивило то, что русские не отвечали. Озадаченный таким поведением командующий французским отрядом даже послал парламентёра с

требованием сдаться. Однако сдаваться никто не собирался. Все силы защитников города были брошены на скорейшую установку крепостной артиллерии: кто-то готовил платформы, кто-то ставил орудия на лафеты, проверял пушки, подбирал подходящие по калибру ядра, заряжал орудия. Наконец, на предложение сдаться последовал ответ — в виде мощного и неожиданного залпа из сорока орудий.

И французы отложили штурм. Они занялись окружением крепости, установлением контроля над коммуникациями, систематическим обстрелом укреплений и города. Несколько ночных пожаров напугали было жителей, но огонь был усі мирён, и паники не случилось.

К началу следующего дня внутри крепостных стен Бреды был собран интернациональный гарнизон. Помимо русских войск в него входили прусские партизаны майора Коломба (того, который в 1814 году возьмет в плен наполеоновского і уланского капитана Фаддея Булгарина), свежесформированный батальон голландской Национальной гвардии и даже отряд из нескольких сотен англичан, когда-то попавших в плен в Испании и освобождённых во время одного из рейдов. По воспоминаниям майора Коломба, защита Бреды напоминала вавилонское столпотворение: голландцы, русские, пруссаки, англичане усердно помогали друг другу, но не могли друг друга понять46.

У французов по-прежнему оставалось заметное численное преимущество, поэтому 9 декабря начался новый штурм. Бенкендорф не стал ждать, пока противник проверит прочность Турнгутских ворот, и организовал вылазку через другие ворота — Антверпенские. Особенно хорошо проявили себя молодые голландцы из батальона Национальной гвардии: они шли в бой без страха, с радостными возгласами. Бенкендорф был восхищён их храбростью, а неприятель счёл за лучшее прекратить штурм и отступить. Вечером и ночью возобновился артиллерийский обстрел. Пришли неутешительные новости: англичане всё ещё не могли закончить высадку, пруссакам Бюлова мешал переправляться ледоход. Но приі ход помощи с обеих сторон был делом времени; оставалось буквально «день простоять да ночь продержаться». Понимали это и французы. 10-го числа, во второй половине дня, они предприняли решительный общий штурм, атаковав Бреду с трёх направлений. Для увеличения числа защитников на стеі нах Бенкендорф приказал спешиться гусарам Павлоградского полка. А когда наступил вечер, его гусары и казаки, подкреплённые четырьмя конными орудиями, осуществили ещё одну крупную вылазку, уже из других ворот, неожиданно легко опрокинув неприятеля — настолько легко, что

Бенкендорф приказал прекратить преследование, опасаясь подвоха: сколько раз его казаки таким привычным способом замани-, вали доверчивого противника в засаду! Но позже выяснилось, | что одновременно с вылазкой отряда Бенкендорфа в тыл французам ударили казаки, пришедшие с востока, откуда неприятель опасался появления пруссаков. В этом была доля везения: французские командиры не поверили в совпадение, (и штурм был прекращён. Когда окончательно стемнело, Бенкендорф приказал разложить побольше бивачных огней, чтобы поддержать заблуждение противника насчёт подхода прусских войск Бюлова. Но начали поступать удручающие известия о том, что у кавалерии кончался фураж, а у жителей города — продовольствие.

Всю ночь с передовых позиций доносили о шуме в лагере противника, а когда утро окутало окрестности города туманом, Бенкендорф приказал ради безопасности выдвинуть патрули поближе к неприятелю. Вскоре он получил донесение: придвинуться не удалось — французы… снялись и ушли назад, к Антверпену. И тут с востока подошли пруссаки, а с запада — англичане.

Голландия была освобождена окончательно. 12 декабря, в день рождения Его Величества императора Александра Павловича, священник Тульского пехотного полка отец Михаил Мацкевич отслужил благодарственный молебен прямо на стенах Бреды. Присутствовавшие на литургии голландские и прусские союзники вместе с русскими преклоняли колена.

Вскоре Бенкендорф держал в руках новый пакет от Винцингероде с приказом сдать «участок фронта» англичанам, пруссакам и голландцам и идти на соединение с главными силами. Готовилась переправа через Рейн для общего вступления союзных войск во Францию — начала завершающей военной кампании. В двадцатых числах декабря Бенкендорф передал Бреду на попечение союзников, а сам, изобразив активность на подступах к Брабанту, ушёл назад, на соединение с главными силами. «Весьма он тогда рассердил индейского петуха Винцингероде», — вспоминал год спустя М. С. Воронцов47. Винцингероде был очень недоволен чрезмерной предприимчивостью Бенкендорфа вопреки начальственным распоряжениям. Может быть, он даже ревновал, однако строго наказать победителя не мог — слишком очевидным и громким был успех подчинённого. Бенкендорфу стали одна за другой приходить награды за Голландию. Прусский король по представлению Бюлова прислал орден Красного орла высшей степени; командующий армией, шведский наследный принц

Бернадот, — орден Меча высшей степени, а Вильгельм Оранский — шпагу с надписью «За Амстердам и Бреду». Наконец, лично император Александр отправил ему орден Святого Владимира 2-й степени.

Скрижали храма Христа Спасителя не запечатлели этот подвиг Бенкендорфа, но в знаменитой серии медалей, подготовленных Федором Толстым в честь наиболее знаменательных событий 1812–1814 годов, есть и барельеф «Освобождение Голландии»: победоносный воин замахивается мечом на уже упавшего противника, одновременно помогает встать женщине, символизирующей Голландию, и прикрывает её щитом. Потомки Бенкендорфа утверждали, что Толстой намеренно придал воину на медали портретное сходство с Александром Христофоровичем.

В Дюссельдорфе Бенкендорф был совершенно ошеломлён приказом сдать командование отрядом. Он был уверен, что это проявление обиды Винцингероде.

Однако всё было проще. Армия собиралась в единый кулак и поэтому переформировывалась. Вместо «летучего корпуса» Бенкендорф вскоре получил под командование строевые части. Точно так же сердился и Воронцов: были расформированы его любимые сводно-гренадерские батальоны; но и он вскоре принял командование над армейским корпусом.

В ожидании перехода через Рейн, естественную границу между Германией и Францией, русские войска встретили новый, 1814 год.

В новогоднюю ночь где-то в России, в имении Плещеевых, гостей развлекал крепостной актер, наряженный двуликим Янусом. Он декламировал стихи Жуковского: сначала оборотился к гостям лицом старика:

Друзья, я восемьсот
Увы! Тринадесятый,
Весельем небогатый
И очень старый год.

А потом, повернувшись другим лицом, молодым, продолжал:

А брат, наследник мой,
Четырнадцатый родом,
Утешит вас приходом
И мир вам даст с собой…48

Но мир ещё надо было завоевать. 1 января союзные армии начали переправу через Рейн. Русские полки шли по мостам с криками «ура!». Корпус Винцингероде, переходивший севернее всех, в Дюссельдорфе, был задержан ледоходом и переправился только 2 (14) января.

«57-я стена» храма Христа Спасителя как бы подводит итоги последовавшей кампании списком «отличившихся и награждённых за 1814 год»:

> «В течение заграничной войны 1814 года отличились в различных делах, сражениях и советах: генерал-адъютанты князья Волконский и Лобанов-Ростовский, графы: Аракчеев, Нессельроде и Шувалов; генерал-лейтенант Толь, генерал-майоры Бенкендорф (Александр), Закревский, Левашов, Мерлин, Ставроков и Штаден».

Генерал Бенкендорф начал кампанию командиром кавалерийской бригады, в которую входили знакомые ему полки: Павлоградский гусарский (под командой полковника Жевахова) и Бугский казачий (под командой полковника Чеченского). Отдохнувшие солдаты шли в решительный поход в новых мундирах, кавалеристы получили «для носки вне фронта» красные английские куртки, «лошади были на подбор, оружие блистало»49.

После переправы через Рейн наступление шло неспешно. Поскольку Наполеон сосредоточивал силы в глубине Франции, русские офицеры корпуса Винцингероде получили возможность поправить здоровье и встретиться с друзьями на водах в Аахене, некогда бывшем «всеевропейской» столицей Карла Великого, а в то время принадлежавшем наполеоновской империи. В день приезда туда боевого товарища и «собивачника» Сергея Волконского Бенкендорф устроил блистательное застолье для офицеров и вообще всех русских, находившихся тогда на курорте. Сергей Волконский вспоминал: «Обед был пышный во всём, в яствиях и питиях удовлетворителен и, как обычно при этих случаях и особенно в военное время, с провозглашением многих тостов. Возвратясь в занимаемый мною отдел, я сказал при мне состоящему корнету Шиллингу: „А ведь мне надо отплатить обедом и угощением, а в кошельке довольно пусто, просто нечем уплатить этот расход“. Но он мне отвечал: „Да ведь этот расход не из кошелька Бенкендорфа уплочен, а просто отнесён на счет городской, и это я устрою и на ваш обед“. Сказано и сделано, и я отплатил пиршеством за пиршество, и на тех же началах — никакой уплаты собственно от меня. Я передаю это

обстоятельство с полным негодованием на мой поступок, вовсе неприличный, бессовестный по теперешним моим понятиям. И Бенкендорф, и я были люди понимающие, что хоть во вражьей стране, но что мы не должны были так действовать, а между тем это сделали, и рассказываю это с полным неодобрением поступка»50.

Этот эпизод жизни за счёт населения неприятельской страны тянет за собой ещё один, связанный с набегом Бенкендорфа на Эперне — легендарную столицу шампанских вин (неприятель вытеснен, взято 400 пленных)51. Здесь генерал столкнулся с необходимостью выдавать положенные в армии винные порции не водкой, а местным шампанским.

Почин стал нормой для русских и прусских войск, после этого неоднократно проходивших по Шампани — то настигая Наполеона, то убегая от него.

Четверть века спустя в подвалах Эперне дегустировал шампанское «всех свойств и видов» П. А. Вяземский. Он не мог не упомянуть давнего «боевого эпизода» в стихах:

В тех подземелиях гуляя,
Я думой ожил в старине;
Гляжу: биваком рать родная
Расположилась в Эперне.
Лихой казак, глазам и слуху,
Предстал мне: песни и гульба!
Пьют эпернейскую сивуху,
Жалея только, что слаба.
Оставя боевую пику,
Казак здесь мирно пировал,
Но за Москву, французам в пику,
Их погреба он осушал…

Нижние чины не высказывали особой радости при дегустации благородного напитка. «Вино это просто квасок и нимало не по нутру нам в сравнении с сивухой», — записал Волконский. Как заметил другой мемуарист, шампанское из Эперне «не имело влияния на русскую голову, а лишь, пресыщаясь оным, [русские солдаты] краснели»52.

Но офицеры были в восторге. Кроме того, «реквизиция шампанского» (по сути, грабёж) послужила своеобразной рекламной акцией. Неунывающий Жан Реми Моэт, тогдашний глава до сих пор процветающей фирмы, заметил: «Все эти офицеры, которые разоряют меня сегодня, завтра сделают мне состояние. Все, кто пьёт моё вино, становятся моими гонцами,

которые будут повсеместно прославлять моё дело».

О том же, видимо, думала жившая по соседству, в Реймсе, мадам Барб Николь де Понсардэн, более известная как вдова Клико. Ей приписывают знаменитую фразу: «Пусть пьют шампанское сегодня! Они расплатятся за него завтра». На «завтра» ею уже было приготовлено вино урожая 1811 года — знаменитое «вино кометы». В марте оно ещё было надёжно замуровано в подвалах, а уже в апреле под большим секретом отправилось в Россию. Тысячи и тысячи бутылок при отсутствии конкурентов пошли нарасхват — по громадной для того времени цене: 12 рублей за бутылку!

…Удалое начало кампании уже в феврале сменилось тревогами и разочарованиями. Ринувшаяся было на Париж Силезская армия Блюхера слишком растянулась и была разбита Наполеоном по частям — в пять дней, в четырёх сражениях. Потом Наполеон «отвлёкся» на главную армию, и Блюхер, которого солдаты прозвали «генерал Вперёд», собрался с силами и снова ринулся на Париж. Наполеон, воспользовавшись медлительностью и неповоротливостью главной армии союзников, опять метнулся вдогонку за Блюхером. Тот оказался меж двух огней: прикрывавшими Париж французскими корпусами на западе и спешившим с юго-востока Наполеоном. Выходом стало движение на север, на соединение с корпусами Северной армии, с Винцингероде и Бюловым. Вместе с ними армия Блюхера выросла до 100 тысяч человек, и он смог сначала затормозить, а потом остановить переполненного энергией Наполеона.

«Тормозить» Наполеона пришлось корпусу графа Воронцова 23 февраля (7 марта) у Краона. Бенкендорф в том сражении командовал конницей (павлоградские гусары и три казачьих полка) и прикрывал правый фланг — направление, считавшееся наиболее опасным. Он «несколько раз кидался навстречу несравненно сильнейшей неприятельской кавалерии», и сами французы потом признавали, что «мужественные и искусные атаки русской кавалерии» останавливали в нерешительности французские эскадроны.

Как отметил Воронцов в приказе после сражения, «генералы Лаптев и Вуич с пехотою, Бенкендорф с кавалериею и Маканин с артиллериею соревновали друг другу в неслыханном мужестве и искусном употреблении вверенных им сил… все они имеют полное право на мою душевную признательность и подвиги их, конечно, будут предоставлены… для донесения Его Императорскому Величеству»53.

Об ожесточённости схваток говорит тот факт, что после сражения из 900 павлоградских гусар в строю остались 400. Тем

обиднее было осознавать, что сражение при Краоне было дано напрасно. Воронцов почти целый день сдерживал натиск наполеоновских войск, в том числе «старой» гвардии, и под огнём ста французских пушек отводил войска медленно, «как на ученьи», отступая пехотой «тихим шагом через линию, артиллерией — через орудие». Он потерял до трети корпуса убитыми и ранеными — и всё ради того, чтобы дать возможность отряду Винцингероде обойти Наполеона и ударить ему во фланг и в тыл. Если бы этот план генерала Блюхера удался, то Ватерлоо случилось бы при Краоне. Но бумажный план обхода не учитывал ни невозможности ночного перехода по незнакомой и сильно пересечённой местности, ни того, что двигаться придётся по узким дорогам, через теснины, горы и овраги, через такие склоны, на которые пушки нужно будет затаскивать руками. Сам Винцингероде потом оправдывался: «На исходное место атаки я не имел счастья прибыть в пору со всей кавалерией и достигнуть решительных успехов, напав на неприятеля с тыла». Наполеон прекратил атаки на Воронцова в пять часов вечера, а головные части Винцингероде вышли на исходные позиции к ночи.

Все планы переменились, Блюхер приказал стянуть войска к северу, к расположенному на неприступном холме городу Лаон, а прикрытие манёвра было поручено Бенкендорфу. Он получил приказ до последней крайности защищать стратегически важный мост на перекрёстке Суассонской и Лаонской дорог, по которым отходили на новую позицию корпуса Сакена, Строганова и Воронцова. Отряд Бенкендорфа укрылся за болотистым ручьём, спрятав в кустах конную батарею, которая встретила французский авангард неожиданным залпом картечи, так что тот отступил и целый час не решался двигаться вперёд. Когда же французы снова «пошли», Бенкендорф использовал окрестные высоты для того, чтобы цепляться за каждое укрытие. Он отходил медленно, как только мог, и к полудню отодвинулся всего на четыре версты. За это время Блюхер успел развернуть войска у Лаона в боевой порядок54.

Днем 25 февраля кавалерия Бенкендорфа сначала двинулась на правое крыло главной позиции, а к вечеру была отправлена на подкрепление прусских войск на левом крыле. Именно там наступившей ночью был нанесён мощный удар по французским войскам, благодаря которому долго казавшийся «ничейным» исход Лаонского сражения был решён в пользу союзников. В итоге Блюхер прочно укрепился на возвышенностях Лаона, и выбить его оттуда Наполеон был уже не в силах. Он почти неделю простоял в ожидании, и всё это время с левого фланга, у Суассона, его опять тревожил Бенкендорф, чья кавалерия «по

привычке» брала пленных, перехватывала курьеров, почту и багаж55.

Долгое стояние гигантских армий привело к полному разграблению окрестностей Лаона. Дело доходило до того, что местные жители приходили к бивакам союзников просить пищи. 5 (17) марта опустошительное для французских обывателей стояние окончилось, и армия Блюхера пошла на юг, на соединение с главными силами союзников.

Император французов любил говорить: «Я и 50 тысяч солдат — это 150 тысяч!» Но в середине марта, к началу решающей битвы за Париж, перевес всё равно был на стороне его противников, имевших более 180 т^ысяч… За Лаонской неудачей Наполеона последовала безуспешная попытка разгромить главную армию союзников. Настал критический момент войны.

Не добившись успеха в лобовых столкновениях, Наполеон решил переиграть противника стратегически. Его новый хитрый ход должен был смутить союзное командование: французская армия неожиданно «забыла» про Париж и ринулась в противоположную сторону — на восток, угрожая коммуникациям сил коалиции. По расчётам Наполеона, соединённые армии должны были броситься за ним для защиты своих тылов, то есть тоже сместиться на восток, подальше от Парижа. «Следовать за Наполеоном и напасть на него» — так и предложил на военном совете опытнейший полководец Барклай де Толли.

Но было принято другое решение. На восток в погоню за Наполеоном были отряжены «значительный корпус конницы и несколько полков пехоты». Получивший командование над ними Винцингероде имел инструкции как можно более открыто демонстрировать, что он ведёт авангард главных сил; ему было велено даже занимать в пути следования квартиры для императора Александра, прусского короля, командующих Шварценберга и Барклая де Толли.

Между тем основные силы союзников повернули в противоположную сторону, на запад. Они всё же пошли на Париж, с каждым днём расходясь с Наполеоном на два перехода. Соединившиеся армии сравнительно легко опрокинули при Фер-Шампенуазе преградившие им путь корпуса маршалов Мармона и Мортье, чем окончательно открыли себе дорогу к столице Франции. Несколько переходов, бой на Монмартре, гвардия, идущая в атаку без выстрелов, но с музыкой — и «Ликуй, Москва, в Париже Росс!».

Но в этом торжественном марше победителей Бенкендорф не участвовал. Он был вместе с 10-тысячным отрядом Винцингероде, которому ради обеспечения победного входа главных сил в Париж

было суждено принять на себя удар основных сил французской армии во главе с Наполеоном. Вопрос о том, чтобы разбить вчетверо превосходящие силы противника, не стоял; нужно было просто выиграть время — но для этого преодолеть страх погибнуть в последние дни войны.

Сражение началось утром в субботу, 14 (26) марта, у города Сен-Дизье. Наполеон всё ещё считал, что ему противостоит авангард главных сил союзников. Он напал на Винцингероде сразу с трёх сторон, с той же отчаянной решительностью, которая помогала ему сдерживать войска противников уже несколько месяцев.

Винцингероде знал, что будет разбит, но принял бой. Своими действиями он задержал Наполеона именно на те два дня, которых императору Франции не хватило, чтобы успеть в Париж до его падения. В русской армии и век спустя вспоминали «славное поражение» 14 марта. «Хвала изюмцам, славным дедам, / За трудный бой при Сен-Дизье», — пели гусары Изюмского полка56. «Подвигом чести и самоотвержения» назвал барон Д. Е. Остен-Сакен действия Елисаветградского гусарского полка57.

Бенкендорф в этом сражении сначала командовал левым флангом, потом участвовал в завязавшейся авангардной стычке и пережил тревожные минуты, увидев, как за передовыми отрядами на него двинулись густые пехотные и кавалерийские колонны французов. В момент главного удара противника он успел вернуться на «свой» левый фланг и удержал единственный проход, позволявший отряду выйти из боя. Именно благодаря этим действиям Винцингероде удалось собрать рассеянные части и оторваться от неприятеля. «Император французов… преследовал рассеянные войска и совершенно уничтожил бы их, если б генерал Бенкендорф заблаговременно не поставил на Барле-Дюкской дороге несколько орудий, удержавших тут неприятеля, чем обеспечил отступление корпуса»58. Его гусары даже успели опрокинуть французский батальон, попытавшийся было помешать отходу русских. Бенкендорф в который раз продемонстрировал умение «держать удар»: он возглавил арьергард, сдерживал наступавшие части французов и медленно «отодвигался» до тех пор, пока непрерывные схватки не прекратила ночь. К этому времени остальные части Винцингероде успели собраться у Барле-Дюка и снова составили боеспособный корпус.

Это сражение, хотя и считается победой французов («прощальной улыбкой счастья Наполеону»), занесено на плиту «56-й стены» храма Христа Спасителя:

«Дело при Сен-Дизье

Командовавший войсками: генерал от кавалерии барон Винценгероде.

Участвовавшие войска: драгунские полки: Рижский, С.-Петербургский и Финляндский; гусарские полки: Елисаветградский, Изюмский и Павлоградский; казачьи полки: Барабанщикова 2-го, Гребцова 2-го, Грекова 9-го, Денисова 7-го, Иловайского 4-го, Коммисарова 1-го, Лощанинова 1-го, Мельникова 4-го, Мельникова 5-го, Пантелеева 2-го, Попова 13-го и Сулина 9-го; 6-й Егерский пехотный полк; артиллерийские конные роты: №№ 1, 4, 9, 11 и 13.

Выбыло из строя воинских чинов около 729.

Отличились: Командовавший войсками генерал от кавалерии барон Винценгероде, генерал-лейтенант граф Орурк, генерал-майоры: Балк и Бенкендорф (Александр)».

Не торжественным входом в Париж, а неспешным отходом к Шалону, вместе с усталым поредевшим арьергардом, прикрывавшим потрёпанные Наполеоном части, закончилась для Бенкендорфа эта война.

Флейта вдруг умолкла, сумерки погасли,
Почернели краски.
Медленно и чинно входят в ночь, как в море,
Кивера и каски.
Не поймешь, кто главный, кто слуга, кто барин,
Из дворца иль с хаты.
Все они — солдаты, вечностью объяты, бедны иль богаты…59

«Драгун из Гадяча»

Они встретились с Воронцовым в весеннем послевоенном Париже. Гвардейцы вновь распевали «Марш Преображенского полка», сочинённый Сергеем Мариным ещё в канун несчастливой кампании 1805 года:

За французом мы дорогу
И к Парижу будем знать.
Зададим ему тревогу,
Как столицу будем брать.
Там-то мы обогатимся,
В прах разбив богатыря,
И тогда повеселимся
За народ свой и царя.

Сам Марин, талантливый поэт, но невезучий воитель, не дожил до предсказанных им дней триумфа. Он скончался в Петербурге в феврале 1813 года от многочисленных боевых ран.

А весенний Париж, радовавший прекрасной погодой, украшенный лозунгами «Миру — мир!», воспринимался как райский уголок, награда за лишения долгих военных лет. За императором Александром народ ходил толпами, а он подбадривал зевак: «Не бойтесь, подходите ко мне!»60 В театрах и кофейнях воинов-победителей встречали приветственными возгласами «Да здравствуют русские офицеры!». Триумфаторы ели устриц и запивали их шампанским.

Вчерашние воины воспользовались разрешением надеть фраки и окунулись в мирную жизнь. «Вооружённые путешественники», как назвал их К. Н. Батюшков (в ту пору штабскапитан), спешили наслаждаться «столицей мира». Казалось, теперь можно было бесконечно «бродить по бульвару, обедать у Бовилье, посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во всё горло проказам Брюнета (популярного в то время актёра варьете. — Д. О.), стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаэля, в великолепной галерее Музеума, зевать на площади Людовика XV или на Новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном Тюльери, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан, жриц Венериных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и прочее, и прочее, и

прочее»61.

У парижан в эти дни — свои развлечения. Они ходят на Елисейские Поля, где расположены биваки союзных войск. Наибольшее внимание привлекают казаки — недавний кошмар цивилизованной Европы. Любопытство французов объясняет журналист из газеты «Монитор»: «Там стоят большею частью конные полки российской гвардии, в которой люди необыкновенной величины и телесной крепости; иные кажутся в сажень. Веревки повешены от одного дерева до другого и составляют особые отделения для солдат. Достойно удивления, как люди и лошади сохранились в столь хорошем положении, потому что они пришли из отдалённых земель, были в частых сражениях и претерпели жестокую и продолжительную зиму. Парижане, почитавшие пригороды свои границею света, они, которым военные станы известны только по рассказам сыновей их, смотрят с удовольствием на биваки посреди их города. Остатки сена, которые лошади не съели, служат солдатам постелью. Пуки соломы покрывают копья их, приставленные к деревьям, что образует род кровли, а под оною находятся воины и имущества их. Перед каждым биваком разложены огни, где варят пищу; здесь видите воина, который режет мясо, другой рубит дрова, иной чистит оружие или отдыхает, имея изголовьем седло своей лошади. Многие из них слушают с удовольствием, как бы разумея, замечания прогуливающихся насчёт их нравов и обычаев, ответов же, делаемых ими на множество предлагаемых им вопросов, мы или не понимаем вовсе, или только отчасти по телодвижениям их, в которых видно добродушие их и искреннее с нами согласие»62.

В эти два первых послевоенных месяца отрёкся от престола Наполеон, прибыл Людовик XVIII и, наконец, 18 мая был заключён желанный мир.

Почти сразу же император Александр I направился в Англию — и с ним вся его свита. Одной дружеской компанией пересекли Ла-Манш Александр и Константин Бенкендорфы, Михаил Воронцов, Лев Нарышкин. Поездка оказалась необременительной, служебных обязанностей было немного. Лондон чествовал союзников и раздавал почётные награды. На долю Бенкендорфа пришлась золотая сабля с надписью «За подвиги в 1813 году» от принца-регента Георга (он правил вместо тяжело больного Георга III).

С радостью встретила брата Дарья Христофоровна Ливен. За два года пребывания в Лондоне она вошла в высшее общество не только как деятельная помощница своего мужа, русского посла, но и в качестве хозяйки популярного салона, собиравшего видных

государственных деятелей Британии. Постепенно за Дарьей-Доротеей закрепилось прозвище «госпожа посол». Общению Александра Христофоровича с аристократическими кругами способствовал и Воронцов — он вообще чувствовал себя в Англии как дома, к тому же его сестра Екатерина была замужем за лордом Пемброком. Блистательная компания проехала по Британии, посетила легендарный замок Пемброков в Уэльсе, полюбовалась британским флотом в Портсмуте. Бенкендорф восхищался империей и хвалил британцев за «активную деятельность»63.

Не обошлось и без романа — одна давняя приятельница Воронцовых познакомила друзей с некой «весёлой и оригинальной» англичанкой, ради которой Бенкендорф в какойто момент был готов «забросить все дела»… Но настала пора собираться домой — и вот уже пакетбот несёт молодого генерала на восток — сначала в Гётеборг, потом в Стокгольм, столицу Швеции, ещё одного союзника в минувшей войне, затем наконец-то в Россию, в Ревель. Именно здесь, очутившись в объятиях отца, Бенкендорф окончательно осознал, что война окончилась. Последовавшие две летние недели 1814 года Александр Христофорович вспоминал как прекрасное, может быть, самое безмятежное время своей жизни…

В Гатчине состоялась ещё одна почти семейная встреча — с императрицей-матерью. Мария Фёдоровна принимала сыновей своей лучшей подруги необыкновенно радушно, расспрашивала о походах с исключительным интересом, которого Бенкендорфы даже не ожидали.

Казалось, весь свет радуется переменам. Общее настроение лета 1814 года передаёт письмо Н. М. Карамзина, написанное им брату 13 июня: «…Сколько счастливых перемен в Европе! Настал другой век. Дай Бог тишины и благоденствия для остальных дней наших! По крайней мере, имеем право надеяться. Пора людям быть умнее, но от них ли это зависит?»

Но вслед за неделями праздников потянулись месяцы однообразных армейских будней. Уже в августе Бенкендорф в соответствии с опытом службы в лёгкой кавалерии получил в командование кавалерийскую бригаду 1-й уланской дивизии, Сибирский и Оренбургский полки (хотя рассчитывал на дивизию). Он направился к месту квартирования частей, в Витебск. А по дороге произошла приметная встреча с П. А. Толстым — в Москве, которую Бенкендорф видел разорённой осенью 1812 года. Возрождавшаяся Первопрестольная вызывала искреннее восхищение — «и городом, и страной, и нацией»64. Одновременно Бенкендорф испытал и восхищение

другого рода — дочерью Толстого Софьей, очаровательной, но слишком юной для 34-летнего генерала (ей не было и шестнадцати). В те дни он впервые заметил, что «начал терять свою великолепную шевелюру»65…

Возраст, общение с молодыми красавицами и надолго воцарившийся мир навевают Бенкендорфу мысли о женитьбе. Конец 1814-го и начало 1815 года он проводит в Петербурге, где на балах первой послевоенной зимы блистают хорошенькие дочери достойных родителей. Но потом одна за другой начинают приходить шокирующие новости: Наполеон бежал с Эльбы, Наполеон высадился во Франции, Наполеон в Париже!

Русская армия снова выступила в поход, но принять участие в боевых действиях не успела. Англичане и пруссаки справились у Ватерлоо самостоятельно. Бенкендорф со своей бригадой выдвинулся к границе, к Вильно, а затем «вместе с гвардейским корпусом следовал до Ковно, откуда по окончании кампании возвратился на главные квартиры»66.

Пятого декабря 1815 года в Петербурге прошли празднества в связи с заключением «всеобщего мира». Наполеоновские войны стали историей. Портрет А. Х. Бенкендорфа кисти Д. Доу занял своё место в Военной галерее Зимнего дворца — правда, в нижнем ряду, на самой отдалённой от портрета Александра I стене — то ли по случайности, то ли символично…

С весны 1816 года генерал Бенкендорф уже стал начальником дивизии — 2-й драгунской. По дороге к новому месту службы он заезжает в Киев, оставляя примечательные рассуждения об этом древнем городе, из которых видно, насколько немецко-прибалтийский дворянин считал русскую историю своей. «Киев — это полноценный памятник истории нашей (курсив мой. — Д. О.) империи, — читаем в записках Бенкендорфа. — Это город, навевающий исторические воспоминания, место действия наших первых веков, триумф Олега, рождение цивилизации, распространение христианства в нашем народе». Бенкендорф рассуждает и об удачном географическом положении города, и о его роли в борьбе с турками и татарамиб7…

Новое место службы — городишко Гадяч в Полтавской губернии — наводило на Бенкендорфа уныние и вызывало ощущение заброшенности. К Воронцову, командовавшему в то время русским оккупационным корпусом во Франции, идут письма, полные жалоб: «Все мои друзья во Франции: и ты, и Леон (Лев Нарышкин. — Д. О.), и Гурьев… Кто вспомнит про бедного драгуна, тем более обитающего в Гадяче!» И снова: «Ты спрашиваешь, в каком обществе я вращаюсь? Это меня очень рассмешило. Общество? В Гадяче?!»68 За неимением «общества»

Бенкендорф занимает свой досуг историей. Близость Полтавы подвигает его на то, чтобы, раздобыв старинные карты славной петровской баталии 1709 года, отправиться на поле боя осмотреть остатки «старых фортификационных сооружений, русских ретраншементов и шведских апрошей». Просьба Винцингероде рассказать о походах их отряда в 1812 году воплощается в несколько десятков страниц мемуаров: в 1817 году их опубликует «Военный журнал», а потом использует для своих трудов знаменитый военный историк А. И. Михайловский-Данилевский.

Не забывал Бенкендорф и о боевой подготовке войск: он даже создал школу для нижних чинов (что было тогда внове), хотя, как сам замечал, нажил себе этим множество врагов. Когда же выяснилось, что обер-вагенмейстер (начальник обоза) дивизии — бывший преподаватель Московского университета, Бенкендорф предложил ему «тряхнуть стариной» и организовал преподавание для офицеров и юнкеров, иронизируя при этом: «…Конечно, это не пансион Николя»69.

Круг забот дивизионного командира оказался достаточно широк: от закупок фуража до проблем личной жизни подчинённых — в той мере, в которой они способствовали или мешали выполнению служебных обязанностей. Одно из его писем (предположительно к Аракчееву) основывается на наблюдениях заботливого командира и поднимает серьёзный вопрос «относительно пагубной лёгкости, каковою обставлено вступление в брак офицеров».

Бенкендорф докладывал:

«Эта лёгкость, влекущая за собою значительный вред, является достаточно важным обстоятельством для обращения на нее Высочайшего Его Величества внимания. Субалтерн-офицеры, не имеющие состояния, часто женятся, следуя исключительно минутному влечению, и тем являются причиною несчастия своих жён и детей, или делаются неспособными к службе офицерами, изыскивающими случаи для удовлетворения, предосудительным способом, нужд, сопряжённых с семейной жизнью; другие, в расцвете лет, покидают военную службу, чтобы определиться на более выгодную гражданскую службу, или переходят в гарнизоны, находя там, по крайней мере, спокойную и оседлую жизнь. Офицеры знатного происхождения, призванные впоследствии располагать более или менее значительным состоянием и являющиеся часто надеждой и поддержкой целой семьи, вступают в брак по увлечению, от скуки или по неразумию и привозят в отечество жён, составляющих предмет их собственного стыда и родительского отчаяния.

Подобные примеры участились с прохождением наших войск чрез Германию и с расквартированием в Польше и принесли огорчение во множество семей. Было бы весьма полезно ограничить лёгкость вступления в брак офицеров. Можно бы запретить офицерам, не имеющим средств, вступать в брак ранее достижения ими подполковничьего чина и не иначе, как если невеста представит доказательство получения ею ежегодно постоянного дохода в тысячу рублей. Относительно же состоятельных офицеров начальник дивизии обязан, осведомившись о поведении и родстве невесты, написать об этом наиболее близким родственникам офицера, присовокупив к тому и свои замечания, и имеет право дать движение просьбе офицера не иначе, как по получении на своё имя согласия от этих родственников. Брак, совершённый (как, однако, часто случается ныне) без согласия родителей или разрешения начальства, будет признан недействительным.

Подобные строгости и формальности, крайне значительно успокоив семьи, дадут время молодым людям на размышление об их предположениях, прервут множество несчастных союзов и сохранят на службе немало хороших офицеров. Всё, что касается порядка, нравственности и домашнего благополучия, не может иметь лучшего за себя ходатая, кроме вашего сиятельства, и не может не удостоиться отеческой заботливости нашего августейшего государя.

Имею честь…

А. Бенкендорф, 25 февраля 1817 г.».70

Проблемы, поднятые Бенкендорфом в 1817 году, оставались актуальными до самой эпохи Великих реформ Александра II. Почти через полвека, в 1866 году, были утверждены правила, запрещавшие офицерам вступать в брак ранее достижения 23-летнего возраста; до 28 лет жениться можно было только с разрешения начальства и только в случае предоставления доказательств достаточного имущественного обеспечения семьи (одним или обоими будущими супругами). Кроме того, брак должен был быть «пристойным» (что определяли командиры — полковой и дивизионный). Избранница офицера должна была соответствовать определённым критериям: быть «доброй нравственности и благовоспитанна»; кроме того, «должно быть принимаемо во внимание и общественное положение невесты»71.

…Нет, не случайно тема женитьбы всплыла среди забот Бенкендорфа. Тридцатипятилетний генерал и сам подошёл, наконец, к решительному рубежу, на котором пришла пора расставаться с беззаботной холостяцкой жизнью, заполненной влюблённостями, увлечениями и романами.

Бенкендорф вспоминал, что судьба подстерегла его зимой 1816/17 года, в Харькове, на большом балу, собравшем всю окрестную знать; семейная легенда, переданная Сергеем Волконским, повествует о старинной усадьбе под Харьковом, называвшейся Большие Водолаги. Как бы то ни было, но момент запёчатлён почти одинаково:

«…Открывается дверь, и входит с двумя маленькими девочками женщина такой необыкновенной красоты, что Бенкендорф, который был столь же рассеян, сколь влюбчив, тут же опрокинул великолепную китайскую вазу»72.

Двадцативосьмилетняя Елизавета Андреевна Бибикова, урождённая Донец-Захаржевская, была вдовой генерала, погибшего в Отечественную войну. Очевидцы замечали, что «в ней не было ничего особенного, но она была стройна и имела ловкость, всем полькам свойственную»73. Однако очарованный всем её обликом — стройностью, походкой, голосом, разговором — Бенкендорф с того момента, как был представлен мадам Бибиковой, уже не отходил от неё ни на шаг. К концу бала он почувствовал, что «совершенно влюбился», а к моменту возвращения домой понял, что готов жениться74.

Это уже не мог быть очередной ни к чему не обязывающий роман. Во Францию отправлено письмо: «Спешу, дорогой и чудесный Воронцов, сообщить о моей предстоящей женитьбе, Моя жена — ангел красоты. Вы полюбите её, как только увидите. Она уже любит вас благодаря моим рассказам»75.

Но жениться не так-то просто: даже 35-летнему генералу, командиру дивизии, нужно дождаться отцовского благословения, согласия императрицы-матери Марии Фёдоровны и разрешения самого государя. Не торопились и родственники невесты. Главная покровительница Елизаветы Андреевны, её тетушка Мария Андреевна Дунина, «мать многочисленного семейства… старая наседка, широко распространившая свои патриархальные крылья»76, принялась наводить справки о женихе. Она дошла, ни много ни мало, до «высочайшего источника» — Марии Фёдоровны, благо статус бывшей фрейлины Екатерины Великой позволял это сделать… Императрица вместо информации прислала образ — благословить молодых!

Согласием ответил и Христофор Иванович. А вот государь Александр Павлович, прежде чем дать письменное разрешение, решил испытать своего флигель-адъютанта в серьёзных внутриполитических делах.

Дело в том, что в губернском масштабе стоящая за генералом Бенкендорфом воинская сила обеспечивала его независимость от местного начальства, а звание адъютанта императора давало ему

полномочия представителя верховной власти. Вот почему, когда правительству понадобилось провести серьёзное расследование злоупотреблений представителей администрации Воронежской губернии, вести дело поручили Александру Христофоровичу, чья дивизия в это время квартировала неподалёку.

Воронежский гражданский губернатор М. И. Бравин, как вспоминал Бенкендорф, «дерзкий и самоуправный, портил жизнь дворянам, обижал купцов, притеснял крестьян»77. Предлогом для расследования стало увеличение им поборов с местных государственных крестьян до такой степени, что они пожаловались непосредственно в столицу, в Сенат. Собственно, жалоба была принесена на нескольких местных чиновников, но сопровождалась просьбой обязательно прислать ревизора из центра. Жалобщики умоляли ни в коем случае не доверять дело местным губернским властям, поскольку они «нас не только обвинят, но в тюрьме невинно заморят, и мы из них никому не осмелимся ни одного слова правды сказать».

При расследовании выяснилось, что земские исправники брани гигантские взятки — в размере своего годового жалованья, до двух тысяч рублей. Некто Харкевич требовал с крестьян «овёс, сено, подводы; заставлял их работать на себя, выгонял на своё поле баб по 200 жать его хлеб в течение нескольких дней сряду в самую рабочую пору, собирал с крестьян баранов, живность и всякого рода съестные припасы». К Рождеству и Пасхе волостные головы и выборные от общества собирали «христославное» исправнику, его письмоводителю и секретарю: «видимо-невидимо» ветчины, поросят, яиц, коровьего масла и всякой птицы — столько, «чтобы и за весь год не скушали с своими барынями и детками». Другие исправники не только использовали дармовую рабочую силу на полевых работах, но и посылали баб «собирать для себя ягоды на варенье и сушенье».

Крестьяне взмолились: «Мы теперь стали хуже нищих от наших секретарей и приказных. Кто только к нам в селение завернёт, тот что хочет, то с нас и берёт. А жаловаться негде; один другому потакает, и нигде у них суда и правды не найдёшь». Один только Харкевич набрал с крестьян свыше десяти тысяч рублей. Он придумал оригинальный способ поборов: подговаривал крестьян спорить с помещиками, а потом наживался, успокаивая возникавшие столкновения и разбирая дела.

Бенкендорф затеял серьёзное расследование. «Поскольку нет боевых действий, я объявил войну гражданским чиновникам, которых не деморализуешь ни артиллерией, ни пехотой, у которых не отобрать поле боя при помощи быстрых маршей и

контрмаршей, — признался он Воронцову. — Но мне было приказано установить истину, и я раскрыл и изобличил целую кучу мерзавцев»78. Как когда-то в 1812 году, генерал принял сторону крестьян. «При том обнаружилось, что Харкевич давал взятки губернатору, посылал ему провизию и т. п.». Незаконные действия Бравина подтвердились и донесением генерала Русанова. В результате «высочайше утверждённым положением Комитета министров губернатор Бравин был удалён от должности, а виновные чиновники преданы суду»79.

Любопытно наблюдение, сделанное М. Л. Магницким, бывшим короткое время воронежским вице-губернатором. Он сообщал Аракчееву в одном из писем, что «крестьяне Нижнедевицкого уезда не хотели верить, чтобы приехавший к ним чиновник (Бенкендорф. — Д. О.) был генерал, и говорили, что он великий князь, присланный под именем генерала, потому что ни на кого не кричит, а говорит ласково и с народом обходится дружески» (пометка Аракчеева: «Государь изволил читать 11 мая 1817 года»)80.

Более сложным оказалось ещё одно дело, порученное Бенкендорфу лично императором Александром, — дело помещика Г. А. Сенявина. Этот отставной флотский офицер, приходившийся родным дядей М. С. Воронцову, обвинялся в убийстве двух своих крепостных, а также в целом ряде интриг и подкупов, способствовавших закрытию дела об этом убийстве на губернском уровне81. Во Францию, к Воронцову, было отправлено письмо Бенкендорфа с подробным описанием нового расследования82. Флигель-адъютант решил на месте ознакомиться со всеми подробностями. Прибыв в сопровождении местного предводителя дворянства и двух дворян-соседей в Конь-Колодезь — одно из сёл, принадлежавших Сенявину, — он выяснил, что местные крестьяне жалуются на притеснения со стороны помещика, на жестокость при наказаниях, приведшую к смерти двух человек. Сенявин, в свою очередь, обвинял крестьян в бунте. Его сестра, живущая в Петербурге тетушка Воронцова Мария Нарышкина, уверяла брата, что Бенкендорф «свой» и приедет как «защитник» его интересов.

Однако Александр Христофорович мог обещать лишь полную объективность. Ему пришлось вникать во все подробности дела: опрашивать сотни крестьян и дворовых Сенявина, местное духовенство и даже провести вскрытие могил убитых крестьян (оказалось, их похоронили связанными, без отпевания!). Вина помещика была доказана, да он и сам перестал отпираться. Император, узнав о результатах расследования, приказать взять всё имущество Сенявина в опеку. Однако Бенкендорф не был бы

самим собой без сочувствия к виновному. Уже доказав преступление Сенявина, он написал для зарвавшегося в жестокости крепостника покаянное письмо на имя государя, которое, насколько возможно, призвано было облегчить участь помещика.

«Письмо на имя императора Александра Павловича, сочинённое графом Бенкендорфом для Г. А. Сенявина по делу о воронежских его крестьянах.

Давно имел я на сердце намерение повергнуться к стопам Вашего Императорского Величества и исповедать сущую пред Вами, Всемилостивейший Государь, истину по моему делу, но опасение прогневить Вас удерживало меня.

Ныне, когда господин генерал Бенкендорф, коему Ваше Величество исследовать дело моё поручить соизволили, внушил мне беспредельную на милосердие Вашего Величества надежду, то, оставя все опасения, открою я перед Вами, Всемилостивейший Государь, положительную истину.

Не будучи никогда тираном, в чём ссылаюсь на всё дворянство здешней губернии, имел я несчастье в минуту запальчивости сделать [таким-то] наказание строгое, которому враги мои приписывают смерть их.

Все происшествия, за сим последовавшие, как то: необъявление о том священнику, полиции и прочие, были естественным следствием отчаяния и страха.

Таким образом, Всемилостивейший Государь, принеся у ног Ваших сие искреннее признание, молю милосердие Вашего Величества, да владыки земные, милуя раскаяние, уподобятся Богу.

В знак же искренности сего чувства я прошу Ваше Императорское Величество обратить крестьян моих вотчины КоньКолодезь на вечный за меня и наследников моих оброк в той мере, которую Вашему Величеству угодно будет назначить.

Преклонность лет моих и долговременную усердную службу Отечеству повергаю к стопам милосерднейшего их монархов»83.

Тем не менее госпожа Нарышкина не простила Бенкендорфу его правосудия. Но самому посланнику императора важнее было мнение Воронцова. Он изложил своему другу все подробности дела и даже отправил копию всех бумаг следствия, включая покаянное письмо Сенявина. Воронцов и сам бы поступил в подобном деле с точки зрения справедливости, а не родственных интересов, поэтому на их долгой дружбе это испытание не отразилось: во Францию продолжали идти письма, ответные спешили в Россию — до самого возвращения Михаила Семёновича в Россию в 1819 году.

Но вот все дела следствия окончены, и император Александр даёт разрешение на брак. Бенкендорф едет в Харьков, в Большие Водолаги, откуда 20 ноября 1817 года пишет восторженное письмо Михаилу Воронцову: «Поздравь меня, дорогой друг! Я уже восемь часов как женат! Моя жена — ангел доброты, и я чувствую себя, словно на небесах. Через восемь часов она поедет в Москву представляться императрице-матери… Волконский, Сивере, Аргамаков помогали мне с женитьбой»84. Через некоторое время Бенкендорф сообщает Воронцову: «Для меня наступило совершенно иное существование, которое я нахожу очаровательным»85.

В следующем, 1818 году у Бенкендорфов уже родилась дочь Анна, названная, очевидно, в честь покойной матушки Александра Христофоровича.

Женитьба оказалась важным рубежом в жизни Бенкендорфа. Она не только перевернула его личный жизненный уклад, но и повлияла на его дальнейшую военную карьеру и государственную деятельность. Именно после обзаведения семьёй расширяется круг знакомств Бенкендорфа: он посещает обе столицы и, что особенно важно, сближается с великим князем Николаем Павловичем. Будущий император достиг в том году «совершенного совершеннолетия»: ему исполнился 21 год, и он вступил в брак с прусской принцессой Шарлоттой (после принятия православия — Александрой Фёдоровной).

Осенью 1817 года Бенкендорфа можно было видеть то на обеде у великого князя, то у него же на вечере. Среди гостей — Милорадович, Чернышёв, Жуковский, Трубецкой с женой; государыня Елизавета Алексеевна лично разыгрывает лотерею86. В дальнейшем император Николай I очень ценил тот факт, что его сближение с Бенкендорфом началось задолго до того, как Александр решил сделать его наследником престола.

На период 1816–1818 годов приходится последний всплеск масонских увлечений Бенкендорфа. В это время его имя ещё встречается в документах ложи «Соединённых друзей»87, однако никакой особой роли он там не играет. Видимо, приходит полное разочарование в возможности какой-либо серьёзной деятельности «братьев-каменщиков». Настроения «Соединённых друзей» после Наполеоновских войн описывал один из членов ложи А. П. Степанов. Он нашёл лишь «людей, смеющихся над всем, что их там окружает; людей, которым не служит целию даже связь дружества; людей, предающихся буйству в часы пиршества и стремящихся к наружному меж ними возвышению»88. К тому же к началу 1817 года ложа разделилась на две враждующие партии — после того как вскрылось, что кое-кто из «руководства»

приторговывал дипломами масонских «степеней». От ложи начали отпочковываться независимые объединения; но Бенкендорф не надеялся увидеть в них ничего принципиально нового и в 1818 году перестал посещать заседания.

Между тем государь, удовлетворённый тем, как Бенкендорф выдержал испытание в Воронеже, решился продвинуть по службе протеже своей матушки, тем более что тот «остепенился». В мае 1818 года Александр I во время поездки по югу России провёл смотр подчинённых Бенкендорфу частей и остался ими весьма доволен («смотр для меня труднее, чем час боя», — признавался Бенкендорф). В сентябре новый смотр, на сей раз проводимый главнокомандующим, тоже прошёл благополучно.

Потом была спокойная морозная зима в заснеженном Павловске, городке Воронежской губернии, проведённая в атмосфере семейной идиллии, рядом с любимой женой и обожаемой дочерью.

А в марте пришёл приказ начальника Главного штаба П. М. Волконского: сдавать дивизию и переезжать в Петербург — принимать должность начальника штаба Гвардейского корпуса. Для облегчения обустройства на новом месте император Александр пожаловал Бенкендорфу денежное пособие в 20 тысяч рублей ассигнациями «на обзаведение» и, кроме того, оплату аренды жилья из расчёта 1800 рублей в год (этого было достаточно для содержания приличной двухэтажной резиденции в центре столицы)89. В дополнение в первые же месяцы службы Бенкендорфа на новом месте Александр I сделает его своим генерал-адъютантом.

Иронично называя себя «драгуном из Гадяча», Бенкендорф не мог подумать, что через три года будет покидать свои полки с изрядной долей грусти. Завершался не самый блестящий, но цельный этап его жизни — карьера провинциального воинского начальника.

В гвардии

Появление Бенкендорфа в гвардии пришлось на завершение «золотой поры» александровского царствования. В большой политике царь отказался от реформаторства, объясняя, что из-за недостатка способных и достойных людей следует «не торопиться с преобразованиями; но для тех, кто их желает, иметь вид, что ими занимаются»90. Император окончательно уверился в том, что «средство против владычества зла» на земле «находится, увы, вне наших слабых человеческих сил. Один только Спаситель может доставить это средство своим божественным словом». Он призывал не переустраивать Россию, а взывать к Господу, «да сподобит Он послать Духа своего Святаго на нас и направит нас по угодному пути, который только один может привести нас к спасению»91.

Отход от прежних реформаторских идей проявился и в военной среде. Воспитанные в эпоху относительного свободомыслия сторонники «либерального» подхода к обучению и воспитанию армии (в основном младшие офицеры) стали испытывать всё большее давление со стороны «традиционалистов», отстаивавших твёрдую дисциплину и абсолютное соблюдение субординации в войсках. Споры шли повсеместно. Вот характерная сцена, описанная А. С. Гангебловым, в то время — прапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка: «Для встречи государя полк рано утром выведен был на площадь и построен в колонны. Стояли вольно. Между офицерами речь зашла об обращении с нижними чинами; одни держались того мнения, что путём внушения и убеждения приличнее всего вести солдата к сознанию его долга, нисколько не нарушая дисциплины; другие… защищали старую рутину: они утверждали, что единственный в этом отношении стимул — это палка и что без палки с солдатом ничего не поделаешь. Эти рассуждения не замедлили перейти в спор, спор жаркий и настолько громкий, что близ стоявший батальон мог его слышать и в самом деле слышал; разумеется, люди этого батальона узнали при этом много такого, от чего дисциплина не могла быть в выигрыше. К счастью, в самый разгар спора дали знать, что государь уже близко…»92

Судя по составленной генералом Бенкендорфом в ту эпоху записке «О состоянии русского войска»93, он был сторонником традиционных методов — но не палки и жестокости, а требовательности и чинопочитания. Записка предназначалась императору Александру и представляла собой анализ положения

русской армии в период после Наполеоновских войн (1815–1825 годы).

Во внешнем отношении, начинает изложение своего мнения Бенкендорф, русская армия «является, бесспорно, лучшею в мире, ежегодно делает очевидные успехи» и пока сохраняет высокую боеспособность.

Однако внутреннее состояние войска представляется автору «далеко не блестящим». Его тревожит повсеместный упадок дисциплины, при котором даже «добрые» начальники дивизий «при неисправности офицеров вместо наложения на них дисциплинарных взысканий ограничиваются замечанием: „смотрите, чтобы не увидел корпусной командир!“». Полки становятся очагами интриг; зачастую старший офицер находится «в противодействии» с полковым командиром. Недостатки ещё можно устранить — но только до тех пор, пока «зараза» не коснулась нижних чинов.

В чём причины этого неудовлетворительного внутреннего состояния? Бенкендорф упоминает «отсутствие должной энергии у генералитета, неудовлетворительный состав корпуса офицеров, пренебрежение началами подчинённости и незнание служащими своих прав и обязанностей» и последовательно разбирает названные причины одну за другой.

Ему претит распространившаяся «мысль начальствующих лиц о том, как бы не сделать несчастными подчинённых». Он считает, что это, вместе с недостаточной энергичностью командиров, ведёт к безнаказанности виновных и поэтому становится «бичом России». Но разве могут быть энергичными генералы, достигшие своего высокого чина «за выслугу лет, а не за отличие», «в преклонных годах, с утраченными физическими и душевными силами»? Бездеятельность этих генералов не только унижает их самих в глазах подчинённых — она роняет «достоинство того небольшого числа генералов, которые по своему „благородству“ не могут следовать несовместной с их званием системе малодушия. Об этом меньшинстве в среде генералов, к их невыгоде, составляется мнение, как о каких-то тиранах». В результате «страсти разгораются: …энергичным генералам повинуются только нехотя; наказания учащаются, а вместе с тем увеличивается ненависть к начальнику, не имеющему, однако, другой вины, кроме желания заставить уважать своё положение». Выход, по Бенкендорфу, состоит в изменении системы чинопроизводства: к «линии» выслуги чинов по старшинству (которую необходимо оставить для «обнадёживания» старых офицеров и предотвращения чрезмерно быстрого продвижения) нужно добавить повышение в чине по личным заслугам

отдельных лиц и перевод из армии в гвардию особо отличившихся офицеров.

Обращаясь ко второй причине упадка армейской дисциплины — неудовлетворительному составу офицерского корпуса, — Бенкендорф отмечает, что «полковые командиры не имеют должного влияния на подчинённых офицеров и, не будучи полными хозяевами в деле пополнения офицерского состава, не могут в необходимой мере нести за них ответственность». Для этого им недостаёт полной свободы «в принятии на службу или увольнении от неё офицеров по их личному выбору» и «без изложения поводов».

Распространённость третьей причины упадка дисциплины — пренебрежения началами подчинённости — делает Бенкендорфа горячим защитником строгой субординации, с отказом от передачи приказаний «через голову» нижестоящих начальников. К примеру, начальник дивизии, заметивший «какую-либо неисправность в полку», не должен делать выговор непосредственно командиру полка, минуя командира бригадного, так как тем самым он подрывает авторитет последнего в глазах подчинённых.

Четвёртая причина — незнание военнослужащими своих прав и обязанностей — ведёт, по Бенкендорфу, к вольной трактовке действий начальства как «самоуправных», даже если они соответствуют всем нормам военного законодательства. «Есть много оснований полагать, — пишет Александр Христофорович, — что из десяти наших генералов девять никогда не читали Воинского устава Петра Великого и в своей служебной деятельности руководствуются лишь преданиями, часто ложными, а иногда и противоречивыми». Бенкендорф уверен, что власти любого начальника положен предел законами и уставами, но незнание их может привести к тому, что начальник преступает этот предел. С другой стороны, подчинённые, по неведению, «вполне законное требование иногда считают произволом». В подтверждение своей мысли Бенкендорф приводит пример, когда генералам одной из армий был «предложен на разрешение» вопрос: «имеет ли право генерал арестовать офицера, не состоящего у него в подчинении и замеченного им в какой-нибудь неисправности». Все генералы предлагали ответ, «основываясь на здравом смысле», и никто не смог «привести соответствующей ссылки на закон»; но ведь «руководство одним здравым смыслом недостаточно для начальствующих лиц».

Предложения Бенкендорфа касательно наведения порядка в военной сфере неожиданно перекликаются с идеями М. М. Сперанского. Подобно бывшему государственному

секретарю, предлагавшему составить Полное собрание законов Российской империи, начальник штаба гвардейского корпуса предлагает издать полный свод военных законов, провести неотложную кодификацию военного законодательства, «освежая затем военный кодекс новыми изданиями законов через каждые пять лет».

Свою теорию Бенкендорф пытался, насколько возможно, проводить в жизнь — и это в тот момент, когда противостояние «либералов» и «традиционалистов» постепенно переходило в открытый конфликт. В феврале 1820 года И. Г. Бурцов жаловался Матвею Муравьёву-Апостолу: «Петроград более ничего не заключает достойного. Гвардейский штаб, знаменитое сословие лучших российского войска, совершенно уничтожен. Бенкендорф преследует достойных: А. Мейендорф за грубость посажен в крепость и предан суду; Вальховский на дворцовой гауптвахте. Мне совестно признаться, что мы служили в этом корпусе, не заключающем ныне ни единого характера»94.

Чем же занимались «достойные»? «Я видел, — вспоминал Ф. Ф. Вигель, — как прежний розовый цвет либерализма стал густеть и к осени (1820 года. — Д. О.) переходить в кровавокрасный, каким он ныне на Западе. Раз случилось мне быть в одном холостом, довольно весёлом обществе, где было много и офицеров… Вдруг запели они на голос известной в самые ужасные дни революции песни: „Veillons au salut de I'Empire“ („Пойдём спасать империю“). Слова эти были переведены полковником Катениным, по какому-то неудовольствию недавно оставившим службу…»

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами:
Вот клятва каждого из нас!95

Неудивительно поэтому, что начальник Главного штаба П. М. Волконский, обеспокоенный тем, что «у нас в числе молодёжи, особенно петербургской, есть чрезвычайно много вскружённых голов», отдал приказ командиру гвардейского корпуса князю Васильчикову установить за этой молодёжью «неослабный надзор». Волконский, стремясь «приложить всемерное наблюдение за их поступками и особенными

собраниями между собою», рекомендовал «завесть доверенных людей, кои бы старались быть вхожи в таковые собрания, дабы более иметь сведений об оных и предупредить могущее случиться в них зло»96.

В гвардейском корпусе эта забота легла по должности на Бенкендорфа. Ещё при переводе в гвардию император Александр лично инструктировал его по поводу служебных обязанностей, которые были схожи с обязанностями «генералкоменданта в военное время»97, то есть включали в себя и военно-полицейские функции. Однако прямая попытка использовать для сбора необходимой информации самих офицеров (да ещё опосредованно, через полкового начальника) окончилась неудачей. Бенкендорф предложил командиру Преображенского полка полковнику Пирху сообщать ему сведения о разговорах, которые ведут офицеры о революции в Неаполе. Тот отказался, заявив, что все необходимые характеристики офицеров он представил в официальных аттестационных документах и дополнительных бумаг составлять не будет. Более того, он выразил сомнение в том, что начальник штаба, столь активно ратующий за следование военному законодательству, имеет право требовать соглядатайства командира за его офицерами. Когда же Пирх иронично добавил, что в его полку «неаполитанцев не числится», возмущённый Бенкендорф выставил его за дверь. Идея надзора «по службе» была встречена, мягко говоря, без энтузиазма. А между тем конфликт между либералами и традиционалистами разрастался.

Наиболее болезненно он проявился в так называемой «семёновской истории» — «мирном бунте» рядового состава знаменитого гвардейского полка. Вечером 16 октября 1820 года солдаты «государевой» роты, доведённые до отчаяния жестокими издевательствами полкового командира Шварца, самовольно построились и потребовали сменить командира и облегчить учения. Воскресным утром 17 октября впечатлительный полковник-литератор Фёдор Глинка уже бегал по петербургским улицам и сообщал встреченным знакомым: «У нас начинается революция!» Глинка выдавал желаемое за действительное. Семёновцы не делали революции — они не брались за оружие, а просто отказывались подчиняться. Беспокойная рота направилась в полковой манеж, где была окружена солдатами Павловского полка и отведена под конвоем в Петропавловскую крепость. В результате к ночи с 17-го на 18-е из повиновения вышел уже целый батальон. Солдаты грозили расправиться со Шварцем, ходили к нему на квартиру и, не найдя там «тирана», побили все стёкла. Рассказывали, что Никита Муравьёв (будущий декабрист)

«тотчас побежал к своей роте и лёг поперёк двери, чтоб дисциплиной остановить волнение», но когда солдаты «через него стали шагать, не слушая ни угроз, ни увещеваний, он встал и ушёл к себе»98.

К утру 18 октября весь рядовой состав семёновцев стоял на площади около полковой церкви, а поднятые по тревоге другие гвардейские полки готовились к началу боевых действий. Пришла с обнажёнными палашами Конная гвардия, выехала конная артиллерия…

Но на этот раз кровопролития не случилось. Солдаты только хотели выполнения своих требований (и освобождения товарищей из Петропавловки). Васильчиков приказал генералу Бистрому принять командование полком от Шварца и наконец-то решился появиться перед строем семёновцев.

— Мы хотим, чтобы нас соединили с ротой Его Величества! — кричали солдаты.

— Вот и прекрасно, — отвечал Васильчиков. — Тогда и ступайте к ним в крепость!

И вся солдатская масса, вспоминает Бенкендорф, повернулась и пошла в сторону Петропавловской крепости. Начальник гвардейского штаба только успел скомандовать офицерам полка, чтобы они не оставляли своих подразделений99.

«Шли они, — рассказывает А. И. Тургенев, — спокойно и без оружия, в одних шинелях, мимо нашего дома. Я спросил у них: „Куда вы?“ — „В крепость“. — „Зачем?“ — „Под арест“. — „За что?“ — „За Шварца!“»100

К вечеру 18 октября солдаты были заперты в Петропавловке. «Бунт» закончился.

Стоит взглянуть на произошедшее с разных сторон: глазами офицера Семёновского полка (будущего декабриста, штабс-капитана Матвея Муравьева-Апостола101) и глазами строгого генерала (главы политического надзора в армии и будущего члена суда над декабристами Арсения Закревского102).

Штабс-капитан М. И. Муравьёв-Апостол: «„Семёновскую историю“ рассказать можно в коротких словах. Вскоре по возвращении гвардии из похода отменены были в полку телесные наказания с согласия всех ротных начальников и с разрешения полкового командира, генерала Потёмкина. Мера эта не только не ослабила дисциплины, но, возвысив нравственно людей, возбудила в них такое соревнование, что Семёновский полк во всех отношениях служил образцом для всей гвардии…»

Генерал-майор А. А. Закревский: «Предместник полковника Шварца, Потёмкин, человек добрый, но слабый начальник, неосновательно и излишнею деликатностью своею приучил

подчинённых ему офицеров не полагать никакого различия между чинами и вне фрунта не оказывать ни малейшего уважения к старшим своим, частным их начальникам и даже к нему самому. Сим распустил он полк до того, что вредный дух офицеров распространился и между нижними чинами. Полк сей становился по службе хуже, и редко случались учения, полковые или батальонные, которыми государь столько же доволен был, сколько прочими гвардейскими полками».

Муравьёв-Апостол: «Графу Аракчееву такое нововведение представилось в виде зловещего признака; злоупотребляя доверием к нему императора, он выставил генерала Потёмкина, всеми уважаемого и любимого, как человека, неспособного, по излишнему мягкосердию, командовать полком, и просил назначить на его место полковника Шварца, прославившегося в армии своей жестокостью».

Закревский: «После такого управления назначен командиром полка Шварц, человек, не получивший хорошего воспитания, не имеющий больших познаний и полагающий всё свое достоинство, всю свою надежду в службе… Он захотел оправдать доверие государя: довести Семёновский полк до совершенного познания фрунтовой службы и представить его в блистательном виде как насчёт движения, так и насчёт одежды. Для достижения сего должен был принять образ управления полком совершенно противный своему предместнику: неуместную деликатность — переменить строгой взыскательностью, уничтожив равенство, ввести на место оного субординацию, вместо вольности — дисциплину. Таковой образ управления не мог понравиться избалованным подчинённым: они все восстали против него; особенно озлоблены были офицеры, которые никак не умели понимать цели сей перемены и, привыкшие к баловству прежнего начальника, находили обращение настоящего нетерпимым. Им казалось, что полковник Шварц, заставляя их служить как должно, оскорбляет их честь, и что они созданы не для того, чтобы повиноваться подобному человеку, но для того, чтобы самим быть командующими генералами, не исполняя к достижению сего никакой службы…. Офицеры сии не переставали его ругать и насмехаться над ним… Нижние чины, слыша беспрестанно ругательства и насмешки, заразились тем же духом неуважения к начальству: недовольные взыскательностью полковника Шварца, уверенные при том, что их поддержит ненависть к нему офицеров, а может быть, и наущенные кем-либо, они, забыв долг присяги, решились оказать неслыханное в российских войсках неповиновение».

Муравьёв-Апостол: «Безрассудные требования и варварское

обращение последнего поразили ужасом семёновцев. Они, полагая, что о жестокостях его не ведает корпусный начальник, решились высказать ему свое безвыходное положение».

Стремившийся понять обе стороны конфликта Бенкендорф передал начальству более взвешенную точку зрения: «Офицеры, оскорблённые именем, манерами, репутацией человека, совершенно чуждого полку, восстали против назначения, казавшегося им оскорблением. Несдержанные разговоры, быть может в присутствии солдат, возникавшие вследствие предубеждения против Шварца, придавая новую силу этому чувству, с первого же времени поставили полк во враждебное отношение к своему полковнику. Такое предубеждение относительно Шварца, к несчастию, слишком скоро оправдалось. Не будучи в состоянии приобрести уважения, Шварц решил заставить себя бояться, и в этих видах он стал употреблять наказания скорее позорные, чем строгие; подробности их отвратительны; генерал Васильчиков неоднократно ему выговаривал. Пусть сопоставят то сознание своего достоинства, которое отличало полк более сотни лет, с обращением, коему он подвергся в продолжение последнего года, и тогда будет нетрудно понять, что подобное положение должно было разрешиться кризисом»103.

В часы этого кризиса Бенкендорф проявил храбрость и решительность. Когда утром 17 октября семёновцы потребовали встречи с начальством, грозный полковник Шварц струсил и предпочёл в расположении своего полка не появляться. Он только осмелился доложить о беспорядках командиру корпуса генералу Васильчикову. Однако тот «был нездоров, приставил мушку к боку» (по другой версии, по случаю воскресного дня поехал на охоту) и послал вместо себя Бенкендорфа для проведения расследования. Бенкендорф немедленно направился в казармы семёновцев, ещё не зная, что ждёт его там: бунт, революция, брожение… Он оказался старшим — и по опыту, и по возрасту — и инструктировал пришедшего вместе с ним великого князя Михаила Павловича (командира гвардейской бригады, в которую входил забурливший полк), дабы тот не говорил солдатам ничего вызывающего. Лишь когда Васильчиков убедился, что солдаты не собираются бунтовать, а только хотят принести свои жалобы, он взял руководство на себя.

Когда, в конце концов, полк был надёжно изолирован, началось подробное разбирательство. Обвинялся в случившемся прежде всего Шварц. Он был отдан под суд и признан виновным по пяти пунктам: 1) «занимался во время церковных парадов обучением, отчего нижние чины опаздывали в церковь»; 2) «не

искал любви подчинённых» и потому «потерял доверенность как штаби обер-офицеров, так и нижних чинов и ослабил уважение, присвоенное его чину»; 3) «в нарушении законом определённых прав самоуправством и в унижении привилегий, установленных в память военных действий» (то есть в запрещённом применении телесных наказаний к нижним чинам, имеющим военный орден); 4) «в производстве презрительных (то есть унизительных. — Д. О.) наказаний, на которые не давали ему права ни военные, ни гражданские узаконения»; 5) «в предосудительной для военного робости» и в том, что, «несмотря на клятвенное обещание телом и кровью защищать государственные права во всех случаях, вместо пожертвования и самою жизнью, пришёл в уныние и, пользуясь ночным временем, был зрителем беспорядка». Этих пунктов было достаточно, чтобы судебная комиссия приговорила Шварца к лишению жизни; однако император Александр приговор не утвердил. Шварц был только уволен со службы с повелением «более никуда его не определять».

Рядовой состав полка был отправлен в Оренбургский, Сибирский и Кавказский корпуса — на самые неспокойные границы империи, восемь «зачинщиков» прогнаны сквозь строй и сосланы на рудники. Офицеры были переведены в армейские части (правда, с традиционным для перевода из гвардии повышением в чине, к тому же в те губернии, где «у них родственники или имения»104). Виновными были признаны также командир начавшей «историю» «государевой» роты, фактически укрывший имена известных ему зачинщиков беспорядков, и командир батальона, в который она входила, за то, что «слабым и несообразным с долгом службы поведением дал усилиться беспорядкам». Дело их долго не было решено, и они ожидали его исхода в Витебске. Ещё два офицера были строго наказаны за подрыв авторитета власти — за то, что перед нижними чинами смеялись над полковым командиром и даже «забавлялись неприличными шутками» на его счёт105.

Досталось в этой «истории» и Васильчикову, и Бенкендорфу. Суть претензий к ним со стороны начальника Главного штаба П. М. Волконского была такова: «Зачем ни Васильчиков, ни Бенкендорф во время его отсутствия, знав о неистовом обхождении Шварца, терпели оное и не доносили о том; неужели думали они, что государь, узнав о таковых поступках, оставил бы Шварца в полку; я вас уверяю, что в ту же бы минуту он был бы предан суду и другой командир был назначен»106. Присоединялся к Волконскому и опасавшийся быть обвинённым Закревский, ради того, чтобы переложить вину со своих плеч, решившийся дать особенно резкую и несправедливую

характеристику: «Бенкендорф… мне кажется, просто не умел прилично действовать; он не знает достаточно русского солдата, не умел хорошо объяснять порусски и не знает, какими выражениями и какой твёрдостью должно говорить с солдатом, чтобы заставить себя понимать и повиноваться»107.

С подачи Волконского и Закревского недоволен Бенкендорфом был и император Александр. Вернувшись в Россию с европейских конгрессов, он встретил своих гвардейских командиров очень холодно. «Отчего начальник штаба гвардейского корпуса, — спрашивал царь Васильчикова, — не знал в подробности, что делалось в Семёновском полку, говоря часто, что, по сведениям его, везде тихо и хорошо идёт? Ежели знал, что полковник Шварц обходился с нижними чинами незаконным образом и делал излишние, противозаконные от них требования, …почему тотчас не доносил о том, как корпусному командиру, так и начальнику Главного штаба?.. Но и по сие время никакого ещё ответа на то не получено. Тем сожалительнее, что если б на оное вовремя было обращено внимание, то, может быть, сего приключения с полком не случилось»108.

Мог ли Васильчиков ещё больше навлечь на себя гнев государя, сообщив ему, что Бенкендорф-то доносил, да сам он понадеялся, что всё обойдется? Бенкендорф встречался с батальонными командирами Семёновского полка ещё в мае 1820 года — как раз тогда, когда те собирались объяснить Шварцу «всю неуместность» его жёсткого поведения. Узнав об этом «частным образом», начальник штаба гвардейского корпуса просил командиров оставить их намерение, а также успокоить офицеров своих батальонов, пообещав взамен сообщить о всеобщем недовольстве корпусному командиру. Уже тогда Бенкендорф предвидел, что открытый конфликт со Шварцем может «вызвать гнев государя», а «пользы полку не принесёт», поэтому и убеждал офицеров, что гораздо лучше будет, если «Семёновский полк для избежания всех неприятностей решится ещё несколько потерпеть» — до тех пор, пока командир корпуса «сочтёт своим долгом представить государю о грубом обращении с подчинёнными полкового командира»109. Бенкендорф писал, что взял с командиров батальонов слово, что они будут сообщать ему обо всех важных происшествиях в полку, — но они молчали всё лето; косвенные же источники доносили ложную информацию об улучшении положения дел у семёновцев110.

Именно с подачи Бенкендорфа Васильчиков вызывал Шварца и «неоднократно ему выговаривал», но Александру ничего не доносил (возможно, хотел дождаться его возвращения из Европы).

Он был успокоен тем, что летом 1820 года, на традиционных инспекционных смотрах войск (именно на них солдатам было разрешено напрямую докладывать вышестоящему начальству о несправедливом обращении) никаких жалоб принесено не было.

Бенкендорф в своем оправдательном письме о «семёновской истории» (написанном князю Волконскому и переданном позже императору Александру111) рассказывал, что на смотре, произведённом Васильчиковым в августе 1820 года, «ни один голос не возвысился с жалобой на полковника», разве что в одной роте 17 человек заявили, что не получили летних панталон. На другом смотре командир гвардейской дивизии генерал Розен трижды (видимо, зная о неладном) спрашивал семёновцев, довольны ли они полковым командиром. «Все молчали, и смотрели друг на друга, и сказать не смели, — признавались на следствии сами солдаты. — Он пожал плечами, повернулся и прочь пошёл»112.

Частный случай возмущения Семёновского полка заставил Бенкендорфа всерьёз задуматься о проблеме взаимодействия общества и власти. Итогом его рассуждений стала записка «Размышления о происшествиях, случившихся в ночь с 16 на 17-е и в ночь с 17 на 18-е октября 1820 года в Петербурге»113. Это сочинение позволяет понять политические воззрения нашего героя, поэтому рассмотрим его поподробнее.

Могущество власти, замечает в своих «Размышлениях» Бенкендорф, опирается не на силу и страх, а на авторитет и доверие. Если их нет, власть становится «чужой», враждебной. Одним из путей подрыва авторитета может оказаться неправильное, «непостепенное» распределение обязанностей по ступеням власти: «Обязанности не должны перемещаться от старших к младшим» и, наоборот, «полковники и генералы не должны заниматься подробностями, которые ниже атрибутов их чина».

«Нравственное влияние, выражающееся в установленных внешних формах и всегда соразмерное с важностью служебных обязанностей, — рассуждает Александр Христофорович, — должно быть неразделимо с самой властью, для которой оно в тысячу раз более необходимо, чем внешние знаки и отличия, служащие лишь её внешним обозначением». Сила власти, по Бенкендорфу, в том, что подчинённые убеждены в превосходстве «способностей и качеств» начальства, чувствуют необходимость подчиняться ему «для блага и безопасности всех и каждого» и уверены, что во власти они «найдут спасительную защиту от всего, что могло бы ставить частные интересы выше интересов большинства».

«Будучи лишена своих нравственных атрибутов, которые даются общим мнением, власть, не имеющая надлежащей опоры, оказывается поколебленной, и её могущество заменяется силой материальной, которая всегда на стороне численного превосходства» — в этой фразе Бенкендорф будто смотрит вперёд, вычерчивает схему регресса сильной власти, опасную и трагическую для государства: её моральная опора размывается, заменяется силовой, и в дело вступает борьба за большинство, которое всё и решает.

«Если всё, что составляет честь, влияние и авторитет каждого, не поставлено под ненарушимую и священную охрану, если будут раздаваться незаслуженные отличия и будут делаться исключения без самых веских мотивов, если одни не будут ограждены в своих правах, а другие не будут ограждены от несправедливости и произвола, тогда чувство служебного долга исчезнет, так что его не в состоянии будет восстановить никакая строгость, никакое наказание. Тогда одни, хвастаясь незаслуженной немилостью, будут стараться с ловкостью уклониться от своих обязанностей, а не исполнять их с точностью; другие же будут стараться путём интриг и лести приобрести отличия, которые даются не в награду за заслуги; тогда всё придет мало-помалу в расстройство, и войско, оставшееся без надзора и без руководителей, будет способно впадать в пагубные увлечения, нередко возникающие от простой случайности».

В истории с Семёновским полком Бенкендорф увидел, как начинает падать авторитет власти: «неуважение к одной из посредствующих властей» влечёт за собой неуважение к верховной власти и к власти вообще. Вот почему увольнение от службы полковника Шварца, пусть и недостойного своего поста, но произведённое прежде, «чем было наказано самое важное преступление — нарушение субординации», он считал не просто ошибкой, но ударом по авторитету, потаканием не дозволенному уставом «желанию роты». Прежде всего, сделал свой вывод Бенкендорф, власть должна уметь добиться уважения к себе, в крайнем случае переходя на «твёрдый, решительный, лаконический тон, обнаруживающий полную уверенность в своих силах и непреклонную решимость употребить их в дело»; этого будет достаточно, чтобы «подавить всякое сопротивление в самом его начале». В «семёновской истории» полк в целом мог быть спасён, если бы «несколько примеров строгости по отношению к самым непокорным солдатам в присутствии их товарищей» и, что немаловажно, строго по закону, «согласно с 133 и 137 статьями старых военных уставов, остановили бы распространение зла, внушили бы виновным страх, уничтожили бы влияние дурного

примера, удовлетворили бы требованиям справедливости, возместили бы унижение власти, восстановили бы порядок и то слепое повиновение, которое составляет одну из главных обязанностей военного сословия».

Если император Александр и читал эту записку, то не придал ей особого значения. Он не мог поверить (может, так никогда и не поверил) в то, что «бунт» Семёновского полка был следствием внутренних проблем российской армии. «Никто на свете меня не убедит, — признавался он Аракчееву, — чтобы сие выступление было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца… По моему убеждению, тут кроются другие причины… я его приписываю тайным обществам»114. Да и Бенкендорфу Александр Павлович говорил о том, что возмущение было подготовлено «внешними по отношению к полку» силами, имеющими связь «с итальянскими карбонариями и либералами Франции и Германии»115.

Стало ясно, что внешнего наблюдения за порядком и спокойствием в армии недостаточно, а на добровольную помощь офицеров рассчитывать не приходится. Исходя из этого Васильчиков составил проект «Об устройстве военной полиции при гвардейском корпусе»116, который был утверждён царём 4 января 1821 года. Участие Бенкендорфа в его составлении документально не подтверждено, но его опыт создания системы сбора информации о настроениях в войсках, пусть даже не вполне удачный, был учтён.

Документ был настолько секретный, что Васильчиков писал его собственноручно:

«Начальство гвардейского корпуса должно иметь самые точные и подробные сведения не только обо всех происшествиях в вверенных войсках, но ещё более — о расположении умов, о замыслах и намерениях всех чинов. Корпус сей окружает государя, находится почти весь в столице, и разные части оного, не быв разделены, как в армии, большим пространством, тесно связаны и в беспрерывном сношении между собой. Источники, посредством которых получает начальство сведения, весьма недостаточны и даже ненадёжны. Обыкновенный путь есть через полковых командиров; но часто не знают сами, часто по собственной выгоде или по ложному понятию могут скрывать разные происшествия и к несчастью иногда за ними самими необходимо бывает наблюдать; их поступки, обхождение, иногда злоупотребления, быв неизвестны высшему начальству, могут довести подчинённых до неудовольствия и произвести вредные последствия…

Если даже полковые командиры будут знать всё происходящее в полках и доводить до сведения начальства, то сего ещё не достаточно. Офицеры посещают общества, имеют связи; беспокойное брожение умов во всей Европе… может вкрасться и к нам, могут найтись и злонамеренные люди, которые, будучи недовольны самым лучшим правлением, в надежде собственных выгод, станут замышлять пагубные затеи; может даже встретиться, что чужеземцы, завидуя величию России, подошлют тайных искусных агентов, кои легко успеют вкрасться в общество. Совершенно необходимо иметь военную полицию при гвардейском корпусе, для наблюдения войск, расположенных в столице и окрестностях; прочие по отдалённости не могут быть удобно наблюдаемы и в сём отношении не так важны… Полиция сия должна быть так учреждена, чтоб и самое существование её покрыто было непроницаемою тайной»…

Васильчиков уже имел кандидата на пост главы тайной военной полиции — библиотекаря Гвардейского штаба и правителя канцелярии Комитета о раненых М. К. Грибовского.

Этот человек входил в самую сердцевину декабристской организации: был членом Коренной управы Союза благоденствия. Незадолго до «семёновской истории» Грибовский явился к Васильчикову и предупредил, что «тайные общества чужестранные действуют у нас в России на умы, и составились общества и у нас готовятся действовать»7. Васильчиков ответил было, что доносы надо предоставлять в соответствующее ведомство — Министерство полиции; но Грибовский «с чувством и негодованием возразил, что он полицейским агентом не был и не желает им быть, что он является к начальнику не как доносчик, а как верноподданный, убеждённый в гибельных не столько для России, сколько для молодых людей (с коими связан он искреннею дружбою) последствиях этого заговора, и, наконец, что обращается к генерал-адъютанту Его Императорского Величества, прося его довести о том до сведения государя императора»118. Васильчиков, видимо, не спешил «обрадовать» государя, и Грибовский снова явился после «семёновской истории» со словами: «Теперь вы уже видели на опыте, что я справедливо вас предостерегал; но я сим не довольствуюсь, и теперь уже могу сказать вам, кто именно лица того общества, которое в тайне приготовляет вредные замыслы для Отечества»119.

Теперь уже Грибовскому было разрешено действовать. Для работы в корпусе набрали 12 агентов. Девять из них следили за поведением и речами нижних чинов в банях, на базарах, в трактирах и других заведениях, ещё трое присматривали за

офицерами. На основании их донесений составлялись секретные ведомости «о быте, настроениях и разговорах в полках». Политическая составляющая в них присутствовала, но не доминировала, сведения собирались по таким вопросам:

1) получают ли нижние чины всё положенное им от казны довольствие сполна и в установленные сроки;

2) не нарушаются ли права солдатских артелей на принадлежащие им суммы;

3) как начальники относятся к подчинённым, какие налагают наказания;

4) как и в какое время проводятся учения;

5) какие имеют место разговоры и суждения среди нижних чинов, какие циркулируют слухи;

6) каково обхождение начальников с подчинёнными офицерами и какие разговоры последние ведут о своих начальниках;

7) какие разговоры и суждения имеют место среди офицеров120.

Пока агенты работали в Петербурге, сам Грибовский направился в Москву, на тайный съезд членов Союза благоденствия. «Чиновнику сему, — писал Бенкендорф о Грибовском в одном из писем 1826 года, — поручено было разыскать существование предполагаемого тогда тайного общества, вместе с сим дано ему по воле покойного государя императора обещание, что всё открытое сохранится в тайне»121. Таким образом, к весне 1821 года начальство гвардейского корпуса получило в свои руки документ122, иногда называемый «донос Бенкендорфа» или, академичнее, «Записка гр. А. Х. Бенкендорфа о тайных обществах»123. В 1826 году следствие по делу декабристов покажет, что «записка сия совершенно согласна со всем тем, что Комитетом о Союзе благоденствия открыто, и притом объясняет некоторые обстоятельства, доселе ещё не положительно известные»124.

Почему авторство записки приписывали Бенкендорфу? Только за счёт того, что, когда она была обнаружена, на ней были оставлены аннотации, видимо, рукой Бенкендорфа: «Эта бумага найдена в кабинете императора Александра I в Царском Селе, подана в 1821 году» и «Подана императору Александру I в 1821 году — за 4 года до событий 14 декабря 1825»125. Однако в бумагах следствия над декабристами на записке была сделана помета секретаря, явно со слов Бенкендорфа, «внёсшего» документ на рассмотрение: «составлена Грибовским» и «представлена Его Величеству в 1821 году генерал-адъютантом А. Х. Бенкендорфом»126.

Резоннее всего предположить, что в соответствии с воинской субординацией записка Грибовского попала сначала к начальнику штаба гвардейского корпуса, затем к Васильчикову и только потом к государю. Признания Бенкендорфа в том, что он «сообщал о бесчестном сообществе (ип societe infame) императору Александру, когда был начальником штаба Гвардейского корпуса»127, вовсе не означают, что генерал-адъютант сообщал об этом лично, а тем более — что он лично написал записку. А. Н. Пыпин замечал в своё время: «…Явилась недавно в печати „Записка о тайных обществах в России, составленная в 1821 году“… Присвоение этой записки Бенкендорфу не совсем ладит с свидетельством „Донесения“ о записке, найденной в кабинете государя, и по другим сведениям, эта последняя записка (или ей подобная) о тайном обществе и съезде его членов в Москве, в 1821, была представлена императору в мае 1821 М. К. Грибовским, секретным агентом, служившим тогда в Главном штабе, через кн. Васильчикова».

В последнюю неделю мая 1821 года, в Царском Селе, именно после предоставления упомянутой записки Васильчиковым, произошла знаменитая сцена, когда Александр I произнёс: «Мой дорогой Васильчиков, вы, служивший мне с самого начала моего царствования, знаете, что я разделял и поощрял эти заблуждения», — и, после паузы: «Не мне их судить»128 (по другой версии, император сказал: «Никогда не прощу себе, что я сам зародил первое семя этого зла»129). Бенкендорф не мог быть в это время в Царском Селе и вообще виделся с Александром только мельком. В мае он «имел честь представиться» императору, возвращавшемуся с европейских конгрессов, на марше, в Порхове, близ Великих Лук. Генерал-адъютант был принят коротко и холодно как один из виновников «семёновской истории», чья версия выступления Семёновского полка (хотя и подтверждённая позже следствием) не совпадала с представлениями государя о «всемирном заговоре» злых сил130. Впрочем, Александр вообще встретил свою гвардию с явным недовольством: «Государь, сев на лошадь, подскакал к колоннам и стал их объезжать кругом; с людьми несколько раз здоровался, офицерам — ни слова! Лицо его было гневно. Во время объезда он не переставал горячо говорить полковому командиру, за ним следовавшему; в его голосе слышался выговор. Мне удалось, когда он проезжал мимо меня, уловить следующие слова: „… перед взводом, а суются делить Европу“»131.

После той встречи Бенкендорф не видел императора несколько месяцев. Дело в том, что весной 1821 года, в самый день Пасхи, Александр прислал приказ всей гвардии

отправляться «проветриться» к западным границам России. Формально это была подготовка к возможному походу в Италию, но в куда большей степени — профилактика: полевые условия не дают войскам «засахариться», отучают от столичной неги, отрывают пресыщенных жизнью гвардейцев от привычных удовольствий. Бенкендорф, находившийся при войсках, был уверен, что помощь австрийцам в Италии послужила только правдоподобным предлогом {la pretexte etoit plausible) для вывода потерявшей царское доверие гвардии подальше от столицы132.

Поход гвардии запомнился Александру Христофоровичу тем, что совершался по территориям, недавно пострадавшим от страшного неурожая. Он отмечает картины крестьянских бедствий и одновременно стремление гвардейских солдат и офицеров помочь несчастным, хотя бы накормить голодных133.

К осени 1821 года гвардия расположилась в Витебской губернии. В середине сентября император Александр приехал к войскам, собранным у Бешенковичей, и 17-го устроил смотр, результатами которого неожиданно остался удовлетворён. Гнев и страх, связанные с возмущением семёновцев, постепенно улеглись, гвардия была «прощена».

Один из участников торжеств вспоминал: «В один день назначен был парад, и несметные полки покрыли стройными рядами поля Бешенкович. Государь стал объезжать фронт и подъехал к новосформированному Семёновскому полку. Всем заметно было, что ему тяжело и грустно не видеть в рядах его тех солдат, которых он почти всех знал лично. Погода была сырая, взводы как-то уныло прошли мимо государя…»134

Финальная театрально-эффектная сцена «прощения» описана А. С. Гангебловым: «Стоянка гвардии в Белоруссии завершилась манёврами, которыми государь остался совершенно доволен и принял небывалое дотоле приглашение своей гвардии: откушать у неё хлеба-соли. Пир был задуман широко и, должно быть, задуман задолго до его исполнения; припасы к нему выписывались из дальних мест: вина из Риги, рыба из Астрахани и т. д. Стол приготовлялся на тысячу особ, для чего возвели галерею, с местами в ней, устроенными амфитеатром, так что государь, занимая центр оного, был на виду у всех присутствовавших. Едва успели усесться по местам, раздалось хлопанье пробок. Государь… велел наполнить свой бокал и, встав, первый провозгласил тост в честь гвардии. После царского бокала тосты не прерывались во весь обед. Натянутости не было никакой; все говорили шумно, громко. Вне галереи — другой гром и шум; там пировала вся гвардия, там несколько хоров музыки, песенники; всё это сливалось в один нестройный, но

торжественный гул. Предупредительности государя в произнесение тоста приписывали особенное значение. У всех оставалось ещё свежо в памяти, с каким нескрываемым гневом государь на своём пути из-за границы встречал гвардейские полки, и вдруг такой резкий поворот, такое неожиданное благоволение! Вариаций на эту тему было много; говорили, что государь смягчился и допустил позвать себя на обед, желая тем явить готовность свою к забвению старого, к некоторого рода примирению с своей гвардией. Не менее толков возбуждала и догадка, кому первому вспала оригинальная мысль об обеде? Одни приписывали её Чернышёву, другие Бенкендорфу, а иные — кому и повыше… Этот вопрос так и остался неразгаданным»135.

Бенкендорф также запомнил грандиозный пир: стол, накрытый на 800 персон, игру 600 музыкантов… Хлопанье пробок шампанского заглушалось громом салюта из ста орудий и криками «ура!», которые издавали 40 тысяч человек одновременно. «Земля дрожала! …Какая сцена — величественная для нас и устрашающая для врагов!»

Последовавшие перемены в гвардии, в том числе череда воинских назначений и отставок, затронули и Александра Христофоровича.

Бытует мнение о том, что неудовлетворённость императора Александра поведением Бенкендорфа в «семёновском деле» и расследовании деятельности тайных обществ привела к тому, что он якобы «понизил» своего генерал-адъютанта в должности, переведя его из начальников штаба гвардейского корпуса «всего лишь» в командиры дивизии. Но вопрос в том, почему перевёл и в какую дивизию. После смотра в Бешенковичах Бенкендорф был не только не «понижен», но произведён в следующий чин генерал-лейтенанта (20 сентября 1821 года), причём в обход трёх генералов «по старшинству». В результате его прежняя должность перестала соответствовать новому званию. Сам Бенкендорф писал: «Эта милость с лихвой окупила мои заслуги, стала приятной компенсацией за неприятности и недовольство, которые навлекла на меня неприятная история с Семёновским полком»136.

Первого декабря 1821 года генерал-лейтенант Бенкендорф был назначен командиром Первой кавалерийской дивизии, украшением которой были Кавалергардский и Конногвардейский полки — не только военная, но и политическая элита, долгое время игравшая важную роль в поддержании (или нарушении) стабильности трона Российской империи. Подчинить такую силу «провинившемуся» в качестве «наказания» — чересчур решительный шаг даже для «отвода глаз», как иногда трактуют

поступок Александра. К тому же в дополнение к новой должности император пожаловал Бенкендорфу «единовременно» 50 тысяч рублей137.

В Белоруссии гвардия провела восемь месяцев на зимних квартирах. Весной 1822 года войска неспешно отправились в обратный путь (Бенкендорф назвал его «променадом») и подошли к Петергофу в июле, как раз к началу традиционных петергофских празднеств.

Заняв командирскую должность, Бенкендорф отошёл от военно-полицейских обязанностей — по крайней мере на ближайшие годы. Будущий декабрист Г. С. Батеньков, в то время служивший «по особым поручениям» при Аракчееве, вспоминал «семейные, довольно многочисленные собрания в воскресные дни у градского головы Кусова, где все… были на воле, не стесняясь и нередким присутствием генерала Бенкендорфа, не имевшего тогда полицейского значения и бывшего со всеми, как прилично симпатизирующему к своему кругу гостю». «Не стесняясь» — значит, свободно ведя при нём разговоры: «Оттенки… были различны, но все… согласны были в неудовлетворительности настоящего положения дел, [поскольку] приобрели… новые понятия и сильную жажду, ежели не политической, по крайней мере гражданской свободы, прочного юридического быта и открытых дверей прогрессу»138.

Жизнь сорокалетнего Бенкендорфа снова втянулась в размеренный ритм столицы: зимние светские развлечения, весенняя пора учений и подготовки войск к смотрам, сами смотры, летние лагеря в Красном Селе и придворная жизнь в Царском Селе. Отпуск 1822 года он провёл с отцом в Ревеле и его окрестностях.

Следующий, 1823 год оказался омрачён личными трагедиями. Зимой брат Константин, посланник в Вюртемберге, похоронил жену. Император Александр отпустил своего генерал-адъютанта в Европу — помочь брату справиться с горем. «Заодно» Бенкендорф выполнил несколько дипломатических заданий и завёз в Карлсруэ письма императрицы Елизаветы к матери — это поручение было знаком доверия императорской семьи. А летом пришла печальная весть из Ревеля: скончался отец Александра и Константина, Христофор Иванович.

Рождество накануне 1824 года наш герой провёл с семьёй в Водолагах, среди многочисленной родни жены. К тому времени его собственное семейство состояло из самого Александра Христофоровича, Елизаветы Андреевны и пяти дочерей (трёх родных и двух от первого брака супруги); нелишне отметить, что современники считали Бенкендорфа «образцовым отчимом». Это

время характеризует мемуарная запись: «Наслаждаясь кругом моего семейства, я всё больше и больше отдалялся от большого света»139.

Сердитая стихия

В 1824 году, в день 7 ноября, хотя тогда и не «красный день календаря», красные флаги взвились «над омраченным Петроградом». Это был знак опасности, к которому вскоре добавились флаги белые — знак беды. Уже накануне

> Нева металась, как больной
> В своей постеле беспокойной,
> а утром…

Граф Варфоломей Васильевич Толстой, сенатор, «имел… привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и 7 ноября. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну (жил он на Большой Морской)… и странным голосом зовёт к себе камердинера, велит смотреть на улицу и сказать, что тот видит на ней. „Граф Милорадович изволит разъезжать на двенадцативёсельном катере“, — отвечает слуга. — „Как на катере?“ — „Так-с, ваше сиятельство: в городе страшное наводнение“. Тут Толстой перекрестился и сказал: „Ну, слава богу, что так; а то я думал, что на меня дурь нашла“»140.

Военный комендант Петербурга граф М. А. Милорадович был одним из тех деятельных «генералов-спасателей», которых позже увековечил Пушкин в «петербургской повести» «Медный всадник»:

…Стояли стогны озерами, И в них широкими реками Вливались улицы. Дворец Казался островом печальным. Царь молвил — из конца в конец, По ближним улицам и дальним В опасный путь средь бурных вод Его пустились генералы Спасать и страхом обуялый И дома тонущий народ.

Вторым генералом, как удостоверяет и сам поэт в примечании к этой строфе, был А. Х. Бенкендорф.

В тот день он исполнял обязанности дежурного генераладъютанта при императоре. Александр I наблюдал за разгулом стихии из окон Зимнего дворца, о стены которого волны бились с такой силой, что брызги долетали до второго этажа. Часовых вокруг дворца сняли с караулов, в последний момент, «спохватившись», когда они уже стояли в воде — никто не покинул пост без приказа. Флигель-адъютант полковник Герман, которого государь направил вывести суда Гвардейского экипажа на помощь пострадавшим, выехавший из дворца в курьерской тележке, вскоре вынужден был её бросить и пересесть на лошадь,

а добрался до места назначения уже на лодке. Добрался — и выяснил, что вся флотилия уже «разоружена» к зиме и к тому же замурована в Адмиралтействе штабелями принесённых рекой дров.

Тем временем Дворцовая площадь стала бурным «дворцовым озером» с гигантским водоворотом посредине. С крыши недостроенного здания Главного штаба в него летели железные листы кровли, скрученные ветром, словно бумага.

«Среди порывов бури видимы были несущиеся по Неве суда, на коих люди молили с распростёртыми руками о спасении. Его величество, желав подать тем несчастным руку помощи, высочайше повелеть соизволил генералу Бенкендорфу послать 18-ти вёсельный катер Гвардейского экипажа, бывающий всегда на дежурстве близь дворца, для спасения утопавших. Генерал сей, внемля гласу усердия и неустрашимости, для поощрения морской команды, подвергавшейся явной опасности, сам перешёл чрез набережную, где вода доходила ему до плеч, сел не без труда в катер, которым командовал мичман Гвардейского экипажа Беляев, и в опаснейшем плавании, продолжавшемся до трёх часов ночи, имел счастие спасти многих людей от явной смерти»141.

Подробности этого непростого плавания по взбунтовавшейся Неве сохранились и в мемуарах Бенкендорфа142, и в воспоминаниях мичмана Петра Беляева (записанных его братом Александром143). Созданные столь непохожими людьми и в разное время (Бенкендорфом — не позднее сороковых годов, Беляевым — не раньше пятидесятых), они без всякого сговора передают подробности с удивительным сходством, разнясь только в некоторых деталях, слегка подретушированных памятью писавших. Такое нечастое совпадение представляет аргумент в пользу достоверности работы обоих мемуаристов, причём не только в описании сцен наводнения. Эти переплетающиеся монологи участников спасательной операции позволяют приблизиться к недостижимой, но желанной истине, дают возможность представить, «как оно было на самом деле».

…Рёв ветра заглушал не только крики людей, но и пушечные выстрелы, извещавшие об опасности. Из окон Зимнего было видно, как сорвались с канатов гигантские сенные барки, пришвартованные у Академии художеств, и ветер погнал их вверх по Неве, прямо на наплавной Исаакиевский (Большой) мост. Мост и так еле держался на месте, выгнувшись под напором прибывающей воды, а тут к нему неслась дюжина больших судов, разогнанных силой урагана. Ветер не давал возможности услышать, с каким лязгом и грохотом ударили барки по державшим мост баржам и натянутому до предела настилу, но из

дворца было хорошо видно, что и мост, и барки превратились в обломки, а на одной из уже полузатопленных барок находятся люди. Барку эту, вместе с другими, несло к Зимнему дворцу, и император Александр послал своего лакея передать приказ дежурной команде гвардейских моряков: взять катер и спасти несчастных. Почти сразу следом был отправлен и зашедший в комнату императора генерал-адъютант Бенкендорф — «чтобы ободрить офицера и ускорить выход катера». Бенкендорф побежал к морякам, «перепрыгивая через четыре ступеньки» парадной лестницы, а когда спустился, увидел, что мичман, ещё очень юный, и его моряки не могут решиться пойти вброд до катера. «Император смотрит на вас!» — то ли пристыдил, то ли воодушевил моряков Бенкендорф. (Александр Беляев высказался лаконичнее: «…государь… послал генерал-адъютанта Бенкендорфа… приказать катеру снять этих несчастных. Генерал передал приказание брату моему, командиру катера»). После этого Бенкендорф, как настоящий боевой генерал, поступил по принципу «делай как я», бросившись к катеру, как он вспоминает, первым.

Александр Беляев пишет, что его брат, «сев на казачью лошадь, располагал подъехать к катеру, так как у дворца вода была уже выше пояса; но когда он увидел, что генерал тоже располагает направиться к катеру, то соскочил в воду и они оба по пояс в воде, страшно холодной, достигли катера и взошли на него».

Ещё один очевидец событий, писатель В. А. Соллогуб, наблюдал происходящее со стороны: «Мы бросились к окнам на Неву и увидели страшное зрелище. Перед ожесточённым натиском бури неслись в туманном коловороте разваливавшиеся барки с сеном. …Барки разламывались в куски, и мы ясно видели, как посреди крушения какие-то тени стояли на коленях и поднимали руки к небу. И, видя это, мы тоже почувствовали ужас, и тоже стали на колена, и тоже начали молиться. Спасение казалось невозможным. Вдруг слева, по направлению от дворца к погибавшим, показались два рассекающих воду казённых катера. У кормы первого сидел окутанный в серую шинель генерал (генерал-адъютант граф Бенкендорф). Спасение посылал государь»144.

Буря подхватила катер и вместе с обломками понесла вверх по Неве, где он и настиг барку («напротив Мраморного дворца» — уточняет Бенкендорф). Люди были «без особого труда» сняты со своего убогого ковчега, но вернуться назад, к Зимнему, не было никакой возможности. Ветер ежеминутно грозил опрокинуть сильно раскачивавшееся судно, а мимо со скоростью летящей

стрелы проносились барки, корабли, даже смытые с берегов избы, и генералу казалось, что любое столкновение может стать роковым.

«Навались!» — кричал Беляев, но восемнадцать силачейгребцов не могли сдвинуть катер ни на шаг. Когда же от их усердия сломалось несколько вёсел, было решено отдаться стихии и двинуться вверх по Неве. «Брат доложил генералу, — рассказывает Александр Беляев, — что вниз они уже плыть не могут, а надо поворотить по ветру и, где будут погибающие, то подать им помощь. Генерал должен был согласиться с этим доводом, несмотря на то, что был в одном мундире, так же, как и брат, и что они промокли до мозга костей». «Мы окоченели от холода, — соглашается Бенкендорф, — …и я отдал приказ повернуть по ветру».

Катер понесло по загромождённой обломками «главной улице Петербурга», и вскоре он был на месте второго наплавного моста — Троицкого. Столкновения удалось избежать, потому что самого моста уже не было, причём несколько державших его барж запутались в деревьях Летнего сада.

Вскоре Бенкендорф принял решение свернуть в Малую Неву, где было поспокойнее и катер мог избрать «портом» двор какого-нибудь двухэтажного дома.

«Они решились дать отдохнуть от чрезмерных усилий матросам и дать обсушиться как себе, так и им, потому что одежда их была так мокра, что как будто только сейчас были они вытащены из глубины, — дополняет Беляев. — Брызги валов, беспрестанно вершинами своими поддававших в катер и обливавших людей с головы до ног, не давали возможности даже бурному ветру хоть сколько-нибудь просушить их».

Вскоре катер вплыл в ворота одного из дворов близ Самсоньевского моста. Увы, единственный вход в дом был недоступен, а жильцы верхних этажей сквозь окна демонстрировали какие-то невнятные жесты, принятые Бенкендорфом за отказ впустить моряков (позже выяснилось, что жильцы просто пытались объяснить, что не имеют возможности спуститься вниз и открыть входную дверь). Генерал, страдавший от холода, приказал («разрешил», уточняет Беляев) выбить одно из окон. «Толстую доску, называемую сходней, которая кладётся с катера на берег для входа, несколько раз раскачали матросы и так сильно ударили ею в окно, что обе рамы с треском вылетели в комнату». Недоразумение разъяснилось, и радушное семейство Огарёвых («сколько помнится» Беляеву) приняло борцов со стихией с большим участием. В тёплой комнате команда немного обсушилась у огня, и Бенкендорф, по его словам, «приказал

матросам выпить водки».

Долго отдыхать не пришлось. Поинтересовавшись, где жильцы нижнего этажа, Бенкендорф узнал, что они с утра отправились на склады спасать свой товар — кожи, бывшие единственным их достоянием, а склады теперь затоплены. Катер помчался к этим складам («Сальному буяну», уточняет Беляев) и вывез домой ещё шесть человек, уже решивших, что они доживают последние мгновения своей жизни.

Только теперь спасённые и матросы смогли отогреться у кухонного очага. Хозяева раздали чай с ромом. Мичман и генерал переоделись в сухое бельё, любезно предоставленное хозяевами, и, облачившись в халаты, принялись наблюдать в просторное окно за неугомонной Невой.

Бенкендорф признавался, что только тогда, в тепле и безопасности, он осознал всю серьёзность обрушившейся на Петербург беды. Среди пенных валов виднелись головы лошадей и коров, неслись и исчезали мебель и обломки домов, даже кладбищенские кресты, вывороченные из могил. Не было на реке только спасательных судов — ни одного.

Позже Бенкендорф узнал, что обеспокоенный Александр послал единственную уцелевшую сенатскую шлюпку искать своего генерал-адъютанта, но она не возвратилась. Тогда, уже глубокой ночью, император перед тем как лечь спать, приказал разбудить его немедленно, как только вернётся Бенкендорф… Если вернётся…

Возвращение оказалось невозможным: хотя к третьему часу дня уровень воды стал спадать, ветер с моря был силён, а число обломков, в том числе опасных для катера размеров, велико. Стараясь честно исполнить свой долг, экипаж Беляева пробовал выгрести в сторону Зимнего дворца, но после часа бесплодных попыток ввиду наступавших сумерек вернулся к гостеприимным Огарёвым.

Ожидая, когда стихнет ураганный ветер, Бенкендорф размышлял о том, каково императору, правителю гигантской империи и победителю Наполеона, человеку с «прекрасной душой», осознавать, что всей его неограниченной власти недостаточно для того, чтобы спасти город и подданных от неукротимой природной стихии…

Ветер утих только к трём часам ночи. Возвращение катера во дворец представляло полный контраст с недавней безумной гонкой. Плеск вёсел единственного на всей реке судна только подчеркивал необычную тишину. На воде качались обломки, будто после гигантского кораблекрушения. Улицы были темны и пустынны, и оттого сам город казался всеми покинутой руиной.

Бенкендорф просил не будить недавно уснувшего государя ради его скромной персоны (скорее всего, ему и самому безумно хотелось спать). Однако уже в шесть утра он первым докладывал Александру о событиях минувшего дня. Тот ещё не получил официальных рапортов и спешил узнать от Александра Христофоровича максимум подробностей: и о его опасном приключении, и о виденных им разрушениях. Во время разговора император воскликнул: «Я всегда вас любил, но теперь я люблю вас всем сердцем!» Такую фразу невозможно забыть. Для Бенкендорфа она была ценнее, чем та бриллиантовая табакерка с царским портретом, которая была послана генерал-адъютанту, едва тот вышел из кабинета. К табакерке было приложено 50 тысяч рублей. Беляев дополняет, что, по слухам, Бенкендорфу был также прощён «какой-то значительный казённый долг».

Самое время добавить, что в разговоре с государем Бенкендорф не забыл с похвалою отозваться «о мужестве и распорядительности» мичмана Беляева. Тотчас же Александр распорядился наградить моряка орденом Святого Владимира 4-й степени. Как записал Александр Беляев, его брат, восемнадцатилетний юноша, «никак не хотел надеть крест, отговариваясь, без сомнения, от искреннего сердца, что ничего не сделал достойного такой награды, но генерал сказал: „Не ваше дело, молодой человек, рассуждать, когда государю угодно вас наградить“». Матросы катера получили тысячу рублей — гигантскую сумму!

То, какие метаморфозы претерпевают истории прошлого, проходя через «испорченный телефон» устных воспоминаний, невольно продемонстрировал издатель «Русского архива» П. И. Бартенев, пересказавший историю Беляева и Бенкендорфа (в примечаниях к воспоминаниям декабриста Jlopepa) с довольно сильными искажениями. По Бартеневу, произошло следующее (курсивом выделены «художественные» дополнения):

«Пётр Петрович (Беляев. — Д. О.) командовал дежурным катером у дворца. Государь увидел из окна несущуюся по волнам избу, на крыше которой человек, обезумевший от страха, умолял о помощи. Бенкендорф, находясь на дежурстве при государе, вызвался спасти несчастного, бросился к катеру. Отчаливши от берега, он вскоре увидел опасность, какой подвергался посреди бушующих волн и стремительных порывов ветра, засуетился, вздумал указывать гребцам, как действовать, укоряя их при этом в незнании дела. Беляев, управляющий рулём и сознавая всю ответственность, на нём лежащую, сказал ему: „В[аше] превосходительство, прошу вас людей не смущать, я здесь один командующий, они одного меня должны слушать“. Несколько

часов они боролись с волнами, пока настигли избу, успели с великою опасностию причалить к ней (у Бенкендорфа — „без особого труда“. — Д. О.) и спасли погибавшего. Пришлось им ночевать на Выборгской стороне, куда помчала их буря. На другой ˆень Бенкендорф, докладывая государю о приключениях своего морского похождения, отозвался с таким сочувствием о хладнокровии и бесстрашии 18-летнего мичмана, что государь пожаловал сему последнему Владимирский крест. Бенкендорф признавал себя обязанным ему своим спасением, и когда в первый раз увидел его в крепости — „Как? вы тут же, спаситель мой?“ — сказал он ему с соболезнованием»145.

Героический эпизод в таком пересказе кажется несуразным: император рискует жизнью двадцати человек, чтобы «с великою опасностию» спасти одного; кавалерийский генерал указывает матросам, как надо грести, а его самого учит командовать восемнадцатилетний мичман, за что получает от щепетильного в делах субординации Бенкендорфа не выволочку, а звание «спасителя»…

Но что же ждало двух наших героев по возвращении? Оказалось, что стихия как смогла отыгралась и на мичмане, и на генерале. Когда после службы братья Беляевы пришли домой, в квартире их царило страшное разорение: «Мебель, платье, бельё — всё было почти уничтожено», — поскольку в этом районе (у Калинкина моста) вода стояла выше человеческого роста. Фортепьяно товарища Беляевых, Бодиско, «плавало в комнате со всем тем, что на нём стояло». При этом флотские офицеры «посовестились записаться в список пострадавших от наводнения, которым повелено было выдать пособие»; они решили, что куда больше «было несчастных, которые более… нуждались в пособии от казны».

Бенкендорф, вернувшись к себе, также обнаружил «полный беспорядок»: сараи были разбиты, комнаты первого этажа опустошены, да и состояние второго изменилось не в лучшую сторону: жена приказала загнать наверх генеральских лошадей, чтобы они не утонули. Это было обычным в тот день способом спасти несчастных животных; на набережной Мойки поэт Александр Бестужев загонял на второй этаж испуганную корову, принадлежавшую поэту Кондратию Рылееву…

Постепенно стали приходить известия об итогах бедствия. Некоторые подробности казались комичными: первый в России пароход Бёрда, курсировавший между Петербургом и Кронштадтом, красовался посреди Царицына луга, улицы Васильевского острова были перегорожены принесёнными потоком избами и сараями, а в кадетский корпус «въехала» баржа

с сеном…

Но куда больше было печальных известий. Погибло несколько сотен человек. Намного больше людей просто остались без крова накануне зимы: половина домов в городе пострадала от наводнения, а 462 было разрушено совсем. Утонуло несколько тысяч голов скота. Было унесено несметное количество необходимых для отопления дров, размыты склады с припасами: множество мешков с крупами и овсом безнадёжно испорчено; убыль соли и сахара насчитывала сотни тысяч пудов. Рапортовали также о бесследном исчезновении хлебного вина на полмиллиона рублей.

Город облетела трагическая история, случившаяся на казённом чугунолитейном заводе близ Екатерингофа, стоявшем на самом взморье. Казармы рабочих были слишком ветхими и невысокими, чтобы стать надёжным убежищем. Люди забирались на крыши, но строения одно за другим сносило в море. «Они наблюдали, как вместе с водой к ним приближается смерть», — горестно отметил Бенкендорф. На одном этом заводе утонули 148 человек.

Днём 8 ноября император продиктовал приказ:

«Для подания деятельных пособий для потерпевших от 7 ноября и по случаю истребления мостов и затруднения в сообщениях между частями города под начальство санктпетербургского военного генерал-губернатора графа Милорадовича назначаются временными военными губернаторами: на Васильевский остров генерал-адъютант Бенкендорф, на Петербургскую сторону генерал-адъютант граф Комаровский, на Выборгскую сторону генерал-адъютант Депрерадович»146.

Вскоре царь (на глазах — слёзы сочувствия к пострадавшим горожанам) собрал назначенных губернаторов, объявил им краткие инструкции и немедленно направил к министру финансов — каждому выдавалось на руки по 100 тысяч рублей «на первый случай».

Должность была тяжёлой, но почётной. Недаром много позже Бенкендорф, просматривая свой послужной список, вписал карандашом отметку о пребывании на этом посту147.

Новое назначение, возможно, напомнило ему уже давнее комендантство в разорённой Москве. На него возлагались похожие обязанности: помогать пострадавшим, устраивать бездомных, кормить голодных, организовывать раздачу дров, муки, а также вывоз утонувшего скота.

Васильевский остров был одной из наиболее пострадавших частей города. По дороге «на место назначения» Бенкендорф

увидел десятки домов, полностью разрушенных, и ещё больше — перенесённых водой и перегородивших улицы вперемежку с осевшими на суше кораблями и лодками. Кладбища были размыты, все кресты унесены (несколько нашли даже в Летнем саду), гробы оказались на поверхности, а некоторые даже были перенесены волками «на невероятное расстояние». «На каждом шагу», во дворах и под обломками, находили утопленников. Хотя по официальным данным погибло около пятисот человек, Бенкендорф пишет, что только на Васильевском острове извлекли из-под развалин «сто дюжин» утопленников. Это подтверждает высказанное позже предположение, что официальные данные были сильно занижены148.

Следующим утром на Васильевский остров прибыл Александр I. Бенкендорф писал, что в те дни одно его появление утешало и ободряло петербуржцев. Император лично беседовал с обездоленными, немедленно отдавал повеления о помощи, со слезами на глазах входил в церковь, наполненную рыданиями: одновременно шло отпевание десятков погибших.

О том же писал Беляев: «Государь сам ездил по всем наводнённым местам, утешал пострадавших, обещая им помощь, и поистине уподобился ангелу-утешителю… Когда он увидел моего брата с командою матросов на работах, он с улыбкою спросил, сейчас же узнав его: „А почему ты без креста?“ Брат, растерявшись от неожиданной встречи и вопроса, отвечал: „Не успел надеть, Ваше Величество!“».

В разговоре с Бенкендорфом царь подтвердил неограниченные полномочия генерала на вверенном ему Васильевском острове. «Я рассчитываю на ваше доброе сердце, — сказал император. — Сделайте всё, что в ваших силах».

Теперь, в век средств массовой дезинформации, трудно понять, что в ту эпоху одни только искренние слова императора способны были добавить энергии и удвоить старания людей. Бенкендорф решил опираться не столько на полицейские власти и Финляндский полк, в казармах которого расположил свой штаб, сколько на население района. Он созвал местных купцов и вместе с ними выработал план первоочередных мероприятий. Просторное здание Биржи было обращено в приют для бездомных, в котором несчастных могли снабдить едой и одеждой, более того — материалами для занятия ремеслом. Каждый домовладелец, если дом его уцелел, был обязан на некоторое время приютить и кормить нескольких бездомных. Несколько офицеров были назначены для руководства починкой и строительством зданий и мостов. Все врачи получили распоряжение лечить бедняков своего квартала бесплатно. Также

безденежно аптекари должны были отпускать лекарства по рецептам — Бенкендорф обещал сам расплачиваться в конце месяца. В каждом квартале была организована выдача хлеба, а в трёх местах острова создавались пункты раздачи пищи со столами в общей сложности более чем на 800 человек. Поскольку почти сразу после наводнения резко похолодало (до минус 10 градусов), было дано распоряжение в течение суток обеспечить всех нуждающихся тёплой одеждой и бельём. Семьям с детьми было передано более трехсот коров.

Некоторые подробности деятельности Александра Христофоровича в качестве военного коменданта Васильевского острова сохранились в воспоминаниях Дмитрия Завалишина. Небеспристрастный мемуарист был чуть ли не единственным из декабристов, неприязненно относившимся к Бенкендорфу; но его на первый взгляд «обличительная история» скорее подтверждает справедливость, нежели «неразумность» Александра Христофоровича.

«…В части города, подвергшейся наводнению, были мыслящие, имевшие особенный дар выискивать таких людей себе в помощники, которые брались за дело явно с корыстными целями, рассчитывая на невежество и невнимательность главных распорядителей, наблюдавших за всеми поверхностно. Таким образом, из Васильевского острова генерал-адъютант Бенкендорф взял в правители дел себе отъявленного плута, который довёл раздачу пособий до таких вопиющих несправедливостей, что несколько человек почётных обывателей решились обличить и остановить зло, указав Бенкендорфу, что делается его именем. Бенкендорф по обычным у подобных людей… замашкам, вздумал было принять с угрозами пришедшую к нему депутацию. „Что это? Бунт?“ — закричал он.

„Не думайте нас застращать, — отвечали пришедшие, — мы всё-таки, по крайней мере, вас считали за человека благомыслящего и надеялись, что вы будете нам благодарны, что мы открыли вам глаза, как негодяй употребляет во зло данное ему вами полномочие. Если же вы хотите прикрывать его, то подадите повод думать, что вы с ним заодно, а стало быть, сами в свою очередь употребляете во зло данное вам государем полномочие. Поэтому мы объявляем вам, что если вы не смените негодяя, то мы сей же час отсюда идём к государю прямо, а доказательства у нас в руках“.

Бенкендорф испугался и, видя, что делать было нечего, сменил мошенника»149.

Справедливо ли мнение Завалишина об «испуге» Бенкендорфа, установить теперь нет возможности. Но в том, что

для правильных действий верховной власти необходима прямая и откровенная информация с мест, наш герой наверняка лишний раз убедился, а плута отстранил.

В конце ноября пришло письмо от сестры Доротеи из Лондона. Из него стало ясно, что петербургское наводнение попало на первые полосы европейских газет и вместе с ним — имя Бенкендорфа, как одного из героев дня. Княгиня Ливен писала своему «большому маленькому братику»: «Твоё имя у всех на устах, и я очень горжусь славой, обретённой тобой во время этого трагического происшествия… Мой муж также потрясён твоим храбрым поступком… Мы сильно тронуты и воодушевлены… и с нескрываемой гордостью читаем твоё имя во всех европейских газетах»150.

…А город меж тем строился, поднимался, будто оправлялся от болезни. Бенкендорф видел, как в три месяца были восстановлены дома, мосты и заборы, «а слёзы осушены».

Глава четвёртая
ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

«Гвардия победила гвардию»

До конца жизни император Александр Павлович так и не изменил прохладного отношения к своему генерал-адъютанту. Бенкендорф оставался для него человеком из круга Марии Фёдоровны, вдовствующей (не без вины Александра) императрицы.

Незадолго до отъезда императора из Петербурга Бенкендорф послал ему отчаянное письмо, в котором сквозили обида и недоумение по поводу такого отношения. «Осмелюсь ли я, — говорилось в нём, — униженно умолять Ваше Величество смилостивиться поставить меня в известность, в чём я имел несчастье провиниться. Я не смогу видеть Вас, государь, уезжающим, с тягостной мыслью, что, быть может, я заслужил немилость Вашего Величества»1. Перед самым отбытием на юг России Александр принял своего генераладъютанта и обошёлся с ним достаточно тепло, однако времени вернуть полное доверие императора у того уже не было. Зато события конца 1825 года позволили Бенкендорфу заслужить уважение и доверие нового российского самодержца — Николая I.

Лаконичные дневники Николая Павловича не дают возможности проникнуть ни в его мысли, ни в темы его разговоров. Они для этого и не были предназначены. Зато они позволяют определить круг людей, с которым Николай общался в конце 1825 года, в нервозное время междуцарствия. Начиная с 27 ноября, того «ужасного» дня, дата которого обведена Николаем в траурную рамку, поскольку тогда было получено известие о смерти Александра, постоянным посетителем и собеседником пока ещё великого князя становится А. Х. Бенкендорф2. Вот они обсуждают, гладко ли прошло принесение присяги Константину; вот беседуют в доверительной обстановке, за вечерним чаем; вот они разговаривают втроём, вместе с Марией Фёдбровной. День за днём в дневнике Николая почти непременно встречается: «Бенкендорф. Говорили» — то с утра, то за ужином, а то и дважды в день; но, к сожалению для историков, этим записи и ограничиваются. О темах этих бесед часто приходится только строить догадки.

Вот день 9 декабря. Николай принимает Милорадовича, который по службе должен передавать «все ходящие по городу толки и разговоры солдат» и, дождавшись, когда выйдет жена, говорит с ним о том, что «слухи всё более распространяются и становятся беспокойнее». Вечером то же обсуждается с Бенкендорфом. Можно предположить, что слухи эти о том, что

Константин отречётся, и о готовящемся следом неповиновении со стороны тайных обществ: в эти дни их деятельность активизировалась, и Трубецкой уже был избран «диктатором». 11 декабря Бенкендорф присутствует на переодевании великого князя, потом Николай пишет при нём к пока ещё формально императору Константину.

А 12 декабря, в день, когда пришли и ответ от Константина, делавший Николая императором, и «самонужнейшие» известия о существовании заговора, Бенкендорф был вызван дважды: во второй раз, вечером, он присутствовал при написании новым царём того самого письма Дибичу, где сказано: «…Послезавтра поутру я — или государь, или без дыхания»3.

Из того же письма ясно, что Бенкендорф входит в самый узкий круг посвящённых во все детали непростой ситуации. Николай поделился с ним сведениями о заговорщиках, и генерал-адъютант с удивлением обнаружил в них тех людей, о которых сообщал прежнему государю несколько лет назад на основании донесения Грибовского. Там были князь Трубецкой, полковник Пестель, Никита Муравьёв и другие; большинство же имён «принадлежало совершенно неизвестным молодым поручикам». Бенкендорф не верил в то, что «младшие офицеры смогут подтолкнуть на бунт преданных и дисциплинированных солдат». Он «поручился за все четыре полка своей дивизии» и был уверен, что другие командиры сделают то же4.

Характеризуя Дибичу Бенкендорфа, Николай отметил, что он — «человек надёжный и посредник по делам военным и гражданским, быв военным губернатором и командуя полками, в коих, полагать должно, может быть зараза»5. Помимо него «в секрете» участвовали только двое: «генерал Милорадович, как военный генерал-губернатор и который всё здесь делает; князь Голицын, потому что он заведывает почтами и пользовался доверием покойного государя».

Утром 13 декабря дневниковые записи Николая обрываются; но мы знаем, что Бенкендорф был последним, кто ушёл от императора накануне 14 декабря (перед вечерней молитвой, около часа ночи), а ранним утром первым появился во внутренних покоях Николая Павловича.

Сам факт присутствия Александра Христофоровича при утреннем туалете императора говорит об особо доверительном отношении к нему нового государя. За мгновение до того, как выйти в залу, наполненную членами императорской семьи, гвардейскими генералами и полковыми командирами, Николай I обратился к нему со словами: «Итак, сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете; но, по крайней мере, мы

умрём, исполнив наш долг»6. Слова эти позже казались проявлением решительности и самоотверженности, но в момент их произнесения Бенкендорф «увидел в самых чёрных красках ту трудную ситуацию, в которой мы тогда оказались»7.

Было семь часов утра. Николай вышел к собравшимся в парадном мундире Измайловского полка и изложил самую необходимую информацию: он «находится вынужденным принять престол», поскольку «покоряется неизменной воле цесаревича Константина Павловича, которому недавно вместе с ними присягал». Затем он прочитал манифест императора Александра и акт отречения Константина. Наступил первый решительный для императора момент. Он спросил, «не имеет ли кто каких сомнений», и — слава богу! — «получил от каждого уверение в преданности и готовности жертвовать собой».

«Тогда Николай Павлович, несколько отступив, со свойственными ему осанкою и величием сказал: „После этого вы отвечаете мне головою за спокойствие столицы; а что до меня касается, если я хоть час буду императором, то покажу, что этого достоин“»8. Наконец, последовал приказ идти в Главный штаб — присягать официально, а оттуда немедленно направляться к своим частям, прочитать манифест и приложенные к нему документы, привести войска к присяге и об исполнении донести. Затем, «ежели кто из гг. генералов или штаб и обер-офицеров успеет к двум часам быть в Зимний дворец к высочайшему выходу, то таковым быть в парадной форме». Тогда казалось, что к назначенному времени всё будет в порядке.

Было около восьми утра. Бенкендорф вместе со всеми отправился в Главный штаб, в круглую библиотечную залу, в которой присягнул новому императору (в душе поклявшись ему в верности уже давно). По дороге генералы обменивались опасениями, что присяга в войсках,ˆвторая за месяц, может вызвать волнения. К назначенным местам разъезжались уже с уверенностью, «что придётся действовать с осторожностью и применить силу».

К тому времени тревога распространилась довольно широко. Адъютант Бенкендорфа, П. М. Голенищев-Кутузов, получив его приказание отправиться наблюдать за присягой лейб-гвардии Конного полка, не мог не спросить: «Взяты ли меры предосторожности; ибо мы слышали, что есть полки, не желающие присягать Николаю Павловичу, но которые хотят принести на руках Константина Павловича?»

Конечно, генерал отвечал, что предосторожности уже «взяты» — а как ещё он мог ответить подчинённому? — и направился на присягу кавалергардов — первого полка не только своей дивизии,

но и всей гвардии.

Видимо, по дороге Бенкендорф ненадолго заехал на Большую Морскую, в дом генерал-губернатора Милорадовича, с которым был дружен.

В тот день все были в парадной форме, но вид Милорадовича, с синей Андреевской лентой через плечо, был особенно живописен: «Грудь его была буквально покрыта двумя дюжинами всех наших и главнейших европейских звёзд и крестов, взятых этою смелою и после 55 битв девственною от ран грудью с боя». Милорадович и Бенкендорф недолго пообщались наедине и вышли к присутствовавшим в хорошем настроении, «целуясь и обнимаясь». Правда, как утверждает адъютант Милорадовича Башуцкий, «граф сказал привычною ему смесью французских слов и русского с них перевода: „Знаете, что меня огорчает? Что это понедельник, ей-богу! Мой дорогой, у меня нет никаких предрассудков, но понедельник, понимаете ли, вот что мне не нравится“»9. Однако никаких сведений о беспорядках в войсках пока не поступало.

Было около девяти часов. «Направляясь ко дворцу через Театральную площадь и Поцелуев мост и доехав до Большой Морской, великий князь (Михаил Павлович. — Д О.) изъявил сопровождавшему его адъютанту Вешнякову удивление своё, что в городе в такой день всё так тихо и спокойно»10. Офицеру казалось, что так и должно быть…

Присяга во всех полках должна была проходить по единому образцу. Генералы отправлялись в старшие полки своих дивизий и бригад. В их присутствии начинался утверждённый ритуал:

«…По принесении знамён и штандартов и по отдании им чести сделать вторично на караул и старшему притом, или кто из старших внятнее читает, прочесть вслух письмо Его Императорского Высочества государя цесаревича и великого князя Константина Павловича к Его Императорскому Величеству Николаю Павловичу и манифест Его Императорского Величества (которые присланы будут); после чего, взяв на плечо, сделать на молитву и привести полки к присяге; тогда сделав вторично на караул, отпустить знамёна и штандарты, а полки распустить».

Можно гадать, намеренно ли задержался Бенкендорф у Милорадовича, но он дал возможность командиру кавалергардов графу С. Ф. Апраксину заранее собрать эскадронных командиров, чтобы сообщить им и об отречении Константина, и о законном воцарении Николая. Сама присяга кавалергардов описана очевидцами по-разному, хотя итог у всех один: она состоялась. Это было особенно важно, ведь и Николай, и Бенкендорф ещё с 12 декабря знали из письма Дибича, что «заговор касается многих

лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку»11.

Согласно запискам эскадронного командира Грюневальда, «полк был собран, среди офицеров было 14 человек, которые знали о плане заговора и переворота. Никто не пикнул, и принятие присяги произошло без помех»12.

Действительно, член тайного общества и офицер 5-го эскадрона кавалергардов Иван Анненков за два дня до восстания заявил заговорщикам, что не отвечает за свой полк, ибо уверен, что солдаты «не расположены к вспышке, которая готовилась», да и сам видит в «поднятии войск большую ошибку» и не рассчитывает на удачу13. И. Д. Якушкин добавляет: «В кавалергардах было более офицеров, принадлежавших к тайному обществу, нежели в каком-нибудь другом полку, но и тут присяга не ознаменовалась ни малейшим движением ни между офицерами, ни между солдатами. <…> Полковник Ланской, Анненков, Александр Муравьёв, Депрерадович, Арцыбашев и многие другие были во фронте при полку, когда он был выведен против войск, стоявших у Сената»14. Они прошлись подковами своих коней по собственной мечте о «свободе».

Согласно «Истории кавалергардов» С. А. Панчулидзева, граф Апраксин «собрал у себя на квартире дивизионных и эскадронных командиров, ознакомил их с манифестом и приложениями к нему. Затем полк был собран в полковом манеже, куда прибыл и начальник дивизии А. Х. Бенкендорф. Полковой адъютант прочёл манифест и отречение цесаревича, после чего граф Апраксин не тотчас же предложил присягать, а дал время эскадронным командирам объяснить офицерам и нижним чинам, почему они, несмотря на недавно принесённую присягу наследнику престола Константину Павловичу, обязаны теперь присягнуть Николаю Павловичу. Проволочка эта не понравилась Бенкендорфу, который приказал „присягать без рассуждений“. В рядах раздался ропот. Тогда Апраксин близко подошёл к начальнику дивизии и, тихо напомнив ему, что за принесение присяги полком отвечает он, командир полка, попросил Бенкендорфа покинуть манеж. Бенкендорф уехал. Тогда граф Апраксин, сняв каску и подняв правую руку, поклялся полку, что отречение Константина Павловича добровольное, что престол переходит к Николаю Павловичу по закону и согласно последней воле императора Александра I, „нашего благодетеля“, и, указывая на вензеля на своих эполетах, заклинал полк именем покойного императора исполнить его последнюю волю. Дав полку успокоиться, Апраксин обратился к полковому священнику с предложением приступить к присяге. Полк уже без всякого колебания принёс присягу и свято исполнил её на Дворцовой площади, где по приказанию нового

императора атаковал мятежников».

В советское время трактовка этого события была немного «подретуширована» и в книге историка А. Е. Преснякова выглядела — со ссылкой на Панчулидзева — уже следующим образом (курсивом выделены вольности «пересказа»):

«Получилась рискованная, с точки зрения начальства, пауза для устной беседы, вопросов, разъяснений. Это обеспокоило явившегося в манеж Бенкендорфа, и он сделал попытку прекратить разговоры окриком: „Присягать без рассуждений!“, чем вызвал только раздражение и ропот. Пришлось Апраксину напомнить начальнику дивизии, что за полк отвечает не он, а полковой командир, и просить генерала покинуть манеж. Бенкендорф уехал, а полковой командир, сняв каску и подняв правую руку, громко и торжественно поклялся перед полком, что отречение Константина добровольное, а переход наследия к Николаю установлен имп. Александром; затем дал полку время успокоиться и приступил к присяге. Приём удался: кавалергарды приняли присягу»15.

Сам Бенкендорф вспоминал инцидент иначе: «…Я бросился в казармы кавалергардов. Полк в пешем строю находился в манеже, появился священник, и присяга была принята. Я тщательно следил за малейшими изменениями на лицах: солдаты были холодны, несколько молодых офицеров были невнимательны и даже беззаботны, я был вынужден подать некоторым из них знак, чтобы они приняли подобающую ситуации и оружию позу».

Скорее всего Бенкендорф, обязанный доложить о принесении присяги, всё-таки дождался её окончания и здесь же, у кавалергардов, встретился со своим адъютантом Голенищевым-Кутузовым, выслушал его доклад о благополучном исполнении процедуры присяги лейб-гвардии Конным полком и только потом покинул конногвардейский манеж.

Было около десяти часов. Довольный Милорадович разрезал именинный пирог на завтраке у директора Большого театра. Автор «Манифеста» восставших Владимир Штейнгейль покупал билеты на дилижанс, чтобы бежать в Москву. «Диктатор» Сергей Трубецкой отогревался в здании Главного штаба.

Не дождавшись друзей и замёрзнув, ушёл с Сенатской площади одинокий Вильгельм Кюхельбекер.

А в одиннадцатом…

Беглым шагом, с грохотом барабанов, прошёл по Гороховой к Сенату лейб-гвардии Московский полк. Щепин-Ростовский махал знаменем, солдаты били попадавшихся на пути полицейских. Один из стражей порядка буквально «рыбкой» нырнул в окно какого-то полуподвала…

К Николаю с известием о неповиновении московцев примчался потрясённый виденным начальник штаба гвардейского корпуса генерал-майор Нейдгардт. На его глазах ротный командир, штабс-капитан князь Щепин-Ростовский, изрубил саблей старших начальников: командира бригады генерала Шеншина и командира полка генерала Фредерикса. Вскоре приехал в санях окровавленный командир батальона полковник Хвощинский — ему тоже досталось отведать клинка ротного. Бунтовщики пролили первую кровь.

Теперь уже в Зимнем барабаны ударили «поход». Николай убедился в преданности караульной роты и вместе с её солдатами вышел из дворца на площадь, заполненную народом и экипажами (начали съезжаться приглашённые во дворец к одиннадцати часам для принесения благодарственного молебна). Для него наступил свой момент выбора, своё «Смеешь выйти на площадь?».

На Дворцовой и Сенатской площадях образовались два полюса, два центра притяжения, к которым собирались обыватели и сходились войска. «Сказывают, будто 14 декабря одного купца сначала били у дворца за Константина, а потом у Сената за Николая»16.

Среди передвигающихся солдатских колонн, многотысячных толп народа, шума и криков: «Ура!», «Да здравствует Константин!» и «Батюшка, государь, наш отец, мы все за тебя станем!» — мы на время теряем Бенкендорфа из виду.

Однако через час, когда уже пришёл Преображенский батальон и Николай сел на коня, чтобы вести войска через толпы народа, мы снова видим Бенкендорфа в составе немногочисленной пока генеральской свиты, которая следует с императором по Адмиралтейскому бульвару, ведущему от верноподданной Дворцовой площади к мятежной Сенатской. Есть даже свидетели, запомнившие, как, «отправив… гонцов за другими гвардейскими полками, государь, в сопровождении одного лишь генерал-адъютанта Бенкендорфа, поехал на Сенатскую площадь для принятия дальнейших мер к подавлению мятежа»17.

Близился полдень, а преданные гвардейские полки всё ещё не подошли. Николай отправил Бенкендорфа в казармы ближайшего к Сенатской площади Конногвардейского полка — выяснить, почему подчинённые графа Орлова медлят с выступлением. Туда уже направились и адъютанты, и Нейдгардт, и сам Милорадович…

С последним Александр Христофорович, похоже, немного разминулся. Тот обругал Орлова и его полк за медлительность, отклонил совет дождаться выхода войск и в одиночку поехал

уговаривать бунтующих солдат, надеясь покончить с мятежом без кровопролития. Через некоторое время, как раз когда Орлов и Бенкендорф наконец-то выстраивали конногвардейцев у казарм, со стороны Сенатской площади послышались выстрелы. В самый же момент выступления полка Бенкендорф увидел, что к конногвардейским казармам несут раненого, всего в крови, Милорадовича. По Бенкендорфу, Милорадович ещё нашёл в себе силы сказать ему и Орлову: «В меня стрелял не военный, а человек во фраке». Согласно Орлову, Милорадович прошептал ему: «Напрасно не послушался тебя». Адъютант Милорадовича Башуцкий описал сцену по-другому: «Я услышал за собой стук копыт по мостовой: кто-то выезжал. Мы остановились… Выезжавший на рыжей лошади был А. Х. Бенкендорф. Зная их дружбу, вспомнив живо недавнее трогательное утреннее их свидание, глубоко взволнованный в чувствах, я без соблюдения строгой дисциплины, но встревоженный до глубины сердца, сказал: „Посмотрите, что сделали с графом!“ Щёлкнув языком, подобрав трензель и прижав шенкель, не оборотив даже головы, Александр] Х[ристофорович] прогалопировал мимо… Признаюсь, я не понял этого, может быть, высокого военного хладнокровия».

Такое противоречие в рассказах очевидцев оставляет немало места для рассуждений. Можно припомнить Бенкендорфу, что он частенько умалчивает в мемуарах о неприятных для него событиях; можно попенять Башуцкому, что его, ставшего позже известным сочинителем, неоднократно ловили на добавлении к своим воспоминаниям эффектных сцен и речей. Но лучше ограничиться фактом, равно выводимым из обоих свидетельств: в тот момент, когда к казармам Конной гвардии принесли раненого Милорадовича, Бенкендорфу удалось вывести полк на улицу, хотя его выступление старались задержать сторонники восставших (князь Одоевский «бегал по конюшням, объявлял, что отменено, что то была фальшивая тревога», а потом, почти в отчаянии, увещевал людей: «Успеете, нечего торопиться!»). Это был первый полк правительственных войск, вышедший на поддержку Николая в полном составе. Без него император не решился продвинуться вплотную к запруженной народом Сенатской, с которой ясно слышалось: «Ура, Константин!»

«Площадь уже вся полна народа; я вышел из кареты и, видя государя верхом перед первым баталионом Преображенского полка, удивился, что никого из генералов при нём не было, — вспоминал командир Отдельного корпуса внутренней стражи Комаровский. — Император сказал мне: „Представь себе, есть люди, которые, к несчастию, носят один с нами мундир и называют меня самозванцем! Ты слышишь этот крик и выстрелы,

но я им покажу, что я не трушу“. Скоро после того я увидел генерал-адъютантов князя Трубецкого, Кутузова, Васильчикова, Левашова и Бенкендорфа, приехавшего донести, что полк Конной гвардии идёт, и действительно оный начал выстраиваться спиною к дому княгини Лобановой»18. С приходом конногвардейцев Николай получал явный численный перевес: до двух тысяч пехоты и тяжёлой кавалерии против примерно семи сотен бунтовщиков.

Важность этого события отражена в дневниковой записи императрицы Александры Фёдоровны, скорее всего, передавшей то, о чём говорил ей супруг: «Друзья оправдали его доверие; Бенкендорф и Орлов были первыми на площади; они [пришли] вместе с кавалерией. Положение Орлова было не из лёгких, так как он командовал полком Константина; солдаты этого полка получали от Константина пенсии и были ему преданы. Перед их казармами слышались крики: „Ура, Константин!“, и всё же он привёл полк в порядке на площадь, и ни один из них не посмел уклониться»19.

«Я побежал, чтобы догнать императора и доложить ему о прибытии Конной гвардии, — пишет ЕЬнкендорф. — Он очень холодно спросил меня, можем ли мы быть уверены в полку, которым много лет командовал великий князь Константин и который поэтому может быть преданным имени своего шефа. Я сказал, что отвечаю за него головой». Важная деталь для понимания событий: Николай искренне верит в то, что происходит бунт в пользу Константина — и не более того.

Командир эскадрона полковник И. И. Велио (позже в тот день раненный в локоть и лишившийся руки) вспоминал:

«Вскоре после того, как полк выстроился, мы увидали государя… Подъехав к нам, он поздоровался обычным: „Здорово, ребята!“ — на что весь полк грянул единодушно: „Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!“

Тогда государь подъехал к нам ближе, и именно к правому флангу, и спросил:

— Признаёте ли вы меня за вашего царя или нет?

Крики „ура“ были ответом государю, и крики эти вылетали не только из уст солдат, но и офицеров и доказали ему, что полк наш вполне надёжен»20.

Николай приказал Бенкендорфу выстроить конногвардейцев фронтом к мятежникам и спиной к Адмиралтейству.

Было около половины первого.

Примерно в это время сперва к адъютанту Бенкендорфа Голенищеву-Кутузову, а затем к императору подошёл драгунский офицер с перевязанной головой, Якубович, с наружностью «замечательно-отвратительной» по оценке одних и

«превосходной» по словам других. Адъютант заметил, что он прячет в кармане пистолет, и сообщил об этом Бенкендорфу. В тот момент многие обратили внимание на то, насколько подозрительно выглядел этот «переговорщик», первоначально воспринятый царём как раскаявшийся парламентёр. («У меня рука чесалась разбить ему череп, так он мне казался опасен для нашего монарха», — напишет Велио.) Бенкендорф на всякий случай подъехал поближе к императору, но тот уже поговорил с Якубовичем и отправил его назад, к бунтовщикам, с предложением сдаться. Существует множество предположений насчёт странного поведения Якубовича в тот день (разведчик? трус? двурушник?). Бенкендорф же был абсолютно уверен, что Якубович намеревался воспользоваться моментом и убить Николая и только более чем насторожённое отношение со стороны императорского окружения помешало ему. (Это Каховский мог беспрепятственно выстрелить из толпы в спину Милорадовичу, а тут, лицом к лицу с Николаем, под взглядом десятков, если не сотен недоброжелательно настроенных вооружённых людей, ждущих покушения, нужно было изловчиться, чтобы засунуть руку в карман, нащупать рукоять пистолета, достать его, взвести курок и прицелиться…)

Вслед за конногвардейцами начали подтягиваться другие верные Николаю части. Бенкендорф, видимо, поспешил навстречу второму своему полку — Кавалергардскому, подошедшему со стороны Невского проспекта (Апраксин так торопился, что не велел солдатам надевать кирасы) и поставил его в резерв на Адмиралтейской площади.

Было около часу дня.

Николай почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выехать на Сенатскую площадь. Как он сам вспоминал: «Тогда отрядил я роту… Преображенского полка… чрез булевар занять Исаакиевский мост, дабы отрезать сообщение с сей стороны с Васильевским островом и прикрыть фланг Конной гвардии; сам же, с прибывшим ко мне генерал-адъютантом Бенкендорфом, выехал на площадь, чтоб рассмотреть положение мятежников. Меня встретили выстрелами»21. Бенкендорф подтверждает: «Пули свистели со всех сторон вокруг императора, даже его лошадь испугалась. Он пристально посмотрел на меня, услышав, как я ругаю пригнувших голову солдат, и спросил, что это такое. На мой ответ: „Это пули, государь“ — он направил свою лошадь навстречу этим пулям».

Примерно этот момент восстания запёчатлён на знаменитой акварели К. И. Кольмана, обошедшей все учебники и иллюстрированные издания. Кажется, в них нигде не

упоминалось, что акварель эта висела в кабинете Бенкендорфа над его письменным столом22 и что с большой степенью вероятности можно утверждать, что генерал на рыжей лошади, указывающий Николаю на мятежников, — это А. Х. Бенкендорф.

Ситуация постепенно прояснялась. Николай понял, что может положиться на многих своих солдат и офицеров, и приказал начать окружение пока ещё одиноко стоявшего Московского полка. Бенкендорфу он велел взять два эскадрона конногвардейцев и направиться в объезд Исаакиевского собора, мимо Адмиралтейского канала к Синоду, почти вплотную приблизившись к каре московцев. Всем правительственным войскам был отдан приказ: не поддаваться на провокации. Капитан преображенцев Игнатьев, отправленный занять Исаакиевский мост, получил строгую инструкцию от царя: «Если будут по вас стрелять — не отвечай, пока я сам не прикажу. Ты головой мне отвечаешь»23. Стреляли — то холостыми, то боевыми — только* из каре восставших. По конногвардейцам, оказавшимся у Сената и подошедшим к Московскому полку слишком близко, сделали несколько залпов.

Поначалу их подпустили на 10–12 шагов, приняв за своих. Но на «пароль»: «Да здравствует Константин!» — конногвардейцы ответили неожиданным «отзывом»: «Да здравствует Николай!» — «и получили тотчас же в правый… фланг ружейный залп, вследствие которого некоторые нижние чины были ранены, а один солдат, простреленный в бок от неплотно пригнанных кирас, свалился с лошади»24.

Как вспоминал Бенкендорф, один эскадрон конногвардейцев, «поддавшись внезапному порыву, предпринял против моей воли атаку на лучшую в мире пехоту, готовую эту атаку отразить, и был остановлен градом пуль и штыками»; потом «этот эскадрон по команде „Назад, равняйся“, теряя людей и лошадей, выполнил всё как на учении, так что ни одна лошадь не повернула вспять, и остановился в 20 шагах от неприятельского каре»25. Заметим — не «бунтовщики», а «лучшая в мире пехота».

Эта фраза исполнена трагического видения события и вызывает в памяти эпизод, случившийся через столетие и описанный А. И. Деникиным в его «Очерках русской смуты»:

«Среди офицеров разговор:

— Ну и дерутся же сегодня большевики!

— Ничего удивительного — ведь русские…

Разговор оборвался. Брошенная случайно фраза задела больные струны…»26

…Так же, как первая «непроизвольная атака», ни к чему не привели и последовавшие уже по команде «атакообразные

демонстрации» Конной гвардии — по-другому их назвать трудно, ибо атаки кавалерии на каре пехоты, да ещё по страшной гололедице, на подковах без шипов, с ненаточенными («отпущенными») палашами, могли лишь напугать. Они и напугали — но не солдат, а толпы обывателей, которые бегом очистили площадь, как только в воздухе в буквальном смысле запахло порохом. Это позволило заметно уменьшить число жертв среди любопытного гражданского населения — ценой нескольких раненых. После первых потерь в рядах Конной гвардии казались нелепыми крики перебежавшего к мятежникам Одоевского: «Конногвардейцы, неужели вы хотите проливать русскую кровь?!» Ему отвечали — но всё ещё не выстрелами, а дружным «ура, Николай!» и «несколькими злобными словами».

Время шло к двум часам.

А в половине третьего мы снова видим Бенкендорфа рядом с Николаем I, возвращающимся на площадь из Зимнего дворца мимо адмиралтейской церкви. Император уже произнёс знаменитую фразу, обращённую к лейб-гренадерам, кричавшим «мы за Константина»: «Коли так, то вот вам дорога». Уже был смертельно ранен полковник лейб-гренадеров Стюрлер, сухой и педантичный швейцарец, до последнего следовавший за своими подчинёнными и на плохом русском уговаривавший их вернуться в казармы. Уже подошла артиллерия — но без боеприпасов, которые по обычаю хранились отдельно, на Охте; Бенкендорф пишет, что отправил туда сани, чтобы привезти картечи и ядер. (В официальной истории восстания за боеприпасами посылал генерал Сухозанет27.)

Николай снова попытался образумить бунтовщиков — на этот раз с помощью авторитета церкви. Он послал во дворец за митрополитом Новгородским Серафимом, тщетно ожидавшим царя к назначенному на два часа благодарственному молебну. Бенкендорф запомнил, как «митрополит в сопровождении всех своих священнослужителей пешком с крестом в руках пересёк Адмиралтейскую площадь и появился перед восставшими. Народ расступился, для того чтобы пропустить его, и посреди этого беспорядка воцарилось хмурое молчание. Восставшие солдаты обнажили головы, и митрополит начал говорить. Руководители заговорщиков испугались того действия, которое эти слова могли возыметь, и попросили митрополита немедленно удалиться, что он и принуждён был исполнить».

Солдаты обнажали головы, крестились, но были уверены в правоте своей и своих офицеров: они крестились и повторяли: «Ура, Константин».

Три часа. Конец короткого дня. Смеркается. До полной

темноты остаётся не более получаса.

Всю критичность ситуации, понятную в тот момент многим — и на Сенатской, и вокруг неё, — почувствовал и передал в одном из писем В. А. Жуковский: «Что, если бы прошло ещё полчаса? Ночь бы наступила, и город остался бы жертвою 3000 вооружённых солдат, из которых половина была пьяные. — В эту минуту я с ужасом подумал, что судьба России на волоске, что её существование может через минуту зависеть от толпы бешеных солдат и черни, предводимых несколькими безумцами. Какое чувство и какое положение!»28

Действовать необходимо было немедленно. Но Николай очень не хотел начинать пребывание на троне с расстрела.

«Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?» — вопрошает он требующего применить артиллерию Васильчикова. «Чтобы спасти вашу империю», — следует ответ.

Быть может, в этот момент Николай внутренне осознал важный принцип поведения верховной власти: чувства и эмоции частного человека, как бы гуманны они ни были, должны быть стянуты железной уздой государственной необходимости. Их место — в доверительных беседах с семьёй и немногими преданными друзьями вроде Бенкендорфа, а не на площадях перед тысячами подданных. Сам император потом вспоминал: «Эти слова меня снова привели в себя. Опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверное всё, или, пощадив себя, жертвовать решительно государством».

Пушки вывозят перед преображенцами, разворачивают жерлами к мятежникам и демонстративно заряжают картечью. Диспозиция к наступлению разработана. Бенкендорф получает приказ: «Когда орудия начнут стрелять, направить конногвардейцев, батальон Финляндского полка с несколькими орудиями на Васильевский остров, с тем чтобы отрезать гренадер с этой стороны от их казарм».

И все-таки прежде к восставшим отправлен командующий гвардейской артиллерией генерал Сухозанет: «Ребята! Пушки перед вами; но государь милостив, не хочет знать имён ваших и надеется, что вы образумитесь, — он жалеет вас». В ответ кричат: «Подлец!», «Разве ты привёз конституцию?!» — а провожают и вовсе выстрелами, от которых на бульваре и за выставленной батареей падают новые раненые.

«Тогда император, желая взять на себя одного ответственность в этот великий и решительный момент, приказал первому орудию открыть огонь». Бенкендорф запомнил, что

«первым ответом противника были крики „Ура!“ и ружейные залпы, но предатели были малодушны; эти бедные солдаты, поддавшиеся агитации заговорщиков, были ими покинуты в минуту опасности. Вскоре их ряды охватила паника, виновные во всём офицеры пытались скрыться от законного возмездия, они старались спрятаться в соседних домах или покинуть город. С этого момента, если их догоняли, то они неотвратимо становились жертвами гнева своих же товарищей. Несчастные солдаты бежали во все стороны, самая большая их часть бросилась в беспорядке на реку и по льду перешла на Васильевский остров». (Отметим это бенкендорфовское «несчастные солдаты», а не «бунтовщики».) Конная гвардия поскакала было вдогонку, но, как записал в дневнике участник преследования В. Р. Каульбарс, на мосту «в этот день было так скользко, что лошади, скользя на все четыре стороны, падали чуть ли не на каждом шагу. Многие слезали и пробовали вести коней в поводу, но безуспешно: увлекаемые лошадьми, они сами валились. При столь невыгодных для преследования условиях мы не успели ещё дойти до противоположного конца моста, как от заговорщиков на Неве и след простыл. Они тем временем разбежались и скрылись по разным линиям Васильевского острова. Видя безуспешность нашего движения, Орлов остановил полк»29.

«Всё было кончено, и оставалось только сбирать спрятанных и разбежавшихся». «Возложив это на генерал-адъютанта Бенкендорфа, государь с своею свитою поехал во дворец».

А Бенкендорфу ещё предстояла встреча с «нейтральными» солдатами Финляндского полка. Годом ранее этот полк, квартировавший на Васильевском острове, был подчинён ему на время ликвидации последствий наводнения. Авторитет Бенкендорфа был достаточно высок, и он смог добиться от солдат «роты, которая чувствовала себя более всех виноватой», конкретного выражения лояльности новому государю. Генерал-адъютант построил эту роту отдельно от других и объявил: «… Для того чтобы получить почётное право присягнуть на верность новому императору, от чего они отказались сегодняшним утром, его надо заслужить, найдя виновных и доставив их… безоружными. Рота, — уверяет Бенкендорф, — поспешила исполнить этот призыв и бросилась в погоню за беглецами».

Беглецы вызывали чувство сострадания. Двое попросили убежища в доме Ф. П. Толстого, знаменитого медальера, некогда запечатлевшего освобождение Голландии. «…Пришли в сени нашей кухни два унтер-офицера, один ещё молодой, приведший другого, уже в летах, с тремя нашивками на рукаве, раненного

картечью в ляжку, облитого кровью; я велел отвести его в смежную с кухней комнату, где мы, положив на стулья доски с постланным на них тюфяком, положили раненого. <…> На предложение моё раненому и его товарищу — не хотят ли они закусить или выпить горячего чаю, они отказались. Весьма печальную картину представляли эти два существа — одно пожилое, с полупоседевшею головою на службе отечеству, страждущее от тяжёлой раны; другой — здоровый, сильный и в лучших годах, чтобы жить для пользы отечества. Он стоял неподвижно, как статуя, у изголовья больного товарища, облокотясь на своё ружьё, погружённый, углублённый в думу об ожидающей их горестной участи. Когда я сидел у больного, он со слезами на глазах сказал мне: „В 15 сражениях был я против неприятелей, в разных войнах, нигде не был ранен, а теперь, может, от картечи своих придётся умереть. Бог судья офицерам, которые нас до этого довели“»30.

Ещё одну сцену запомнил пенсионер Академии художеств Фёдор Солнцев: «Вечером, когда всё уже поутихло, я с одним товарищем пошёл к Кадетскому корпусу посмотреть, что делается на Исаакиевской площади. Лишь только мы перешли Румянцевскую площадь, как солдат закричал: „Назад!“ <…> Делать нечего; пришлось идти обратно в Академию. Когда мы подошли к ней со стороны 3-й линии, то увидели лежащего на панели раненого старого солдата Московского полка. В это время приехал Оленин с Бенкендорфом. Увидя солдата, Бенкендорф приказал часовому взять у раненого ружьё. Старый служака заплакал как ребёнок.

— Ты бунтовщик? — спросил его Бенкендорф.

— Нет, я — солдат, — отвечал старик, — нам что прикажут, то и делаем.

Солдата отправили в лазарет, а мы возвратились в Академию»31.

Было около пяти. Давно стемнело.

Бенкендорф снова, как и год назад, стал временным военным комендантом Васильевского острова. На этот раз под его командой находились батальон лейб-гвардии Финляндского полка при четырёх конных орудиях, два эскадрона конногвардейцев и Конно-пионерный эскадрон. Часть войск стала лагерем на площади перед Первым кадетским корпусом, у обелиска румянцевским победам. Остальные разошлись и разъехались «для забирания и обезоружения нижних чинов, рассеявшихся по улицам». Пойманные не оказывали сопротивления. Их помещали в манеже кадетского корпуса, к которому был приставлен караул. Один из членов Северного

общества, поручик Розен, принял присягу вместе со своим взводом и получил приказ занять Андреевский рынок. После этого он послушно отправился караулить (от своих подельников?) «тамошний небольшой гостиный двор».

Мороз заметно усилился, и Бенкендорф приказать разжечь костры и принести людям еды. Сам он направился в квартиру начальника корпуса генерал-адъютанта П. В. Голенищева-Кутузова, где нашёл радушный приём, обед и тепло. Первая большая передышка дала возможность порассуждать о произошедшем.

«Только теперь, — вспоминал Бенкендорф, — я почувствовал всю сложность и опасность нашего положения. Гвардия только что победила гвардию, единственная опора империи — император — шесть часов подряд рисковал своей жизнью, в народе было неспокойно, и ещё нельзя было распознать его истинных намерений. Был раскрыт заговор, но пока не были известны ни его руководители, ни его обширность, всё было как в тумане, и всё могло начаться снова. Эти размышления не могли успокоить».

С другой стороны, на глазах Бенкендорфа Николай Павлович, его друг, в один день стал императором в полном смысле слова: «Он был великолепен; ни на мгновение не поддался малодушию, не произнёс ни одного ласкового слова, чтобы польстить или задобрить: это был император и полководец». Все «видели нашего молодого императора отважным, твёрдым и спокойным в минуту смертельной опасности. Офицеры были этим удивлены, а солдаты были в восторге. Победа была на стороне престола и преданности, что же ещё было нужно для того, чтобы войска восхитились и приняли сторону своего нового государя, чтобы они забыли все претензии, которые ещё накануне высказывались в адрес этого человека, лишь недавно бывшего командиром гвардейской дивизии и теперь принявшего скипетр Петра I, Екатерины и Александра? Во всяком случае, мы знали, что если завтра повторятся вчерашние опасности, то наш руководитель, наш владыка достоин и способен направлять наши усилия».

Другими словами, но те же чувства тревоги и надежды, сменяющие друг друга вечером 14-го и утром 15 декабря 1825 года, передавал В. А. Жуковский в письме А. Тургеневу: «Ввечеру… когда уже миновался этот ужас, я думал, как бедственно окровавлен этот торжественный день, какое будущее представляется для России, какая первая минута для нового императора, какое воспоминание для него на целую жизнь, под каким мрачным покровом для него Россия, какая недоверчивость должна вселиться в его сердце! Всё было кончено, но утешение не

входило в душу. Но на другой день совсем иная мысль. Зачинщики мятежа взяты. День был кровавый, но то, что произвело его, не принадлежит новому царствованию, а должно быть отнесено к старому. Государь отстоял свой трон; в минуту решительную увидели, что он имеет и ум, и твёрдость, и неустрашимость. Отечество вдруг познакомилось с ним, и надежда на него родилась посреди опасности, устранённой ейго духом. Такое начало обещает много. Теперь он может утвердиться в любви народной. На него полагаются, его уважают. Он может твёрдою рукою схватиться за то сокровище, которое Промысл открыл ему в минуту роковую; он может им завладеть на всю жизнь, на утверждение трона, для блага России. Будем надеяться лучшего»32.

Всю ночь войска провели под ружьём, «чтобы лишить злонамеренных возможности возобновить свои покушения в ночное время»33. «До рассвета, — вспоминает Бенкендорф, — ко мне привели свыше шестисот пленных, в основном солдат лейб-гвардии Гренадерского полка, и нескольких офицеров, среди которых был князь Оболенский, нанёсший удар штыком бедному Милорадовичу». В прихожую штабквартиры Бенкендорфа было принесено взятое у мятежников знамя лейб-гвардии Московского полка, с которым Щепин-Ростовский выводил солдат на площадь34. Это было то знамя, вокруг которого утром пролилась первая, а вечером последняя кровь 14 декабря …

Петербург полностью переменился: пешие и конные патрули на пустынных улицах, пушки на мостах, костры и биваки на площадях…

Наступивший день 15 декабря оказался не менее решающим для судьбы царствования, чем предыдущий. Бенкендорф уже утром заметил явно недоброжелательное отношение к себе и своим подчинённым со стороны населения — того самого, которое он спасал от наводнения и его последствий и от которого вправе был ждать уважения. «С первым мерцанием дня, — пишет Александр Христофорович в мемуарах, — народ начал сходиться в толпы и казался взволнованным при виде биваков и заряженных пушек. Наблюдательное положение и невежливость этих сборищ поразили меня; я подошёл к одной толпе и, увидев стоявшего в ней купца, которого знал как человека скромного и тихого, спросил его, по какому поводу этот народ, всегда кланявшийся мне дружески со времени наводнения 1824 года… теперь не хочет меня знать и даже как бы кичится передо мною. Купец отвечал с некоторым смущением, что он первый не знает сам, как ему смотреть на меня. „Вчера, — продолжал он, — вы дрались и сегодня, кажется, снова хотите начать бой; вы присягнули

Николаю Павловичу и преследовали солдат, оставшихся верными нашему государю; что ж нам обо всём этом думать и что с нами будет?“»35. Все симпатии толпы к восставшим стали понятны — причиной тому было отсутствие достоверной информации о происходившей смене верховной власти.

Действительно, информационная борьба к 14 декабря была выиграна противниками Николая. Их идеи были просты и понятны: законный царь — Константин, ему все присягали. Кто будет так неожиданно требовать престола при живом царе? Самозванец. Почему? Потому что прежний обещал волю народу и послабления солдатам. Если бы Константин сам отдал корону, он бы приехал в Петербург. Если его здесь нет — значит, он схвачен и спрятан от народа в тюрьму.

Достоверной информации не было, а городские слухи, усиленно распространявшиеся заговорщиками, материализовались в бунтующих солдат и летящие из толпы камни и поленья.

Напротив, городские власти допустили немало «погрешностей и оплошностей», которые только способствовали распространению выгодных заговорщикам слухов. «Так, например, духовное начальство распорядилось, чтобы во всех церквах на ектеньях за обеднею 14 декабря возглашено было уже имя государя императора Николая Павловича; но самый манифест с приложениями велено прочесть только после обедни, перед молебном. С другой стороны, упущено было заблаговременно выпустить и рассыпать в народе достаточное число печатных экземпляров манифеста, которым объяснялось всё дело, а на улицах частные разносчики везде продавали экземпляры новой присяги без манифеста, то есть без ключа к ней. Манифест нигде почти и достать нельзя было, особенно с тех пор, как мятежники загородили здание Сената, в котором помещалась и типография его с книжною лавкою»36.

Таким образом, для населения Васильевского острова события 14 декабря представлялись в зеркальном отражении действительно произошедшему: самозванец Николай поднял бунт, опираясь на гвардию, и подавил сопротивление немногих «верных истинному государю». Так в столице уже бывало, и не раз. Ещё оставались живые свидетели «революции 1762 года».

К счастью, в те времена люди искренне верили печатному слову. Когда Бенкендорф понял, что манифест, «ключ к присяге», неведом петербургским обывателям, он тут же написал Николаю I «обо всём виденном и слышанном», умоляя срочно разослать по всему городу, в том числе прислать на Васильевский достаточное число экземпляров этого крайне важного документа. Вскоре

«ходатайство было исполнено», и Бенкендорф с присланными ему официальными бумагами в руках (завещание императора Александра, отречение великого князя Константина и манифест нового государя) «смело вошёл в толпу, всё более возраставшую», и повёл всех в ближайшую церковь, где велел священнику читать народу акты «сколь можно громче и внятнее, с повторением тех мест, которые кто-нибудь не поймёт». Выйдя из церкви, Бенкендорф раздавал оставшиеся экземпляры тем, кто не попал внутрь. «Едва манифест с приложением был зачитан, как на всех лицах засияла радость и в народные массы возвратилось совершенное спокойствие»37. Для Бенкендорфа это был важный опыт: он осознал, насколько важно общественное мнение и как сильно оно зависит от предоставляемой информации.

Утром 15 декабря порядок в городе был восстановлен. Николай отправился объезжать войска, расквартированные на улицах и площадях, и благодарил всех за усердие, верность и отличную дисциплину. «Никогда я не видел, — писал Бенкендорф Воронцову, — чтобы кого-нибудь встречали так, как 15-го утром приняли императора войска, которые провели ночь на биваке на ужасающем холоде и ветру». На его появление реагировали «восторженными криками веселья и восхищения». Убедившись в преданности войск и тишине в городе, Николай приказал вернуть части в казармы, в тепло. «С этого дня, — вспоминает Бенкендорф, — в городе восстановилось спокойствие и обычное течение жизни, как если бы оно ничем и не было нарушено».

Внешне так и было.

В письме же Бенкендорфа Воронцову вслед за описанием событий 14 декабря звучит печальное признание человека, слишком много пережившего и перестрадавшего в эти бурные дни: «Сердце мое устало, и силы мои истощились…»

Следователь

«…Руку мою отпустили, я остановился, и с меня сняли платок.

Я стоял посреди комнаты, в шагах 10 от меня стоял стол, покрытый красным сукном. На крайнем конце его сидел председатель следственной комиссии Татищев, рядом с ним великий князь Михаил Павлович; сбоку от Татищева сидели князь Голицын (Александр Николаевич) и Дибич; третий стул был порожний (Левашова), четвёртое место занимал Чернышёв. По другую сторону стола около великого князя сидел Голенищев-Кутузов, потом Бенкендорф, Потапов и полковник флигель-адъютант Адлерберг, который, не будучи членом комиссии, записывал всё сколько-нибудь важное, чтобы тотчас доставлять императору сведения о ходе дела. Когда сняли с меня платок, с минуту во всей комнате продолжалось молчание. Наконец, Чернышёв махнул мне пальцем и весьма торжественным голосом сказал: „Приближьтесь“»38.

Так обычно начинались заседания следственной комиссии, официально названной «Тайным комитетом для изыскания соучастников злоумышленного общества», список членов которого был готов у Николая уже 15 декабря. Впрочем, меньше чем через месяц комитет потерял определение «тайный»: император решил сделать расследование гласным. В конце января читающая публика знакомилась с первым «обозрением», сообщавшим подробности о заговоре на основании материалов, «почерпнутых из допросов и признаний самих виновных». Бенкендорф специально отметил в воспоминаниях всю важность «совершенной гласности всех распоряжений правительства», в том числе «самых строгих приказаний о хорошем содержании и охранении здоровья арестованных» и «неусыпном старании тотчас освобождать тех немногих, которые были задержаны по ошибке или которых вина оказывалась слишком маловажной». Таким образом, новый монарх «польстил общественному самолюбию, отдавая, так сказать, публичный отчёт в своих действиях»39.

«Приказания о хорошем содержании и охранении здоровья арестованных» не были пропагандистским трюком. Князь Оболенский, судя по воспоминаниям барона Розена, «пополнел в крепости и получил розовые щёки от здоровья»40; отставной подполковник Поджио жаловался, что ему в камере к обеду со щами, кашей и телятиной подали чёрный «солдатский» хлеб, а не приличествующую дворянину булку (её подавали на полдник)41;

майору Лореру его сердобольный страж корзинами носил в каземат апельсины42.

А. О. Смирнова-Россет вспоминает, что во время следствия, когда «заговорщики сидели в казематах, …Нева была покрыта лодками, родные подъезжали, отдавали им записки и разную провизию, на это добрый Бенкендорф смотрел сквозь пальцы и великий князь Михаил Павлович тоже»43.

Следственный комитет работал ровно полгода, с 17 декабря по 17 июня, и провёл 146 заседаний. Первые полтора месяца его деятельности были самыми интенсивными: до 6 февраля заседания проходили ежедневно, с шести вечера до полуночи, а то и до часу ночи. Нужно было удостовериться, что главная опасность миновала, поэтому работали и в Рождество, и в Новый год. Да и в дальнейшем перерывы на деньдва были связаны только с такими серьёзными обстоятельствами, как погребение императора Александра, празднование Пасхи и разлив Невы44.

«Мы немедленно приступили к нашим занятиям, — пишет Бенкендорф, — со всем усердием и жаром, каких требовало дело, тесно связанное с политическим существованием империи и с безопасностью каждого из её подданных. Ни один из соумышленников, указанных их признаниями, не укрылся от бдительности правительства. Все были забраны и представлены в следственную комиссию»45.

При этом члены следственного комитета весьма щепетильно относились к проведению арестов. Великий князь Михаил Павлович часто говорил: «Тяжела обязанность вырвать из семейства и виновного, но запереть в крепость невинного — это убийство». Председатель комитета военный министр Татищев при подписании новых бумаг об арестах выговаривал делопроизводителю Боровкову: «Смотри, брат, на твоей душе грех, если прихватим напрасно»46.

Впрочем, были и такие, кто просился в крепость сам. В первые же дни заседаний комитета некто Лешевич-Бородулич предложил «заключить его в то место, где содержится Николай Бестужев», дабы обратить оступившегося «на путь истины», сколько бы времени для этого ни понадобилось. Комитет отказал: поскольку «для увещания мятежников по высочайшему соизволению назначен священник, то не только нет надобности, но и неприлично допускать к сему людей посторонних»47.

Первые, организационные заседания проходили в Зимнем дворце («в комнате подле залы казачьего пикета»), но «требовать мятежников в самый комитет, помещённый во дворце», и к тому же возить подследственных по городу было признано «неудобным». Следствие переместилось в дом коменданта

Петропавловский крепости, и там с 23 декабря начались допросы.

Вначале был вызван несостоявшийся диктатор С. П. Трубецкой. Он первым увидел и запомнил картину заседания комитета (она с вариациями повторится во многих мемуарах декабристов):

«…Войдя в комнату, я нашёл сидящих за столом: в голове — военного министра Татищева, по правую его руку — вел. кн. Михаила Павловича, по левую — кн. А. Н. Голицына, возле них генерал-адъютантов ГоленищеваКутузова, Бенкендорфа, Левашова, флигель-адъютанта полковника Адлерберга и чиновника 5-го класса Боровкова. Начались вопросы о 14-м числе, о цели и о средствах достижения цели его»48. Сперва Трубецкого взяла оторопь, даже испуг. «На меня взирали как на ожесточённого в сердце преступника, как на злобного какого изверга — так он сам признавался министру Татищеву. — Я видел, что мне ни в чём не хотят верить, и казалось мне, что единственно ищут уловить меня в чём-либо для большего посрамления… Я вышел из присутствия вашего с единственным желанием, чтобы Господь Бог… скорее прекратил тягостную жизнь мою»49. Но всё изменилось уже через день. «Какая проникла радость во глубину души моей, — признаётся Трубецкой в том же письме, — когда я вчерашним вечером увидел сожаление, напёчатлённое на лицах всех господ, пред коих я предстать был должен; когда я увидел малейшую надежду, что ожидают от меня хотя какой-нибудь истины, что не ищут единственно посрамления моего и что мне не прегражден путь говорить истину. Тогда… я пришёл в радостной восторг, ибо увидел, что могу исполнить беспрепятственно единственное желание, которое имел и о возможности исполнения коего терял вовсе надежду: это желание явить, сколько в силе моей есть, Его Императорскому Величеству, что я вполне чувствую всю цену его неизречённо милосердного и благодетельного с недостойным высочайшего внимания его преступником обхождения»50. В чём же было выражено «милосердное внимание» монарха? Бенкендорф пишет, что арестованный «на коленях умолял государя не лишать его жизни» и Николай это ему пообещал51.

В собственных мемуарах Трубецкой рассказывал, с каким достоинством вёл он себя перед лицом следователей. А документы фиксируют: уже 27 декабря к его показаниям были приложены «история общества, различных его отраслей и список членов». В списке фигурировало шесть десятков имён с прибавлением: «Кого не помню, должен знать Пущин». Но и без свидетельства Пущина, и без имён, добавленных позже, Трубецким было названо почти в полтора раза больше

бунтовщиков, чем в самом богатом на имена доносе (Майбороды).

Комитет немедленно постановил проверить эти сведения и немедленно «взять и представить» кого следовало. «Во уважение полного и чистосердечного показания князя Трубецкого насчёт состава и цели общества» ему была оказана милость — дано позволение «весть переписку с его женою»52. Даже более чем благожелательный к декабристам историк М. Н. Покровский признавал, что. «весь основной список заговорщиков был составлен по показаниям Трубецкого»; стало быть, и аресты шли по наводке недавнего «диктатора». Добавим, что не без помощи другого видного руководителя Северного общества, Рылеева: это он, опережая всех, уже вечером 14 декабря указал на Трубецкого, который многое «может пояснить и назвать главных»53. В первые пять дней после Рождества, с 25 по 30 декабря, были арестованы 64 человека.

Александр Одоевский*, который накануне восстания «с пылкостию юноши твердил только: „Умрём! Ах, как славно мы умрём“»54, под следствием торопился рассказать обо всём и обо всех. Вот что писал он Николаю I: «Чем более думаешь об этих злодеяниях, тем более желаешь, чтобы корень зла был совершенно исторгнут из России… Желание же каждого подданного, который имеет совесть, споспешествовать, по возможности, сему священному делу… Итак, я помолился Богу от всего сердца, спросился у моей совести, и поверг к всеавгустейшим стопам милосердного моего государя участь сих людей, Пестеля и сообщников». А когда следствие оставляло Одоевского в покое, он сам напоминал о своей готовности сотрудничать: «Допустите меня сегодня в комитет, ваше высокопревосходительство! Дело закипит. Душа моя молода, доверчива… Она порывается к вам. Я жду с нетерпением минуты явиться перед вами. Я надумался; всё в уме собрал. Вы найдёте корень. Дело закипит. <…> Я наведу на корень: это мне приятно». И ещё раз: «Если когда будет свободная минута, то прикажите опять мне явиться. Я донесу вам систематически: 1-ое о известных мне выбывших членах; 2-ое о тех, коих подозреваю в большом их круге; 3-е о принадлежащих ко 2-й армии; 4-ое разберу по полкам: ни одного не утаю из мне известных, даже таких назову, которых ни Рылеев, ни Бестужев не могут знать»55. После такого рвения несколько иначе воспринимаются его хрестоматийные строки: «Своей судьбой гордимся мы» и «В душе смеёмся над царями».

Параллельно с разгребанием потока признаний комитет работает и над освобождением оговорённых. Ведь сам Николай утверждал: «Мы арестуем не в поисках жертв, но чтобы дать

оправдаться оклеветанным»56. Делопроизводитель Боровков то и дело фиксирует в журнале заседаний заключения, подобные нижеприведённым:

«Допрос гвардейской Фурштатской бригады 3-го баталиона рядового Фёдора Федощука, взятого по подозрению, что он на Сенной площади подслушивал разговоры крестьян, и рапорт генерал-адъютанта Нейдгарта, что Федощук поведения отличного и по службе несёт звание старшего ротного ефрейтора. Положили: как Федощук не только не уличён в том, чтобы участвовал в возмущении, но даже и к делу сему нимало не прикосновен, то об освобождении его из-под ареста испросить высочайшее соизволение».

«Военный министр объявил: а) Северского конно-егерского полка майор Гофман прощён, и высочайше повелено причислить его, Гофмана, к учебному кавалерийскому эскадрону…

…Полковника Глинку освободить, и бумаги его, если в них ничего не найдётся подозрительного, ему возвратить. Положили: как в бумагах его ничего подозрительного не найдено, то о возвращении оных представить Его Императорскому Величеству»57.

Отпуская Глинку, Николай Павлович сказал: «Не морщиться и не сердиться, господин Глинка! Ныне такие несчастные обстоятельства, что мы против воли принуждены иногда тревожить и честных людей… Скажите всем вашим друзьям, что обещания, которые я дал в манифесте, положили резкую черту между подозрениями и истиной, между желанием лучшего и бешеным стремлением к перевороту; что обещания эти написаны не только на бумаге, но и в сердце моём. Ступайте, вы чисты, совершенно чисты!»58

Прощённые и оправданные возвращаются домой, подозреваемых конвоируют в комитет, и снова начинается:

«…Меня ввели в ярко освещённую комнату. За длинным столом мне представились 20 фигур генералитета в лентах, звёздах, строгих, мрачных, подобно рыцарям XV века на тайном судилище, подобном венецианскому „совету десяти“, инквизиционному заседанию. <…>

Я обвёл собрание взглядом и поклонился. Вот в каком порядке они сидели: председателем был Татищев, по правую сторону великий князь Михаил Павлович, потом Кутузов, Левашов, Потапов, Бенкендорф. По левую сторону [от] председателя — А. Н. Голицын в Андреевской ленте, потом пустое место, на котором иногда сидел, как я заметил впоследствии на допросах, Дибич, потом — не помню, и Адлерберг, тогда флигель-адъютант. На конце стола, чтоб ближе быть к подсудимым,

Чернышёв…

Вскоре он начал мне делать обычные вопросы: кто был основатель нашего общества, с которого года оно образовалось и существует и проч. Это продолжалось с четверть часа. Чернышёв позвонил, и меня повели обратно. У крыльца комендантского дома не видно было ни одного экипажа господ судей, а впоследствии я узнал, что их прятали обыкновенно на внутреннем дворе, чтоб кучера не могли видеть, кого водят к допросу»59.

В присутствии всех членов комитета допросы шли чересчур сбивчиво, даже сумбурно. Поэтому 9 января было принято решение: «1) Произведение допросов поручить господам членам комитета генерал-адъютантам Чернышёву и Бенкендорфу, придав им флигель-адьютанта полковника Адлерберга с чиновниками… Разделение между ними занятий зависит от самих господ Чернышёва и Бенкендорфа»60.

Два назначенных дознавателя представляли собой образец впоследствии ставшего классическим приёма «злого и доброго следователей». Воплощением зла декабристам представлялся Чернышёв. А. В. Поджио восклицал: «Чернышёв!! Достаточно одного этого имени, чтобы обесславить, опозорить всё это следственное дело! Один он его и вёл, и направлял, и усложнял, и растягивал, насколько его скверной злобной душе было угодно! Нет хитрости, нет коварства, нет самой утончённой подлости, прикрытой маскою то поддельного участия, то грозного усугубления участи, которых бы не употреблял без устали этот непрестанный деятель для достижения своей цели… Он знал, что только с нашей погибелью он и мог упрочить свою задуманную им будущность»61.

Контрастом, даже противовесом Чернышёву во многих мемуарах выступает Бенкендорф. Майор Н. И. Лорер вспоминал, как на одном из заседаний следственного комитета Чернышёв, не получив ожидаемых ответов на свои вопросы, «сердился», а председатель Татищев, «тучный после роскошного стола, едва шевеля губами», философствовал: «Сознайтесь, что вы всё это почерпнули из вредных книг… а я, вот видите, во всю свою жизнь ничего больше не читал, как святцы, зато ношу три звезды». При этом «Бенкендорф вёл себя благороднее всех; бывало, при подобной глупости потупит глаза и молчит, а когда Чернышёв начнёт стращать, кричать, то даже часто его останавливал, говоря: „Да дайте ему образумиться, подумать“»62.

О похожей ситуации рассказал поручик Николай Цебриков: «Меня… потребовали к коменданту и ввели в комнату для очных ставок, где сидели два генерал-адъютанта: Бенкендорф и

Чернышёв. Первый был очень тих со мной, а последний как змия: так бы, кажется, и бросился на меня. <…> Чернышёв видел во мне человека, ускользающего от наказания, которое он заготовил каждому, и при замечании ему, мною сделанном… вдруг… разразился бранью на меня, что из меня следовало бы жилы тянуть. Конечно, опять мне оставалось молчать… На лице же Бенкендорфа я заметил, что он не разделял с Чернышёвым подобного мнения мои жилы тянуть, — и Бенкендорф во всё время очных ставок со мною молчал, а Чернышёв продолжал шипеть!!!»63

Ещё одно свидетельство в пользу нашего героя оставил подследственный в «густых эполетах», генерал М. А. Фонвизин: «Из членов тайной следственной комиссии всех пристрастнее и недобросовестнее поступал бывший после военным министром кн. Чернышёв: допрашивая подсудимых, он приходил в яростное исступление, осыпал их самыми пошлыми ругательствами — словом, действовал, как известный английский судья Жефрис в политических процессах при Карле II и Якове II, и которого так драматически представил Вальтер Скотт в одном из своих романов. Пристойнее вели себя князь Александр Николаевич Голицын и генераладъютант граф Бенкендорф, у которых вырывалось сердечное сочувствие и сострадание к узникам»64.

Сдержанность Бенкендорфа трудно принять за мягкость: он также выговаривал, например, Пущину, начавшему дерзить сидящим перед ним генералам: «Вы не должны забывать, что говорите в присутствии лиц, облечённых властию от государя, и что за выражения ваши можете пострадать»65.

Но тем не менее именно к этому члену комитета подследственные зачастую испытывали наибольшее расположение. Отрицавший на первых допросах свою осведомлённость о тайном обществе поручик Искрицкий именно под влиянием беседы с Бенкендорфом, чьи слова подали ему «тень надежды», выразил «чистосердечное раскаяние» и согласился давать показания6. У Трубецкого после разговора с Бенкендорфом появилась надежда: неужели его «и всех задержанных выпустят по окончании следствия? Всех восстановят в прежних званиях и достоинствах?»67.

Гвардии поручик Гангеблов, общавшийся с Бенкендорфом один на один, отмечал, что генерал действовал на него «успокоительно»: «В тихой, кроткой речи он меня убеждал покориться необходимости; говорил, что после того как государь лично удостоверился в моём, конечно, необдуманном проступке, всякая неискренность ни к чему уже не поведёт, кроме как к затягиванию дела, с которым государь желает покончить до

коронации; что лишь несколько главных виновников (при этом он окинул глазами залу, как бы украдкой) не могут, конечно, не подвергнуться должной каре, но что прочие будут помилованы»68. Мичман Беляев, чуть более года назад спасавший вместе с Александром Христофоровичем людей во время наводнения, был принят им с особенным участием. «Ты знаешь, — говорил Бенкендорф, — сколько я тебе обязан: ты для меня как сын родной, и уж, конечно, я тебе не посоветую ничего такого, что могло бы тебе повредить или уронить тебя с какой бы то ни было стороны»69.

Каковы были советы, дававшиеся Бенкендорфом подследственным, можно узнать из воспоминаний И. Анненкова: «Вы знаете, государь милосерден. Сознайтесь чистосердечно, ведь ваша вина незначительна. Есть государственные люди, замешанные в этой истории, но вы ничего ведь не можете изменить. Вашей смерти не нужно, будьте только откровенны. Если вы во всём сознаетесь и раскаетесь, то самое большое наказание — вас разжалуют в солдаты и сошлют на Кавказ. Теперь начинается персидская война, первое дело — и вы офицер, а там можно служить или выйти в отставку, это — ваше дело. Не сознаетесь — вас оставят в крепости, вы имеете теперь понятие о ней, ведь это живая могила»70.

Однако реакция Анненкова была не такой, как у Беляева. Мичман «вышел из… аудиенции ободрённым такими a la bon papa (добрыми, как бы отеческими. — Д. О.) советами». Он пережил Бенкендорфа на 20 лет, выслужил, как ему и обещали, свободу через боевую службу на Кавказе и в конце николаевского царствования ходил на собственном пароходе в частные рейсы от Рыбинска до Астрахани. А кавалергард-поручик пришёл от подобного предложения в ужас, «подвергнулся внутренней борьбе» и «отвечал на все вопросы Бенкендорфа „не знаю“».

«Тот не верил и продолжал настаивать.

— Вы сами себе вредите, — заговорил он опять, — я понимаю, что теперь вы не хотите сознаться в том, что говорили за бокалом шампанского, но вы напрасно упорствуете, вас ожидает крепость, будьте лучше откровенны.

— Да я готов, но положительно ничего не знаю.

— Государь милостив, и, если вы сознаетесь, он вас простит, иначе…

Понятно, что в эту минуту нервы у меня были сильно расшатаны всем пережитым, крепость стояла перед глазами, как фантом. Несмотря на всю твёрдость моего характера, я настолько был потрясён, что, наконец, почти машинально выговорил, что действительно слышал о цареубийстве. Тогда Бенкендорф тотчас

же велел подать мне бумагу, и я так же машинально подписал её»71.

Когда В. И. Штейнгейль представил комитету слишком резкие показания, задевавшие честь императора Николая Павловича, Бенкендорф переждал взрыв всеобщего возмущения и «кротко» предложил: «Вы можете это переменить, ведь нам надобно это присовокупить к делу… мы пришлём вам переписанные вопросы, напишите те же ответы, выпустив всё оскорбительное»72. Так и было сделано, и Штейнгейль избежал дополнительных обвинений в «оскорблении величества».

В целом, по замечанию того же Гангеблова, «два главные и едва ли не единственные деятеля во всех отношениях были на высоте своей задачи, чтоб импонировать, с одной стороны, убеждением, а с другой — угрозой. Бенкендорф, своим кротким участием, едва ли выпустил из своих рук кого-либо из допрошенных им более или менее успокоенным и обнадёженным; тогда как Чернышёву, с его резким, как удар молота, словом, с его демонским взглядом, запугиванье давалось легко»73.

В современном исследовании О. В. Эдельман разница в методах действий двух дознавателей получила численное выражение. Каждый «вёл» свою группу подследственных (Бенкендорф — в основном членов Северного общества, Чернышёв — Южного). Среди подопечных Бенкендорфа оказалось заметно больше освобождённых с оправдательными приговорами (24 из 89 против 11 из 100 у Чернышёва) и заметно меньше приговорённых к каторге (менее трети, тогда как у Чернышёва — больше половины). Из пяти казнённых декабристов подследственными Чернышёва были трое74.

Но до суда было ещё далеко. Пока же продолжались допросы.

Комитет решал задачу, поставленную императором: «… Разыскивать подстрекателей и руководителей… Никаких остановок до тех пор, пока не будет найдена исходная точка всех этих происков»75. В определении «исходной точки» следствие дошло до вопроса о причастности к заговору некоторых высших сановников империи. Осторожно, «уклоняясь высказать явное подозрение», дознание выясняло, имеют ли отношение к заговорщикам наместник Кавказа А. И. Ермолов, председатель Государственного совета Н. Д. Мордвинов, сенатор Д. О. Баранов, начальник штаба 2-й армии П. Д. Киселёв… Самое, пожалуй, громкое имя в этом ряду — М. М. Сперанский. Комитет обратил на него внимание с первых же дней следствия. Сначала подпоручик Андреев признался на предварительном допросе 15 декабря: «Надежда общества была основана на пособии Совета и Сената, и мне называли членов первого — господ Мордвинова и

Сперанского, готовых воспользоваться случаем, буде мы оный изыщем. Господин же Рылеев уверял меня, что сии государственные члены извещены о нашем обществе и намерении и оное одабривают»76. Затем имя Сперанского появляется в показаниях Рылеева, Трубецкого, Каховского.

Когда Каховский доказывал «необходимость иметь в Обществе для доверия известных людей», Рылеев якобы отвечал: «Успокойся, пожалуйста, у нас есть люди и в Сенате, и в Государственном совете. Я тебе скажу, но прошу молчать и никому не говорить, Ермолов и Сперанский наши»77.

Ситуация усугубилась после допроса поручика Сутгофа, «который, между прочим, показал, будто Каховский сказал ему, что Батеньков связывает общество со Сперанским и что генерал Ермолов знает об обществе»78. Положение Сперанского становилось всё более шатким. Николай, хотя и с большим сожалением, признался в те дни Карамзину: «Сперанского не сегодня, так завтра, может быть, придётся отправить в Петропавловскую крепость»79.

В близком к Сперанскому подполковнике Батенькове подозревали «связного» между тайным обществом и знаменитым реформатором Александровской эпохи. Однако Батеньков спас своего покровителя, прокомментировав предположения следствия так: «Чтобы я связывал общество с господином Сперанским и чтоб оно было с ним чрез меня в сношении — сие есть такая клевета, к которой ни малейшего повода и придумать я не могу… С г. Сперанским, как с начальником моим и благодетелем, я никогда не осмеливался рассуждать ни о чём, выходящем из круга служебных или семейных дел… сам об нём говорил весьма редко, всегда с уважением, и решительно могу утверждать, что ни малейшего не подал повода даже надеяться и сам никогда не думал, чтоб о существовании какого-либо тайного общества можно было ненаказанно довести до его сведения»80.

В конце концов оказалось, что «предположение о тайном советнике Сперанском, который будто не отказался бы занять место во временном правительстве, основывал Рылеев на любви Сперанского к отечеству и на словах Батенькова, сказавшего однажды Рылееву: „Во временное правительство надобно назначить людей известных“»81. Точно так же известие о том, что «Ермолов знает о тайном обществе», родилось из фразы, переданной Каховскому Рылеевым: якобы Никита Муравьёв слышал, будто «проконсул Кавказа» однажды сказал своему адъютанту Граббе: «Оставь вздор; государь знает о вашем обществе»82.

Тем не менее дело было выделено в специальное секретное

производство и заниматься им было поручено А. Х. Бенкендорфу.

Как отмечал в своих записках А. Д. Боровков, «изыскание» об отношении членов Государственного совета графа Мордвинова, Сперанского и Киселёва, а также сенатора Баранова «к злоумышленному сообществу» производилось «с такою тайною, что даже чиновники комитета не знали»; Боровков «собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело»83. Из гласных отчётов о ходе следствия любые намёки на высших чиновников исключались, а материалы секретного следствия до нашего времени не дошли. Известен — да и то в субъективном изложении одной из сторон — лишь «секретный» диалог Бенкендорфа с Трубецким. Он показателен с точки зрения методов, применявшихся комитетом для выяснения наиболее щекотливых вопросов следствия. Посмотрим, насколько далеки они от сдавливания головы обручами или пытки бессонницей…

«…28 марта, после обеда, отворяют дверь моего номера, и входит генерал-адъютант Бенкендорф, высылает офицера и после незначащих замечаний о сырости моего жилища садится на стул и просит меня сесть. Я сел на кровать.

Он: Я пришёл к вам от имени Его Величества. Вы должны представить себе, что говорите с самим императором, в этом случае я только необходимый посредник. Очень естественно, что император сам не может же прийти сюда; вас позвать к себе — для него было бы неприлично; следовательно, между вами и им необходим посредник. Разговор наш останется тайною для всего света, как будто бы он происходил между вами и самим государем. Его Величество очень снисходителен к вам и ожидает от вас доказательства вашей благодарности.

Я: Генерал, я очень благодарен Его Величеству за его снисходительность, и вот доказательство её (показывая на кипу писем жениных, лежавшую у меня на столе и которые я получал ежедневно).

Он: …Дело не в том. Помните, что вы находитесь между жизнью и смертью…

Я: Я знаю, генерал, что нахожусь ближе к последней.

Он: Хорошо. Вы не знаете, что государь делает для вас. Можно быть добрым, можно быть милосердным, но всему есть границы. Закон предоставляет императору неограниченную власть, однако есть вещи, которых ему не следовало бы делать, и я осмеливаюсь сказать, что он превышает своё право, милуя вас. Но нужно, чтоб и со своей стороны вы ему доказали свою благодарность. Опять повторяю вам, что всё сообщённое вами будет известно одному тоЛько государю, я только посредник,

через которого ваши слова передаются ему.

Я: Я уже сказал, генерал, что очень благодарен государю за позволение переписываться с моей женой. Мне бы очень хотелось знать, каким образом я могу показать свою признательность.

Он: Государь хочет знать, в чём состояли ваши сношения с М. С[перанским].

Я: У меня не было с М. С. особенных сношений.

Он: Позвольте, я должен вам сказать от имени Его Величества, что всё сообщённое вами о М. С. останется тайной между им и вами. Ваше показание не повредит М. С., он выше этого. Он необходим, но государь хочет только знать, до какой степени он может доверять М. С.

Я: Генерал, я ничего не могу вам сообщить особенного о моих отношениях к М. С., кроме обыкновенных светских отношений.

Он: Но вы рассказывали кому-то о вашем разговоре с М. С. Вы даже советовались с ним о будущей конституции России.

Я: Это несправедливо, генерал, Его Величество ввели в заблуждение.

Он: Я опять должен вам напомнить, что вам нечего бояться за М. С. Сам государь уверяет вас в этом, а вы обязаны ему большою благодарностью, вы не можете себе представить, что он делает для вас. Опять говорю вам, что он преступает относительно вас все божеские и человеческие законы. Государь хочет, чтоб вы вашей откровенностью доказали ему свою признательность.

Я: Мне бы очень хотелось доказать свою признательность всем, что только находится в моей власти, но не могу же я клеветать на кого бы то ни было; не могу же я говорить то, чего никогда не случалось. Государь не может надеяться, чтоб я выдумал разговор, которого вовсе не происходило. Да если бы я и был достаточно слаб для этого, надо ещё доказать, что я именно имел этот разговор.

Он: Да, вы рассказали кому-то о нём.

Я: Нет, генерал, я не мог рассказывать разговор, которого не было.

Он: Государь знает, что вы рассказывали его одному лицу, и он узнал о нём именно от этого лица.

Я: Могу вас уверить, генерал, что это лицо солгало государю.

Он: Берегитесь, князь Трубецкой, вы знаете, что вы находитесь между жизнью и смертью.

Я: Знаю, но не могу же я сказать ложь, и я должен повторить вам, что лицо, имевшее дерзость сообщить государю о каком-то разговоре моём с М. С., солгало, и я докажу это на очной ставке. Пусть государь сведёт меня с этим лицом, и я докажу, что оно солгало.

Он: Это невозможно, вам нельзя дать очную ставку с этим лицом.

Я: Назовите мне его, и я докажу, что оно солгало.

Он: Я не могу никого называть, вспомните сами.

Я: Совершенно невозможно, генерал, вспомнить о разговоре, которого никогда не было.

В этом роде разговор продолжался ещё долгое время, сначала по-французски, потом по-русски. Ген. Бенкендорф стараясь меня уговорить рассказать мой разговор со Сперанским, а я — требуя очной ставки с доносчиком.

Наконец он ушёл, потребовав от меня сей же час, чтоб я написал к нему всё, что знаю о Сперанском, и сказав мне, что он будет ожидать моего письма в крепости. По уходе его от меня я думал, что напишу; наконец решился написать разговор о Сперанском, Магницком и Баранове, который был у меня с Батеньковым и Рылеевым, и, запечатав, отправил тут же в собственные руки Бенкендорфа»84.

Письмо Трубецкого не сохранилось. Судя по всему, оно содержало уже известную информацию о разговоре, в котором Рылеев и Трубецкой считали необходимым «принудить Сенат назначить Временную правительственную думу». Трубецкой предлагал сообщникам постараться, чтобы в это временное правительство «попали люди, уважаемые в России, как например: Мордвинов или Сперанский», — об этом сообщал следственному комитету Рылеев, добавляя: «Чтобы Мордвинов или Сперанский принадлежали какому-либо обществу тайному, того он не говорил, и я о том поистине не знаю и, чтобы это могло быть, не думаю»85.

Много позже секретарь Сперанского К. Г. Репинский сделал для своего начальника выписку из негласного приложения к докладу следственной комиссии императору. Выписка содержала вопрос: «Не были ль с ними (членами тайного общества. — Д. О.) в сообщничестве люди, значительные по сану своему или местам, ими в государстве занимаемым?» — и отрицательный ответ на него86. Бенкендорф выполнил свою работу тщательно и ответственно: подозрения с наиболее либеральных деятелей николаевского царствования были сняты. Следствие занялось теми, кто на самом деле оказался мозговым центром заговора.

«Наше дело подвигается, — сообщал Николай I брату Константину, — и чем дальше оно идёт впЬрёд, тем больше ужасов открывается нашим глазам. Нужно самому всё видеть и слышать из собственных уст этих чудовищ, чтобы поверить всем этим ужасам»87.

Императрица Мария Фёдоровна записывала в дневник

поразившие её откровения, зафиксированные следственным комитетом:

«16 марта. Вторник. Князь Голицын, Михаил, Бенкендорф, Николай рассказывали мне вчера, что на вчерашнем допросе Вадковский сообщил, что если бы тот, кто принял его в это общество, потребовал от него, чтобы он убил отца, мать, брата и сестру, то он бы выполнил это; его принял Пестель. Это заставляет содрогаться!

17 марта. Среда. …Николай рассказывал нам, что Каховский, который содержится в крепости, сознался, что 13-го вечером Рылеев побуждал его отправиться на другой день во дворец в форме гренадерского конвойного офицера, чтобы убить в коридоре Николая, и что для этого он должен был переодеться и надеть гренадерский мундир; он отказался и сказал им, что хотя они начали ранее его, но он хочет умереть с ними, и он действительно явился на площадь. Какой ужас! это заставляет содрогаться, тем более что, замышляя убийство, они говорили о нём со спокойствием и хладнокровием, на которые способны лишь развратные натуры!»88

Подобные записи — не выдумка и не преувеличение. Протоколы следствия сохранили материалы именно такого содержания. 23 февраля 1826 года комитет уточнил у прапорщика Вадковского, действительно ли он говорил графу Булгари, что состоит «в числе тех, которые должны были истребить всю царствующую фамилию и первый удар нанести государю во дворце на бале». Вадковский, при всех оговорках, согласился с тем, что «нередко говорил, что благу общества готов был жертвовать и самым своим семейством», и, «желая возродить в Булгари покорность к законам Общества… сказал ему, что готов был для блага Союза поднять руку на мать, на ближних, на самого государя»89. Задолго до народника С. Г. Нечаева декабрист Вадковский заявлял о том, что «надобно быть готову ко всему, отречься от друзей, от связей, от родителей даже, не отказаться пожертвовать и святейшими чувствами для цели общества!»90.

Популярный вузовский учебник истории уже второе десятилетие убеждает студентов: «Сила декабристов была… в неприменении силы»91. Но совсем иное слышал на допросах, а потом перечитывал и заверял своей подписью в протоколах Бенкендорф.

Из показаний Щепина-Ростовского, выводившего 14 декабря Московский полк:

«Вышедши из полкового двора на Фонтанку, заметили люди, что нет впереди знамени… я хотел их привести в повиновение и

видел: у знаменного унтер-офицера отымает знамя рядовой Андрей Красовский; я ткнул его саблею и ранил его, на что он сказал: „Ваше сиятельство, вы ошиблись; я за им[ператора] Константина“. Когда опять вторично двинулись в ворота полкового двора, чтобы выйти вон, встретился генерал-майор Фридрихе; который зачал что-то говорить; но сзади закричали несколько голосов: „Поди прочь, убьём“. Красовский в ту минуту сказал: „Ваше сиятельство, я за императора Константина и, хотя вы меня ранили, я иду умереть с вами“. Генерал-майор Фридрихе, продолжая говорить, подошёл к колонне; но в эту минуту, не упомню как, нанёс я ему рану. Потом показался Шеншин с полковником Хвощинским и атаковали меня. Будучи окружён солдатами и стремительным ударом на них они опрокинуты (так в тексте. — Д. О.). Ранен ли был Шеншин при сём случае или нет, того не помню. <…> Мне казалось, что Александра Бестужева, которой рубил полковника Хвощинского, сабля свистнула мимо меня и по генералу Шеншину, но так как генералу угодно сложить эту вину на меня, то и принимаю на себя, может быть, что и я его ранил, но лежащего его не заметил, и по ногам отнюдь не рубил… Я прошу у них возможного снисхождения, потому что, право, ничего лично не имел в рассуждении их превосходительств, чтобы их ранить, также и против Хвощинского, которого я тоже раз ударил по руке в пылу, не помня себя.

Штабс-капитан князь Щепин-Ростовский по сущей справедливости.

Заверено: Генерал-адъютант Бенкендорф»92.

Из показаний Поджио на очной ставке с Пестелем:

«В… сентябре 1824 года… Пестель, перешед к необходимости истребить всю императорскую фамилию, сказал: „Давайте считать жертвы“, и с словом сим сжал руку свою так, чтобы делать ужасный счёт сей по пальцам. Поджио начал… называть всех священных особ по именам, а Пестель считал их пальцами. Дойдя до женского пола, Пестель, остановившись, сказал: „Знаешь ли, что это дело ужасное?“, но в ту же минуту рука его опять была перед Поджио, и число жертв составилось тринадцать! После сего Поджио замолчал, а Пестель продолжал: „Так этому и конца не будет? Ибо тогда должно будет покуситься и на особ импёраторской фамилии, находящихся за границею“…

Полковник Пестель сознался, что с подполковником Поджио, действительно, жертвы из императорской фамилии считали…»93

Потрясённый складывавшейся картиной заговора, Николай сначала порывался немедленно расправиться с главными виновниками. 4 января он писал брату Константину в Варшаву: «Я

думаю покончить возможно скорее с теми из негодяев, которые не имеют никакого значения по признаниям, какие они могут сделать, но будучи первыми поднявшими руку на своё начальство, не могут быть помилованы… Я думаю, что их нужно попросту судить, притом только за самый поступок, полковым судом в 24 часа и казнить через людей того же полка»94.

В окружении Николая было немного людей, способных повлиять на решения императора; однако, согласно утверждению великого князя Николая Михайловича (историка, внука Николая Павловича), именно Бенкендорф «считался более самостоятельным и всё время старался смягчить государя»95.

Постепенно желание Николая тотчас покарать виновных уступило место стремлению провести максимально тщательное и объективное следствие, а затем устроить суд. Утверждать, будто Российская империя в то время обладала совершенной судебной системой, значило бы погрешить против истины; однако Николай попытался найти имевшемуся в его руках инструменту наиболее умелое применение. Ведь император мог, как отметил поручик Розен, просто составить из тех же членов следственного комитета военный трибунал и решить дело за сутки без помощи учёных законоведов. Просто вызвали бы военного аудитора, а он указал бы на статью воинского устава, по которой кадровые военные, вышедшие с оружием в руках против государственной власти, должны быть «аркебузированы», — и всё закончилось бы скорым расстрелом96. Вместо этого Николай провозгласил: «Закон изречёт кару». Император, как отмечает Бенкендорф, «желая дать этому делу полную законность и общественную гласность», повелел создать верховный суд, в который вошли «сенаторы, министры, члены Государственного совета и наиболее отличившиеся военные и гражданские лица, которые в это время находились в столице», — всего 72 человека. Это была вся правительственная верхушка по состоянию на 1826 год, за исключением — во избежание предвзятости — тех, кто вёл следствие! Разработкой важнейших документов судопроизводства занимался очищенный от подозрений Сперанский, один из наиболее либеральных деятелей эпохи и блестящий знаток законодательства.

По мнению Бенкендорфа, «никогда ещё суд не был столь представительным и независимым». Обвиняемым, одному за другим, были заданы вопросы, «не хотят ли они что-либо добавить в свою защиту, желают ли подать какую-либо жалобу на проведение следствия или не имеют ли возражений против того или иного члена комиссии». В ответ, как пишет Бенкендорф, «обвиняемые заявили, что использовали все способы оправдаться

и что им осталось только поблагодарить за предоставленную им свободу действий с целью защиты».

Законы того времени были суровы. «Военный кодекс, так же как и гражданские законы, предусматривал наказание смертной казнью», — напоминал Бенкендорф и тут же подчеркивал, что на этом фоне «желание судей, а также и императора заключалось в том, чтобы наказывать мягко, ведь все заслуживали смерти». Здесь мемуарист видит очевидное преимущество самодержавной власти, способной подняться над холодным бездушием буквы закона. «Император внимательно изучил приговор Верховного трибунала и изменил строгость законов: только пятеро были приговорены к повешению, другие — к пожизненной каторге, менее виновные — I? различным срокам каторжных работ, некоторые ссылались в Сибирь в качестве колонистов; самое слабое наказание было в виде нескольких лет или месяцев заключения в крепости». А Бенкендорф был сторонником ещё более милостивого обхождения с преступниками. А. О. Смирнова-Россет вспоминала, что он и великий князь Михаил Павлович выступали «совсем против смертной казни», и император был этому «только рад». Действительно, Михаил Павлович писал императору, например, по поводу В. К. Кюхельбекера: «…Я покорно и всенижайше прошу ему пощады, как истинную и особенную милость мне»97.

В мемуарах Смирновой-Россет упоминается широко растиражированная «история о платке». Очерки Сергея Волконского, советская беллетристика и, наконец, фильм «Звезда пленительного счастья» поддерживали неприятную для императора Николая легенду о его чуть ли не легкомысленном поведении в день казни пяти декабристов. Вот как выглядит она в пушкинском дневнике 1834 года:

«13 июля 1826 года, в полдень, государь находился в Царск[ом] Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собакуи платок и побежал во дворец; собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр[ейлина] подняла платок в память исторического дня»98. Получается, что Николай запросто забавлялся с собакой в этот тяжелейший день. Однако комментаторы давно отметили, что Пушкин позаимствовал эту историю у Смирновой-Россет, тогда как она, что совершенно ясно видно по её воспоминаниям, рассказывала совсем о другом событии.

«В тот день, — вспоминала Смирнова-Россет, — когда

произнесён был суд над обвинёнными… приехал князь Лопухин и прочёл государю весь лист осуждённых. Государь в тот день купал в канавке своего терьера и бросал ему платок. Камердинер пришёл ему сказать, что приехал князь Лопухин. Он сказал, что направится в свой кабинет, а за ним Гусар (кличка собаки. — Д. О.). Я взяла платок и сдуру отдала его камердинеру»99.

Таким образом, вся сцена происходила в день оглашения приговора над декабристами, а не приведения его в исполнение. Поэтическое воображение подсказало Пушкину хоть и не имевшую места в действительности, но зато очень выразительную сцену, которая пришлась по душе романистам и кинематографистам.

А как же на самом деле вёл себя Николай накануне и в день казни? Представление о том подавленном состоянии, в котором находилась тогда царская семья, даёт дневник императрицы Александры Фёдоровны. В воскресенье 12 июля, ночью, она записывает: «Сегодня канун ужасных казней. <…> Я бы хотела, чтобы эти ужасные два дня уже прошли… Это так тяжело. И я должна переживать подобные минуты… О, если б кто-нибудь знал, как колебался Николай! Я молюсь за спасение душ тех, кто будет повешен». На следующий день императрица продолжает: «Что это была за ночь! Мне всё время мерещились мертвецы. Я просыпалась от каждого шороха. В 7 часов Николая разбудили. Двумя письмами Кутузов и Дибич доносили, что всё прошло без какихлибо беспорядков; виновные вели себя трусливо и недостойно, солдаты же соблюдали тишину и порядок. Мой бедный Николай так много перестрадал за эти дни!.. Я благодарю Бога за то, что этот день прошёл»100. Императрица Мария Фёдоровна передавала в частном письме своё представление о поведении царственной особы в день исполнения приговора: «Этот день должен быть проведён в полном уединении; это священный долг. …Выйти в этот день — было бы оскорблением общественной скорби. Ради бога, помогите мне избежать этой ошибки, которая уязвила бы всех, кто способен на чувство, на деликатность, и которая сделала бы меня очень, очень несчастной… вы поймёте, какое это имеет большое значение»101. Вдовствующая императрица была в Москве, но хотела, чтобы её рассуждения дошли до сына.

А вот что сам Николай писал матушке 12-го числа:

«Трудно передать то, что во мне происходит; у меня прямо какая-то лихорадка, которую я не могу в точности определить. К этому состоянию примешивается чувство какогото крайнего ужаса и в то же время благодарности Богу за то, что он помог нам довести этот отвратительный процесс до конца. У меня

положительно голова идёт кругом. <…> Одно лишь сознание ужаснейшего долга заставляет меня переносить подобную пытку»102. Очевидцы передавали, что весь день казни Николай был бледен и мрачен; получив известие о казни, он тотчас отправился в церковь помолиться, а затем заперся в своём кабинете и до ночи почти ни с кем не разговаривал103.

Бенкендорф ещё до рассвета 13 июля (исполнение приговора было назначено на три часа утра) отправился к месту совершения печального обряда. Ему по должности полагалось находиться в крепости, «чтобы вместе с комендантом отдать нужные предварительные распоряжения». Он воспринимал происходившее как трагедию, в которой судьбы людей направляются Провидением помимо воли не только осуждённых, но и осудивших их. Бенкендорф рассказывал знакомым и позже записал в мемуарах, что поначалу у него щемило сердце и чувство жалости и сострадания гнало его поближе к несчастным. Он никогда не забывал, что среди них были многие его сослуживцы, в том числе его боевой товарищ Волконский, да и вообще «молодёжь, дворяне хороших фамилий». Осуждённые также заметили Бенкендорфа; Н. Лорер даже удивился тому, что «и благородный Бенкендорф, знавший многих из нас и любивший, не сумел отклонить от себя этой грустной обязанности»104.

Когда сквозь цепь солдат один из осуждённых, полковник Аврамов, попросил разрешения передать своему родному брату новые золотые эполеты («которые скоро пригодятся ему при производстве в полковники»), Бенкендорф охотно согласился и приказал начальнику караула принять их и передать по назначению105. (В похожей ситуации, когда Н. Лорер хотел сохранить эполеты для одного, из своих унтерофицеров, Чернышёв приказал кинуть их в огонь106.) Этим символичным жестом официальное лицо подчёркивало, что родственники осуждённых не понесут дополнительной ответственности и не будут обойдены по службе. В подтверждение можно вспомнить, что родной брат Павла Пестеля, Иван, стал в 1826 году флигель-адъютантом, был награждён орденом, а завершил службу сенатором.

…В то хмурое утро Бенкендорфу казалось, что государственные преступники должны были испытывать угрызения совести, стыд, вызванные мыслями о том, скольким семьям они принесли мучения и переживания. Но никакого переживания за близких он не увидел, никакого сожаления о содеянном не услышал. «Грязные и неуместные речи и шутки этих несчастных свидетельствовали и о глубокой нравственной их

порче, и о том, что сердца их недоступны ни раскаянию, ни чувству стыда»107.

Поразившая Бенкендорфа атмосфера отмечена и самими осуждёнными. А. Розен вспоминал: «С. Г. Волконский был особенно бодр и разговорчив… И. И. Пущин, по обыкновению, был весел и заставлял громко хохотать целый собравшийся кружок»108.

Отпуская очередную шутку, Пущин косился краем глаза на Александра Христофоровича; позже он заметил: «Бенкендорф следил за нами, но предоставил нам совершенную свободу на крепостном дворе; из выражения его лица видно было его к нам сострадание»109. «Признаки сострадания» заметил на «благородном лице» генерала «в роковую минуту» и отставной подполковник Штейнгейль110.

Вскоре после экзекуции рассказ Бенкендорфа записал А. Я. Булгаков: «Генерал-адъютант Бенкендорф сказывал мне, что он… ехал в крепость с чувством горестным и сжатым сердцем, готовый видеть несчастных, из коих многие были его товарищами по войне… но чувство соболезнования превратилось в полное к ним равнодушие и даже омерзение, когда увидел он их. Они оказались покойными, даже весёлыми, могли позволить себе шутки, словечки и т. п. Якубович, показывая свой наряд новый, говорил: „Не правда ли, я очень хорош в этом?“»111.

Императрица Мария Фёдоровна с негодованием записала в дневник, что С. Г. Волконский «смеялся» и даже «имел дерзость раскланиваться и здороваться со своими знакомыми»112. Михаил Лунин, по воспоминаниям декабриста Н. Цебрикова, «по окончании чтения сентенции, обратясь ко всем прочим, громко сказал: „Messieurs, la belle sentence doit etre arrosee“ (Господа! Прекрасная сентенция должна быть спрыснута) — и преспокойно исполнил сказанное»113.

По окончании церемонии Николай сообщил матери: «Всё прошло спокойно и в совершеннейшем порядке. Презренные и вели себя как презренные — с величайшей низостью… Подробности относительно казни, как ни ужасна она была, убедили всех, что столь закоснелые существа и не заслуживали иной участи: почти никто из них не выказал раскаяния. Пятеро казнённых смертью проявили значительно большее раскаяние, особенно Каховский. Последний перед смертью говорил, что молится за меня!»114

Взглянем на церемонию глазами нашего героя: «От всех полков гвардии построено было по отделению на эспланаде крепости; военный генерал-губернатор и военное начальство прибыли туда в четыре часа утра. Осуждённых привели всех

вместе, кроме тех пяти, которые должны были подвергнуться смертной казни. Офицеры, принадлежавшие к гвардейскому корпусу, были выводимы перед отделениями своих полков и, стоя на коленях, выслушивали приговор; после чего палач ломал над головою осуждённого шпагу и, сорвав с него эполеты, бросал их в огонь. Другие осуждённые, не принадлежавшие к полкам, расположенным в Петербурге, были поставлены на колени посредине эспланады и подверглись тому же поносному наказанию. За этим их отвели обратно в крепость. Тогда под виселицей явились несчастные полковник Пестель и Муравьёв-Апостол, капитан БестужевРюмин, Рылеев и убийца графа Милорадовича Каховский; на глаза им спустили белые колпаки и роковую верёвку надели на шеи. По данному сигналу доска, на которой они стояли, упала, и они повисли. К несчастью, верёвки у троих порвались, и они упали на землю. Их снова подняли и подвергли вторичной казни. Тела скоро были сняты, чтоб освободить публику от этого тягостного зрелища».

Позже говорили, что после вывода осуждённых «каждые четверть часа скакали с донесениями в Царское Село фельдъегеря и… Бенкендорф промедлил нарочно казнью в ожидании помилования, для чего постоянно обращался в ту сторону, откуда ждал вестника. Но увы — курьеры мчались в Царское Село, и обратно никого не было…»115. Скорее всего, это преувеличение — казнью командовал петербургский генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов (заступивший на место Милорадовича). Однако о переживаниях Александра Христофоровича в момент казни упоминали неоднократно: «Говорят также, что Бенкендорф, чтоб не вйдеть этого зрелища, лежал ничком на шее своей лошади»116 и даже «Бенкендорф, видя, что принимаются снова вешать этих несчастных, которых случай, казалось, должен был освободить, воскликнул: „Во всякой другой стране…“ и оборвался на полуслове»117.

«Во всякой другой стране, — как бы отвечал Воронцов (кстати, член верховного суда), — более пяти были бы казнены смертию… Нельзя было меньше сделать и, конечно же, пять их оных, какие жизнью заплатили за ужасные свои намерения и опасность, которой подвергали всю империю, более всего заслужили»118. Воронцов хорошо знал самую «свободную» страну того времени, Великобританию. Там в среднем вешали по 80 человек в год (в том числе женщин), причём в течение четверти века только за посягательство на верховную власть подвергся казни 21 человек. В 1803 году, например, полковник Эдвард Деспард и шестеро его сообщников были приговорены одновременно к повешению и четвертованию только за умысел

совершить покушение на Его Величество Георга III119. А 1 мая 1820 года в тюрьме Ньюгейт за подготовку нападения на членов британского правительства (через месяц после смерти короля Георга!) были повешены, а затем обезглавлены Артур Тистельвуд и с ним ещё четверо «революционеров». Казнь была публичной. «Помощник палача подошёл к краю эшафота, держа над собой голову за волосы… Громкий голос произнёс: „Вот голова Артура Тистельвуда, изменника!“ Толпа пришла в возбуждение, из неё раздались крики, свист и гул неодобрения. Та же церемония была проделана у другого края эшафота»120.

В России же из тридцати пяти человек, приговорённых судом к смертной казни, 30 остались живы; 20 из них пережили Бенкендорфа. На всю оставшуюся жизнь Александр Христофорович оказался связанным с «друзьями по 14-му», как стал называть их император Николай Павлович.

Бенкендорф воспринял восстание и последовавшие за ним процесс и приговор как трагедию, отголоскам которой ещё долго суждено сказываться на судьбах русского общества и государства. Заговорщики и цареубийцы хотели переустроить Россию, но в результате утащили за собой, на дно холодного сибирского мешка, несколько десятков «прикосновенных» к делу молодых людей, среди которых были те, кто мог бы составить блестящее будущее страны.

В день казни, по дороге в Кронштадт, приговорённый к вечной каторге Николай Бестужев спокойно беседовал дорогой с караульными офицерами, не сетуя на собственную судьбу.

«— Я заслужил смерть, — говорил он, — и ожидал её. Теперь всё время, что проживу, будет для меня барышом и подарком. Но вот кого мне жаль — этих бедных юношей (указывая на приговорённых мичманов, спавших крепким сном молодости): они дети и не знали, что делали.

— Так, Николай Александрович, они дети, но зачем те, которые знали, что делают, увлекали детей? Тяжкая ответственность за гибель этих юношей легла на вас, старших, умных, перед их родителями и перед Богом! Правительство в этом винить нельзя: оно ещё смягчило наказание, по собственному вашему признанию!»121

Подобная оценка была достаточно распространённой в обществе. Ещё 17 декабря генерал Левашов упрекал князя Трубецкого не столько за само участие в заговоре, сколько за безответственность перед будущим страны: «Ах, князь! Вы причинили большое зло России, вы её отодвинули на пятьдесят лет»122. То же было выговорено и Анненкову: «Вы слишком много на себя взяли, молодые люди… Вы заботились о судьбах

народов, а связали государю руки в его благих намерениях на пятьдесят лет»123. Подобную реакцию на восстание в более широком кругу отметил автор знаменитого «Тарантаса» граф В. А. Соллогуб: «По мнению людей истинно просвещённых и искренне преданных своей родине, как в то время, так и позже, это восстание затормозило на десятки лет развитие России, несмотря на полный благородства и самоотвержения характер заговорщиков»124. А Николай Греч уже в «оттепельные» 1850-е годы заметил о приятеле своей молодости, Александре Бестужеве: «Нам остаётся только жалеть от глубины сердца о потере человека, который при другой обстановке сделался бы полезным своему отечеству, знаменитым писателем, великим полководцем: может быть, граф Бестужев отстоял бы Севастополь. Бог суди тех сумасбродов и злодеев, которые сгубили достойных иной участи молодых людей и лишили Россию благороднейших сынов! Остался урок потомству, да пользуются ли уроками?»125

Исключительная для того времени мера наказания, смертная казнь, воспринималась многими как воздаяние за бесчинства восстаний декабря — января. Примечателен обмен репликами, произошедший в Москве накануне казни: «Как, братец, проливать кровь русскую? — Да разве из Милорадовича текло французское вино?»126

У Бенкендорфа же был ещё один мотив для сострадания. Он, как и многие люди его поколения, соизмерял события декабря с уже давним заговором 1801 года, приведшим к убийству императора Павла. Поручик Бенкендорф лично в перевороте не участвовал, но был «сочувствующим». А их с Воронцовым покойный друг Марин был в числе действующих лиц. Страшно представить, каковы могли бы быть последствия в случае раскрытия Павлом того заговора.

Когда кто-то из допрашиваемых декабристов в запале воскликнул на допросе: «Господа, что вы кричите? Если бы вы все были поручиками теперь, то непременно были бы членами тайного общества!»127 — Бенкендорф засмеялся вместе со всеми членами комитета. Но через несколько лет он рассказал П. А. Вяземскому, как однажды в разговоре с императором Николаем признался, что подобные «ошибки молодости» «были ошибками, свойственными всем нам, всему нашему поколению, которое прежнее царствование ввело в заблуждение»128.

Бенкендорф жалел «друзей по 14-му». А они? Каково было отношение декабристов к своему следователю, а потом к «надсмотрщику», генерал-адъютанту Александру Христофоровичу Бенкендорфу?

Д. В. Рац, ещё в 1990 году опубликовавший о Бенкендорфе не

вписывавшуюся в советскую историографию статью, обращался к учёным собеседникам, в том числе к Н. Я. Эйдельману, с одним вопросом: «В воспоминаниях декабристов, …во всём этом множестве… встречали ли вы хоть одно плохое слово, один отрицательный отзыв о Бенкендорфе? Ктонибудь из десятков декабристов-мемуаристов был ли обижен, оскорблён А. Х.?» Ответ (если следовал) всегда был один: «Да ведь, действительно, ничего такого там нет»129. Добавим весомое мнение Ю. М. Лотмана: «Бенкендорф держался как светский человек, корректный в обращении… Бенкендорф не лишён был своеобразной честности: он не измышлял ложных изменений, не преследовал личных врагов»130.

Честно говоря, одно нелицеприятное высказывание в адрес ведения следствия можно найти в мемуарах Дмитрия Завалишина, «последнего декабриста»: «Главными действующими лицами в комитете были Чернышёв и Бенкендорф, которые действовали совершенно недобросовестно и обращались вообще грубо»131. Но этот голос выпадает из хора остальных свидетельств и является единственным исключением из общего правила.

К противоположным, уже упоминавшимся мнениям Фонвизина, Пущина, Лорера, Розена, Цебрикова, Гангеблова добавим ещё заметки «государственного преступника 2-го разряда» Николая Басаргина, писавшего, что Бенкендорф был «добрым человеком», принимавшим под своё начальство «более или менее хороших людей»132, и что «лица корпуса жандармов, с коими случалось иметь сношения, оказывались людьми добрыми и внимательными»133. Упомянем послания из ссылки: письма Штейнгейля Бенкендорфу, полные выражений вроде: «Когда смерть своею багрово-синею печатаю станет уже печатлеть мои уста, и тогда ещё будут они силиться лепетать сердечную вам благодарность»134; письма-инструкции А. Н. Муравьёва брату Николаю, будущему Муравьёву-Карскому: «Ежели ты хочешь быть мне полезным, то старайся сблизиться с Александром Христофоровичем Бенкендорфом, который меня очень знает и, как я выше писал, неоднократно доказывал мне своё милостивое расположение»135. Талантливый учёный А. Корнилович, оказавшийся вдруг после каторги в «круге первом», на положении «заключённого-аналитика» при императоре Николае, написал Бенкендорфу несколько писем, полных благодарности: «Ваше высокопревосходительство, милостивый государь! <…> Вы одни в сём мире приняли деятельное участие в моей судьбе… я увидел на себе новый опыт вашей истинно родственной заботливости: посреди многочисленных своих занятий вы нашли время обо мне

вспомнить. Да наградит вас за это Господь. Я только и могу, что молиться за вас, и думаю, что молитвы мои будут действительны, потому что они согреты чувством живейшей признательности»136.

Однако более всего показательно отношение к Бенкендорфу его старого друга С. Г. Волконского, осуждённого по первому разряду (20 лет каторги, сокращённые до пятнадцати, а затем до десяти). Он свидетельствует: «Как изгнанник, я должен сказать, что во всё время моей ссылки голубые мундиры были для нас лицами не преследователей, а людьми, охраняющими и нас, и всех от преследований»137. Сын декабриста, Михаил, женился на внучке Бенкендорфа, а в 1860 году, когда того давно уже не было в живых, С. Г. Волконский намеренно заезжал по дороге за границу в его имение, чтобы «поклониться могиле Александра Христофоровича, — товарищу служебному, другу не только светскому, но не изменившемуся в чувствах, когда я сидел под запорами и подвержен был Верховному уголовному суду. Его советам обязан я, что… сохранены несколько крох моего имения»138.

Создание высшей полиции

Летом 1826 года генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф стал Бенкендорфом учебников и книжек.

В мемуарах он записал: «Император Николай стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые минуты нового царствования, в необходимости повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие; государь избрал меня для образования высшей полиции, которая бы покровительствовала утеснённым и наблюдала за злоумышлениями и людьми, к ним склонными… Никогда не думая готовиться к этому роду службы, я имел о нём лишь самое поверхностное понятие, но благородные и благодетельные побуждения, давшие повод к этому учреждению, и желание быть полезным новому нашему государю не позволили мне уклониться от принятия образованной им должности, к которой призывало меня высокое его доверие»139.

Согласно довольно правдоподобной легенде, «высокое доверие» было облечено императором Николаем I в символическую форму. Мемуаристы и исследователи приводят разные варианты разыгравшейся сцены, но смысл всех примерно одинаков: когда Бенкендорф, узнав о своём новом назначении, попросил у государя конкретных инструкций, Николай протянул ему белый носовой платок: «Вот твоя инструкция; чем больше утрёшь им слёз несчастных, тем лучше исполнишь своё назначение»140. Платок, по легенде, хранился потом под стеклянным колпаком в здании Третьего отделения.

Романтический порыв императора потомки комментировали с иронией: мол, «именно этот платок ещё больше оросился слезами, вызванными деятельностью нового учреждения»141. Эту сцену называли образом «сентиментальной непрактичности» высшей полиции николаевского времени142. Однако в самом корпусе жандармов на протяжении всего его существования к завету Николая относились всерьёз. В 1913 году новый командир корпуса В. Ф. Джунковский в первом же приказе напомнил подчинённым о традиции: «Священный завет милосердия, призванный осушать слёзы несчастных, да останется неизменным девизом каждого из нас»143.

Но вернёмся в 1826 год, к официальным государственным документам. 25 июня, в день рождения императора, появился

высочайший указ о назначении генерала Бенкендорфа шефом жандармов, а 3 июля его дополнил именной указ «О присоединении Особенной канцелярии министерства внутренних дел к собственной Его Величества канцелярии». На основании этого приказа было создано Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии — высшая наблюдательная полиция государства Российского.

Целью этого учреждения, по мнению Бенкендорфа, было «утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть их охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное правосудие»144.

На протяжении предыдущего царствования собственная Его Императорского Величества канцелярия представляла собой вспомогательную службу, ведавшую «движением» императорских бумаг: перепиской, делопроизводством по наградам и повышениям, сбором и предоставлением докладов и рапортов. Это бюрократическое учреждение было связующим звеном между монархом и органами власти и при этом стояло вне министерской системы, поскольку было подотчётно только императору. С лета 1812 года возглавлял канцелярию А. А. Аракчеев. Этот «гений зла» александровского царствования был одинаково неприятен и Бенкендорфу, и новому императору, поэтому уже 20 декабря 1825 года лишился своей значительной должности145. Николай оценил удобство положения канцелярии вне бюрократической министерской системы и взял её под своё непосредственное управление. Вскоре последовало расширение канцелярии: прежняя часть стала называться Первым отделением и сохранила свои прежние обязанности вроде сбора отчётности министров и губернаторов, чинопроизводства, изготовления проектов «высочайших» указов и т. п.

Вновь образованное Второе отделение занялось наболевшей проблемой: сбором и систематизацией законов Российской империи, сведением их в единое Полное собрание законов и публикацией на его основании действующего Свода законов Российской империи. Фактическим главой отделения стал М. М. Сперанский, «светило российской бюрократии». Четвёртое отделение было создано в 1828 году из канцелярии Марии Фёдоровны и унаследовало её главную заботу: благотворительные учреждения и женские учебные заведения. Позже прибавились Пятое (образовано в 1836 году, занималось государственными крестьянами) и Шестое (образовано в 1842 году «для водворения в Закавказье прочного устройства») отделения.

Созданию Третьего отделения предшествовала

подготовительная работа, начатая Бенкендорфом практически сразу после декабрьских событий 1825 года. Параллельно с заседанием в следственной комиссии генерал-адъютант принялся за составление проекта устройства органа для предотвращения «неожиданных происшествий»146. Проект, пусть не самый систематический, был представлей императору уже в январе следующего года. Бенкендорф сконцентрировал в нём весь свой опыт, накопившийся за прошедшее царствование. Это были впечатления от произвола местных властей, вынесенные из долгих поездок со Спренгтпортеном по всей России, от Кяхты и Якутска до Тифлиса и Севастополя. К ним добавились воспоминания о наведении порядка в деморализованной армии на заснеженных полях Восточной Пруссии и знакомстве с методами работы французской тайной полиции, не спускавшей с русских дипломатов глаз и окружившей их сетью тайных агентов, а также размышления над возможностями «когорты добромыслящих» и разочарование в александровской попытке создать Особую канцелярию, когда благое дело было отдано на откуп таким скомпрометировавшим себя деятелям, как Балашов и де Санглен. Пригодился и опыт урегулирования сложных взаимоотношений крестьян и помещиков в лихолетье 1812 года, организации нормальной жизни в разорённой Москве, погружения в деятельность губернских властей при рассмотрении дела Сипягина в Воронеже, прикосновения к конспирациям тайных обществ, расследования Семёновского бунта…

Бенкендорф начал представление проекта с того, что объявил о «ничтожестве нашей полиции», не сумевшей справиться с заговором, подготавливавшимся на протяжении более десяти лет и выплеснувшимся в «события 14 декабря». Для решения этой проблемы генерал предложил как можно быстрее «организовать новую полицейскую власть».

Он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что в русском обществе «тайная полиция почти немыслима», поскольку «честные люди боятся её, а бездельники легко осваиваются с нею». Тем не менее он считал, что при действии «по обдуманному плану» полиция сможет заслужить авторитет в обществе. В соответствии со своими представлениями о необходимости нравственного авторитета власти Бенкендорф предположил, что новая полиция «должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха». Он совершенно справедливо полагал, что «всякий порядочный человек сознаёт необходимость бдительной полиции, охраняющей спокойствие общества и предупреждающей беспорядки и преступления. Но всякий

опасается полиции, опирающейся на доносы и интриги. Первая — внушает честным людям безопасность, вторая же — пугает их и удаляет от престола». Таким образом, генерал приходит к идее особого инструмента власти — рассредоточенного по стране корпуса жандармов, способного на местах оказывать помощь и поддержку гражданским и военным министрам и даже частным лицам. В этом было принципиальное новшество: прежняя высшая полиция располагалась в столице и не имела необходимых «глаз и ушей», а тем более собственных силовых подразделений по всей стране.

При обязательном сохранении централизации новая полиция должна была «обнимать все пункты империи», распространяться на регионы, где звание жандарма позволяло бы «пользоваться мнениями честных людей, которые пожелали бы предупредить правительство о каком-нибудь заговоре или сообщить ему какие-нибудь интересные новости». Не были забыты Бенкендорфом и такие важные поставщики компрометирующей информации, как «злодеи, интриганы и люди недалёкие»; генерал верил, что они, «раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут знать, куда, по крайней мере, обратиться». Неплохой идеей было сочтено умение «склонить на свою сторону людей, стремящихся к наживе». При всём этом Бенкендорф чётко отличает носящих мундир офицеров, для которых лучшим поощрением служат «чины, кресты и награды», от работающих за деньги тайных агентов, которые «нередко служат шпионами и за, и против правительства». Тем не менее, считает он, и штатные служащие должны получать достойное содержание, дабы «личная выгода и опасение лишиться чрезвычайно доходного места» обеспечивали надёжность их работы.

Важной составляющей контроля над общественными настроениями должно было, по мнению Бенкендорфа, стать тайное «вскрытие корреспонденции». Его преимущество над работой информаторов состояло в непрерывности и относительной лёгкости исполнения: достаточно «иметь в нескольких городах почтмейстеров, известных своей честностью и усердием». Предполагалось, что такими городами станут Петербург, Москва, Киев, Вильно, Рига, Харьков, Одесса, Казань и Тобольск.

Осознавая, что две страницы записки не могут дать полное обоснование работы будущей «когорты добромыслящих», Бенкендорф предлагал императору принять принципиальное решение о создании высшей полиции на изложенных началах и только затем приступить к разработке подробного плана, «который по своей важности не может быть составлен поспешно,

но должен быть результатом зрелого обсуждения, многих попыток и даже результатом самой практики».

Николай не только ознакомился с проектом, но и отдал его для рассмотрения начальнику Главного штаба И. И. Дибичу и графу П. А. Толстому, с непременным пожеланием «по рассмотрении возвратить в собственные Его Величества руки с мнением вашим». Затем он сделал собственные замечания и передал их Бенкендорфу. 27 июня тот обратился к царю с окончательным вариантом и сопроводительной запиской: «Я посылаю Вашему Императорскому Величеству проект… об образовании III отделения Вашего Императорского Величества канцелярии. Он составлен по замечаниям, сделанным Вами по последнему проекту касательно этой организации»147.

Третьего июля 1826 года увидел свет основанный на «улучшенном проекте Бенкендорфа» императорский указ:

> «Именной, данный управляющему Министерством внутренних дел.
>
> О присоединении Особенной канцелярии Министерства внутренних дел к собственной Его Величества канцелярии.
>
> Признавая нужным устроить под начальством генераладъютанта Бенкендорфа Третье отделение при Собственной Моей канцелярии,
>
> Я повелеваю:
>
> Особенную канцелярию Министерства внутренних дел уничтожить, обратя по выбору генерал-адъютанта Бенкендорфа часть чиновников оной под управлением действительного статского советника фон Фока в состав сего отделения.
>
> Предметами занятий сего 3 отделения Собственной Моей Канцелярии назначаю:
>
> 1. Все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции.
>
> 2. Сведения о числе существующих в государстве разных сект и расколов.
>
> 3. Известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям, документам и проч., коих розыскания и дальнейшее производство остаётся в зависимости министерств: финансов и внутренних дел.
>
> 4. Сведения подробные о всех людях, под надзором полиции состоящих, равно и все по сему предмету распоряжения.
>
> 5. Высылка и размещение людей подозрительных и

вредных.

6. Заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест заточения, в кои заключаются государственные преступники.

7. Все постановления и распоряжения об иностранцах, в России проживающих, в предел государства прибывающих и из оного выезжающих.

8. Ведомости о всех без исключения происшествиях.

9. Статистические сведения, до полиции относящиеся.

На основании сих начал предписываю вам:

1. Переобразовать тотчас по вышеписанному Особенную канцелярию Министерства внутренних дел в состав 3 отделения Собственной Моей канцелярии.

2. Распределить все производившиеся в сей канцелярии дела, кои выше не обозначены и кои оставаться должны в заведывании Министерства внутренних дел, по другим департаментам сего министерства.

3. Предписать всем начальникам губерний и сообщить другим лицам, до которых сие касаться может, дабы они о всех вышеизложенных предметах, входящих в состав 3 отделения Собственной Моей канцелярии, доносили прямо на имя Моё, с надписанием по 3 отделению сей Моей канцелярии.

Наконец,

4. Войти в надлежащее сношение с генерал-адъютантом Бенкендорфом о всех средствах, кои представятся успешнейшими к исполнению сего устройства»148.

Сравнение обозначенной указом компетенции Третьего отделения с прежними функциями «переобразованной» Особенной канцелярии показывает, что к старым заботам добавились два новых и принципиальных пункта: осуществление политического надзора, а также сбор и систематизация информации о «всех без исключения происшествиях», «обязанность между прочим следить за общим мнением и толками насчёт правительства». Был чётко определён «важнейший предмет» деятельности нового учреждения: «безопасность престола и спокойствие в государстве»149.

При значительном увеличении объёма работы численность сотрудников Третьего отделения поначалу оказалась меньше, чем

в Особенной канцелярии «либерального» александровского царствования!

По штату Третье отделение состояло из шестнадцати чиновников, а в составе прежней Особенной канцелярии было 18 человек150. Избавившись, видимо, от двух самых бесполезных чиновников, Бенкендорф взял к себе на службу остальных, обеспечив, таким образом, преемственность в работе тайной полиции. Первым из сотрудников был прежний управляющий канцелярией, действительный статский советник (то есть штатский генерал) Максим Яковлевич (Магнус Готфрид) фон Фок. Это была личность неординарная, но преимущественно остававшаяся в тени как на протяжении своей деятельности, так и в последующих исторических трудах (Фок даже не попал во всеобъемлющий Русский биографический словарь).

Сама должность фон Фока не способствовала созданию яркого жизнеописания. Известно, что он — выходец из шведского рода, начинал службу в лейб-гвардии Конном полку ещё при Екатерине II. В павловскую эпоху по какой-то причине (официально — по болезни) он вышел в отставку в чине ротмистра; вернулся на службу — уже гражданскую — в 1802 году, при Александре. В Министерстве коммерции фон Фок проявил наклонности сыщика: стал ревизором «по особым поручениям» в Москве. При создании в 1811 году «балашовского» Министерства полиции он занял там должность помощника правителя Особенной канцелярии, вездесущего де Санглена. Когда же звезда последнего закатилась, фон Фок 26 марта 1813 года занял его место. В это время с ним свёл знакомство общительный литератор Николай Греч. Он вспоминал, что фон Фок «был человек умный, благородный, нежный душой, образованный, в службе честный и справедливый. Ему обязаны государь и Россия многими благими мыслями и делами». В 1812 году именно фон Фок снабжал начальство «осведомительными письмами» и «журналами здешних слухов», то есть обзорами общественного мнения151. Постепенно Максим Яковлевич обзавёлся могущественными покровителями и приобрёл могущественных противников. По долгу службы фон Фок слишком хорошо знал о закулисной деятельности Аракчеева и отозвался на пожалование временщику фамильного герба с девизом «Без лести предан» разошедшейся в обществе эпиграммой:

Девиз твой говорит, что предан ты без лести;
Скажи же мне, кому? коварству, злобе, мести!132

Отличительной чертой фон Фока было бескорыстие. Он служил делу, а не своему карману. В агентурной записке, хранившейся в Третьем отделении, отмечалось, что он «сколько беден, столько же и честен; чужд всякой корысти, и когда во время управления покойным графом Вязьмитиновым здешнею полициею многие из товарищей его составили себе состояние, … он жил на одном только жалованье и, следовательно, весьма был далёк от сего приобретения»153.

Когда Особенная канцелярия перешла в ведение Министерства внутренних дел, высоким покровителем и союзником фон Фока стал управляющий министерством князь В. П. Кочубей, один из «молодых друзей» императора Александра. Фон Фок однажды выразил готовность идти за князя на отсидку в Петропавловскую крепость! Неудивительно поэтому, что в развернувшейся в 1820-е годы борьбе либералов и консерваторов, Кочубея и Аракчеева, досталось и фон Фоку, который «свободомыслие почитал делом естественным и законным и скорее готов был вооружаться на противников его»154. Как вспоминал Греч: «В последние годы царствования Александра впал он в немилость по наговорам и козням Магницкого и других негодяев, старавшихся посредством его столкнуть графа Кочубея… Кочубей был так высок во всех отношениях, что пресмыкавшийся скаред не мог его достигнуть и ужалить; итак, взялись за исполнителей его дел, а именно за самого благородного из них — Максима Яковлевича фон Фока, и сгубили бы его непременно, если б не умер Александр». Фон Фок был даже привлечён по одному из дел на основании доноса ультраконсервативного попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого155.

Удалить фон Фока с важного поста не смогли, «но все дела по секретной части производились у Аракчеева и у военного генерал-губернатора графа Милорадовича. Эта секретная часть, занимаясь пустяками и ничтожными доносами, не понимала ни духа, ни желания публики и дала совершиться гнусному и пагубному взрыву 14 декабря 1825 года». К тому времени Комитет общей безопасности 1807 года захирел до того, что за весь мятежный 1825 год смог рассмотреть всего одно дело, а за предыдущий, 1824-й, — и вовсе ни одного156.

Об «отодвинутом» пятидесятилетнем фон Фоке вспомнили при новом царе, в дни работы следственного комитета. Именно там номинальный управитель Особенной канцелярии сблизился с Бенкендорфом157. «Человек добрый, честный и твёрдый» (так характеризовал фон Фока общавшийся с ним А. С. Пушкин158), с опытом работы да ещё со своей «командой», оказался очень

кстати в деле обновления службы государственной безопасности. Не себя ли он имел в виду, когда писал Бенкендорфу: «Улучшение настоящего положения дел зависит, несомненно, от появления вновь на сцену старых служак. Посадите по одному из них в каждое из судебных учреждений и дайте им обеспеченное положение, и вы увидите, что относительно быстроты и правильности в ходе дел будет заметна перемена к лучшему… теперь всё хромает, всё запаздывает, потому что большинству новых чиновников недостаёт навыка и они часто грешат по незнанию дела»159?

Вместе с фон Фоком Бенкендорф зайялся разработкой подробной структуры нового ведомства. Ими была составлена записка «О делении на четыре экспедиции», из которой понятны основные направления деятельности Третьего отделения. Уже 14 июля (на следующий день после казни декабристов) записка эта была представлена Николаю Павловичу.

Первая экспедиция — самая важная и потому секретная — призвана была «заключать все предметы высшей наблюдательной полиции»: «…Наблюдение за общим мнением и народным духом; направление лиц и средств к достижению этой цели; соображение всех поступающих в сём отношении сведений и донесений; составление общих и частных обозрений; сведения подробные о всех людях, под надзором полиции состоящих, равно и все по сему предмету распоряжения; высылка и размещение лиц подозрительных и вредных». Важнейшими функциями Первой экспедиции были предупреждение «злоумышлений против особы государя императора» и обнаружение заговоров и тайных обществ. Основными методами работы предполагались сбор детальной информации о положении в России и за рубежом, состоянии общественного мнения, настроениях разных слоёв населения, а также надзор за государственными преступниками и подозрительными лицами.

Второй экспедиции предстояло наблюдать за религиозными сектами (особенно за старообрядцами), отслеживать их «направление», «дух» и «действия». По-видимому, такой объём работы показался невелик, и сюда же был добавлен сбор «известий об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям, документам и прочее», сведений об изобретениях, информации об учреждении и деятельности различных научных, культурных, просветительских и прочих обществ. Здесь же разбирались «тяжбы, просьбы и прошения» по семейным делам, поступавшие «на высочайшее имя». Наконец, в ведении этого подразделения была вся кадровая служба Третьего отделения: документация о его чиновниках от поступления до увольнения.

В дальнейшем в ведение Второй экспедиции были переданы места заключения государственных преступников: Алексеевский равелин Петропавловской крепости, Шлиссельбургская крепость, Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале и Шварцгольмский арестный дом в Финляндии.

Третья экспедиция стала фактически органом контрразведки: здесь следили за пропуском иностранцев через границы и осуществляли контроль над перемещением их по губерниям России. Чиновники организовывали секретное наблюдение за поведением иностранцев и в случае неблагоприятных отзывов отвечали за высылку их из страны.?

На долю Четвёртой экспедиции Бенкендорф отвёл обязанность «заниматься всеми вообще происшествиями в государстве и составлением ведомостей по оным». Это означало, что сюда будет стекаться информация о крупных пожарах, грабежах, убийствах, а также о злоупотреблениях помещиками властью, с одной стороны, и крестьянских волнениях — с другой. Эта информация еженедельно сводилась в систематические таблицы и обобщалась160.

Среди подразделений Третьего отделения главной оставалась Первая экспедиция. Ей передавались все дела особого, государственного значения, даже если они должны были проходить по другим каналам.

При этом в представленном императору штатном расписании Бенкендорф отводил на всю Первую экспедицию только четверых служащих! В общее же число сотрудников отделения входили по три человека в остальных трёх экспедициях, начальник (Бенкендорф), управляющий (фон Фок), журналист, экзекутор и их помощник. Последние должности могут вызвать у современного читателя недоумение или быть неверно истолкованы. Журналист в то время — это вовсе не взятый на казённое довольствие бойкий сочинитель, предтеча «отдела по связям с общественностью», а, согласно словарю Даля, чиновник присутственного места, ведущий журналы текущих бумаг. Экзекутор же, вызывающий у многих ассоциации с «экзекуциями» и навевающий мрачный образ пыточной камеры и палача с закатанными рукавами, — это всего-навсего в переводе с латинского «исполнитель», ещё точнее — завхоз. У того же Даля «экзекутор — чиновник при канцелярии и присутственном месте, на котором лежат… хозяйственные обязанности».

Совершенно очевидно, что два начальника и 16 сотрудников, пусть даже самых опытных, не могли охватить своим вниманием всю гигантскую империю с пятидесятимиллионным населением.

Поэтому Бенкендорф предложил использовать в

государственных целях военную организацию жандармов. Ещё в 1807 году, в трудные дни зимней кампании против Наполеона, ему приходилось применять драгунские части в качестве внутренних войск для поддержания дисциплины в тылу действующей армии. Затем уже в 1812-м с помощью драгун наводился порядок и в провинции, во время партизанских рейдов, и в покинутой Наполеоном Москве. У французов для подобной функции с 1791 года существовали специальные части — жандармы, «вооружённые всадники». Как писал Наполеон брату Жозефу 16 мая 1806 года, жандармерия — это «самый эффективный способ поддерживать в стране мир», это «надзор полувоенный, полугражданский, распространяющийся по всей территории и доставляющий самую точную информацию»161. Император ушёл в историю, а жандармерия осталась: во Франции периода Реставрации было признано, что это полезное учреждение должно сохраниться «как одна из наиболее надёжных гарантий порядка и внутреннего спокойствия»162. Франция стала образцом для подражания, так сказать, законодательницей мод и в полицейской сфере: так или иначе, практически все страны Европы, от Средиземноморья до Скандинавии, переняли революционное нововведение.

П. А. Вяземский передал историю о каламбуре великого князя Константина, впервые встретившего Бенкендорфа, одетого в жандармский мундир. Игра слов на русский непереводима, но смысл диалога довольно показателен. Окинув взглядом новый светло-синий мундир Бенкендорфа, Константин Павлович спросил:

— Savary ou Fouche? (Савари или Фуше?)

— Savary, honnete homme (Савари, порядочный человек), — отвечал Бенкендорф.

— Ah, ça ne varie pas! («Ах, са не вари па», то есть «Да какая разница». — Д. О.), — последовала реакция Константина.

Вяземский поясняет далее: «Савари и Фуше были оба министрами полиции при Наполеоне I, причём Савари пользовался общим уважением, Фуше напротив»163.

Таким образом, идея использования жандармов для укрепления порядка не была изобретением Бенкендорфа — скорее, приспособлением к российским условиям общеевропейской тенденции. В качестве военной полиции жандармерия показала себя достаточно эффективно во время Наполеоновских войн. В России её учредителем стал главнокомандующий Барклай де Толли, подписавший 10 июня 1815 года приказ о создании в армии отдельных жандармских команд, отличавшихся от прочих войск характерной красной

повязкой на рукаве. «Во всяком кавалерийском полку, — писал Барклай, — избрать по одному благонамеренному офицеру, знающему французский язык, которому дать из каждого эскадрона по одному унтер-офицеру и по пять рядовых, старослужащих и отличного поведения. Людям сим именоваться жандармами. В обязанности их будет блюсти порядок на марше, биваках, кантонир-квартирах, находясь позади войск; в сраженьях же составляют они цепь за войсками, препятствуют выходить мародёрам, которых обращают в свои места, а раненых отводят на места перевязок. Также могут быть употребляемы… для охранения деревень, господских домов и проч.»164. Вскоре жандармские команды стали формироваться из эскадронов Борисоглебского драгунского полка, который 27 августа 1815 года стал именоваться жандармским полком; его офицерам «по высочайшему повелению» стали выплачивать двойное жалованье. С того же времени жандармы получили мундиры, шинели и «фуражные шапки» «светло-синего», как указано в приказе войскам, цвета.

В гвардии в том же году был сформирован свой жандармский полуэскадрон. Параллельно шло создание жандармских команд из частей корпуса внутренней стражи — это была конная полиция, род внутренних войск. Они употреблялись губернской администрацией «при поимке воров и разбойников, в случае неповиновения власти, при взыскании податей и недоимок».

Всего же к 1826 году в России насчитывалось 59 жандармских частей и подразделений, различающихся и по численности, и по назначению. Большинство из них (за исключением гвардейского полуэскадрона) 12 июля 1826 года перешло в ведение Бенкендорфа. Как сообщал «господину генерал-адъютанту и кавалеру» Бенкендорфу начальник Главного штаба И. И. Дибич, «государю императору угодно было назначить ваше превосходительство шефом жандармов. Посему все жандармы, как гвардейские, так и при армиях, и при отдельном Литовском и Сибирском корпусах и внутренней страже состоящие, поступают под непосредственное начальство ваше»165. Правда, ещё почти год длилось обустройство жандармской службы на новых основаниях.

Бенкендорф занялся изучением состояния жандармского вопроса всерьёз: из Главного штаба ему поставлялись «все выписки разных постановлений, до жандармов относящихся»; он специально затребовал себе «Положение жандармского полка и образования жандармов Царства Польского» 1816 года166. Однако ещё до выработки нового Положения Бенкендорф издал приказ, согласно которому все командиры «жандармского полка и

команд» обязаны были «с первой почтою» доносить своему начальнику «обо всех происшествиях, случившихся как в вверенных им частях, так и в местах их квартирования или о которых дойдут до них сведения… О тех же, которые им покажутся особенно заслуживающими внимания, надписывать на конверте „в собственные руки“».

Окончательно новый корпус жандармрв был учреждён 28 апреля 1827 года. Специальное «Положение о корпусе жандармов» создавало из разрозненных команд единую централизованную организацию с общим руководством и местными округами во главе с жандармскими генералами. Эти округа покрывали по восемь — одиннадцать губерний и делились на четыре — шесть отделений, возглавляемых офицерами в чинах от майора до полковника. Роль жандармского офицера в губернии Бенкендорф ставил очень высоко, приравнивая её к роли полномочного царского посланника, сопоставимого с послом в Лондоне, Вене, Берлине или Париже167.

В Санкт-Петербург, Москву, Киев и Финляндию были назначены специальные офицеры, в обеих столицах дополнительно расквартировано по жандармскому дивизиону. Жандармский полк и гвардейский полуэскадрон сохранили свои обязанности по поддержанию порядка исключительно в армии. Так немногочисленное Третье отделение получило в своё распоряжение не только военную силу, но и разветвлённую информационную сеть. К концу 1828 года численность жандармов составила 4278 человек, в том числе три генерала, 201 офицер, 3617 нижних чинов, 457 нестроевых168.

Цифры эти стоят того, чтобы на них остановиться. Западные исследователи, сравнивающие численность соответствующих европейских и российских органов безопасности, считают, что 4500 человек было явно недостаточно для России, особенно с учётом гигантских просторов империи169. Это заметно, например, на фоне Франции, где уже в первой четверти XIX века численность жандармов превышала десять тысяч человек, а в 1852 году (когда корпус жандармов в России вырос почти до пяти тысяч человек) составила более пятидесяти тысяч.

Однако в России был подготовлен и «альтернативный» проект, предполагавший устроить куда более могущественные силы государственной безопасности. Это был проект казнённого декабриста Павла Пестеля, его «Русская правда» — утопическое описание желаемой «свободной» России, иногда именуемое в литературе «программным документом». Рассуждая о будущем устройстве страны, Пестель и его единомышленники, «представляя себе живую картину всего счастия, коим бы

Россия… тогда пользовалась, входили… в такое восхищение и, сказать можно, восторг», что «готовы были не только согласиться, но и предложить всё то, что содействовать бы могло к полному введению и совершенному укреплению и утверждению сего порядка вещей»170. Одной из непременных составляющих такого восхитительного будущего было введение диктатуры временного правления на ближайшие 10–15 лет с обязательным подкреплением её мощной тайной полицией, названной «Вышним благочинием». Для Пестеля было совершенно очевидно, что «тайные розыски или шпионство суть… не только позволительное и законное, но даже надёжнейшее и почти, можно сказать, единственное средство, коим Вышнее благочиние поставляется в возможность достигнуть предназначенной ему цели» — охраны правительства «от опасностей, могущих угрожать образу правления, настоящему порядку вещей и самому существованию гражданского общества и государства». «Сия необходимость происходит от усилий зловредных людей содержать свои намерения и деяния в самой глубокой тайне; для открытия которой надлежит употребить подобное же средство, состоящее в тайных розысках».

Пестелева схема предполагала совершенно спрятать от общества всю систему государственной безопасности: «Вышнее благочиние требует непроницаемой тьмы, и потому должно быть поручено единственно Государственному главе сего приказа, который может оное устраивать посредством канцелярии, особенно для сего предмета при нём находящейся. Государственный глава имеет обязанность учредить Вышнее благочиние таким образом, чтобы оно никакого не имело наружного вида и казалось бы даже совсем не существующим; следовательно, образование канцелярии по сей части должно непременно… быть предоставлено Главе и никому не быть известно, кроме ему одному и верховной власти»171. Инструментом «Вышнего благочиния» должны были стать «вестники тайных розысков», то есть секретные агенты, собирающие «тайные сведения» относительно «правительства, народа и иностранцев».

Расчёты численности необходимого для поддержания порядка корпуса жандармов проводились Пестелем на протяжении всего его «законотворчества». В его бумагах постоянно встречаются подробные вычисления, распределявшие блюстителей порядка по всей стране. Пестель прикидывает, зачёркивает, прибавляет — и итоговая цифра постоянно растёт. «Для составления внутренней стражи, — пишет Пестель в бумагах 1817–1819 годов, — думаю я, что 50 000 жандармов будут для

всего государства достаточны». Через пару лет количество вырастает до 62 900 человек, а в варианте 1823 года ещё почти удваивается и составляет уже 112 900 жандармов172. В реальности за 90 лет, к кануну революции 1917 года, Отдельный корпус жандармов «разросся» только до 15 718 человек173.

Сравним цифры: декабрист и революционер Пестель предлагал 112 900; охранитель и консерватор Бенкендорф — учредил 4278!

После такого сопоставления «анекдот» из коллекции исторических парадоксов Юрия Борева оказывается не гротескным преувеличением действительности ради красного словца, а её скромным преуменьшением: «У шефа Третьего отделения было пять тысяч тайных агентов. Декабрист Пестель предполагал, когда он и его товарищи захватят власть, они создадут тайную полицию из пятидесяти тысяч человек»174.

Чего же ждал Бенкендорф от своих сотрудников? Его идеал службы государственной безопасности вырисовывается в инструкциях, выданных жандармским офицерам. Поначалу они касались конкретных поручений, но вскоре были размножены, розданы чиновникам центрального аппарата службы и разосланы по губерниям в качестве руководства к действию175.

Инструкции считались конфиденциальными, однако, хоть и с трудом, достать их было можно176 — и они стали известны довольно широко. Василий Туманский, хороший знакомый Пушкина, писал тому из Одессы: «У нас теперь жандармы… Инструкцию, циркулярно им данную от Бенкендорфа, вероятно, вы имеете в Москве. Мне в ней очень нравится статья о наблюдении за нравами и вообще о поведении молодых людей»177. Вскоре и Ф. В. Булгарин не преминул отметить в своём обзоре общественного мнения в 1827 году: «Инструкция разошлась по рукам и служит доказательством любви государя к порядку и благу России… Добрые люди и особенно народ, бедное дворянство, купечество, крестьяне и хорошие чиновники радуются, что есть власть, наблюдающая оком самого государя над исполнением обязанностей»178.

Жандармские офицеры, направляемые в провинцию, должны были прежде всего обращать «особенное внимание на могущие произойти без изъятия во всех частях управления и во всех состояниях и местах злоупотребления, беспорядки и закону противные поступки» и «наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо властью или преобладанием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных». При этом целью работы эмиссаров Бенкендорфа, по его мнению, был не сбор компромата на местные

власти, неспособные навести порядок, а наоборот, тесное взаимодействие с губернским начальством. Именно поэтому Бенкендорф напоминал: «Прежде, нежели приступите к обнаружению встретившихся беспорядков, вы можете лично сноситься и даже предварять начальников и членов тех властей или судов или те лица, между коих замечены вами будут незаконные поступки, и тогда уже доносить мне, когда ваши домогательства будут тщетны, ибо целью вашей должности должно быть прежде всего предупреждение и отстранение всякого зла. Например, дойдут ли до вашего сведения слухи о худой нравственности и дурных поступках молодых людей, предварить в том родителей или тех, от кого участь их зависит, или добрыми вашими внушениями старайтесь поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истины прежде, нежели обнаружатся гласно их худые поступки пред правительством».

Бенкендорф не сомневается в том, что его сотрудникам «свойственны благородные чувства и правила», поэтому приобрести на местах «уважение всех сословий», по его мнению, им не составит труда. («Если жандарма не любят, он бесполезен», — замечал деятельный сотрудник Бенкендорфа Э. И. Стогов179.) Шеф жандармов задавал своим подчинённым правила поведения: «Обязанностью вашей будет стараться приобрести к себе как благорасположение всех господ начальников гражданских и военных, так равно уважение и доверие всех сословий; приличной покорностью и чинопочитанием к особам вас старшим, благородным и приветливым обращением с равными вам, ласковым и снисходительным обхождением со всеми прочими сословиями вы, конечно, достигнете общего уважения и доверенности к себе и тем поставитесь в возможность выполнять возлагаемую на вас обязанность с успехом, соответственным цели назначения вашего»180.

Генерал надеялся, что при таком обращении в жандармском офицере «всякий увидит чиновника», который «может донести глас страждущего человечества до престола царского и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под высочайшую защиту государя императора»181.

«Донести глас» — выражение, объединившее такие непохожие термины, как «донос» и «гласность». Интересно сравнить его с мнением на этот счёт редакции либерального «Вестника Европы», опубликовавшего в 1872 году «Записки жандарма» А. М. Ломачевского. «Орудием искусственной гласности, при полном отсутствии гласности естественной, и являлся так называемый „голубой мундир“», — говорилось в предисловии к

тексту мемуаров182.

«Искусственная гласность», обходящаяся без информирования общества, — это крупный проект, предложенный консерватором, а потому направленный не'на переустройство общества, а на оздоровление его при существующем устройстве. Он соответствовал политической линии императора Николая, внушённой ему Карамзиным, требовавшим от монархов «более мудрости хранительной, нежели творческой». Польза «гласности» — в передаче необходимой информации всем, кто имеет отношение к принятию властных решений. При демократии она через средства массовой информации должна доходить до всех обладателей политических прав; при самодержавии получать все нужные сведения должны император и его администрация. Остальные, для собственного блага и спокойствия, могут жить в неведении. Как позже объяснял А. И. Герцену «правая рука Бенкендорфа» Л. В. Дубельт, «у нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи; у нас управление отеческое, всё делается как можно келейнее… Мы выбиваемся из сил, чтоб всё шло как можно тише и глаже»183.

Напрашивается параллель между «искусственной гласностью» Бенкендорфа и секретными комитетами той же эпохи, разбиравшими проблему крепостного состояния в России, тем более что именно Бенкендорфу принадлежит известная фраза об отмене крепостного права, повторённая затем 30 марта 1856 года Александром И: «Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнётся снизу, от народа». Как не провести параллели между политическим консерватизмом и консервативным лечением, то есть таким, которое прежде всего не навредит? Секретность «крестьянских» комитетов и высшей полиции казалась средством, подобранным именно для такого лечения.

Я. А. Гордин, один из немногих современных историков, постаравшихся объяснить, а не заклеймить стремление Бенкендорфа создать тайную политическую полицию, пишет об этом так: «Бенкендорф был человеком неглупым и понимавшим неблагополучие в стране. Но он считал возможным поправить положение созданием добросовестной карательной организации, свободной от коррупции и тупости… Бенкендорф хотел идти и пошёл по одному из путей, указанному Петром Великим, — по пути усложнения аппарата контроля: фискалы, обер-фискалы, гвардейские сержанты в роли личных эмиссаров, контролирующие фискалов… Бенкендорф хотел идти и пошёл вместе с Николаем по пути наслоения всё новых и новых

бюрократических пластов, подавляющих своей тяжестью, разветвлённостью и всепроникаемостью любую дворянскую оппозицию»184.

Судя по инструкциям, «карательная» сторона организации была необходимой, но не довлеющей. Бенкендорф справедливо полагал, что болезнь общества, как и любую болезнь, проще предупредить, нежели лечить. «Сколько дел беззаконных и бесконечных тяжеб посредничеством вашим прекратиться может, — обращался он к своим сотрудникам, — сколько злоумышленных людей, жаждущих воспользоваться собственностью ближнего, устрашатся приводить в действие пагубные свои намерения, когда они будут удостоверены, что невинным жертвам их алчности проложен прямой и кратчайший путь к покровительству Его Императорского Величества!» При этом инструкции подчёркивали: «Вы не должны ни под каким видом вмешиваться ни в какие действия и распоряжения присутственных мест и начальства как по гражданской, так и по военной части. Вы должны избегать, напротив, всякого вида соучастия и влияния на производство дел и на меры, местными начальствами предпринимаемые… Если дойдёт до вас сведение о каком-либо противозаконном поступке и вы в справедливости оного совершенно удостоверитесь, то можете предварить о том словесно или посредством записки того начальника, до коего обстоятельство сие касаться будет; сим вы подадите ему способ отвратить возникшее зло или даже предупредить оное. На сей-то конец должно вам поставить себя на такую ногу, чтобы все местные начальства вас уважали и принимали бы извещения ваши с признательностью». Использование силы, в том числе при содействии местного гражданского и военного начальства, разрешалось только в «самонужнейших» случаях185.

На долю «силы», то есть нижних чинов жандармского корпуса, приходилось (согласно суммировавшему их обязанности «Положению о корпусе жандармов» 1836 года):

«1) приведение в исполнение законов и приговоров суда…

2) …поимка воров, беглых, корчемников, преследование разбойников и рассеяние запрещённых законом скопищ;

3) …усмирение буйства и восстановление нарушенного повиновения;

4) …преследование и поимка людей с запрещёнными и тайно провозимыми товарами;

5) …препровождение необыкновенных преступников и арестантов;

6) сохранение порядка на ярмарках, торжищах церковных и народных празднествах…»186

Такой круг повседневных обязанностей пересекался с заботами местной земской полиции и, хотя был рассчитан на помощь провнциальным властям, зачастую вызывал трения с ними.

Но как бы то ни было, система государственной безопасности, достаточно совершенная (по крайней мере, с точки зрения Бенкендорфа и фон Фока), была построена. Стоял только вопрос о том, как она поведёт себя при соприкосновении с действительностью русской жизни.

В переписке и мемуарах, касающихся Бенкендорфа, один из эпитетов к его имени оказывается, пожалуй, наиболее распространённым. Удивительным образом самые разные люди — и по положению, и по отношению к высшей полиции, и по самой судьбе — не сговариваясь, ставили рядом с именем Александра Христофоровича определение «добрый».

Естественно, когда своего «доброго начальника» поминал в записках его бывший подчинённый А. Ф. Львов, автор музыки гимна «Боже, царя храни»187. Не удивляет, что преданный правительству Ф. В. Булгарин отзывался о Бенкендорфе: «Он был заступником истины, утешителем несчастных и страждущих; стремился к добру по влечению своего сердца и пользовался важностью своего знания единственно для содействия общему благу»188. «Николай Павлович не был жестокосерд. Бенкендорф и Дубельт люди добрые…» — присоединялся Н. И. Греч189. Да и сам Л. В. Дубельт говаривал о своём патроне, что он «человек ангельской доброты»190.

Но ведь и А. О. Смирнова-Россет, женщина незаурядного ума и самостоятельных суждений, не раз повторяла в воспоминаниях «добрый Бенкендорф»191, хотя позволяла себе немало резких суждений о ком угодно, включая императора Николая (вроде того, что «государь кокетствовал, как молоденькая бабёнка»192). А. С. Пушкин также считал Бенкендорфа человеком «с добрым чувствительным сердцем»193! Он убеждал своего друга П. А. Вяземского зимой 1829 года: «C’est un brave & digne homme» (Это честный и достойный человек)194. Вяземский признавался, что «в глубине души» ценит Бенкендорфа «как человека, которому свойственны благие намерения, человека беспристрастного и доступного истине, по крайней мере искренности; человека, который может заблуждаться, но повинуясь при этом лишь внутреннему голосу своей совести»195. О «доброте души» графа пишет Алексей Столыпин (Монго), товарищ и секундант Лермонтова196. Ещё один великий поэт, Ф. И. Тютчев, написал однажды жене: «Это поистине одна из самых лучших человеческих натур, какие мне доводилось встречать… Бенкендорф …один из самых влиятельных людей в империи… Это и я знал о нём, и, конечно, не это могло расположить меня в его пользу. Тем более отрадно было убедиться, что он в то же самое время безусловно честен и добр»197.

Осуждённый по второму разряду (20 лет каторжных работ и

«политическая смерть») декабрист Н. В. Басаргин написал в воспоминаниях: «Граф Бенкендорф, принявший на себя должность шефа жандармов, будучи добрым человеком, старался принимать в свой корпус более или менее хороших людей»198. За «доброе дело» был признателен Бенкендорфу А. О. Корнилович (приговорён к двенадцати годам каторги, отбыл восемь лет): «Богатый чувствами, но бедный на слова, я не умею в простых выражениях сказать вашему превосходительству своей благодарности»199.

Высокопоставленные сановники, чьё положение позволяло им говорить о государственных деятелях нелицеприятно, при всём своём критическом настрое также не забывали благосклонных эпитетов. Сенатор К. И. Фишер отмечал: «Образованный человек, доброго сердца, благородного характера, неустрашимый»200; М. А. Корф передавал впечатления «французского туриста» 1842 года: «Черты графа Бенкендорфа носят отпечаток истинного добросердечия и самой благородной души»201, а от себя добавлял: «Он пользовался тогда общей популярностью благодаря своему добродушию». «Добрый справедливый человек», — писал будущий московский почт-директор А. Я. Булгаков брату, петербургскому почт-директору202. Даже в беллетризованных воспоминаниях А. И. Герцена, мягко говоря, не любившего Бенкендорфа, шеф жандармов имеет хоть и «обманчиво», но «добрый взгляд».

Но тот же Герцен припечатал однажды: «Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во всё, — я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица, — но и добра он не сделал, на это у него не доставало энергии, воли, сердца»203.

Так ли?

Не вернее ли предположить, что Герцен не обладал достаточной информацией, не общался с теми, кто испытывал к Бенкендорфу чувство благодарности, не знал, как отзывались о начальнике высшей полиции, свбём «тюремщике», декабристы Волконский, Штейнгейль, Басаргин, Корнилович, Jlорер, А. Н. Муравьёв? Наконец, он не был вхож в государственные архивы, в отличие от исследователей, повторяющих вышеприведённую цитату — не как мнение знаменитого и предвзятого публициста, а как исторический факт. Факты, между тем, с первого же года работы Бенкендорфа на новой должности говорят совсем о другом.

Пятого ноября 1826 года Бенкендорф писал видному

сановнику, члену совета Воспитательного дома благородных девиц Н. П. Новосильцеву:

«Милостивый государь Николай Петрович! Служивший при блаженной памяти государе императоре Павле 1-м в Семёновском полку каптенармусом Насекин имеет шесть малолетних дочерей и живёт одним жалованием, получаемым по занимаемому им месту надзирательного помощника здешней таможни, почему и не в состоянии им дать приличного образования. Зная его хорошее поведение и усердную службу, я обращаюсь к вашему превосходительству с покорнейшей просьбою сделать мне одолжение не отказать в вашем ходатайстве у Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии Фёдоровны о приятии в какое-нибудь казённое заведение старших дочерей его Настасьи и Марии, 10 лет.

С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь пребыть

Милостивый государь, вашего превосходительства покорнейший слуга А. Бенкендорф»204.

А вот куда более известный случай — обращение А. Х. Бенкендорфа к военному министру А. И. Чернышёву 28 марта 1838 года:

«Принимая живейшее участие в просьбе этой доброй и почтенной старушки (Е. А. Арсеньевой. — Д. О.)… я имею честь покорнейше просить ваше сиятельство, в особенное личное ко мне одолжение, испросить у государя императора к празднику Св. Пасхи всемилостивейшее совершенное прощение корнету Лермонтову и перевод его в л. — гв. Гусарский полк»205.

Полиция, «стоящая вне закона и над законом»? Но в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки сохранилась переписка А. Х. Бенкендорфа с лучшим знатоком законов Российской империи — М. М. Сперанским206. Она свидетельствует, насколько щепетильно подходил генерал к вопросу законности совершаемых им дел. Не раз и не два обращается он к создателю Полного свода законов Российской империи за подробной консультацией:

«Милостивый государь Михаил Михайлович!

Дочь тайного советника Голынского, вступившая в брак с бароном Лев-Веймаром, имея обязанность, по случаю своего отъезда во Францию, на основании закона продать недвижимое её имение в шестимесячный срок, обратилась ко мне в исходатайствование высочайшего повеления, чтоб срок сей начать считать не со времени её отъезда из России, а с того времени, когда окончен будет у неё раздел того имения с сестрою и она будет введена во владение оным.

Предварительно доклада моего о сём государю императору я покорнейше прошу ваше высокопревосходительство почтить меня вашим, милостивый государь, по предмету такой проблемы заключением.

С совершенным почтением и преданностию честь имею быть вашего высокопревосходительства покорнейший слуга Граф Бенкендорф».

Сперанский не медлит с ответом:

«Его сиятельству графу Ал. Х. Бенкендорфу.

2-го февраля 1837 года.

Милостивый государь, граф Александр Христофорович!

Вопрос, в отношении вашего сиятельства мне предложенный, о сроке продажи имения баронессы Лев-Веймар, разрешается статьёю 864-ю и 470-ю Свода гражданских законов (т. Х)…»

Далее следуют обстоятельный пересказ статей и комментарии ситуации с точки зрения действующего законодательства.

Вот более сложный случай:

«В Санкт-Петербурге,

Января 18 дня 1838 № 288.

Милостивый Государь Михаил Михайлович!

В 1831 году аудитору… 12-го класса Сычурову подкинут был младенец женского пола, наречённый Верою. Девица сия, имеющая ныне от роду 6 лет, доселе воспитывается у Сычурова и по достижении 15-ти летнего возраста должна будет избрать себе род жизни. Между тем аудитор Сычуров и жена его, не имея собственных детей, просят об узаконении означенной девицы с правом родной дочери.

В сделанной справке оказалось, что на усыновление детей личным дворянам закона не имеет…»

Бенкендорф заметил пробел в нормах существовавшего законодательства; поэтому ответ Сперанского был особенно подробным, на нескольких листах, с объяснением, насколько запутанной оказалась ситуация и как её можно разрешить. Вывод правоведа был таков: «…Казалось бы полезным сделать в существующих ныне законах вышеозначенное дополнение; с чем вместе, само собою, разрешить бы уже и частный случай Сычурова, как последствие общего закона».

В результате переписки Бенкендорфа и Сперанского аудитор Сычуров «усыновил» девочку, а в законодательстве была обнаружена и залатана хоть и небольшая, но всё же прореха…

Для понимания степени уважения Бенкендорфа к Сперанскому важно замечание Александра Христофоровича по поводу созданного Михаилом Михайловичем Свода законов

Российской империи. Начальник Третьего отделения назвал сей «огромный», «славный труд» «памятником долговечнейшим, чем все завоевания, столь часто обращающиеся в несчастие народов»207.

…Но где же дела политические? Преобладание политических дел в трудах сотрудников Бенкендорфа — это один из распространённых мифов. Гораздо большую угрозу государственной безопасности представляли несправедливость суда, мздоимство и взяточничество, бюрократическая волокита, неисполнение законов или поиск в них лазеек. Эти проблемы и составляли куда большую часть забот Третьего отделения и корпуса жандармов. Количество сохранившихся архивных дел говорит само за себя. В Секретном архиве Третьего отделения в разделе «Революционное движение» за 1826–1848 годы, (после декабристов и до петрашевцев) хранятся всего 11 дел за 22 года, включая такие незначительные, как «Письмо… об обнаружении на улице записки „Спасайтесь, будет ужасный бунт“ с приложением этой записки»208; счёт же дел, связанных с неполитическим нарушением порядка за тот же период, идёт на многие сотни. Высшая полиция ещё не была создана, а император уже приберёг для её работы письмо надворного советника Константинова «со сведениями о злоупотреблениях в контрольной части по делам подрядчиков с казной от 11–14 июня 1826 года»209.

Всего же, как давно было подсчитано, в делопроизводстве Третьего отделения ежегодно обращались 10–12 тысяч входящих и четыре тысячи исходящих бумаг; кроме того, туда поступало «своим ходом» от 2 до 5,5 тысячи просьб и ещё 4–10 тысяч набиралось во время высочайших путешествий210. Доля политических дел в этом море бумаг весьма невелика, зато, например, дела о жестоком обращении помещиков с крепостными (по жалобам последних) составляли почти 6 процентов!211

Третьему отделению приходилось решать такие задачи:

«— содействие к получению удовлетворений по документам, не облечённым в законную форму;

— освобождение от взысканий по безденежным заёмным письмам и тому подобным актам;

— пересмотр в высших судебных местах дел, решённых в низших инстанциях, остановление исполнения судебных постановлений, отмена распоряжений правительственных мест и лиц;

— восстановление права апелляции на решения судебных мест;

— домогательство о разборе тяжебных дел вне порядка и

правил, установленных законами;

— помещение детей на казённый счёт в учебные заведения;

— причисление незаконных детей к законным, вследствие вступления родителей их в брак между собой;

— назначение денежных пособий, пенсий, аренд и наград;

— рассрочка и сложение казённых взысканий;

— возвращение прав состояния, облегчение участи состоящих под наказанием, освобождение содержащихся под стражей;

— предоставление проектов по разным предприятиям и изобретениям».

Кроме того, разбиралось огромное количество жалоб:

«— на личные оскорбления;

— на нарушение супружеских обязанностей с просьбами о снабжении их видами для отдельного проживания и обеспечении… насчёт мужей;

— на обольщение девиц;

— на неповиновение детей родителям и на злоупотребления родительской властью;

— на неблаговидные поступки родственников по делам о наследстве;

— на злоупотребление опекунов;

— по делам о подлоге и несоблюдении форм в составлении духовных завещаний;

— помещиков на крестьян и обратно;

— на бездействие и медленность по денежным взысканиям;

— на пристрастие, медленность и упущения при производстве следствий при рассмотрении дел гражданских и уголовных, при исполнении судебных решений и приговоров;

— на оставление просьб и жалоб без разрешения со стороны начальствующих лиц».

При этом в некоторых обращениях заключались указания на «злоупотребления частных лиц по взносам казённых пошлин, по порубке и поджогу казённых лесов, по питейным откупам, по подрядам и поставкам и т. п.»212.

В ведение Бенкендорфа попала и внешняя разведка. Уже в канун войны с Турцией, в декабре 1827 года, на стол Бенкендорфу легла «Выписка из фирмана визиря Трапезунда к паше Анапскому о необходимости укрепления крепости Анапы ввиду предстоящей войны с Россией». В ходе войны 1828–1829 годов поступали агентурные донесения «об использовании султаном французских, английских и австрийских военных специалистов, расположении и тактике турецких войск и стремлении турецкого народа к заключению мира»213. С Кавказа приходили вести «о притеснениях со стороны персов армянского

населения в Шекинской провинции и о стремлении армян к объединению с Россией»214. В мирные годы к Бенкендорфу стекались донесения европейских агентов о внутренней и внешней политике европейских держав, через него решался вопрос о выдаче жалованья и покрытии дорожных расходов заграничной агентуре215.

* * *

Для знакомства с кругом конкретных повседневных забот начальника Третьего отделения и шефа жандармов стоит просмотреть подряд списки текущих дел подчинённых ему учреждений. Тогда станет ясно, что понятие «высшая тайная полиция» во времена Бенкендорфа вовсе не равнозначно понятию «высшая политическая полиция». Возьмём, например, относительно спокойный 1834 год, когда, как писал Бенкендорф, «Россия наслаждалась всеми благословениями мира и отеческого правления, постоянно двигавшего все части вперёд …всё совершенствовалось, и народные сословия скреплялись общей любовью к престолу»216. Наследник престола Александр Николаевич отметил свой шестнадцатый день рождения — возраст совершеннолетия, определённый законами для «его сана». Внешнеполитическое положение России было более чем благоприятно. После восстания 1830–1831 годов «окончательно», как казалось, замирена Польша. С извечным соперником России, Оттоманской империей, на ближайшие десять лет заключён не просто дружеский мир, а союзный договор, самый выгодный за всю историю отношений двух стран. С этого года официально исполнялся государственный гимн «Боже, царя храни!». На Дворцовой площади открыт величественный имперский монумент — Александрийский столп. Гоголь восхищённо приветствует картину Брюллова «Последний день Помпеи», получившую золотую медаль на Парижской выставке. Лермонтов задумывает писать «Маскарад», Белинский публикует «Литературные мечтания». Пушкин жив.

Откроем толстую канцелярскую тетрадь под названием «Его Императорского Величества собственной канцелярии III-го отделения журнал входящий. Первая половина 1834 года»217. Вот уж кто воистину «добру и злу внимает равнодушно» — заполняющий его канцелярист. Информация, донесения, людские горести и надежды — всё пронумеровано и занесено в опись:

«1. Записка о прибывшем в Москву полковнике Кушеле.

2. Записка ген-майора Г. М. Апраксина о деле крестьянина…

3. Его же записка о монахе Бернардинского ордена Бут-…

4. Донесение полковника Языкова о злонамеренном предприятии содержащегося в Виленском тюремном замке арестанта Брайкевича.

5. Донесение его же о произведённом в г. Россиенах рекрутском наборе с евреев.

6. Донесение поручика Кузьмина с предоставлением всеподданнейшего прошения яренского мещанина Оболтина и о деле его.

7. От вологодского гражданского губернатора с предоставлением прошения подполковника Навацкого о перемещении его в другой город.

8. Письмо статского советника Левенрагена об некоем немецком ренегате, рассказывавшем об имеющем быть в Европе возмущении.

9. Ген-майора Кованько о главных лицах Новгородской губернии.

10. Всеподданнейший рапорт коменданта Санкт-Петербургской крепости об арестантах, содержащихся в сей крепости.

11. Всеподданнейший рапорт его же с препровождением списка содержащихся в Алексеевском равелине арестантах.

12. От Санкт-Петербургского военного, ген-губернатора с препровождением прошения… Зиньковского о приостановлении приговора Правительствующего Сената…»

Перевернём несколько страниц — вдруг дальше встретится что-то леденящее кровь…

«…32. Письмо полковника Казинского об оказании ему пособия.

33. Записка генерал-лейтенанта Лесовского об излишнем сборе в Калужском уездном казначействе денег на обмундирование рекрут…

34. Записка его же о неприличных поступках подпоручика Исакова, у приёма рекрутов в городе Мещавске находящегося.

35. От министра внутренних дел о выезде из Тобольска надворного советника Кованько.

36. От министра юстиции о чиновнике Мартусевиче, продававшем гербовую бумагу прежнего штемпеля.

37. Прошение вдовы 8 класса Александры Николаевой о прощении и возвращении сыновей её.

38. Записка министра финансов о злоупотреблении в Тобольской губернии при найме писарей для составления ревизских сказок.

39. Записка его же об увеличении таможенных пунктов.

40. От военного министра об увольнении в отпуск в Москву прапорщика Чернышёва для свидания с сестрою Чернышёвой-Кругликовою.

41. От его же об отложении до лета отпуска прапорщика Чернышёва…»

Пожалуй, остановимся, ибо дальше — практически та же самая рутина будней, материал, не особенно вдохновляющий быстрого на суждения публициста. А надо бы ещё взглянуть на одновременные заботы А. Х. Бенкендорфа по «родственной», жандармской части. В том же 1834 году только через канцелярию шефа жандармов прошли 1053 входящих и 1080 исходящих дел218. Даже если решение значительной их части не составляло большого труда, попадались и достаточно важные вопросы, требующие внимания не только шефа жандармов, но и самого императора. Для того чтобы познакомиться с ними, углубимся в «Журнал, содержащий краткое изложение всеподданнейших докладов, подававших[ся] Бенкендорфом А. Х. Николаю I»219. В нём зарегистрировано 148 докладов; значит, только по жандармским делам Бенкендорф бывал у царя раз в два-три дня. Политических проблем в этих докладах практически нет, если не считать ходатайства Бенкендорфа за своего старого знакомца (ещё со времён пансиона Николя), отставного генерала М. Ф. Орлова. Проходивший по делу декабристов Орлов хотел напечатать своё политэкономическое сочинение «О государственном кредите», для чего заручился поддержкой старых знакомых, занимающих высокие посты. Бенкендорф выхлопотал у императора принципиальное разрешение принять сочинение к рассмотрению; несмотря на критические отзывы цензуры, работа была опубликована, хотя анонимно и с купюрами. Суждения либеральной оппозиции по важнейшим вопросам государственного управления (а идеи Орлова сильно расходились с теориями тогдашнего министра финансов Е. Ф. Канкрина) вышли в свет.

Но даже такая «частично политическая» тема в докладах шефа жандармов — большая редкость. Куда большее место занимают отчёты об инспекциях уездных тюрем и больниц. В Чембаре, например, «чувствуя стеснение от многолюдства и получая дурную пищу, подсудимые просили о ускорении их дел и об удалении пересыльных, которые реальным образом просили о скорейшем их отправлении, жалуясь, что их долго задержали на одном месте. На вопрос флигель-адъютанта Козарского, почему они не жалуются прокурору, они объявили, что он давно не был в тюрьме, а многие и совсем его не видали, что после подтвердили некоторые и при самом прокуроре. Козарский сообщил о сём

гражданскому губернатору».

Во многих докладах говорится об утверждении новых офицеров корпуса. Обычно Николай ставил резолюцию: «Согласен»; хотя изредка встречались иные примеры:

«Титулярный советник Чаев по усердной готовности своей быть полезным правительству употребляем был безвозмездно корпуса жандармов полковником Шубинским в продолжение 2-х с половиной лет по разным его для пользы жандармской службы поручениям. <…> Кои при природной способности его, Чаева, и ревностном усердии до сих пор исполняет он с отличнейшею деятельностью и успехом». Приложенная справка гласила, что Чаев, 45 лет от роду, «из дворян, окончил училище корабельной архитектуры, служил в Адмиралтействе, с 1814 живёт в Романово-Борисоглебске». Бенкендорф ходатайствует о принятии его штабс-капитаном в корпус жандармов, несмотря на причастность к делу о растрате казначеем казённой суммы (штраф в тот раз заменили выговором, «чтобы впредь был осмотрительнее»). Николай отвечает: поскольку на службу просится гражданский чиновник, «прикомандировать сперва к образцовому кавалерийскому полку для узнания порядка службы».

Между бумагами об инспекциях и назначениях — документы, касающиеся судеб конкретных людей. Вот дело «О несправедливом увольнении тамбовского чиновника Ведеревского, во время холеры говорившего, что нет такой болезни, что якобы привело к беспорядкам». Бенкендорф вступается за чиновника, «обременённого семейством», «честного и добродетельного», и просит определить его на службу в одну из губерний на прежнюю должность. Основываясь на информации от своих жандармских офицеров, он убедил Николая: «Вашему императорскому величеству известно, что настоящая причина означенных беспокойств заключалась в слабых и нерешительных действиях гражданского губернатора Миронова, а не в тех слухах, которые якобы были разносимы различными чиновниками».

И снова — текущие, негероические заботы о повседневных проблемах подданных. «Жалоба на статского советника Бурнашева, вдовца, содержащего своего 20-летнего сына крайне скудно»; «Утверждение устного завещания дочери действительного тайного советника Хитрово, завещавшей дом своему мужу, Толстому»; «Жалоба отставного поручика Зубкова на соседапомещика Паренаго, который его обижает, крестьян его грабит, лес истребляет, сжёг дом и грозится убить» (в конце концов имение Паренаго, признанного невменяемым, отдали в государственную опеку).

Мелькает и крестьянский вопрос — в трёх докладах из 148, меньше насчитанной по линии Третьего отделения «нормы» в 6 процентов. Сообщения примерно таковы: «Во время проезда Николая через Старый Быхов некоторые крестьяне приносили жалобу на притеснение своего владельца князя Сапеги. Проведённое расследование жалобы не подтвердило, а показало, что крестьяне „оказывают непослушание“ и справедливые требования выдают за „утеснения“ и потому беспрерывно простирают жалобы свои, „помещая в оные всё, что только может послужить во вред помещику своему“… О жалобе проводил исследование майор Михаловский».

И опять череда будничных проблем: «Просьба восстановить на службе бедствующего чиновника, уволенного за причастность к делу Адреевского»; «Пенсион отставному потерявшему зрение поручику Ягозинскому»; «Прошение вдовы Полесской, принявшей христианскую веру вместо еврейской и потерявшей мужа, умершего от холеры, дать ей хоть какой-нибудь пенсион».

Встречаются и доклады о награждении жандармских офицеров. Последний, сделанный в канун Рождества, является ходатайством о премии — «пожаловании… не в зачёт жалования обер-офицерам Санктпетербургского жандармского дивизиона», которые, «быв большею частью недостаточного состояния, по беспрестанной и весьма трудной службе, затрудняются на счёт своего содержания». Сумма относительно невелика — 3471 рубль на всех.

Общество не знало — да при сложившейся системе «искусственной гласности» и не могло знать, — насколько круг забот начальника Третьего отделения и шефа жандармов был шире борьбы с «политической крамолой». Это была оборотная сторона контроля государства над информацией, стремления решать проблемы как можно «келейнее, тише и глаже».

В результате порождались слухи и анекдоты, заполнявшие информационные пустоты и питавшие публицистику Герцена, Долгорукова, Бакунина.

В то время, например, «даже не тёмные, непросвещённые, а вполне интеллигентные люди твёрдо верили в то, что в кабинете начальника Третьего отделения имелось кресло с особым техническим приспособлением, на которое обязательно усаживался вызываемый для объяснения. В известный же момент беседа приглашённого с любезным хозяином, шефом жандармов, внезапно прерывалась: кресло, на котором сидел гость, проваливалось под пол, а там проваливавшийся попадал сразу в объятия двух жандармов, учинявших над ним жестокую расправу»220. В одном из вариантов этой страшилки опускалось

не всё кресло, а только его сиденье, после чего спрятанные под полом «экзекуторы» обнажали беззащитное седалище жертвы и угощали его розгами … Легенда оказалась живучей, перекочевав в более поздние времена. В записках хирурга Н. И. Пирогова сохранился рассказ цензора Крылова, приглашённого к шефу жандармов (уже не к Бенкендорфу, а к его преемнику Орлову). Цензор получил вежливое приглашение присесть в кресло напротив Орлова:

«— Садитесь, сделайте одолжение, поговорим.

— А я, — повествовал нам Крылов, — стою ни жив, ни мёртв, и думаю себе, что тут делать: не сесть — нельзя, коли приглашает; а сядь у шефа жандармов, так, пожалуй, ещё и высечен будешь. Наконец, делать нечего, Орлов снова приглашает и указывает на стоящее возле него кресло. Вот я, — рассказывал Крылов, — потихоньку и осторожно сажусь себе на самый краешек кресла. Вся душа ушла в пятки. Вотвот, так и жду, что у меня под сиденьем подушка опустится и — известно что… Что уж он мне там говорил, я от страха и трепета забыл. Слава богу, однако же дело тем и кончилось. Чёрт с ним, с цензорством! — это не жизнь, а ад»221.

Так и попала легенда в книги Достоевского и Лескова:

Влепят в наказание
Так ударов до ста —
Будешь помнить здание
У Цепного моста…222

Подобные анекдоты просачивались за границу и там выплёскивались на страницы печати дня придания пикантности рассказам о деспотической России. Английский путешественник пересказывал историю, услышанную им якобы от шведского посла: «Этот господин однажды встретил на улице графа Бенкендорфа и между делом спросил его, не слышал он чего-нибудь об одном шведе, недавно прибывшем в Петербург. „Имени его я не помню, — сказал посол, — но выглядит он так-то, такого-то роста, такого-то возраста“. Шеф полиции сказал, что не знает, но наведёт справки. И вот недели через три они снова встречаются и Бенкендорф „радует“ посла: „Бонжур! Взяли мы вашего шведа. Сидит, голубчик!“ — „Моего шведа? Какого шведа?“ —„Да того, о котором вы осведомлялись три недели назад… А вы что… Разве не хотели, чтобы его арестовали?“»223.

Француз Жермен де Ланьи делится другой занимательной историей:

«Несколько лет назад граф Бенкендорф был вызван к

Николаю и получил 1200 фунтов стерлингов на благотворительность. Вернувшись домой, он провёл несколько часов в кабинете и затем велел заложить карету. Уже собравшись сесть в неё, Бенкендорф подумал, что забыл бумажник, и вернулся в кабинет. Там он обшарил все закоулки, всю мебель, но бумажника не нашёл. Размышляя о том, потерял ли он 1200 фунтов или их украли, Бенкендорф немедленно вызвал начальника столичной полиции Кокошкина и отдал приказ найти вора и бумажник к следующему утру. Наутро в назначенный час Кокошкин явился в кабинет министра, передал деньги, якобы найденные у вора, и сообщил, что бумажник тот утопил в Неве. Бенкендорф взял деньги, машинально полез в карман за бумажником… и обнаружил его на месте, вместе с деньгами! Оказалось, перепуганный и отчаявшийся Кокошкин решил, что проще всего будет не искать преступника, а собрать искомую сумму со своих „надзирателей“, и именно её преподнёс министру»224.

Эмигрант Михаил Бакунин в доказательство того, что у Николая все министры и сенаторы воруют, приводил пример, как «супруга министра Бенкендорфа привозила целые пароходы контрабанды в Кронштадтский порт и содержала через посредство своих крепостных служанок большие торговые склады»225.

Искатель приключений Чарльз Хеннигсен, «размышлявший» о России в 1846 году (когда Бенкендорфа уже не было в живых), делал из подобных «откровений» логичные выводы: «Император Николай безоговорочно передал графу Бенкендорфу всю свою абсолютную власть над всеми своими подданными, среди которых, мы должны это помнить, и вся императорская семья! Каждый в империи обязан безоговорочно повиноваться повелениям этого визиря, как если бы они исходили из уст самого императора… Он может запихнуть любого подданного в телегу или кибитку без объяснения причин, без ответов на вопросы, почему он взят, куда его повезут и когда он вернётся. Семья, слуги, друзья — все должны хранить осторожное молчание; они и не осмелятся спросить, что случилось… Всё ещё жива некая дама, которая едва вышла из своего экипажа в бальном платье, как тут же была схвачена, посажена в сани и отправлена в Сибирь…» (Далее следует леденящая кровь история о проведённых ею двенадцати годах в каморке, разделённой с другим заключённым, польским дворянином.) «Когда офицер или рядовой жандармского корпуса появляется у входа, даже визит ангела смерти не может внушить большего ужаса… Высшая полиция под командой Бенкендорфа — это инструмент

унижения, запугивания и раздражения высших классов общества»226.

Конечно, из того, что литература той эпохи переполнена фантазиями и эмоциями публицистов, нельзя делать вывод о некоем «идеальном и безгрешном» Бенкендорфе во главе «идеального и безгрешного учреждения». Он первым отказался от такой чести, имея силы признаться: «Шеф жандармов не довольно ослеплён, чтобы не видел недостатки и слабые стороны своего корпуса, но с тем вместе дозволяет себе сказать, что корпус жандармов не может не иметь недостатков, ибо в состав оного входят люди, подверженные большим или меньшим неизбежным слабостям, так точно, как и во всех других государственных учреждениях». Он писал царю, что сам, «может быть, имеет более пороков, чем его подчинённые»227.

Именно зоркий глаз подчинённых — даже тех, кто любил и уважал Бенкендорфа, — подмечал не вымышленный демонизм, а его реальные недостатки. Упоминавшийся А. Ф. Львов, долгие годы служивший старшим адъютантом в корпусе жандармов, признавался (и делом доказывал), что искренне привязан к своему начальнику благодаря «отличным качествам благородной души Бенкендорфа». Он утверждал, что Александр Христофорович был «храбр, умён, в обращении прост и прям …с подчинёнными хорош, но вспыльчив». Но при этом он не мог не отметить, что боевой генерал не любил канцелярской работы с её рутинным делопроизводством, «не постигал, что каждая бумага требует времени для соображения, времени, чтобы сочинить её, времени, чтобы переписать и проверить». Львову не нравилось, что «приказывал он всегда в полслова, потому что подробно и обстоятельно приказать не мог и не умел». Его тяготила неспособность Бенкендорфа организовать бумажно-канцелярскую работу своих учреждений, что «столько облегчает труд подчинённых». Адъютанту казалось, что Бенкендорф «с подчинёнными был, как бестолковый кучер, который, взяв все вожжи в одну руку, погоняет лошадей без разбору, и ретивую, и ленивую, да и не замечает, что от его езды одна лошадь жиреет, а другая изнемогает». Воспринимая ответственное выполнение служебных обязанностей как долг, а не как подвиг, сам Бенкендорф был «награждать не большой охотник», хотя «никогда не останавливался… дать отличный аттестат всякому, у него служившему». Указывал Львов и на недостаток у Бенкендорфа инициативы, упоминал унаследованную им от отца рассеянность228.

Нельзя забывать, что оценка Бенкендорфа как высшего полицейского начальника сильно зависела от отношения

общества к служащим его ведомства. И если своё ближайшее окружение Бенкендорф подбирал сам, то личный состав жандармских округов зависел от него в гораздо меньшей степени. Он не мог перепроверить все характеристики, но верил в благие намерения своих сотрудников. Шеф жандармов напутствовал своих офицеров, заново повторяя хрестоматийную сцену с платком: «Ваша обязанность — утирать слёзы несчастных и отвращать злоупотребления власти, а обществу содействовать быть в согласии. Если будут любить вас, то вы легко всего достигнете»229.

Но далеко не все подчинённые Бенкендорфа были преисполнены исключительно благих намерений. Можно указать, например, на полковника А. П. Маслова, вызвавшего своими действиями в Симбирске в начале 1830-х годов «озлобление всего общества против него, а вместе с тем недоверие и нерасположение к голубому мундиру». Сменивший его Э. И. Стогов вспоминал, что Маслов «совершенно не понимал своей обязанности: он… хотел быть сыщиком, ему казалось славою рыться в грязных мелочах и хвастать знанием домашних тайн общества. Жена его любила щеголять знанием всех сплетен и так была деятельна, что для помощи мужу осматривала предварительно рекрут, хотя это и не было обязанностью жандармского штаб-офицера, но Маслов совался везде. Одним словом, Маслов хотел быть страшным и — достиг общего презрения!»230. А ведь жандармским офицерам, согласно инструкции Бенкендорфа, предписывалось привлекать тайных агентов, готовых работать за деньги или стремящихся доносами «искупить свою вину» «злодеев, интриганов и людей недалёких». Вследствие таких мер к основанию жандармской пирамиды стала прибиваться масса нечистоплотных людей, использовавших систему высшей полиции в собственных корыстных целях. Литератор и чиновник М. А. Дмитриев вспоминал: «Жандармы действительно в скором времени приобрели себе многочисленных сотрудников, но не на основании всеобщего к ним уважения, а за деньги. Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки, вся бродячая дрянь, не способная к трудам службы, весь обор человеческого общества подвигнулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом. Вскоре никто не был спокоен из служащих, а в домах даже боялись собственных людей, потому что их подкупали; боялись даже некоторых лиц, принадлежавших к порядочному обществу и даже высшему званию, потому что о некоторых проходил слух, что они принадлежат к тайной полиции»231. Много позже сами

сотрудники жандармского ведомства пришли к выводу, что в этом заключалось одно из принципиальных противоречий всей жандармской системы. Как ни была хороша идея об использовании только «честных людей, которые пожелали бы предупредить правительство о каком-нибудь заговоре или сообщить ему какие-нибудь интересные новости», она оказалась нежизнеспособной и даже «наивной». «„Честные люди“ или благонамеренные граждане, — излагал уже в XX веке опыт своей работы жандармский полковник А. П. Мартынов, — при всей своей честности и благонамеренности как раз обычно о „заговорах“ не знают». Вера правительства в то, что они «придут и сами всё скажут», была ошибочной. Куда практичнее, «правильнее и удобнее», по мнению жандарма, «добывать нужные сведения за деньги, путём подкупа людей, так или иначе близких к „заговорщикам“»232.

Со временем Бенкендорфу стало понятно, что создать идеальную «когорту добромыслящих» не удалось и что на своём посту он нажил несметное число недоброжелателей. Враждебность шла не только — и не столько — из политических сфер, сколько из кругов ловко устроившихся лихоимцев и властолюбцев, не стеснявшихся пользоваться политической фразеологией. Именно им сильно доставалось от высшей полиции, именно их называли в ежегодных «всеподданнейших отчётах» Третьего отделения главной «язвой, поедающей благоденствие нашего Отечества»233. Когда Бенкендорф в докладах Николаю говорил о сословии, «наиболее развращённом морально», он имел в виду бюрократию, чиновников, среди которых «редко встречаются порядочные люди». Его возмущало именно то, что «к несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные из них, но, в сущности, все, так как им… известны все тонкости бюрократической системы». Это они «боятся введения правосудия, точных законов и искоренения хищений; они ненавидят тех, кто преследует взяточничество, и бегут их, как сова солнца. Они систематически порицают все мероприятия правительства и образуют собой кадры недовольных»234. Внутреннюю войну с чиновничьей системой ни Бенкендорфу, ни императору Николаю выиграть не удалось.

Понимая всё несовершенство человеческой натуры, Бенкендорф следовал строгому принципу: «Делай что должно, а там будь что будет». В одном из писем он попытался объяснить смысл своей деятельности в мирное время: «Лишь бы была польза, а я во всём утешусь, потому что моя единственная цель — благо, но трудно действовать… Пока только окажется возможным, я оберегу императора от каких бы то ни было

неприятностей; я поседею от этого, но никогда не стану жаловаться; когда интриги превзойдут меру моего терпения, я попрошу место моего брата во главе какой-нибудь кавалерийской части; там, по крайней мере, когда гремят орудия, интрига остаётся позади фронта»235.

Пушкинисты, опустите ваши пушки…

Саму историю русской литературы можно представить как литературное произведение, созданное гигантской группой соавторов. И какой бы противоречивой ни получалась подобная эпопея, граф А. Х. Бенкендорф практически неизменно занимает в ней место выразительного антигероя, на фоне которого положительные персонажи выглядят ещё светлее и ярче.

Этот его образ возник на почве того, что публицистический пафос исследователей либо выступал оправданием тенденциозного подбора фактов, либо заменял их совсем. Чего стоит хотя бы одна из первых документальных работ по этой теме — и слишком долгое время главная — вышедшая в 1908 году книга М. К. Лемке «Николаевские жандармы и литература. 1826–1855». Современники критиковали автора за то, что он «пылает запоздавшим лет на 70 негодованием против Булгариных, Бенкендорфов, Фоков и учиняет им „свирепый разнос“», при котором «пропадают все оттенки, разные стадии процесса»236. В наше время излишняя тенденциозность работы Лемке, оказавшей сильное влияние на последующую литературу, также признана существенным недостатком237. С лёгкой руки автора «Николаевских жандармов» в большинстве советских работ Третье отделение считалось чуть ли не исключительно органом «борьбы с крамолой», в том числе в литературе — на «поприще, на котором концентрировалась сила… мелкобуржуазной демократической интеллигенции». Соответственно «жандармы, лучше многих современников отдававшие себе отчёт в направлении общественного развития, прекрасно учитывали потенциальную силу литературы» и стремились «эту силу обуздать»238.

Однако так же как политический сыск не был исключительным направлением деятельности Третьего отделения, задача «обуздывать» новую «общественную силу» не была главной для Бенкендорфа. Более пристальное рассмотрение «трудов и дней» подведомственных ему учреждений уже привело исследователей к выводам о куда большем объёме выполняемой работы. Подробно изучивший её А. И. Рейтблат пришёл к выводу, что, во-первых, репрессии против литературы и литераторов «осуществлялись, как правило, по инициативе не III отделения, а царя или влиятельных сановников, а во-вторых, это была не только не единственная, но, возможно, и не главная форма „работы“ этой инстанции с литераторами».

В реальности Третье отделение:

«— наблюдало за деятельностью литераторов (знакомясь с печатными изданиями и собирая агентурную информацию);

— поощряло литераторов, деятельность которых расценивалась императором как полезная;

— использовало литераторов для реализации своих целей, главным образом — для „руководства умами“;

— выступало в роли посредника в сношениях литераторов с царём и цензурой, а иногда и в качестве арбитра в конфликтах одних литераторов с другими»239.

Сверхзадачей подведомственного Бенкендорфу учреждения было регулирование информационных потоков и контроль за ними, насколько возможно. Действительно, как уже отмечалось, в круге забот Третьего отделения самим Бенкендорфом было выделено «наблюдение за общим мнением и народным духом; направление лиц и средств к достижению этой цели»; литература, по его мнению, играла здесь первостепенное значение. Это видно, например, из «Обзора общественного мнения» за 1830 год, представленного Бенкендорфом императору Николаю: «Высшие слои общества у нас чужды национальной литературе, но весь средний класс, молодёжь, военные, даже купцы, все принимают близко к сердцу её преуспеяния, все писатели имеют своих многочисленных сторонников, которые взирают на них как на оракулов общественного мнения, повторяют их рассуждения и усваивают их мировоззрение»240.

На таком основании становится понятнее самая, пожалуй, знаменитая фраза Бенкендорфа, обычно при цитировании не приводимая полностью. Она была произнесена графом в разговоре со своим другом, опальным генералом М. Ф. Орловым, пытавшимся дать свою трактовку желчного «Философического письма» П. Я. Чаадаева («Он суров к прошедшему России, но чрезвычайно многого ждёт от её будущности»), «Прошедшее России, — отвечал Александр Христофорович, — было блестяще; её настоящее более чем великолепно, а что касается будущего, то оно превосходит всё, что может представить себе самое смелое воображение. — Тут в большинстве работ фразу обычно обрывают, однако Бенкендорф ещё не закончил, и продолжение заметно меняет смысл. — Вот, дорогой мой, с какой точки зрения следует понимать и описывать русскую историю»241. Передавший сентенцию М. И. Жихарев сразу предупреждает читателей, что этот разговор — «анекдот». Но если даже он и достоверен, то Бенкендорф здесь вовсе не демонстрировал собственное понимание отечественной истории. Он представил свое желание, чтобы в публикациях создавался положительный образ Отечества, излагалась история, вызывающая гордость за

свою страну, а не разочарование. Мысль эта проводилась, кстати, ещё Великой Екатериной. «Всякий писатель российской истории, — цитировал императрицу Фёдор Глинка, — должен иметь одну цель, одно намерение, один общий подвиг, чтоб представить величие и славу России»242.

Кстати, в нашумевшем деле о публикации «Философического письма» П. Я. Чаадаева Бенкендорф оказался в роли защитника. Пётр Яковлевич «сам сознавал, что с ним поступили ещё снисходительно, вероятно, по заступничеству старинного его приятеля по гвардейской службе, графа Б.»243, в котором крупнейший знаток биографии философа З. А. Каменский видит именно Бенкендорфа.

«Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному, бесполезному»244, — пояснял Бенкендорф николаевское (и своё собственное) видение общественной роли литературы в письме А. С. Пушкину. Политическое вольномыслие им представлялось лишь частным случаем безнравственности. Порок, мздоимство, неправедный суд, неуважение к лицам, исполняющим должностные обязанности, некомпетентность местных властей, злоупотребление служебным положением, азартные игры (запрещённые в 1832 году) — все эти язвы общества, по мнению Бенкендорфа, могут либо врачеваться, либо растравливаться печатным словом.

Вовсе не по политическим мотивам была, например, возвращена Лермонтову «для нужных перемен» первая редакция «Маскарада», в которой Арбенин, отравивший жену, оставался ненаказанным. Бенкендорф увидел в таком финале «прославление порока» и попросил предложить сочинителю изменить пьесу «таким образом, чтобы она кончалась примирением между господином и госпожой Арбениными»245.

В отношении нашего героя к литературе отчётливо прослеживается «граница справа»: ему был неприятен гонитель просвещения М. Л. Магницкий, он выступал за переделку шишковского «чугунного» цензурного устава 1826 года. Последние, «аракчеевские» годы александровского царствования Бенкендорф считал «тёмным временем» для России. Главные деятели просвещения (или «затмения»?) той эпохи вызывали у него антипатию.

Характерна реакция шефа жандармов на донесение из Казани подполковника Новокщенова, начальника отделения в пятом жандармском округе. Тот осуждал введение нового цензурного устава 1828 года: «С тех пор как изменился ценсурный устав, высочайше утверждённый в 10-й день июня 1826 года,

периодические наши издания, сбросив покрывало скромности, приличия и умеренности, обнаружили вольнодумные мысли, неприличные выражения и слова, оскорбляющие чистоту нравов. Мелкие сочинения, наводняющие нашу литературу, также направлены к развратy, самому открытому… Люди благонамеренные, страшась пагубного влияния на общественное мнение от сих сочинений, с крайним прискорбием взирают, что ценсура, сие охранение чистоты нравов, сей оплот благочестия, сия стража от вольнодумства, попускает ныне так небрежно печатать всякой вздор мыслей… Но все сие зло относят к тому, что в самом настоящем уставе о ценсуре, высочайше утверждённом в 22-й день апреля 1828 года, сделана важная уступка свободе книгопечатания. Изменение государственного установления, то есть устава ценсурного 10 июня 1826 года, в короткое время его существования породило в неблагонамеренных писателях самонадеяние, что новым ценсурным уставом предоставляется некоторым образом более свободы писать и печатать».

Если учесть, что Бенкендорф входил в комитет по выработке нового, более терпимого, цензурного устава, то понятна отправленная в Казань отповедь на такое невольное обвинение в попустительстве вольномыслию: «Вследствие донесения вашего высокоблагородия… нахожусь принуждённым объявить вам, что мне весьма жаль, что вы теряете время на рассуждения, которые вовсе до вас не касаются, и что я должен заключить по изложенным в той бумаге мыслям, которые, конечно, не собственные ваши, что вы связались с людьми, разделяющими дух Магницкого»246.

Магницкий был тем более неприятен Бенкендорфу, что при всём пафосе своих охранительных идей оказался человеком нечистоплотным — банальным растратчиком казённых денег (ему даже пришлось продать «лесную дачу» на Волге, чтобы заплатить «нажитый на службе» гигантский долг в 150 тысяч рублей)247 и в мае 1826 года был изгнан с должности попечителя Казанского университета и Казанского учебного округа и отправлен (за свой счёт!) в ссылку в Ревель. «Дух Магницкого» — это прикрытие собственных корыстных целей чрезмерной охранительной активностью и соответствующей пафосной фразеологией.

Подполковнику Новокщенову пришлось спешно извиняться: «По сим уважениям всепокорнейше прошу ваше превосходительство великодушно мне простить и удостовериться, что я никак и никогда не в связях с людьми, разделяющими дух Магницкого, и позволено мне будет сказать, что, прослужа столько времени лет верою и правдою, могу ли ныне изменить

долгу справедливости и жертвовать честию каким-либо непозволенным связям»248.

Н. А. Полевой в 1830-е годы отмечал «странное противоречие в поступках двух сильных тогда людей» (А. Х. Бенкендорфа и министра просвещения С. С. Уварова): «Тот, кто, по назначению, мог преследовать литератора, всячески облегчал его и старался вывести из опалы, тогда как другой, по званию своему покровитель и защитник всех литераторов… играл роль инквизитора»249. Брат Полевого Ксенофонт привёл в воспоминаниях конкретный пример такого противоречия. Однажды Полевой, издававший журнал «Московский телеграф», предстал «пред светлые очи» одновременно Уварова и Бенкендорфа. Уваров всячески нападал на издателя, указывая на мнимую неблагонадёжность в статьях; Полевой, как мог, отбивался. Бенкендорф в этом неравном споре «казался защитником его или, по крайней мере, доброжелателем; он не только удерживал порывы Уварова, но иногда подшучивал над ним, иногда просто смеялся, и во всё время странного допроса, какой проводил министр народного просвещения, шеф жандармов старался придать характер обыкновенного разговора тягостному состязанию бедного журналиста с его грозным обвинителем». Эта сцена настолько впечатлила Николая Полевого, что «с той поры он составил себе благоприятное мнение о характере графа Бенкендорфа, который оправдал такое мнение во всех последующих сношениях с ним»250.

Определить личное отношение Бенкендорфа к тем или иным литераторам часто бывает сложно, ибо занимаемые им должности ставили его в роль посредника между императором и подданными. Это хорошо видно на примере почти хрестоматийной темы «Поэт и Царь». Во взаимоотношениях Пушкина и Николая Павловича Александр Христофорович практически бессменно выполнял роль передаточного звена. Именно по этой причине обширная переписка Пушкина и Бенкендорфа по числу дошедших до нас писем уступает только переписке поэта с женой и близким другом П. А. Вяземским. Однако большая часть этих писем — выражение монаршей воли, поэтому их в значительной степени можно назвать «перепиской Пушкина с императором Николаем».

Что же касается лично Бенкендорфа, то его мнение о Пушкине представлено в отчёте Третьего отделения за 1837 год, подписанном его начальником и выразившем отношение высшей полиции к жизни и смерти поэта: «Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя,

он, однако же, до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы жизни стал осторожнее в изъявлении оных.

Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества… И те и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина… дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. В сём недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, высшее наблюдение признало своею обязанностью мерами негласными устранить все сии почести, что и было исполнено»251.

Подобное двойственное отношение к Пушкину было, похоже, не только у сотрудников Третьего отделения. В аналитически-холодном донесении западного дипломата констатируется: «Как литератор и поэт Пушкин пользовался высокой репутацией… но как о представителе слишком передовых воззрений на порядки своей страны соотечественники судили о нём по-разному… Противники Пушкина были сильнее и богаче его… Им нетрудно было вызвать насторожённость властей…»252

Эта двойственность удручала В. А. Жуковского. «Я перечитал все письма, им от вашего сиятельства полученные, — писал он Бенкендорфу после смерти поэта, — во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце моё сжималось при этом чтении… Его положение не переменилось; он всё был как буйный мальчик, которому страшишься дать волю, под строгим, мучительным надзором. Все формы этого надзора были благородные, ибо от вас оно не могло быть иначе. Но надзор всё надзор. Годы проходили; Пушкин созревал; ум его остепенялся. А прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было то же и то же. Он написал „Годунова“, „Полтаву“, свои оды „К клеветникам России“, „На взятие Варшавы“, то есть всё своё лучшее, принадлежащее нынешнему царствованию, а в суждении об нём все указывали на его оду „К свободе“, „Кинжал“, написанный в 1820 году; и в 36-летнем Пушкине видели всё 22-летнего… Такое положение могло ли не быть огорчительным?»

Затем у Жуковского следует удивительное обращение к Бенкендорфу, показывающее умение Василия Андреевича

почувствовать и понять непростое положение высокого сановника: «Вы на своём месте не могли следовать за тем, что делалось внутри души его… Вы на своём месте осуждены думать, что с вами не может быть никакой искренности, вы осуждены видеть притворство в том мнении, которое излагает вам человек, против которого поднято ваше предубеждение (как бы он ни был прямодушен), и вам ничего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить вам [о нём] другие. Одним словом, вместо оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными, злонамеренных переводчиков…»253

Несколько иначе думал служивший в Третьем отделении М. М. Попов: «Бенкендорф и его помощник фон Фок ошибочно стали смотреть на Пушкина не как на ветреного мальчика, а как на опасного вольнодумца, постоянно следили за ним и приходили в тревожное положение от каждого его действия, выходившего из общей колеи. <…> Не считавшие поэзию делом важным, они передавали царскую волю Пушкину всегда пополам со строгостью, хотя в самых вежливых выражениях. Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец или предпримет какой-либо вредный замысел, или сделается коноводом возмутителей»254.

Оставим Бенкендорфу возможность иметь собственное представление о современной ему литературе. Ведь если литераторы с удовольствием берутся судить о политике и политиках, несправедливо отказывать последним в праве судить о литературе и литераторах. К тому же и Попов, и Жуковский, чьи симпатии были всецело на стороне великого поэта, подчёркивали, что в общении с Пушкиным Бенкендорф был предельно корректен, часто доброжелателен. Именно поэтому Пушкин просил Бенкендорфа: «Будьте моим ангелом-хранителем», а в письме от 24 марта 1830 года признавался: «Мой генерал! <…> Если до настоящего времени я не впал в немилость, то обязан этим не знанию своих прав и обязанностей, но единственно вашей личной ко мне благосклонности. Но если вы завтра не будете больше министром, послезавтра меня упрячут»255. И снова через пять лет: «Осыпанный милостями Его Величества, к вам, граф, должен я обратиться, чтобы поблагодарить за участие, которое вам было угодно проявлять ко мне»256.

Бенкендорф, чувствовавший себя покровителем Пушкина, так и писал ему: «Мои добрые советы способны удержать вас от ложных шагов, какие вы часто делали, не спрашивая моего мнения»257. Сам Александр Сергеевич признавал благую роль руководителя высшей полиции в важном деле получения

разрешения на публикацию стихов даже без обращения к императору: «Я, совестясь беспокоить поминутно его величество, раза два обратился к вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастие найти в вас более снисходительности, нежели в ней»258.

Все просьбы Пушкина о помощи Бенкендорф старался удовлетворить, согласуя решения, если было необходимо, с царём. Известен случай, когда после смерти знаменитого генерала Н. Н. Раевского именно через Бенкендорфа Пушкин «выпросил его вдове… пенсион: Государь ей назначил 12 000 пенсиону»259. Именно благодаря ходатайству Пушкина главное сочинение государственного преступника Кюхельбекера — мистерия «Ижорский» — была отпечатана в… типографии Третьего отделения260 (и разгромлена В. Г. Белинским в критической статье).

Ходатайствовал поэт и за своего младшего брата Льва, хотя одновременно по-родственному его бранил («Кабы ты не был болтун и не напивался бы с французскими актёрами у Яра…»261). И несмотря на то, что Бенкендорф имел о поручике Пушкине весьма неприятные отзывы, просьба была удовлетворена:

«7 апреля 1831 г. Петербург. Милостивый государь Александр Сергеевич. Письмо ваше, в коем вы просите о переводе в действующую армию брата вашего, поручика Нижнегородского драгунского полка, я имел счастие докладывать государю императору, и Его Величество, приняв благосклонно просьбу вашу, высочайше повелеть мне соизволил спросить графа Паскевича-Эриванского, может ли таковой перевод брата вашего последовать. Приятным долгом поставляя вас, милостивый государь, о сём уведомить, пребываю с совершенным почтением и преданностью

Ваш, милостивый государь, покорнейший слуга
А. Бенкендорф»262.

С мая 1831 года Л. С. Пушкин продолжил службу там, где хотел — в действующей армии в Польше, — да ещё и был произведён в чин штабс-капитана.

Для самого Пушкина Бенкендорф также был существенным, столь значимым в России «административным ресурсом». Чтобы ускорить печатание «Бориса Годунова» в типографии Министерства народного просвещения, Бенкендорф лично обращался к министру К. А. Ливену с отношением: «Я счёл долгом довести до вашей светлости объявленную мной г. Пушкину высочайшую волю, с тем, чтобы не благоугодно ли будет вам, милостивый государь, к должному исполнению оной приказать помянутой типографии, отпечатав Потребное число

экземпляров означенной драмы, непрекословно выдать, кому г. Пушкин поручит оные принять»263. Ещё важнее была «характеристика», выданная Пушкину для предъявления Гончаровым, родителям его невесты Натальи Николаевны. Поэт «с крайним смущением обращался к власти по совершенно личному обстоятельству»: «Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя», — и поэтому просил поспособствовать ему доказать обратное. Бенкендорф передал просьбу Николаю и ответил довольно скоро:

«Милостивый государь.

Я имел счастье представить государю письмо… которое вам угодно было написать мне. Его Императорское Величество с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей вашей женитьбе и при этом изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем как предпринять этот шаг и в своём сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно женщины столь достойной и привлекательной, как м-ль Гончарова…

Что же касается вашего личного положения, в которое вы поставлены правительством, я могу лишь повторить то, что говорил вам много раз: я нахожу, что оно всецело соответствует вашим интересам; в нём не может быть ничего ложного и сомнительного, если только вы сами не сделаете его таким. Его Императорское Величество в отеческом о вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, — не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, — наблюдать за вами и наставлять вас своими советами; никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами., надзор. Советы, которые я, как друг, изредка давал вам, могли пойти вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени вы в этом будете всё более и более убеждаться. Какая же тень падает на вас в этом отношении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдёте нужным…

В заключение примите мои искреннейшие пожелания в смысле будущего вашего счастья и верьте моим лучшим к вам чувствам.

Преданный вам А. Бенкендорф».

Письмо устранило последние препятствия к браку, к тому же в нём дозволялась публикация «Бориса Годунова», с выходом которого Пушкин связывал достижение материального достатка молодой семьи.

И позже Бенкендорф решал «меркантильные» проблемы Пушкина. Летом 1832 года он лично «пробивал» выплату

жалованья поэту, принятому на государственную службу «с дозволением рыться в старых архивах»264. Назначение исходило лично от Николая, но точный размер содержания не был определён, и чиновники не торопились его выплачивать под предлогом «неимения штатного места». Именно благодаря Бенкендорфу новоиспечённый сотрудник Коллегии иностранных дел был включён в смету расходов и получил всю задолженность за прошедшее со дня назначения время. Бенкендорф же и определил сумму жалованья265, весьма приличную (пять тысяч рублей). Пушкин под впечатлением деятельной помощи графа даже говорил друзьям, что «хотел бы получать жалование от Бенкендорфа»266. На письме Пушкина с жалобами на тяжёлые материальные обстоятельства и просьбой об отпуске летом 1835 года сделана пометка рукой Александра Христофоровича: «Если ему нужны деньги, государь готов ему помочь, пусть мне скажет; если нужно дома побывать, то может взять отпуск на 4 месяца»267.

Неотправленное подробное и откровенное письмо Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года с описанием конфликта с Дантесом и Геккерном сам Пушкин считал «доказательством уважения и доверия», испытываемого к его адресату. Видимо, именно поэтому Николай пригласил Бенкендорфа на важную для судьбы поэта встречу с Пушкиным 23 ноября268, где они совместными усилиями убеждали его не участвовать в поединке с Дантесом. Поэт дал царю слово дворянина «больше не драться ни под каким предлогом»; казалось, одно это предотвратит роковую дуэль. Дочь императора Николая, Ольга, описала напряжение тех дней: «Негритянская кровь Пушкина вскипела. Папа, который проявлял к нему интерес, как к славе России, и желал добра его жене, столь же доброй, как и красивой, приложил все усилия к тому, чтобы его успокоить. Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем…» 269

Бенкендорф занялся розыском: он велел раздобыть почерк Дантеса, наводил справки о некоем Тибо, вёл переговоры с неким профессором Б. о возможности экспертизы почерка270. «Но было слишком поздно; разбуженная ревность не смогла быть отвлечена».

В узком кругу доверенных лиц Бенкендорф принял участие в споре о дуэли, о чём свидетельствует дневниковая запись императрицы: «28 января. Плохо спала, разговор с Бенкендорфом, полностью за Дантеса, который, мне кажется, вёл себя как бедный рыцарь, Пушкин, по словам Загряжской, как грубиян»271.

Легенда о том, что Бенкендорф знал о дуэли, но «послал жандармов не туда», получила распространение только потому,

что её, судя по записи А. Аммосова, в 1863 году повторил секундант Пушкина К. Данзас. Вот фраза Аммосова — исток легенды: «На стороне барона Геккерна и Дантеса был, между прочим, и покойный граф Бенкендорф, не любивший Пушкина. Одним только этим нерасположением, говорит Данзас, и можно объяснить, что дуэль Пушкина не была остановлена полицией. Жандармы были посланы, как он слышал, в Екатерингоф, будто бы по ошибке, думая, что дуэль должна была происходить там, а она была за Чёрной речкой около Комендантской дачи»272. Обратим внимание на ключевую фразу: «как он слышал». То есть для Данзаса — сапёрного подполковника, бывшего в Петербурге проездом, далёкого от центральных властей и ведомства Бенкендорфа, — это был не факт, а слух.

Но биографы поспешили «освятить» легенду именем Данзаса, убрав принципиальное «как он слышал». Так же передана эта история и в дневнике издателя А. С. Суворина, записавшего рассказ библиографа П. А. Ефремова, который делился некоторыми из «литературных фактов, слышанных им от разных лиц»: «Николай I велел Бенкендорфу предупредить дуэль. Геккерен был у Бенкендорфа. — „Что делать мне теперь?“ — сказал он (Бенкендорф. — Д. О.) княгине Белосельской. — „А вы пошлите жандармов в другую сторону“. Убийцы Пушкина — Бенкендорф, кн. Белосельская и Уваров»273. В 1891 году А. Скабичевский в массово изданной Ф. Павленковым биографии так и написал: «По словам секунданта Пушкина, лицейского товарища его Данзаса, граф Бенкендорф знал об этой дуэли, но, обязанный предупредить её, послал жандармов не на Чёрную речку, а в Екатерингоф, будто бы по ошибке». На беду Бенкендорфа тот же слух, уже как якобы озвученный прямыми свидетелями факт, был изложен в псевдомемуарах А. О. Смирновой-Россет, сочинённых её дочерью О. Н. Смирновой274. Специалисты уже давно знают о подделке и не используют её как источник, но до сих пор этот «факт» периодически всплывает в публикациях275.

В советское время легенда добралась до Большой советской энциклопедии276 и попала в стихотворные строки:

…Наёмника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай!
Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса
Следит — упорно, взведены ль курки,
Глядят на узкий пистолет Дантеса
Его тупые скользкие зрачки.

Поэтический вывод Эдуарда Багрицкого (стихотворение датировано 1924 годом) весьма печален для отечественной истории:

И мне ли, выученному, как надо
Писать стихи и из винтовки бить,
Певца убийцам не найти награду,
За кровь пролитую не отомстить?
Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронёс…

Тема была подхвачена другими представителями творческого цеха, например, Ярославом Смеляковым:

Мы твоих убийц не позабыли:
в зимний день, под заревом небес,
мы царю России возвратили
пулю, что послал в тебя Дантес.

Потребовалось ещё почти полвека, чтобы серьёзные и знающие исследователи перестали «мстить самодержавию» за Пушкина, разобрались в недостоверности легенды и при всей неприязни к Бенкендорфу сошлись в едином мнении: «Никто, ни царь, ни Бенкендорф, ни другие отнюдь не имел сознательной цели погубить поэта»277; «Бенкендорф не посылал жандармов в другую сторону (это явно недостоверная легенда)»278. Однако, как иронизируют в подобных случаях, «серебряные ложечки нашлись, а неприятный осадок остался»…

Легенд рангом пониже в теме «Бенкендорф и Пушкин» немало. А. Тыркова-Вильяме, написавшая, в общем, добротную биографию великого поэта, не забывает в ней походя ругнуть Бенкендорфа, который для неё всего лишь «ничтожный жандармский офицер». Известная деятельница русского либерального движения обвиняет шефа жандармов даже в том, что якобы он, оформляя позволение Пушкину работать в архиве, «только наполовину побаловал историческую совесть поэта. Дал разрешение на просмотр судебного дела, но прочесть показания Пугачёва не позволил»279. Это тем более странно, что и в дореволюционных, и в советских изданиях работа Пушкина в архивах расписана детально, и никаких оснований для такого умозаключения нет. Бенкендорф в ответ на просьбу Пушкина ясно изложил волю Николая I: «Государь позволяет Пушкину читать всё дело и просит сделать выписку для государя», — а вопрос,

предоставлять или не предоставлять дела, был вне его компетенции. Возможно из-за того, что показания Пугачёва много путешествовали по разным архивам Москвы и Петербурга, чиновники-бюрократы просто не утруждали себя поиском их следов ради сочинителя Пушкина280.

В заключение разговора о Пушкине и Бенкендорфе стоит поставить под сомнение распространённое мнение о том, что граф якобы «приглашал Пушкина на службу в Третье отделение». Его истоки идут от мемуаров подчинённого Бенкендорфа А. А. Ивановского, рассказавшего о своём визите к поэту по поручению начальства. Это было весной 1828 года, когда Пушкин стремился попасть на войну с турками. Ивановский пришёл к нему, чтобы передать отказ императора брать его в армию — «на произвол случайностей войны», под пули, — обоснованный желанием сберечь «царя скудного царства родной поэзии и литературы». Затем поэту было передано предложение от Бенкендорфа: «Если бы вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий: Александра Христофоровича, или графа Нессельроде, или И. И. Дибича, — это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий». Пушкин воскликнул с воодушевлением: «Ничего лучшего я не желал бы! И вы думаете, что это ещё можно сделать?»281

Все настолько свыклись с образом Бенкендорфа как исключительно шефа жандармов и главы Третьего отделения, что совершенно упустили из виду: на войну Александр Христофорович собирался совершенно по другой линии — в должности командующего императорской Главной квартирой, оставляя всё Третье отделение на фон Фока (подробнее см. ниже, в главе «Бок о бок с императором»). Толкователи упустили, что речь шла о походной канцелярии, подчинявшейся командующему Главной квартирой и обслуживавшей делопроизводство «кочевой столицы» — передвижной резиденции императора во время высочайших путешествий (позже она стала называться военно-походной канцелярией). Подобные же компактные канцелярии заводили на время походов министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде и командующий армией граф И. И. Дибич. Сочетание слов «Бенкендорф» и «канцелярия» магически создавало образ Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии и порождало соответствующие «очевидные» комментарии: «Бенкендорф благосклонно предложил (Пушкину. — Д. О.) средство ехать в армию. „Какое?“ — спросил Пушкин. Бенкендорф ответил: „Хотите, я вас определю в мою канцелярию и возьму с собою?“ В канцелярию III отделения! Разумеется, Пушкин поблагодарил и

отказался от этой милости»282. Комментарии превратились в источники и перекочевали в научную и, тем более, в популярную литературу.

* * *

Кто, похоже, действительно устраивался на службу в Третье отделение, так это молодой провинциал, приехавший покорять столицу, — Николай Гоголь. В августе 1829 года он писал матери: «Я в Петербурге могу иметь должность, которую и прежде хотел, но какие-то глупые людские предубеждения и предрассудки меня останавливали». Вполне вероятно, что речь идёт о должности канцелярского служителя в Третьем отделении. Гоголь попал туда по рекомендации Ф. В. Булгарина (оставившего об этом воспоминания283) и не столько служил там, сколько числился, хотя и недолго (осенью 1829 года)284.

Впрочем, совершенно независимо от того, служил или не служил Гоголь в ведомстве Бенкендорфа, роль последнего в поддержке творчества бичевателя пороков общества достаточно заметна. Сколько бы ни издевались бенкендорфовской опиской «Гогель» вместо «Гоголь», сущность самого документа переменить невозможно. Александр Христофорович отозвался в нём на следующую просьбу попечителя Московского учебного округа графа Строганова: «Граф! Узнав о стесненном положении, в котором находится г. Гоголь, автор „Ревизора“ и один из наших самых известных современных писателей, нуждающийся в особом содействии, думаю, что исполню по отношению к вам свой долг, если извещу вас об этом и возбужу в вас интерес к молодому человеку. Может быть, вы найдёте возможным доложить о нём императору и получить от него знак его высокой щедрости. Г. Гоголь строит все свои надежды, чтоб выйти из тяжёлого положения, в которое он попал, на напечатании своего сочинения „Мёртвые души“. Получив уведомление от московской цензуры, что оно не может быть разрешено к печати, он решил послать его в Петербург. Я не знаю, что ожидает там это сочинение, но это сделано по моему совету. В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние. Я нимало не сомневаюсь, что помощь, которая была бы оказана ему со стороны Его Величества, была бы одной из наиболее ценных».

Казалось бы, зачем хлопотать? Ведь в декабре 1841 года Московский цензурный комитет объявил рукопись запрещённой с аргументацией: самим её названием автор «вооружается против бессмертья», выведенные типы порочны, после такого

произведения «ни один иностранец к нам не приедет»… Тем не менее 2 февраля 1842 года Бенкендорф идёт к царю с всеподданнейшим докладом: «Попечитель Моск. учебн. округа генерал-адъютант гр. Строганов уведомляет меня, что известный писатель Гогелъ находится теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении своём под названием „Мёртвые души“, но оно московскою цензурою не одобрено и теперь находится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем Гогель не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно упал духом, то граф Строганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого-либо ему пособия. Всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Величеству о таком ходатайстве гр. Строганова за Гогеля, который известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей „Ревизор“, я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего Вашего Величества повеления о выдаче в единовременное пособие пятьсот рублей серебром». На докладе появилась пометка Николая Павловича: «Согласен», деньги Гоголю были посланы через несколько дней285. А 9 марта 1842 года цензор А. В. Никитенко сделал на рукописи «Гогеля» разрешительную надпись.

Ещё одна хрестоматийная линия — отношения Бенкендорфа и Лермонтова — также густо обросла легендами. Вот вердикт советского лермонтоведения: «А. Х. Бенкендорф и министр иностранных дел Нессельроде, гонители Пушкина и главные организаторы его убийства, — беспощадно преследуют его преемника — Лермонтова. Бенкендорф и Нессельроде не забыли ему выступления в дни гибели Пушкина с одой, направленной против „завистливого и душного света“, против палачей русской свободы, русской славы и русского гения»286. Однако известно, что Бенкендорф отнёсся к стихотворению «Смерть поэта» только как к «поэтической вспышке», заметив Л. В. Дубельту: «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания, тогда слава их скоро померкнет; ежели же мы примемся за преследование и запрещение их, то хорошего ничего не выйдет, и мы только раздуем пламя страстей»287. Это подтверждается и воспоминаниями А. Н. Муравьёва, которому его двоюродный брат А. Н. Мордвинов, управляющий Третьим отделением, говорил: «Я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного»288.

Бенкендорф и великий князь Михаил Павлович договорились не беспокоить внимания государя этим «вздором». Но бдительное «общество» подало императору своевременный «сигнал».

А. М. Хитрово, «известная петербургская болтунья… язва общества, разносительница новостей, а ещё более клевет и пасквилей по всему городу», дама, которую позже просто перестали принимать в приличных домах, заговорила повсюду об оскорблении в «Смерти поэта» «toute Paristocratie russe» (всей русской аристократии). Бенкендорф оказался в неприятной ситуации: «Уж если Анна Михайловна знает про эти стихи, то я должен о них доложить государю». Когда же граф попытался опередить опасные для Лермонтова слухи и, явившись к царю, «начал говорить о них в самом успокоительном тоне, государь показал ему экземпляр их… полученный по городской почте, с гнусною надписью „Воззвание к революции“»289. 25 февраля 1837 года последовало высочайшее повеление о переводе Лермонтова на Кавказ тем же чином (для гвардейца это было равносильно понижению в звании). Тут Бенкендорф сделать уже ничего не мог, тем более что скоро у графа началась тяжёлая болезнь, свалившая его на полгода, да и занималось делом Лермонтова военное министерство, а конкретно — начальник гвардейского штаба генерал П. Веймарн. Но 28 марта 1838 года именно Бенкендорф напишет военному министру А. И. Чернышёву уже приводившееся выше письмо: «…Имею честь покорнейше просить ваше сиятельство, в особенное личное ко мне одолжение…» Отметим: Бенкендорф в данном случае не «выполняет высочайшую волю», а просит сделать личное одолжение. Это подтверждает и письмо А. И. Философова, служившего в свите великого князя Михаила Павловича, своей жене, приходившейся Лермонтову родственницей: «…Граф Орлов сказал мне, что Михайло Юрьевич будет наверное прощён в бытность государя в Анапе, что граф Бенкендорф два раза об этом к нему писал и во второй раз просил доложить государю, что прощение этого молодого человека он примет за личную себе награду; после этого, кажется, нельзя сомневаться, что последует милостивая резолюция»290. Так и вышло. Весьма осведомлённый М. Н. Лонгинов (дальний свойственник поэта по линии Арсеньевых) вспоминал: «Император разрешил этот перевод единственно по неотступной просьбе любимца своего, шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. Граф представил государю отчаяние старушки „бабушки“, просил о снисхождении к Лермонтову как о личной для себя милости и обещал, что Лермонтов не подаст более поводов к взысканиям с него и, наконец, получил желаемое. Это было, если не ошибаюсь, перед праздником Рождества 1837 года. Граф сейчас отправился к „бабушке“. Перед ней стоял портрет любимого внука. Граф, обращаясь к нему, сказал, не предупреждая её ни о чём: „Ну,

поздравляю тебя с царскою милостию“. Старушка сейчас догадалась, в чём дело, и от радости заплакала»291.

Возвращение в гвардию произошло без «поражения в правах» — прощённый царём корнет в декабре 1839 года высочайшим приказом был произведён в поручики. Прошло два месяца — и Белинский признался в частном письме: «…Мне кажется, что в этом юноше готовится третий великий русский поэт и что Пушкин умер не без наследника». Ещё через неделю Лермонтов будет драться с де Барантом на дуэли, а не знающий об этом цензор Корсаков разрешит печатание «Героя нашего времени».

Последовавшее в то время «охлаждение Бенкендорфа» к Лермонтову (выражение друга Лермонтова А. П. Шан-Гирея292) наступило вследствие нарушения тем как светских приличий (неэтичным поведением на новогоднем «маскированном балу»293), так и конкретного закона (участием в дуэли с Барантом); за последнее гвардейский поручик вообще подлежал лишению чинов и дворянского достоинства. Для Лермонтова, как уверяют его биографы, и то и другое являлось самовыражением личности, требующей права быть вне иерархии традиционного общества. Но для Бенкендорфа это было тем «нарушением спокойствия и прав граждан», с которым ему назначено было бороться. К тому же, как мы видели, он поручился перед царём, «что Лермонтов не подаст более поводов к взысканиям», а поэт заставил его об этом обещании пожалеть.

Однако при всём этом приговор военного суда от 5 апреля 1840 года о лишении Лермонтова чинов и прав состояния был сильно смягчён императором Николаем, который объявил, что «желает ограничить наказание» только переводом на Кавказ тем же чином в армейский полк. Такое решение было принято на основании опроса непосредственных командиров Лермонтова, от полкового до корпусного. Более того, даже не любящие Бенкендорфа советские историки литературы соглашаются, что и в этом деле Александр Христофорович «готов был хлопотать перед царём о прощении Лермонтова, если бы осуждённый заплатил за это признанием своей мнимой лжи»294. (Лермонтов говорил, что он стрелял в воздух; Барант утверждал противное. В данном случае важно то, что это понятное разногласие не сыграло роли в изменении «меры пресечения».) Они признают также, что хлопоты родителей Баранта перед Бенкендорфом о том, чтобы не пускать Лермонтова в Петербург в отпуск с Кавказа (зимой 1840/41 года), не увенчались успехом, тогда как энергичная бабушка поэта отпуска для внука добилась295.

Предположение, высказанное в прошлом веке П. И. Висковатым («Мы находим много общего между интригами,

доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги никогда разъяснены не будут… их главная причина кроется в условиях жизни и деятельности характера графа Бенкендорфа»296), так и осталось предположением, хотя развивалось советскими историками литературы как постулат297. Впрочем, в суммировавшей итоги полуторавековых исследований «Лермонтовской энциклопедии» Э. Г. Герштейн призналась: «Причины личной ненависти Бенкендорфа к Лермонтову… до конца не выяснены»298. Неясного происхождения письмо, из которого делали вывод о том, что Бенкендорф советовал молодым людям в Пятигорске «самим избавиться от Лермонтова», исследователями жизни и творчества поэта признано фальшивкой299.

Априорное восприятие Бенкендорфа как «носителя зла», необходимого для контрастности сюжета «антигероя», превращало в факты любые неблагоприятные для него слухи. Со ссылкой на «Дневник» цензора А. В. Никитенко приводится, например, история о том, что Бенкендорф так выбранил издателя «Литературной газеты» А. И. Дельвига, что тот впал в апатию и вскоре умер. Но ведь у Никитенко излагается не факт, а городская сплетня! Конкретно фраза-«источник» звучит так: «Публика в ранней кончине Дельвига обвиняет Бенкендорфа, который за помещение в „Литературной газете“ четверостишия Казимира Делавиня назвал Дельвига в глаза почти якобинцем и дал ему почувствовать, что правительство следит за ним. За сим и „Литературную газету“ было запрещено ему издавать. Это поразило человека благородного и чувствительного и ускорило развитие болезни, которая, может быть, давно в нём зрела»300. «Публика обвиняет» и «может быть» обычно опускаются. Никто также не обращает внимания на следующие важные факты. Во-первых, встреча Бенкендорфа с Дельвигом произошла 8 ноября 1830 года, а болезнь началась только в январе, через два месяца, от простуды. Во-вторых, болезнь эта была определена докторами как «гнилая горячка», то есть воспаление легких, которое никак не могло «давно в нём зреть». Кто знал о здоровье Дельвига лучше, нежели его собственная жена, Софья Михайловна? А она ясно писала подруге 4 января: «Моё маленькое семейство здравствует»301. В-третьих, «Литературная газета» выходила и в декабре 1830-го, и в январе 1831 года. Так что за два месяца, прошедшие между выговором Бенкендорфа и смертью издателя, случилось немало примечательных событий. Действительно, Бенкендорф добился временного запрещения «Литературной газеты» за публикацию четверостишия, прославляющего героев французской революции 1830 года; однако Дельвиг, хотя и

получил, по словам А. П. Керн, «порядочный нагоняй»302 (но при этом Бенкендорф принёс извинения за резкость), вовсе не «впал в апатию», а начал довольно энергично действовать. Он имел выход на достаточно влиятельных лиц в окружении царя — например, управляющего Министерством юстиции Д. Н. Блудова — и воспользовался этим, чтобы донести просьбу о спасении издания до самого Николая I303. В результате 14 декабря выпуск газеты был вновь разрешён, хотя и с другим формальным редактором и издателем — сотрудником Дельвига Орестом Сомовым304. Сам Дельвиг написал для неё восторженную рецензию на свежевышедшую трагедию Пушкина «Борис Годунов».

В начале января 1831 года Дельвиг был «совершенно спокоен», даже «пел с аккомпанементом на фортепиано». Что бы ни говорила молва, свидетели болезни и смерти Дельвига, близкие ему люди П. А. Плетнёв и О. А. Сомов, сообщили в Москву соответственно Пушкину и Боратынскому подлинные подробности несчастья. Дельвиг простудился 5 или 6 января, но «не подозревал себя опасным» до тех пор, пока 11 января не началось осложнение — именно «гнилая горячка», воспаление лёгких, возможно — менингит. Дельвиг никогда не отличался богатырским здоровьем — простужался каждый год и болел подолгу, — но на этот раз всё оказалось слишком серьёзно. Беспамятство, высокая температура — и 14 января его не стало305. Если же и имело место сильное потрясение, то от личной трагедии: «…семейная жизнь, так счастливо начатая… повернулась к Дельвигу своей теневой стороной. Софья Михайловна не могла и не хотела противостоять новым увлечениям»306. (Вскоре после смерти мужа она вышла замуж за Сергея Боратынского, брата известного поэта.)

С профессиональной точки зрения, Бенкендорф относился к писателям, этим «архитекторам общественного мнения», прежде всего прагматично. Он вынес из XVIII века традицию воспринимать литераторов как государевых слуг на ниве изящной словесности. Исходя из такого представления о роли литературы Бенкендорф мог заказать известному своим либерализмом П. А. Вяземскому перевод хвалебной статьи о взятии русской армией Варшавы для последующей газетной публикации. Вяземский же не стеснялся показывать письмо с просьбой-заказом Бенкендорфа таким своим вольномыслящим друзьям, как А. И. Тургенев, не видя в этом ничего предосудительного. Статья была переведена и опубликована в «Северной пчеле», газете Ф. В. Булгарина, враждебной (как считается) кругу Вяземского и Пушкина307.

Письма с подобными предложениями — часть заботы

Бенкендорфа по формированию общественного мнения. Вот ещё одно — знаменитому писателю М. Н. Загоскину:

«11 августа 1836 года.

Шеф жандармов, командующий Императорскою Главною квартирою генерал-адъютант граф Бенкендорф, свидетельствуя совершенное своё почтение его высокородию Михаилу Николаевичу, покорнейше просит его, как очевидца сегодняшнего шествия Его Величества государя императора в Успенский собор, потрудиться написать о сём статью, которую и доставить к нему, генерал-адъютанту Бенкендорфу, завтрашнего числа к 12 часам утра, для помещения в газету „Северная пчела“»308.

В свою очередь, литераторы прагматично относились к Бенкендорфу и его ведомству. Они начинали адаптироваться к наступившему в 1830-е годы «торговому периоду русской литературы», когда и писательское ремесло, и издание газет и журналов стали рассматриваться как способ заработка. В возникших рыночных условиях Третье отделение представляло собой существенный административный ресурс в коммерческом соревновании, и поэтому началась конкурентная борьба авторов и издателей за благосклонность его начальника. Сотрудничество с Третьим отделением Ф. В. Булгарина может служить ярким тому примером309. А. Х. Бенкендорф использовал популярного журналиста в качестве представителя «общества», эксперта по различным вопросам — от журналистики до национальных проблем Польши. Булгарин был хорошо эрудирован, лёгок на подъём и обладал высоким профессионализмом, если под этим качеством подразумевать исполнительность и умение «найти чувствительную струну в каждом сословии русского народа и пошевелить её приятным щекотаньем»310. Для самого же Фаддея Венедиктовича сотрудничество с высшей полицией было важной составляющей коммерческой стратегии, способом поддержания постоянного контакта с властью, от чего сильно зависели реализация издательских планов, отношения с цензурой, получение правительственных заказов. Бенкендорф мог дать личное позволение на публикацию «эксклюзивных» материалов, мог заступиться за Булгарина в случае цензурных гонений. Так случилось, например, в 1831 году, когда министр просвещения К. А. Ливен пожаловался Николаю на юмористическую статью в «Северной пчеле», в которой «увидел воззвание к бунту»311.

Но Булгарин не составлял единственное исключение! Не кому иному, как А. С. Пушкину принадлежит авторство письма А. Х. Бенкендорфу с предложением стать трибуном высшей власти: «Если государю императору угодно будет употребить перо моё, то буду стараться с точностию и усердием исполнять волю

его величества и готов служить ему по мере моих способностей. <…> С радостию взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые всё ещё дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению»312.

С похожими предложениями обращались к властям В. А. Жуковский в 1832 году и П. А. Вяземский в 1833-м313.

Вовсе не редкостью были случаи, в которых имя Бенкендорфа и название его ведомства использовались для придания энергии благим литературным начинаниям. Наиболее известный пример — «раскручивание» одного из знаменитых русских журналов, «Отечественных записок» А. А. Краевского, «единственного демократического журнала первой половины 1840-х годов»314. Среди компаньонов, внёсших деньги на выпуск журнала, были экспедитор Третьего отделения Б. А. Врасский и В. А. Владиславлев, адъютант начальника штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта, а одновременно удачливый издатель и заурядный прозаик. Они стали посредниками в отношениях редакции «Отечественных записок» с ведомством Бенкендорфа, помогали распространению журнала, способствовали назначению Краевского его редактором315. Когда известный либеральный литератор И. И. Панаев удивлялся тому, что жандармское начальство, «в противоречие своим принципам, возбуждало… интерес к литературе в русской публике», он имел в виду историю с «Утренней зарёй», одним из лучших литературных альманахов той эпохи, выходившим в 1839–1843 годах. Его издатель использовал для активизации неторопливых сочинителей имя самого А. Х. Бенкендорфа. Однажды зимним днём потенциальные авторы альманаха, известные литераторы, получили одинаковые письма:

«Милостивый государь (имярек)!

Издатель альманаха „Утренняя заря“ В. А. Владиславлев, которого издание, ежегодно улучшаясь, приобрело общее расположение отечественной публики и выгодные отзывы иностранных журналов как по литературному достоинству, так и по изяществу гравюр и по типографской роскоши, возобновляет альманах свой на будущий 1840-й год, в роскошном виде, в пользу С.-Петербургской детской больницы.

По званию председателя означенной больницы, принимая с признательностью столь благотворительное приношение г. Владиславлева и желая с своей стороны по возможности содействовать его предприятию, я приемлю честь покорнейше

просить ваше сиятельство, не угодно ли будет вам, милостивый государь, удостоить участием вашим издание его на будущий 1840-й год, присовокупляя притом, что всякое приношение ваше в сей альманах принято будет мною с искреннею благодарностию.

С совершенным уважением и преданностию имею честь быть вашего сиятельства покорнейший слуга граф Бенкендорф»316.

Можно поражаться ловкости Владиславлева, но нельзя не отметить участия Бенкендорфа в организации замечательного авторского коллектива альманаха, признанного, например, В. Г. Белинским «превосходным изданием, не имеющим себе соперников». Даже если вся роль шефа жандармов заключалась лишь в одобрении проекта и проставлении подписи на письмах, вряд ли он делал это против своей воли. Символ либеральной оппозиции П. А. Вяземский, а также Е. А. Боратынский, Денис Давыдов, В. Ф. Одоевский, В. И. Даль, В. В. Кольцов, Е. И. Ростопчина, В. А. Соллогуб — все участвовали в «Утренней заре», прекрасно зная, через какое ведомство она выпускается и распространяется. Во времена Бенкендорфа такая ситуация «никого не смущала и казалась всем очень обыкновенною и понятною»317. Не зазорным для литератора считалось и служить у Бенкендорфа. Помимо упомянутых Врасского и Владиславлева, в Третьем отделении трудились издатель альманаха «Альбом северных муз» А. А. Ивановский, поэт Н. А. Кашинцев, переводчик Е. И. Ольденкоп, поэт В. А. Вердеревский, писатель П. П. Каменский. Последнего даже считали одно время «наследником Бестужева-Марлинского в русской литературе», и место его службы этому не мешало318. Всё это было возможно потому, что Третье отделение являлось для литераторов не пугалом, а привычным механизмом государственной машины, который сам по себе не несёт ни добра, ни зла.

Глава пятая
ЕГО СИЯТЕЛЬСТВО

Бок о бок с императором

Назначая Бенкендорфа главой высшей секретной полиции, Николай I «благоволил присоединить» к этой должности и звание командующего своей Главной квартирой1. Такое назначение прочно привязывало Бенкендорфа к императору на всё время его поездок. Ведь Главная императорская квартира — это царский двор в миниатюре, по определению самого Бенкендорфа — «кочевая столица».

«К обязанностям командующего Императорской главной квартирой относятся, — разъясняет всезнающий словарь Брокгауза и Ефрона, — заведование всеми лицами, принадлежащими к составу квартиры; все распоряжения по высочайшим путешествиям, по размещению главной квартиры и её продовольствию; заведование караулами во время высочайших путешествий; объявление во время путешествий государя императора высочайших повелений…»

Стоит ещё раз отметить высокую степень доверия Николая к Бенкендорфу, ведь одной из особенностей новой должности генерал-адъютанта была значительная финансовая самостоятельность: «…Суммы, предоставленные в распоряжение командующего Императорской главной квартирой …не подлежат иной ревизии, кроме удостоверения командующего Императорской главной квартирой в правильности всех статей приходов и расходов». Под начало Александра Христофоровича поступили Военно-походная канцелярия, адъютанты, лейб-медики и личная охрана царя.

Первоначально личную охрану (собственный Его Императорского Величества конвой) составляли Черноморская казачья сотня и лейб-гвардии Казачий полк, хорошо знакомый Бенкендорфу по войнам с Наполеоном. С 1829 года к ним присоединилось уникальное воинское формирование: многонациональный лейб-гвардии Кавказский горский полуэскадрон. В его состав входили знатные кабардинцы, чеченцы, кумыки, ногайцы, «представители народов джамбулуковского, едисанского, караногайского, туркменского и саблинского». Младшими офицерами были назначены кабардинский князь и ногайский мурза; командиром стал представитель адыгейской знати Султан Хан-Гирей — воспитанник Ермолова, выпускник кадетского корпуса, участник войн с Персией и Турцией2.

О причинах создания этого необычного подразделения Бенкендорф писал в письмах командиру Отдельного Кавказского

корпуса генералу барону Розену: «Раздражительный горский народ, враждующий с русскими, не может познать истинной причины беспрерывной вражды и удостовериться в желании российского государя императора не уничтожать свободу горцев, а напротив того — даровать благоденствие, каким пользуются и другие его подданные. Чтобы внушить предварительно хотя бы некоторым из горцев эти благородные виды, должно стараться приготовить их в положение, в котором спокойствие души даёт возможность человеку выслушать и вникнуть в то, что ему объясняют. На этом основании сформирован был л. гв. Кавказский горский полуэскадрон и, чтобы более доказать горцам желание государя императора прекратить вражду, назначен в собственный Его Величества конвой… Местному начальству предоставить выбор фамилий, наиболее имеющих влияние на туземцев, и только тех, которых для благосостояния края необходимо ближе познакомить с видами нашего правительства»3.

Бенкендорф составил правила обучения личного состава, которые учитывали национальные традиции и обычаи, способствовали сближению людей различных вероисповеданий. Там, например, указывалось: «…Не давать свинины и ветчины… Строго запретить насмешки дворян и стараться подружить горцев с ними… Ружьём и маршировке не учить, стараясь, чтобы горцы с охотой занимались этим в свободное время… Телесным наказаниям не подвергать; вообще же наказывать только при посредстве прапорщика Туганова (офицер, которому было поручено наблюдение за горцами. — Д. О.), которому лучше известно, с каким народом как обращаться… Эфендию разрешить посещать горцев, когда он желает, даже в классах… Чтобы во время молитвы горцев дворяне им не мешали… Наблюдать, чтобы не только учителя, но и дворяне насчёт веры горцев ничего худого не говорили и не советовали переменять её…»4 Служить в Императорском конвое стало для горцев необыкновенно престижно, поэтому преданность кавказцев государю была абсолютной.

Сопровождение Николая Павловича в пути было задачей не из лёгких. Император отличался любовью к поездкам не меньшей, чем его старший брат Александр I, который, как известно, «всю жизнь провёл в дороге». В среднем Николай проезжал около 5500 вёрст ежегодно, причём был большим любителем быстрой езды (однажды за шесть дней домчался из Одессы до Петербурга). Он не особенно заботился о собственной безопасности, искренне считая, что Провидение будет беречь его до тех пор, пока он нужен России.

Бенкендорф в течение многих лет и по должности, и по дружбе занимал место рядом с царём: зимой — в санях, летом — в воспетой Аполлоном Майковым «откинутой коляске», а порой и в хлипких дрожках.

Традиция путешествий императора берёт начало с весны 1828 года, когда Николай Павлович направился из столицы на начавшуюся войну с Турцией — первую, в которой ему довелось лично принять участие. Государь испытывал необыкновенный душевный подъём; Бенкендорф же, насмотревшийся на изнанку войн, давал ситуации более взвешенную оценку: «Молодёжь восхищалась предстоявшими ей опасностями и славой; но масса публики смотрела на начало новой войны довольно равнодушно и безо всякой примеси какого-нибудь национального чувства. Турция — этот исконный враг России и христианства — уже слишком часто была укрощаема нашими войсками и уже слишком ослабела, чтобы внушать какое-либо опасение или даже ненависть. Никто не сомневался в новых лаврах, а на жертву людьми и деньгами смотрели единственно как на неизбежное зло, требуемое нашей народной честью и интересами нашей торговли»5.

В душную и жаркую ночь с 6 на 7 мая 1828 года Николай пересёк пограничную реку Прут и стал первым со времён Петра Великого императором, вступившим на османскую территорию. Тревоги по поводу здоровья и безопасности императора на театре военных действий высказывали многие, однако ответственность ложилась прежде всего на Бенкендорфа. Николай, принадлежавший к поколению «опоздавших на Отечественную войну» и ещё подростком мечтавший попасть в действующую армию, стремился наверстать «упущенное», побольше увидеть и испытать (испытания начались с первых же дней пребывания в полевых условиях — в виде обычной для здешних мест лихорадки). Больших трудов стоило Бенкендорфу уговорить императора, 13 мая впервые попавшего под артиллерийский обстрел из турецкой крепости, уйти в безопасное место.

В те дни главные силы русской армии перешли Дунай и двинулись вперёд, к двум ключевым крепостям по дороге на Константинополь — Варне и Шумле.

Николай старался поспеть везде. Он то уезжал в тыл, где сопровождал супругу по дороге в Одессу, к генерал-губернатору М. С. Воронцову, то встречался с когда-то бежавшими за Дунай запорожскими казаками, то осматривал Измаил, то инспектировал войска. Переезды растягивались на несколько сотен вёрст. Бенкендорф признавался, что им порой овладевал ужас при мысли, что Николай с незначительной охраной

пробирается «по пересечённому горами и речками краю, где предприимчивый неприятель, имевший ещё на своей стороне и ревностную помощь жителей, может напасть на нас и одолеть благодаря численному перевесу». Однажды Николая спасло то, что командующий Главной квартирой уговорил его, чтобы не быть мишенью, надеть шинель поверх блестящего генеральского мундира: при выезде из густого леса свита попала под обстрел из засады, и пули свалили нескольких конных егерей. В другой раз император повелел было отпустить назначенный сопровождать его конно-егерский полк («Зачем напрасно утомлять людей? Они будут полезнее в лагере, нежели здесь. На нас не нападут, а в случае надобности мы сумеем отбиться»). Бенкендорф не торопился выполнять приказание, и в результате полк успел прикрыть царскую кавалькаду, прежде чем до неё добралась невесть откуда появившаяся турецкая конница.

Наиболее опасным стал марш-бросок из Одессы в лагерь армии, осаждавшей Варну. Переправу морским путём, на фрегате, пришлось отменить из-за сильной бури. Но поскольку Николай не собирался ждать у моря погоды, он отправился посуху, если так можно назвать размытые в липкую грязь дороги. Коляска с Николаем и Бенкендорфом и следом верховой фельдъегерь составляли весь императорский кортеж. Только на следующий день к ним добавился минимальный конвой. «Дороги были совершенно испорчены, — вспоминал генерал-адъютант. — Большой лес, которым должно было проезжать, славился разбойничьим притоном; нас конвоировали всего четыре казака на дрянных лошадёнках. Выехав оттуда на открытое место, мы встретили множество болгар, которые, спасаясь от хищничества турок, блуждали по краю с жёнами, детьми и всем своим имуществом. Подобно им, могли тут шататься и турецкие партии; самые эти болгары и особенно некрасовцы, воры по ремеслу, могли напасть на нашу коляску. Государь, незнакомый со страхом, спокойно в ней спал или вёл со мною живую беседу, как бы на переезде между Петербургом и Петергофом. Мне же было вовсе не до сна и не до разговоров. <…> На пути… нас застигла ночь. По скверной и почти не проложенной дороге надо было волочиться чуть-чуть не шагом. Местами огни просвечивали сквозь мрак, но чьи — свои или неприятельские? Наконец, по правильному их расположению мы догадались, что тут стоят наши войска, и вскоре признали палатки и оклики наших». Даже шесть лет спустя Александр Христофорович признавался: «И теперь… дрожь пробегает по мне, когда я только вспомню, что в то время ехал один, по неприятельской земле, с русским императором, вверенным моей охране!»6

В конце концов Николай признал всю опасность положения своей застрявшей под Шумлой и Варной и заметно уменьшившейся армии. В какой-то момент риск попасть в окружение оказался настолько реальным, что стали припоминать неудачный Прутский поход Петра I в 1711 году. На одном из военных советов был поднят вопрос об опасности пребывания императора при армии, но Николай решительно отреагировал: «Если бы Провидение не предохранило меня от подобного бедствия, если бы я имел несчастие попасть в руки моих врагов, то, надеюсь, что в России вспомнят многознаменательные слова Сенату моего прапрадеда: „Если случится сие последнее, то вы не должны почитать меня своим царём и государем и ничего не исполнять, что мною, хотя бы по собственноручному повелению, от вас было требуемо“».

На турецкой войне Александр Христофорович благополучно выполнил свои обязанности по сохранению жизни императора, но спасти жизнь своего брата Константина он не смог. С начала кампании генерал-лейтенант Бенкендорфвторой лихо громил неприятельские тылы. Во главе «летучего отряда» он перебрался через Балканы и там истреблял турецкие транспорты, разгонял сопровождавшие их отряды и даже занял крепость Праводы. Увы, походная жизнь, начатая ещё в 1826 году на войне с Персией, подорвала здоровье Константина Христофоровича. 6 августа 1828 года он скончался во взятой им крепости, где не было ни врача, ни лекарств, от «скоротечной болезни лёгких». Сын его, одиннадцатилетний Костя, остался сиротой.

Александр Христофорович примет самое деятельное участие в судьбе мальчика, даже сделает его своим наследником наравне с женой и дочерьми7. Константин Константинович Бенкендорф окончит Пажеский корпус, отпросится из гвардии на Кавказ — сражаться против Шамиля под началом Воронцова, будет тяжело ранен, затем, по примеру отца, перейдёт на дипломатическую службу. В Крымскую войну он снова пойдёт воевать. Подобно отцу, Константин Константинович останется в памяти сослуживцев в качестве «рыцарски благородной личности, столь ценимой Воронцовым, которую никто из знавших никогда не забудет»8.

…А Турецкая кампания 1828 года, несмотря на личное присутствие Николая I, не приносила значительных успехов. Наступила осень; лихорадка и тиф терзали армию, начался массовый падёж лошадей от бескормицы — а войска так и топтались у стен турецких крепостей Шумла, Силистрия и Варна.

Чтобы добиться хоть каких-то успехов, было решено сосредоточить все усилия на взятии Варны. Туда подошёл

гвардейский корпус, с моря нацелил на крепость свои орудия Черноморский флот. Бенкендорф способствовал вызову из Одессы Воронцова для командования осадой. Тот снова проявил незаурядный организаторский талант и сравнительно скоро справился с задачей. 28 сентября сдалась большая часть гарнизона Варны, на следующий день — его остатки, засевшие в цитадели.

Первого октября император Николай в сопровождении свиты и иностранных дипломатов въехал в покорённый город. Вид пережившей осаду Варны не располагал к торжествам. «Нас обдало, — пишет генерал-адъютант Бенкендорф, — таким невыносимым смрадом от бесчисленного множества падали всякого рода и человеческих тел, так дурно похороненных, что у иных торчали ноги, а другие едва прикрыты были несколькими лопатками земли. Страшная неопрятность ещё более заражала воздух. Невозможно описать положение, в которое приведён был город бомбардированием. Везде встречались полуразрушенные мечети; дома, пронизанные ядрами или обрушившиеся от разрыва бомб; целые кварталы, обращённые в груды развалин, без всякого почти следа бывших тут прежде зданий». В чудом уцелевшей от бомбардировок греческой церкви, стоявшей под конвоем минарета и увенчанной полумесяцем, «очень маленькой, мрачной и построенной во дворе», был отслужен благодарственный молебен. «Это священнослужение, посреди смерти и развалин, в мусульманском крае… имело что-то неописуемо поразительное»9.

Взятие Варны решили сделать мажорным завершающим аккордом не самой успешной кампании. Решительные действия были отложены до следующей весны. Армия стала готовиться к отходу за Дунай, на зимние квартиры, а «кочевая столица» направилась в Петербург.

Возвращение с войны оказалось более опасным, чем сами боевые действия. Бенкендорф уговорил Николая отправиться в Одессу морем — в надежде, что хороший попутный ветер быстро унесёт корабль прочь от чужих земель. И действительно, поначалу новенький 84-пушечный линкор «Императрица Мария» в сопровождении первого черноморского военного парохода «Метеор» резво продвигался в сторону устья Дуная…

Между листами мемуаров Бенкендорфа вложена скупая «Выписка из имеющихся в гидрографическом депо штаба Черноморского флота и портов о плавании корабля „Императрица Мария“ с 2 по 8 октября 1828 года во время пребывания на этом корабле государя императора». Строгое, деловое повествование служило Александру Христофоровичу напоминанием о тех

трагических часах:

«2-го октября в 2 часа пополудни сигналом с адмиральского корабля приказано кораблю „Императрица Мария“ (под командою капитана 1-го ранга Папахристо), бывшему при блокаде крепости Варна, приготовиться к снятию с якоря, а через ‘/4 часа изволил прибыть на корабль государь император со свитою для отправления в Одессу…

В 3 часа сигналом приказано яхте „Утеха“ и пароходу „Метеор“ сняться с якоря, а спустя ‘/4 часа снялся с якоря и корабль при тихом бом-брамсельном SSW ветре. <…>

4-го октября. С полдня при мрачности с дождём и большой…

В 9 1/2 ветер немного стих… В полдень небо очистилось, по высоте солнца определили широту места.

8 числа в 2 часа пополуночи на Одесском рейде положили якорь. В 2′/2 часа государь император изволил съехать с корабля в город»10.

В казённом документе нет ни слова, например, о том, что капитан Папахристо командовал кораблём, будучи на всё время бури привязан к мачте — чтобы не смыло… Мемуары Бенкендорфа передают ситуацию куда красочнее: «Мы были уже на половине дороги к Одессе, как вдруг началась буря, превратившаяся вскоре в свершенный шторм. В несколько минут у нас совсем сломало бизань-мачту, повредило и другие, порвало снасти. Волнение сделалось так сильно, что невозможно было ни предупреждать, ни исправлять повреждений; оставалось закрепить руль и отдаться на произвол волнам. Все особы свиты легли по койкам; большая часть прислуги и даже экипажа страдала морской болезнью. Только государь, граф Потоцкий и я были здоровы и на ногах, цепляясь за всё встречное, когда хотели передвинуться с одного места на другое. Ветер так ревел, что нельзя было расслышать друг друга, как крича на ухо, а в прибавок ко всему этому и воздух охладился до нестерпимости. Нас неудержимо несло к враждебным берегам Босфора… и не было никакого средства бороться против этой новой опасности»11.

Бенкендорф, Воронцов и вся свита с ужасом думали о том, что через некоторое время русского монарха выбросит на турецкий берег! Сам Николай ни словом не упрекнул командующего Главной квартирой за идею ускорить переезд в Одессу и только сожалел, что не успеет в Петербург к 14 октября — дню рождения матушки, Марии Фёдоровны. По одной из устных легенд, императора на всякий случай переодели простым матросом в робкой надежде на то, что, если он попадёт к туркам, его не узнают. К счастью, после двадцати шести часов

неистовства стихия начала утихомириваться. Корабль добрался-таки до Одессы, и даже отвратительная осенняя погода казалась чудо как хороша…

И снова — в дорогу, в дорогу! Ни дня отдыха. В четыре часа утра — молебен в пустом соборе, с несколькими зажжёнными свечами, выхватывающими из темноты лики икон, а потом в коляску и — скорее в Петербург!

Газета «Русский инвалид» от 16 октября 1828 года (№ 258) сообщала:

«С.-Петербург, 14-го октября. Сего утра в 11 часов государь император изволил возвратиться из турецкого похода в вожделенном здравии. Нельзя представить себе восхищения жителей… столицы, кода они увидели развевающийся на Зимнем дворце флаг. Прибытие Его Величества было для большей части жителей неожиданно: тем живее, тем сердечнее наша радость, наше счастие».

Счастью суждено было быть недолгим. Царь спешил приехать, чтобы отпраздновать день рождения матушки, а попал к её смертному одру. Через десять дней после возвращения Николая и Бенкендорфа Мария Фёдоровна скончалась.

Александр Христофорович переживал смерть своей строгой, но справедливой покровительницы не менее тяжело, чем Николай. В своих мемуарах он сказал прощальное слово об императрице-матери:

«Мария Фёдоровна прожила с лишком 50 лет в том дворце, где теперь испустила дух, и служила в нём живым уроком всех добродетелей; стараясь умягчать суровую строгость императора Павла, супруга его подавала собой пример покорности его воле; она даровала России двух монархов; была образцом жены и матери; жила единственно чтобы благодетельствовать бедным, вдовам и сирым. Важнейшие, как и самые мелкие подробности надзора за воспитанием принятых ею под своё попечение нескольких тысяч детей и за устройством множества больниц занимали её ежедневно по несколько часов, и всем этим заботам она посвящала себя со всем жаром и увлечением высоко христианской своей души. Уже в весьма преклонных летах, императрица никогда не отходила к покою, не окончив всех своих дел, не ответив на все полученные ею в тот день письма, даже самые малозначащие. Она была рабой того, что называла своим долгом. Науки и художества всегда находили в ней просвещённую и благотворительную покровительницу. Она любила чтение, не гнушалась рукоделием и, между тем, считая обязанностью своего сана содействовать светским удовольствиям, с этой целью нередко собирала во дворце многолюдное общество

на театральные представления и на балы. В летнюю пору приятно развлекал её Павловск со своими роскошными садами, в которых она занималась, с особенным знанием дела, ботаникой и садоводством. К числу отличительных её способностей принадлежало уменье так распределять свои занятия, что у неё доставало времени на всё, чему способствовали необычайная деятельность и необычайное здоровье.

Взыскательная к самой себе, она была требовательна и к своим подчинённым; всегда неутомимая, не жаловала, если они казались усталыми; наконец, любя искренно и постоянно тех, кого удостаивала своей дружбой или кому покровительствовала по влечению сердца или по рассудку, требовала от них полной взаимности. Единственным недостатком этой необыкновенной женщины была излишняя, может статься, её взыскательность к своим детям и к лицам, от неё зависевшим.

Смертное ложе императрицы Марии Фёдоровны было орошено слезами сокрушения и благодарности. Трогательно было видеть рыдание молодых воспитанниц её заведений, когда их привозили на поклонение бездыханному телу. Старые гренадеры, дети, сироты, придворные, вдовы и нищие — всё это плакало, ибо все лишились в ней матери и ангелахранителя»12.

К этому некрологу можно только добавить, что в России Марию Фёдоровну называли «матерью сирот русских»13.

* * *

С 1829 года поездки Николая в сопровождении Бенкендорфа стали регулярными. В этом году барон Дибич окончил турецкую войну сокрушительным рейдом через Балканы и заслужил титул Дибича-Забалканского. А император отправился в мае в Варшаву, чтобы короноваться в качестве польского монарха. На полях былых сражений с Наполеоном Бенкендорф с удовольствием рассказывал Николаю о событиях 1806–1807 годов: тогда он верхом изъездил эти места вдоль и поперёк. К своему удивлению, Александр Христофорович обнаружил немало перемен к лучшему: дорога, проходившая ранее через сыпучие пески и бездонные болота, теперь представляла собой великолепное шоссе; местечко Тыкочин, некогда весьма убогое и неказистое, «приняло вид опрятности и довольства». С каждой верстой в Бенкендорфе крепла убеждённость, что под русским скипетром Польша вступила в пору процветания: «Всё преобразилось; край самый бедный и самый грязный в мире, чуждый всякой промышленности, был превращён, как бы волшебством, в страну

богатую, чистую и просвещённую. Роскошные почтовые дороги, опрятные города, обработанные поля, фабрики, общее благосостояние, наконец, всё, чего мудрое и отеческое правительство может достигнуть разве после полувековых усилий, было сделано императором Александром в пятнадцать лет. Самая закоренелая неблагодарность молодых польских патриотов вынуждена была очевидностью воздать дань истине и сознаться, что покойный император пересоздал эту часть Польши»14.

На поле сражения под Пултуском (накануне которого бежал главнокомандующий Каменский) Бенкендорф поделился своими наблюдениями с царём: 23 года назад «Наполеон торжествовал в Варшаве и угрожал России; поляки предавались мечтам о своём возрождении, а наши войска, отступавшие к своим границам, находились в состоянии полного уныния и изнеможения»; теперь же «Наполеон… давно перешёл в область истории; Париж видел наши победоносные знамёна; поляки — русские подданные, обязанные своим благосостоянием единственно великодушию русского императора», а тогдашний поручик ехал в коляске могущественного преемника Александра, короля той самой Польши, где он некогда воевал. Николай Павлович подхватил философствования о мировых поворотах истории: он вполне разделял представления Бенкендорфа о благе, принесённом на Польскую землю его старшим братом и предшественником. Торжественная встреча в Варшаве только добавила уверенности: погода была великолепной, колокола звонили, пушки салютовали, войска стояли шпалерами, за ними восторженно кричала публика, дамы у окон и на балконах махали платочками.

Без инцидентов прошла и коронация нового польского короля. Через год Николай снова приехал в Варшаву, на этот раз на открытие сейма, с соблюдением всех форм, определённых неведомой в России конституцией. И снова внешнее благополучие Польши затмило в глазах верховной власти империи накопившиеся проблемы. Бенкендорф записал: «На государя все смотрели как на надежду лучшей будущности, и возрастающее благосостояние края служило важным противовесом тем неприятностям и уничижениям, от которых терпели отдельные личности, но не нация. В этом отношении даже самые раздражённые из числа недовольных отдавали справедливость правительству. Прибытие государя, императрицы, множества иностранцев и нунциев утишили ропот, по крайней мере, по внешности, и Варшава приняла блестящий и очень оживлённый вид. Балы и праздники следовали один за другим, со всей роскошью и со всем весельем богатой столицы»15.

Каково же было потрясение Бенкендорфа, когда в ноябре 1830 года тот же самый сейм объявил династию Романовых низложенной и разрешённая конституцией польская армия начала военные действия против России. Цесаревич Константин едва ушёл живым из Варшавы.

В беседе с подполковником польской службы Тадеушем Вылежинским (он был курьером, доставившим в Петербург бумаги от польского диктатора Ягоницкого) Бенкендорф строго придерживался имперской позиции. Он искренне недоумевал: «Я решительно не могу понять, каким образом поляки пришли к мысли о революции; как они не рассчитали, не предвидели тех опасностей и тех бедствий, которые угрожают их родине! Я не сомневаюсь, что причины к недовольству были, но это всё-таки не давало права начинать революцию». «Сравните, — говорил он, — другие завоёванные области Польши с положением поляков в Царстве. Посмотрите, например, на Галицию, разве она не несчастливее вас? У неё нет ни народного правительства, ни конституции, ни собственной армии, ни администрации, ни национальности, ни даже своего языка, а вдобавок страна обложена тяжёлыми налогами. А великое герцогство Познанское, которое, конечно, не пользуется теми преимуществами и тем благосостоянием, как Царство Польское, с политической и экономической точки зрения?»

«Сравните себя, — продолжал Бенкендорф, — с Литвой, с Волынью и другими бывшими польскими областями, находящимися под властью России; какая громадная разница между ними и вами во всех отношениях! А между тем все эти провинции остались спокойными… Ваша страна могла служить образцом экономического благосостояния, ей удивлялись все иностранцы, население постепенно увеличивалось, повинности не были обременительными, вы управлялись своими собственными законами, торговля и промышленность процветали, города и сёла постепенно увеличивались, и вся Польша представляла завидный образец благоустройства и культуры. Во всей этой ласкавшей взор картине было, правда, одно пятно — это великий князь Константин, который зачастую нарушал волю государя и действительно не раз подавал повод к неудовольствиям. Но не надо было так торопиться, ибо всем известно, что великий князь должен был оставить Варшаву, отправиться весной за границу и более уже не возвращаться…»

Не забыл Бенкендорф указать на справедливую позицию Николая I в противостоянии Сената и великого князя, на покровительство польской фабричной промышленности даже в ущерб экономике России, на уважение императора к польской

нации, выразившееся в выделении денежных средств на реставрацию древнего замка польских королей, покровительстве польскому искусству, наукам… Как и Николай, Александр Христофорович был более опечален, чем возмущён неблагодарностью поляков16.

Печаль печалью, а в Третье отделение стал поступать весьма плотный поток бумаг по польским революционным делам — куда более оживлённый, чем по революционным делам всей остальной империи. Именно с этого времени слово «поляк» на несколько десятилетий почти превратилось в русском обществе в синоним слова «революционер».

Только после года войны стотысячных армий Польша была усмирена. Бывшее королевство, автономия с национальной армией и конституцией превратилась в имперское генерал-губернаторство, наполненное русскими войсками, сохранявшими название «действующая армия».

Но не только Польское восстание сделало 1830–1831 годы бурными и трагическими. Не успел ещё Николай выехать из Варшавы после открытия сейма, как пришли печальные известия от Воронцова: в Севастополе разразился бунт, вызванный эпидемией чумы, распространившейся по Новороссии. Практически одновременно с юго-востока, от Оренбурга и Нижнего Поволжья, в Россию пришла холера, захватив более тридцати губерний. В конце сентября 1830 года «индийская зараза», как её тогда называли, была уже в Москве. Власти растерялись, в городе началась паника: за 12 дней его покинули около шестидесяти тысяч жителей! А. Я. Булгаков записал в дневнике: «На дверях больницы, в Смоленском рынке, прибита была следующая надпись: „Ежели доктора немцы не перестанут губить народ православный, то мы ихними черепами вымостим улицы московские!“»17.

В старую столицу поспешили и император Николай, и вызванный из отпуска Бенкендорф. Он оставил подробное описание тех трудных дней:

«Было решено оцепить Москву для охранения от заразы прочих губерний и Петербурга; всё исполнилось без затруднений, и покорность народа, одушевлённого благодарностью, не знала границ. Холера, однако же, с каждым днём усиливалась, а с тем вместе увеличивалось и число её жертв. Лакей, находившийся при собственной комнате государя, умер в несколько часов; женщина, проживавшая во дворце, также умерла, несмотря на немедленно поданную ей помощь. Государь ежедневно посещал общественные учреждения, презирая опасность, потому что тогда никто не сомневался в прилипчивости холеры. Вдруг за обедом во

дворце, на который было приглашено несколько особ, он почувствовал себя нехорошо и принуждён был выйти из-за стола. Вслед за ним поспешил доктор, столько же испуганный, как и мы все, и хотя через несколько минут он вернулся к нам с приказанием от имени государя не останавливать обеда, однако никто в смертельной нашей тревоге уже больше не прикасался к кушанью. Вскоре затем показался в дверях сам государь, чтобы нас успокоить; однако его тошнило, трясла лихорадка, и открылись все первые симптомы болезни. К счастью, сильная испарина и данные вовремя лекарства скоро ему пособили, и не далее как на другой день всё наше беспокойство миновалось».

Десять дней в Москве прошли «в неутомимой, беспрерывной деятельности»: «Государь лично наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей; беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях; и только устроив и обеспечив всё, что могла человеческая предусмотрительность, выехал 7 сентября из своей столицы».

Все покидавшие Москву должны были останавливаться в Твери в карантине. Николай посчитал нужным «дать пример покорности законам». Бенкендорф рассказывал об этом добровольном заточении: врач принял императора и всю свиту «в особо приготовленной комнате и окурил, согласно с существовавшими тогда правилами, хлором, после чего дворец и маленький его сад оцепили часовыми, для совершенного отделения его от города, а нас… засадили в карантин и разъединили от всего мира. Утром занимались бумагами, которые ежедневно присылались из Петербурга и Москвы, а потом прогуливались по саду, впрочем, очень худо содержимому; государь стрелял ворон, я подметал дорожки. За этими забавами следовал прекрасный обед для всего общества вместе, после которого расходились по своим комнатам до вечера, соединявшего опять всех на государевой половине, где играли в карты. Так мы, до возвращения в Царское Село, провели одиннадцать дней в этой тюрьме, хотя очень спокойной и удобной, но, тем не менее, жестоко нам надоевшей».

Двадцатого октября Николай со свитой благополучно прибыл в Царское Село, а 25 октября возвратился в Петербург18.

В 1831 году холера пришла и в столицу, и в действующую армию в Польше. Она не пощадила ни главнокомандующего Дибича-Забалканского, ни цесаревича Константина Павловича.

Бенкендорф узнал о скоропостижной смерти Константина именно в тот день, когда страшное заболевание добралось до него самого. Едва покинув кабинет царя в Петергофе, генерал-адъютант почувствовал себя плохо, уже зная, что Константин, после того как ощутил признаки болезни, прожил только один день. В собственных апартаментах Бенкендорф прилёг отдохнуть — и был не в силах подняться; а после принятия горячей ванны (это была непременная процедура лечения холеры в то время) вообще лишился чувств. Государев врач, лейб-медик Николай Арендт, был потрясён тем, как переменилось лицо Александра Христофоровича.

В Петергофе началась суматоха: болезнь у самых царских покоев! Однако Арендт провёл необходимые профилактические действия; Николай в тот же вечер навестил друга, и пока тот болел, на протяжении почти трёх недель, ежедневно приходил к нему для обсуждения новостей. Известия были безотрадными: в Польше дела не ладились, а в Петербурге холера развернулась вовсю. Паника в простонародье оказалась ещё сильнее, чем в Москве: «Все меры для охранения здоровья, усиленный полицейский надзор, оцепление города и даже уход за поражёнными холерой в больницах начали считать преднамеренным отравлением. Стали собираться в скопища, останавливать на улицах иностранцев, обыскивать их для открытия носимого при себе мнимого яда, гласно обвинять врачей в отравлении народа»19. Грамотные обыватели, вычитавшие в свежеизданном «Наставлении к распознанию признаков холеры, предохранению от оной и к первоначальному её лечению» о средствах дезинфекции, носили с собой скляночку с крепким уксусом или порошок хлорной извести. Неграмотные останавливали людей со склянками на улицах и заставляли их «в удостоверение того, что это не яд», уксус выпивать; жутко пахнущий порошок хлорки насильно сыпали в рот. Полиция подбирала на улице пьяных и доставляла в больницы; пьяные кричали, что их тащат в лазарет, чтобы там отравить. Холера не унималась, унося в наиболее тяжёлые дни до шестисот человек.

Пиком эпидемии стал «холерный бунт» на Сенной площади Петербурга, где 22 июня толпа устроила погром больницы. Бенкендорф рассказал о нём в воспоминаниях: «Все этажи в одно мгновение наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей. Полицейские чины, со всех сторон теснимые, попрятались или ходили между толпами переодетыми, не смея употребить своей

власти»20.

Войска были поставлены под ружьё, но в дело всё же не вступили: Николай, прибывший из Петергофа в Петербург, смог остановить погромы силой собственного авторитета.

Бенкендорф записал слова, которыми император утихомирил многотысячную толпу: «Обратясь к церкви Спаса, он сказал: „Я пришёл просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь ему о прощении; вы его жестоко оскорбили! Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне… За ваше поведение в ответе перед Богом — я! Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами!“»21. Очевидец событий князь Меншиков передал слова Николая примерно так же; и для него, и для Бенкендорфа важны были вовсе не гипнотические способности царя (в упрощённом пересказе он поднялся в коляске, гаркнул: «На колени!» — и все пали перед ним), а умение призвать к покаянию — собственным примером («В ответе — я!»). В описании, сделанном Жуковским по рассказам очевидцев, народ опускается на колени в невольном порыве: когда царь «обнажил голову, обернулся к церкви и перекрестился», то обернувшаяся вслед за ним «толпа, по невольному движению, пала ниц с молитвенными возгласами»22.

Моральное воздействие императора было подкреплено полицейскими мерами. Как записал в дневнике почт-директор Булгаков, «до 2000 человек взято и посажено в крепость крикунов, бывших в суматохе на Сенной, многие из них и невинны; до сего времени следственная комиссия, наряженная, под председательством генер. — адъютанта Бенкендорфа, для суждения их, не приступила ещё к делу, отчего все родственники заключённых, и особенно взятых по одному токмо подозрению, ропщут»23.

Порядок в городе был восстановлен, бунта, подобного севастопольскому, не случилось; но с холерой боролись ещё долго. Лишь в середине июля Николай сообщил своему новому польскому наместнику Паскевичу: «Здесь всё тихо и в порядке… Болезнь, слава богу, столь же скоро исчезает, как страшно скоро разлилась»24.

Выздоровевший Бенкендорф проехал по улицам города и ужаснулся его виду: «На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания. Духота в воздухе стояла нестерпимая. Небо было накалено, как бы на далёком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблёкла от страшной засухи; везде горели леса и трескалась земля»25.

Только в середине осени 1831 года появилась возможность перевести дух. «Бедствия, целый год тяготевшие над Россией,

миновали, — записал Бенкендорф. — Не было больше ни войны, ни бунтов, ни холеры». Стихло революционное волнение в Европе, покорилась Польша.

Николай I возобновил регулярные поездки по России; Бенкендорф занял своё постоянное место в коляске, бок о бок с императором. 11 октября царь прибыл в Москву, куда привезли знамёна и штандарты побеждённой польской армии для передачи в коллекцию трофеев Оружейной палаты. Там же у подножия статуи Александра I была положена дарованная им и отменённая его младшим братом польская конституция, представлявшая собой, по словам Бенкендорфа, «акт великодушия, столь же предосудительный для политической будущности Царства [Польского], сколько оскорбительный для самолюбия Русской империи».

Из Москвы путь лежал в Троице-Сергиеву лавру. Несмотря на позднюю ночь и мороз, архимандрит с братией встречал помазанника Божия у Святых ворот с зажжёнными свечами. Николай и следом за ним Бенкендорф прошли «в ту древнюю и великолепно украшенную церковь, где некогда, в польскую осаду, иноки, ослабленные трудами защиты, голодом и ранами, собрались в ожидании конечного штурма и неминуемой смерти для причащения в последний раз Святых Тайн — а вместо того последовало неожиданное отступление неприятеля». Бенкендорф запомнил, какое «глубокое и благоговейное умиление» произвело на него посещение храма, царивший в нём «мрак, рассеиваемый лишь светом свечей, едва достаточным, чтобы видеть золото и драгоценные камни», вызвавший воспоминание о давних событиях. Удивляющее нас совершение протестантом Бенкендорфом молитвы в православном храме тогда считалось совершенно нормальным. Самому Александру Христофоровичу больше всего запало в душу другое ночное посещение монастыря вместе с Николаем (на этот раз Киево-Печерской лавры в 1835 году): «В таинственном полумраке этого величественного храма, пережившего столько веков, вызывающего столько религиозных и исторических воспоминаний, нас было всего лишь трое (третий — монах, отворивший храм. — ДО.), и я не помню, чтобы мне случалось когда-нибудь в жизни молиться с таким умилением. Ночь и окружавшая нас тишина… более располагали к благочестивым думам, чем торжественность церковного обряда и стечение народа»26.

Из Троицы сани императора помчались в Ростов и Ярославль. Бенкендорф отмечал широту интересов и забот императора: Спасский монастырь и прославленный Демидовский лицей, общественные заведения и знаменитая набережная Волги,

Дворянское собрание и фабрики шёлковых и льняных изделий; «осмотрев всё и отдав соответственные нуждам и потребностям приказания, государь возвратился в Москву»27.

В наступившую зиму не случилось ничего примечательного; «государь, пользуясь общим миром и спокойствием, неусыпно занимался разными проектами и преобразованиями по гражданской части»28.

А потом начались ежегодные вояжи императора по губерниям России с осмотром достопримечательностей, инспекцией войск и учреждений. В обязанностях Бенкендорфа — не только личная охрана друга-государя, но и детальная организация поездки. В архивах сохранились письма командующего Главной квартирой с подробными описаниями маршрута путешествия и всеми необходимыми требованиями29.

Осенью 1832 года Николай и Бенкендорф проехали по «внутренним губерниям» через Лугу в Смоленск. Спустя 20 лет после наполеоновского нашествия город не оправился от разгрома: хотя «всё в нём было ново, везде кипела работа», но «местами ещё отдельно торчали трубы и обгорелые стены указывали на следы разрушения, постигшие этот древний город». Затем их путь пролегал через Бобруйск, Киев, Полтаву, Харьков… Всюду происходили встречи с местной администрацией и дворянством; царь лично инспектировал не только войска, но и образовательные и лечебные учреждения. В каждом городе государь, как замечает Бенкендорф, «похвалил, побранил и кончил свой обзор указанием на необходимость разных перемен». В Чугуеве Николай посетил центр украинских военных поселений — грандиозного военно-хозяйственного эксперимента графа Аракчеева и императора Александра. Бенкендорф относился к александровскому временщику и его начинаниям с неприятием, что нашло отражение в записках: «В предыдущее царствование воинственное племя чугуевских казаков было переформировано в военные поселения, по беспощадно строгой и жестокой системе графа Аракчеева, изменившей вид этого небольшого, но богатого края и превратившей его в пространную казарму; эта система нарушила все права собственности и водворила повсюду горькое раскаяние. Множество казаков, поседевших под ружьём и покрытых славными ранами, было переселено из родного края и осуждено умереть в местах, для них чуждых, частью даже в Сибири, и все эти ужасы совершились в царствование самое мягкосердое, под скипетром самым просвещённым, при государе, который спас Россию и Европу от Наполеонова рабства! Виной тому была одна слепая его доверенность к Аракчееву, которого имя Чугуевские казаки будут проклинать до позднейшего

потомства»30.

В Белгороде состоялась встреча с одним из «прощённых заговорщиков 14 декабря 1825 года», генералом П. Х. Граббе, отличившимся в турецкую войну и получившим под командование драгунскую дивизию. Бенкендорф замечает: «Государь, не видавший Граббе с той минуты, как он был приведён пред него в качестве преступника, поблагодарил восстановившего свою честь генерала и вообще обошёлся с ним чрезвычайно ласково. Граббе был растроган до глубины души и сказал мне со слезами: „Я более в долгу перед государем, чем кто-либо другой из его подданных, и я сумею заслужить его милость и великодушие“».

Затем — Воронеж, Рязань и ужасная размытая дорога до Москвы: 200 вёрст до Первопрестольной пришлось преодолевать двое суток. Наступила поздняя осень, и дорога была так изрыта обозами и гуртами, что Николай, испытав и гнев, и ужас, пришёл к решению создать в России систему шоссейных дорог, начав с тех, что вели к Москве. Обсуждение проекта с Бенкендорфом началось прямо в пути, а затем были предприняты шаги по его реализации. Неудивительно, что Бенкендорф стал решительным сторонником совершенствования путей сообщения. Более того, он выступил в поддержку строительства в России железных дорог, в 1836 году одобрил инициативу австрийского инженера Ф. А. Герстнера, в мае 1839 года был выбран председателем правления Царскосельской железной дороги, а в феврале стал председателем Комитета об устройстве железной дороги ПетербургМосква.

* * *

Зиму император — а значит, и Бенкендорф — обычно проводил в Петербурге. Александр Христофорович входил в узкий круг близких друзей Николая I, которые принимали участие в семейных обедах, на которые ежедневно ровно к четырём часам дня собиралось августейшее семейство. Обед по придворным меркам был коротким — менее часа; после него гости направлялись в кабинет императрицы, где беседовали и пили кофе до тех пор, пока Николай не возвращался к делам. Вечером та же компания (императорская чета с детьми, Бенкендорф, граф Адлерберг, граф Орлов, граф Киселёв) встречалась снова для семейного чтения или проведения музыкальных вечеров, где Николай играл на корнете31.

В мае 1833 года состоялась новая поездка, на сей раз по

Прибалтике, в Динабург и Ригу. К Бенкендорфу стекались сведения о подготовке покушений на Николая (в отместку за подавление польского мятежа), петербургская публика просила начальника высшей полиции о «величайшей осмотрительности». Однако Николай был абсолютно уверен в том, что судьба его уже «начертана Провидением». На любые попытки напугать его возможностью покушения он обычно отвечал Бенкендорфу: «Бог мой страж, и если я уже не нужен более для России, то он возьмёт меня к себе!»32 Меры безопасности, на которые согласился император, состояли из небольшой охраны: нескольких человек ехавшего впереди разъезда да казака из Императорского конвоя на козлах царского экипажа. Даже по недавно замирённой Польше Николай и Бенкендорф ехали только в сопровождении фельдъегеря, которому полагалось быть при государе для обеспечения «правительственной связи». На почтовых станциях, правда, стояли небольшие казачьи пикеты; но, как отмечал Бенкендорф, император «брал прошения от поляков, с ними разговаривал и не принимал ни малейших мер предосторожности, как бы среди верного русского народа».

Осенью 1833 года Бенкендорф сопровождает царя за границу. Складывается ритуал поездок инкогнито: Николай разыгрывал роль адъютанта Бенкендорфа, что в России совершенно не имело бы смысла — царя узнали бы сразу. А по Германии и Австрии путешествовали генерал Бенкендорф с высоким — двухметровым — «адъютантом»; именно на имя Бенкендорфа заказывались комнаты для ночлега и лошадей. Николай с удовольствием расспрашивал немецких почтмейстеров о том, что им известно о русском императоре, и благодаря этому собрал коллекцию самых неожиданных слухов о себе.

В коляске «на всякий случай» лежали два заряженных пистолета (их клал ещё в Петербурге предусмотрительный Дубельт), но дело ни разу не дошло до их использования. Правда, однажды по дороге из Данцига в Калиш (это было уже в 1835 году) кто-то поджёг мост на пути следования наших путешественников, но точно доказать злонамеренность не удалось даже в результате расследования, проведённого агентами Бенкендорфа33.

Царь был готов мириться с опасностями ради возможности одиноких поездок — и по России, и по Европе. Только они давали ему возможность отвлечься от вечного исполнения роли правителя в «непрекращающемся театре власти»34. Бенкендорф и очень немногие приближённые — круг дружеский, в нём незазорно было расслабиться, вести себя так, как хочется, а не как предписывал регламент. Немногие рассказы передают атмосферу

таких «дружеских вечеров в дороге». Николай неожиданно предстаёт в них фантазёром и сочинителем, однажды даже предложившим свою версию то ли «Станционного смотрителя», то ли «Путешествия дилетантов»:

«Во время поездки в 1834 году разговорился (царь. — Д. О.) со своим доктором Енохиным, выходцем из духовного сословия, и, как любитель церковного пения, стал петь с ним духовные стихиры. Затем шутливо спросил:

— Каково, Енохин?

— Прекрасно, государь, вам бы хоть самим на клиросе петь.

— В самом деле, у меня голос недурён, и если б я был тоже из духовного звания, то, вероятно, попал бы в придворные певчие. Тут пел бы, покамест не спал с голоса, а потом… Ну, потом выпускают меня по порядку. С офицерским чином хоть бы в почтовое ведомство. Я, разумеется, стараюсь подбиться к почт-директору, и он назначает меня на тёпленькое местечко, например, почт-директором в Лугу. На мою беду, у лужского городничего хорошенькая дочка. Я по уши в неё влюбляюсь, но отец никак не хочет её за меня выдать. Отсюда начинаются все мои несчастья. В страсти моей я уговариваю девочку бежать со мною и похищаю её. Об этом доносят моему начальству, которое отнимает у меня любовницу, место, хлеб, и напоследок отдают под суд. Что тут делать без связей и без протекций?

В эту минуту вошёл в кабинет Бенкендорф.

— Слава богу, я спасён: нахожу путь к Бенкендорфу, подаю ему просьбу, и он освобождает меня из беды!

Можно представить себе, какой неистощимый смех произвёл в слушателях этот роман экспромтом»35.

Но в поездках находилось время и для серьёзных бесед. К лету 1830 года, например, относятся рассуждения Бенкендорфа и Николая о причинах европейских революций. По мнению Александра Христофоровича, «с самой смерти Людовика XIV французская нация, скорее испорченная, чем образованная, опередила своих королей в намерениях и потребности улучшений и перемен; …не слабые Бурбоны шли во главе народа, а сам он влачил их за собою… Россию наиболее ограждает от бедствий революций то обстоятельство, что у нас со времён Петра Первого всегда впереди нации стояли её монархи»36.

Мысль о монархе, идущем «впереди нации», обычно приписывается либо Пушкину37, либо Чаадаеву38; однако ими она была высказана после Бенкендорфа.

У Пушкина схожая идея действительно встречается неоднократно, но только после 1833 года. В черновике «Путешествия из Москвы в Петербург» читаем: «Я начал записки

свои не для того, чтоб льстить властям, …но не могу не заметить, что со времён возведения н[а престол] Романовых, от Мих.[аила] Ф.[ёдоровича] до Ник.[олая] I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменьями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму». В 1836 году Пушкин поделился своей мыслью с Чаадаевым: «Надо было прибавить (не в качестве уступки, но как правду), что правительство всё ещё единственный европеец в России [… несмотря на всё то, что в нём есть давящего, грубого, циничного]». Любопытно, что сам Чаадаев высказывал схожие идеи ещё в 1832 году: «Было бы странным ослеплением не признавать, что нет страны, где государи столько сделали для успеха просвещения и для блага народов, как в России, и что всем, что мы есть, мы обязаны нашим монархам, что везде правительства следовали импульсу, который им давали народы, и поныне следуют оному, между тем как у нас правительство всегда шло впереди нации и всякое движение вперёд было его делом»39.

Правда, Чаадаев на основании такого положения призывал распространять образование, а у Бенкендорфа выводы получились иные: поскольку верховная власть в России «ведёт» народ, то «не должно слишком торопиться с его просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление их власти».

В разгар рассуждений о народе, власти и просвещении хрупкие городские дрожки, на которых Николай и Бенкендорф в тот раз пустились в недальний путь (из Петербурга в Выборг), сломались, что помешало окончить разговор. А потом начался первый официальный визит Николая в автономную Финляндию, управление которой ˆ «столько же либеральное, сколь и национальное», Бенкендорф считал благом и для финнов, и для России40.

…Традиция ежегодных совместных поездок надолго прервалась в 1837 году. 2 марта на заседании Комитета министров Бенкендорфу неожиданно стало так плохо, что он еле добрался до дома, где слёг. Его ещё хватило на то, чтобы передать дела по Третьему отделению графу Орлову и «отдать соответственные тому приказания начальникам подведомственных… частей»; но затем силы покинули генерала, и жизнь его «повисла на волоске»41.

Наутро 3 марта иностранные послы немедленно отправили

депеши с важной политической новостью. Австрийскому канцлеру Метгерниху докладывали: «…воспаление печени, прилив крови к сердцу, желчная горячка»42. Горячка считалась в то время опаснейшей, почти смертельной болезнью, хотя этим именем обозначались самые разные недуги, связанные с резким повышением температуры43.

Как и в холерном 1831 году, Бенкендорфа ежедневно, а то и дважды в день навещал Николай Павлович. В самые кризисные дни он «плакал над больным, как над другом и братом». Впрочем, слезами император не ограничился, а вызвал к постели больного пятерых лучших докторов и «имел терпение внимательно следить за их прениями… и всячески оживлял их». В результате Бенкендорфа «облепили испанскими мухами, горчичниками, пиявками, заставляли глотать почти ежеминутно бог знает какие микстуры», и начальник высшей полиции «всему этому повиновался с покорностью ребёнка». Через десять дней кризис миновал было — и вдруг состояние больного резко ухудшилось.

Болезнь шефа жандармов становится важнейшей темой для разговоров в обществе. «Это общее участие, — вспоминал Бенкендорф, — превзошло все самые тщеславные мои надежды; дом мой сделался местом сборища для бедных и богатых, для знатных и для людей, совершенно независимых по своему положению, для дам высшего общества, как и для простых мещанок: все хотели знать, что со мной делается; лестница была уставлена людьми, присланными от господ, а улица перед домом — толпою народа, приходившего наведываться о моём здоровье. Государь, выходя от меня, лично удостаивал передавать им самые свежие вести. В православных церквах просили священников молиться за меня, такие молитвы произносились в лютеранских и римских церквах, даже в магометанских мечетях и еврейских синагогах… Монархи прусский, австрийский и шведский, равно как высшее общество их столиц, осыпали меня лестными знаками их внимания»44.

К этому времени относится известная оценка, данная деятельности Бенкендорфа Николаем I: «В течение 11 лет он ни с кем меня не поссорил, а со многими примирил»45.

Таким образом, Бенкендорф, как он сам признался, «имел счастье заживо услышать себе похвальное надгробное слово». «Имел счастье» — это в данном случае не расхожий оборот; наш герой, по всей видимости, действительно испытывал сильные чувства: «…Это слово, величайшая награда, какой может удостоиться человек на земле, состояло в слезах и сожалении бедных, сирых, неведомых, в общем, всех соболезнований и особенно в живом участии моего царя, который своим

сокрушением и нежными заботами являл мне лучший и высший знак своего милостивого благорасположения. При той должности, которую я занимал, это служило, конечно, самым блестящим отчётом за 11-летнее моё управление, и думаю, что я был едва ли не первый из всех начальников тайной полиции, которого смерти страшились и которого не преследовали на краю гроба ни одной жалобой. Эта болезнь была для меня истинным торжеством, подобного которому ещё не испытывал никто из наших сановников. Двое из моих товарищей, стоявшие на высших ступенях службы и никогда не скрывавшие ненависти своей к моему месту, к которой, быть может, немного примешивалась и зависть к моему значению у престола, оба сказали мне, что кладут оружие перед этим единодушным сочувствием публики, и с тех пор оказывали мне постоянную приязнь. Но более всех наслаждался этим торжеством государь, видевший в нём одобрение своего выбора и той твёрдости, с которой он поддерживал меня и моё место против всех зложелательных внушений»46.

Как заметил сенатор Модест Корф, не особо жаловавший Александра Христофоровича, «умри Бенкендорф в 1837 году, смерть его была бы народным событием: до такой степени он пользовался тогда общей популярностью благодаря своему добродушию и тому, что на его посту не делать зла уже означало делать добро»47.

Но Бенкендорф выздоровел. 12 мая, когда стало ясно, что болезнь начала отступать, доктора настояли на том, чтобы он покинул Петербург и продолжил лечение в более комфортном климате (первоначальной резиденцией был выбран императорский дворец близ Ревеля — знаменитый Екатериненталь). Впервые за 38 лет службы Александр Христофорович мог по-настоящему отдохнуть — с высочайшего разрешения.

Отъезд Бенкендорфа на специально предоставленном казённом пароходе превратился в светскую церемонию: вся Английская набережная Петербурга была усыпана зрителями и провожающими; кто-то пришёл, чтобы искренне пожелать доброго пути, кто-то надеялся увидеть больного в последний раз. Начальнику высшей полиции пришлось собрать все силы, чтобы соответствовать торжественности момента. Церемония проводов (а многие поехали сопровождать Бенкендорфа до Кронштадта) не пошла на пользу больному и затянула выздоровление минимум на несколько недель.

Между тем Николай I готовился отправиться в грандиозное путешествие вдоль границ империи. Он собирался ехать через

Прибалтику, Белоруссию, Украину и Новороссию на Кавказ и очень хотел, чтобы Бенкендорф был рядом. На юге России приезд императора должен был привести ко многим значительным переменам. Планировалось проведение показательного процесса над проворовавшимися высокопоставленными чиновниками вплоть до кавказского главноуправляющего барона Розена; следом должны были начаться значительные перемены в управлении на Кавказе. Велись переговоры с имамом Шамилем, отобравшим в Дагестане власть у местных феодалов: ему было предложено сохранение верховного положения на подчинённой территории при условии «покаяния» и признания власти русского царя. Во Владикавказе должна была состояться встреча Николая с депутатами от горских племён с целью «приголубить горцев и привязать их к русской державе». Бенкендорф готовил поездку императора весьма серьёзно. Среди многих протокольных дел он выступил инициатором составления его подчинённым, командиром Кавказского горского полуэскадрона Хан-Гиреем записки о народах Кавказа. При одной из встреч Бенкендорф обратился к нему: «Из разговоров твоих, Гирей, заметно, что ты-таки порядочно знаком с историей горских кавказских племён. Государю императору угодно ехать на Кавказ будущим летом… государю угодно, чтобы ты написал собственно для него записку о горских племенах… Надо, чтоб такая записка была у государя не позднее, чем через два месяца»48. Для того чтобы сей труд был облечён в приличествующую случаю форму, начальник свёл Хан-Гирея с тем, кого считал «генерал-полицмейстером русской грамматики», — с Н. И. Гречем49. Когда «Записка о Черкесии»50 была готова, Бенкендорф принял участие в организации её рассылки всем заинтересованным лицам (от военного министра до кавказских начальников) и хлопотал перед императором о её публикации, ибо она носила характер не только описательного труда, но и экспертной работы по проблеме умиротворения Кавказа.

Благодаря своей записке Хан-Гирей получил от Николая I прозвище «черкесский Карамзин», а от Бенкендорфа — представление к полковничьему чину. В советское и постсоветское время гвардейский полковник признавался выдающимся, прогрессивным деятелем адыгской культуры, просветителем, «учёным и патриотом»51. Надо ли добавлять, что тот факт, что просветитель был любимцем Бенкендорфа и многое делал по его указаниям, не афишировался?

Увы, ни тщательная многомесячная подготовка к поездке, ни искреннее желание императора видеть Бенкендорфа, как прежде, своим попутчиком не пересилили заключения лейб-медика

Арендта, который решительно объявил, что Александру Христофоровичу нужно как минимум несколько месяцев покоя, а длительное путешествие убьёт его. Как ни сожалел Николай, но место Бенкендорфа — «как в коляске, так и во всех делах и поручениях»52 — занял другой кавалерийский генерал, граф А. Ф. Орлов. 31 июля император отправился на Кавказ, а Бенкендорфу оставалось только горевать о том, что ему не доведется быть с государем в Грузии, где он впервые начал боевую службу, и в расположении Войска Донского, «посреди которого оставалось ещё столько храбрецов», его «сотоварищей на поле битв»53.

Правда, вернувшись из долгой поездки, Николай I немедленно поспешил к своему близкому другу. Два дня подряд он описывал свой вояж, день за днём, с такой «необыкновенной ясностью, точностью и подробностью», что Бенкендорф не только запомнил, но по возвращении к себе тщательно записал его рассказ и даже позволил себе вести повествование от первого лица — от имени Николая. Предваряло его замечание императора о том, что «он, несмотря на всю заботливость о нём графа Орлова, на каждом шагу чувствовал… отсутствие» Бенкендорфа.

И всё-таки в мае 1838 года во время следующей большой поездки императора Николая (Варшава — Берлин — Стокгольм) место в царской коляске снова занял граф Орлов. Александр Христофорович же отправился сопровождать за границу императрицу Александру Фёдоровну, которой требовалось долгое лечение в Баварских Альпах (фактически император отправил лечиться и Бенкендорфа). Пять месяцев на водах — и у Александра Христофоровича хватило сил на короткую (на восемь дней) поездку с Николаем в Москву и обратно, однако в 1839 году он снова вынужден был отойти от дел и заниматься восстановлением здоровья.

Теперь если он и совершал выезды, то на близкие расстояния, например, от собственных апартаментов в доме барона Аша на Малой Морской* до особняка на Фонтанке, 16. Сюда, к Цепному мосту, в 1838 году переехали из дома на углу Мойки и Гороховой Третье отделение и штаб корпуса жандармов.

Только в мае 1840-го Бенкендорф занял место подле императора во время высочайшего визита в Польшу и Пруссию; при этом и Орлов остался рядом. На пароходе «Богатырь», доставлявшем императора обратно в Петергоф, Николай и Орлов даже объединились против Бенкендорфа — в шутку. Николай написал в письме от 14 июня: «Погода стала великолепной, и мы могли обедать на верхней палубе. Бенкендорф ужасно боится кошек, и мы с Орловым мучим его — у нас есть одна на борту.

Это наше главное времяпрепровождение на досуге»54.

Весь август 1840 года и три майские недели 1841-го провёл Бенкендорф рядом с Николаем в дальних поездках по России, ставших для него последними.

С каждым годом Александру Христофоровичу приходится всё больше внимания уделять лечению. С каждым годом всё больше манит его умиротворённое прибалтийское имение Фалль под Ревелем, настолько замечательное, что рассказ о нём заслуживает отдельной главы.

Шлосс Фалль

«Фалль, дивный Фалль под Ревелем, на берегу моря. Под знаком Фалля прошёл расцвет моей души, и на всю жизнь звук этого имени остался символом всего прекрасного, чистого… Он живит меня бодрящей лаской морского воздуха, смолистым запахом соснового бора, бурливой в глубоких берегах рекой… О этот дом, в котором пахнет деревянной резьбой, сухими и живыми цветами! Приветливая готика, уютная нарядность, дивный вид с террасы, из каждого окна. И всё: воздух, свет, запахи, портреты, книги, тишина и говор — всё укутано немолчным шумом водопада…»55

Написавший эти строки Сергей Михайлович Волконский был внуком декабриста Сергея Григорьевича Волконского и правнуком генерала Александра Христофоровича Бенкендорфа. Его отец родился в тюрьме Петровского завода в Забайкалье и был записан в крестьянское сословие. Когда в феврале 1842 года Бенкендорф хлопотал об определении Михаила Волконского в Иркутскую гимназию, он не предполагал, что сын его боевого товарища в конце жизни станет сенатором и окажется среди персонажей знаменитой картины И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». И совсем уж не думал Бенкендорф, что через 15 лет Мишель возьмёт в жены его внучку Елизавету (помолвка состоится в Риме, свадьба — в Женеве) и что родовым имением Волконских станет созданный, украшенный и прославленный им самим замок, «шлосс Фалль». Этот уникальный уголок Эстонии располагался в 25 верстах к западу от Ревеля (современный Таллин). «Сама местность могла бы почитаться красивой даже в самых живописных краях», — признавался побывавший в усадьбе Фёдор Тютчев.

Здесь равнинная речушка Кейла (по-немецки Кегель) после десятков вёрст сонного петляния по полям и болотам вдруг низвергается водопадом с шестиметровой высоты, а потом резко ускоряет свой бег перед впадением в Балтийское море: её русло за пару вёрст опускается на десяток метров. Теперь уже она прорезает не болота — крутые холмы, поросшие соснами. Всё это — холмы, сосны, соседство моря — делает местный климат курортным.

Водопад (по-немецки Fall) и дал имя усадьбе. Впрочем, есть тут и игра слов: фалль можно перевести ещё и как «счастливая случайность». Считается, что Бенкендорф обнаружил это место случайно, якобы во время охоты.

Невозможно не процитировать снова Сергея Волконского,

главного певца Фалля:

«— Водопад большой?

— Большой — не с камня на камень, а настоящий, отвесный водопад во всю ширину реки.

— А река?

— До водопада тихая; в низких, мягких, зелёных берегах — чёрная, глубокая; а после падения — бурливая, шумная, много пены.

— А ручьи?

— Журчат отовсюду, на поворотах, из-под кустов, будят, зовут, оглушают на каждом шагу.

— Парк?

— 54 версты дорожек. Лиственницы и каштаны самые великолепные, какие я когда-либо видел.

— Холмисто?.. Ну, конечно, раз водопад.

— И холмисто, и скалисто.

— А водопад далеко от дома?

— Тут же, перед самой террасой.

— А куда река впадает?

— В море — из окон видать.

— Послушайте, это декорация.

— Самая красивая, какую я видел. Вы знаете, я объехал кругом света…

— А дом?

— Дом готический. Конечно, фальшивая готика — николаевская эпоха, Штакеншнейдер.

— А прибавьте к этому воспоминания…56»

Творец Фалля — упомянутый Андрей Иванович (Генрих Иоганн) Штакеншнейдер — поначалу практически неизвестный обрусевший немец, внук кожевника и сын мельника. Его семья не имела в Петербурге высоких покровителей. Генрих вырос под Гатчиной, на мызе отца, который обратил внимание на талант сына и, пока мог, оплачивал его обучение в Академии художеств. Когда же стоимость учения стала неподъёмно велика, восемнадцатилетний ученик класса архитектуры (ни наград, ни отличий) нашёл себе скромное место чертёжника в Комитете строительных и гидравлических работ. Ему повезло — начальником там был знаменитый Монферран, который через четыре года ушёл в комиссию по возведению Исаакиевского собора и взял с собой подчинённого — сначала архитектором-рисовальщиком, потом «архитекторским помощником». В 1829 году Монферран дал Штакеншнейдеру возможность самостоятельно возвести античный павильон в загородном имении барона Николаи под Выборгом.

Годом позже неторопливое продвижение по служебной лестнице сменилось быстрым взлётом к славе и признанию. Произошло это оттого, что к трудолюбию и способностям 28-летнего Штакеншнейдера добавилось вмешательство «счастливого случая». Его знакомая, молодая итальянка Аделаида Бенвенути, жила в доме А. Х. Бенкендорфа «не то в качестве швеи, не то в качестве компаньонки его дочери»57. Итальянка так удачно и вовремя похвалила талантливого архитектора Александру Христофоровичу, что тот захотел встретиться и познакомиться с молодым дарованием, а потом поручил ему серьёзную работу в Фалле.

Штакеншнейдер, которого позже то ли в похвалу, то ли с иронией называли «гибким представителем эклектики», способным искусно выбирать и компилировать самые разные образцы и стили, сумел угадать вкусы высокопоставленного заказчика. Образ новой усадьбы был, видимо, навеян новинкой императорского Петергофа — камерным Коттеджем, построенным в английском готическом стиле. В начале николаевской эпохи этот «уютный» и романтический стиль потеснил парадную грандиозность ампира. Он привлёк и императора Николая, и Бенкендорфа, и Воронцова, начавшего в те же годы строительство своего дворца в Алупке. Вполне возможно, что к реальному образцу для подражания — Коттеджу — примешивались образы тех романтических замков из готических романов Анн Радклиф, которые некогда грезились молодым Бенкендорфу и Воронцову в горах Кавказа…

Так и привык Бенкендорф называть своё новое имение: «шлосс (замок) Фалль», хотя это, скорее, была стилизация под замок. На холме над водопадом была возведена вовсе не строгая средневековая крепость, назначение которой — укрыть и защитить рыцаря и его семью, а романтическая летняя резиденция, подчёркивавшая особое положение и, как сказали бы теперь, «имидж» владельца.

«Замок» был построен из местного белого камня и выкрашен тёмно-розовой краской, с вертикальными серыми полосами по граням. Его визуальным центром Штакеншнейдер сделал двадцатиметровую восьмиугольную башню с зубцами. В дни присутствия хозяина над ней поднимали сине-жёлтый флаг. К башне примыкал портик с четырьмя колоннами. Чтобы уйти от симметрии классицизма, портик и саму башню архитектор разместил в том углу дома, что находился ближе всего к реке и водопаду. Под охраной башни располагалось крепкое двухэтажное здание, будто бы сложенное из нескольких неравных кубов, окружённых балконами и террасами. Свет играл в цветных

стёклах стрельчатых готических окон дома. Вокруг него были разбиты клумбы разноцветных георгинов и резеды, посажены кусты олеандра и белых роз; в центре главной клумбы возвышалась статуя Венеры работы прославленного итальянского скульптора Антонио Кановы. По лужайке бродили «павлины и пава»58.

Стену главного фасада украшали щиты с гербом Бенкендорфа. Этот герб был здесь повсюду. Варьируясь в размерах, он был помещён на готические кирпичные ворота при въезде в усадьбу, лепнину и потолки внутренних покоев, даже дверные ручки: «В золотом поле голубая перпендикулярная полоса и на ней три красные розы. На гербе дворянский шлем, а на нём два крыла: правое голубое, левое красное, и между крыльями красная роза, намёт красный, подложенный золотом»59. С 1832 года, когда Бенкендорф был возведён в графское достоинство, геральдических деталей добавилось: «Герб графов Бенкендорфов — в дополнение к дворянскому — щит и полоса окаймлены Серебряною узкой каймою, на щите графская корона, а на ней серебряный шлем с такою же короною, над которою три страусовые пера, среднее золотое, оба крайние серебряные. Щит окружает серебряная лента с золотой внизу пряжкою; на ленте надпись: PRESERVERANCE. Щит покрыт красною, мехом подложенною мантиею, с золотыми кистями и бахромою»60.

Девиз Preserverance Сергей Волконский переводит как «постоянство», но на латыни это ещё и «сохранение»…

В 1833 году дополнительным украшением фасада стал большой чугунный барельеф, привезённый в подарок графом К. К. Сиверсом. Он был изготовлен по образцу известной медали Фёдора Толстого «Освобождение Амстердама в 1813 году». У ног «стоящего во весь рост героя с поднятым мечом» (в нём можно угадать портретное сходство с А. Х. Бенкендорфом) просит пощады и прикрывается рукой поверженный воин, на шлеме которого отчётливо виден наполеоновский инициал «N»61.

Главный вход стерегли белые мраморные львы. Сами покои были разделены на парадные, расположенные на первом этаже, и частные — наверху. В первой комнате нижнего этажа была картинная галерея, постоянно пополнявшаяся — граф был членом Общества поощрения художников, регулярно покупал картины на петербургских художественных выставках, приглашал к себе талантливых живописцев. «Художественная газета» хвалила фалльскую коллекцию за «немалое количество картин русской школы»62. О давней, с александровских времён, дружбе Бенкендорфа с художником М. Воробьёвым напоминали его виды

Москвы, Петербурга, Иерусалима. Портреты юных дочерей Бенкендорфа принадлежали кисти О. Кипренского, картины крестьянского быта были представлены в изображении А. Венециановаб3. Часть полотен была подарена императором. На самых почётных местах в доме висели портреты русских царей и цариц, в том числе, конечно, Николая Павловича и Александры Фёдоровны.

Вторая комната, которую украшали «портреты предков по стенам», получила название «вазной» — там на наборном паркете (светлый дуб и чёрное дерево) была установлена гигантская яшмовая ваза: до пожара 1837 года она находилась в Зимнем дворце, потом была подарена Бенкендорфу императором. Из мебели выделялись чёрно-белые готические кресла, каждое — «маленький Миланский собор».

В следующей комнате сервировались торжественные обеды, в основном состоявшие из блюд утончённой французской кухни. Но порой при гостях, в напоминание о пиршествах в средневековых замках, двое слуг вносили на гигантском блюде целого запечённого барашка или половину телёнка, «и граф, повязав салфетку поверх всех своих орденов и лент, вставал и лично разделывал чудище, разве что не мечом».

Как и полагается в замке, гостей развлекал карлик Игнашка, вызывавший умиление любимец всего дома, «не столько шут, сколько смышлёный остряк, талантливый имитатор», «слонявшийся от прихожей до салона, как ему вздумается»64.

«Салоном» — залом для приёмов и концертов — служила выводящая к лестнице «колонная комната», украшенная тепличными цветами в жардиньерках. Здесь «стояло длинное… фортепиано, несуразное и с совершенно стеклянным звуком»65 — произведение французской фирмы «Эрар», под стать готической мебели. Его берегли как реликвию: под его аккомпанемент звучало знаменитое сопрано Генриетты Зонтаг, графини Росси, супруги посланника Сардинии, иногда — в дуэте с замечательным басом Григория Петровича Волконского, зятя Бенкендорфа. В этом же салоне Алексей Львов — блистательный скрипач, автор музыки имперского гимна — «часами играл, стоя у дверей, один, без аккомпанемента, на своём „Маджини“». Дочь Бенкендорфа Мария Волконская рассказывала своим внукам: «… Это был оркестр… Это про него Мендельсон сказал, когда он играл в Лейпциге: „Если в России все так играют, то не им сюда, а нам туда учиться ездить“»66.

На втором этаже — в «интимной части дома» — располагались спальни и маленькая восьмиугольная башенная комната, посвящённая памяти покровительницы Бенкендорфа,

Марии Фёдоровны. Входивших в неё встречал портрет императрицы, расположившийся над бюро с её вензелем. Портрет был писан пастелью ещё в Версале, во время путешествия «графа и графини Северных», а бюро хранило небольшой семейный архив. Из окна открывался «чудный вид на шумящую и пенящуюся реку, на дальний парк и сквозь просеку светящееся море»: «Море сияет далеко, река шумит глубоко, а окно высоко, и между ними воздух и пространство…»67

Особняком располагался кабинет Александра Христофоровича; он и при последующих владельцах сохранял обстановку николаевской эпохи, поскольку оставался кабинетоммемориалом.

Снова предоставим слово потомку, Сергею Михайловичу Волконскому:

«В фалльском доме, таком светлом, приветливом, есть одна комната, в которую мы, дети, входили с некоторым страхом, — мрачная, молчаливая, в которой никогда никто не сидел. Это был кабинет моего прадеда Бенкендорфа. Перед большим письменным столом большое с высокой спинкой кресло; на столе бронзовые бюсты Николая I, Александра I, родителей Бенкендорфа. Вообще много бронзы — модели пушек, в маленьком виде памятники Кутузову и Барклаю де Толли; пресс-папье — кусок дерева от гроба Александра I, оправленный в бронзу, увенчанный короной. Много портфелей с гравюрами, планами; высокие шкафы с книгами, медали в память двенадцатого года…

Висела там известная акварель Кольмана — декабрьский бунт на Сенатской площади: бульвар, генералы с плюмажами, с приказывающими жестами, солдатики с белыми ремнями по тёмным мундирам и в пушечном дыму памятник Петра Великого… В этой комнате все вещи как-то особенно молчали. Там пахло стариной, большей давностью, чем в остальном доме; там всегда хотелось спросить кого-то: „Можно?“»68.

Но во времена Бенкендорфа кабинет был не декоративным, а рабочим: граф не оставлял своих служебных обязанностей. Посыльный из столицы, пересекающий залу и спешащий к хозяину дома, — характерная деталь картины усадебной жизни. «Здесь Бенкендорф и его семья искали отдохновения от мирских забот, точнее говоря — хотели бы найти, если бы мир с его заботами не торопился следовать за ними, не отпуская от себя», — писала английская путешественница и художница Элизабет Ригби, неделю гостившая в Фаллеб9.

Сергей Волконский подтверждает: «В Фалле жили людно, разнообразно. Можно сказать, на большой дороге, на европейской

дороге. С Петербургом постоянное сообщение: курьеры, фельдъегеря, адъютанты; за полторы версты не доезжая Фалля, по Ревельской дороге… стоял маленький домик — конечно, готический, — маленький красный домик, в котором курьеры, фельдъегеря и адъютанты переодевались, прежде чем являться к графу»70.

Время от времени из Ревеля приходил пыхтящий пироскаф и высаживал пёструю толпу петербургского высшего света. Дом всегда был полон гостей. Для «обычных» путешественников, желающих осмотреть парк (постоянно открытый для всех) или дом (он, по примеру петергофского Коттеджа, был доступен в отсутствие хозяев), был отдельно поставлен трактир «Село Сосновка». Для знатных визитёров, по давней усадебной традиции, выстроили отдельный флигель, который ещё называли «церковный дом» — по небольшой домовой церкви Святых Захария и Елизаветы (имя покровительницы подобрано в честь хозяйки, Елизаветы Григорьевны). Ступени церкви были застелены ковром, вышитым дочерью Александра Христофоровича: лотосы по малиновому фону… Иконы в храме — подарок Николая I (их подносили императору в монастырях во время путешествия по Италии, а он отдавал Бенкендорфу «для Фалльской церкви»)71.

Литургию проводил священник, специально приезжавший из Ревеля вместе с церковным хором: служили по воскресеньям, по праздникам и в особые дни визитов членов августейшей фамилии.

Визиты эти начались в 1832 году, едва чертежи Штакеншнейдера превратились в реальность. Дочери императора, великие княжны Мария, Ольга и Александра, отправившиеся летом на модные в то время ревельские морские купания, заехали в Фалль и положили начало традиции: с северной стороны дома, на лужайке, они посадили первые берёзки; каждая была обнесена решёткой с датой и именем гостьи72.

А на следующий год Бенкендорф записал: «…Государь с императрицей почтили посещением мой скромный Фалль. Это было 27 мая, день перехода нашей армии через Дунай в 1828 году. Государь, вспомнив о том, милостиво отозвался, что ему приятно провести этот день у меня»73. Николай и Александра тоже добавили по деревцу к памятной «августейшей» рощице. Инструменты, которыми императорская чета сажала деревья (изящная игрушка для императрицы, гигантская лопата для императора, каждая с соответствующими памятными надписями), сохраняли в Фалле как реликвию. Этими «историческими» лопатами пользовались величества и высочества, сажавшие свои

берёзы и каштаны на протяжении следующих десятилетий.

«Сады, дом, убранство — всё понравилось государю»; польщённый хозяин представил и рекомендовал высочайшим гостям главного творца усадьбы, Штакеншнейдера. Наградой строителю стали благосклонность коронованных особ и место архитектора при дворе великого князя Михаила Павловича. Уже в 1834 году новую знаменитость возвели в звание члена Академии художеств; академик Штакеншнейдер стал получать заказы от императорской семьи. В 1836 году по ходатайству Бенкендорфа архитектор получил русское подданство и окончательно превратился из Генриха Иоганна в Андрея Ивановича. Ещё через год ему оплатили поездку за границу — на год! — для изучения западноевропейской архитектуры74. Потом в его биографии будет постройка Мариинского дворца, открывшего череду великолепных «больших» творений Штакеншнейдера; будут работы в Эрмитаже и Петергофе, профессорство и всеобщее признание… А Фалль останется первой — и весьма удачной — «пробой пера».

Под стать дому был и гигантский парк. От «августейшей» рощицы и стоявшего неподалёку огромного тополя, чья крона образовывала беседку, начинались бесконечные парковые дорожки, на которых были установлены подарки именитых гостей — чугунные скамейки с памятными надписями, а то и фамильными гербами дарителей. Была среди них и скамейка от М. С. Воронцова, навещавшего больного друга летом 1837 года: чугунное литьё, герб Воронцовых и девиз Semper immota fides («Всегда неколебимая верность») в романтичном окружении зелени, цветов, земляники…

Одна из дорожек выводила к мосту, построенному по оригинальному проекту А. Ф. Львова — не только выдающегося музыканта, но и талантливого инженера: «Прелестное сооружение, весь на воздухе и только концами упирается в берега. Он весь лёгкой дугой, а под дугой прямой прут, который как бы стягивает концы»75.

«Местоположение и быстрота реки требовали моста на цепях, — рассказывал Львов о своём творении, — но граф никак не хотел, чтобы на берегах были поставлены какиелибо возвышения, необходимые для цепей, говоря, что они скроют лучшие виды из дома… Я… решился сделать опыт в Петербурге, построив мост в натуральную величину на платформе… и с радостью увидел, что удачно привёл в исполнение родившуюся во мне совершенно новую мысль… Модель моя была совершенно удовлетворительна, так что я за лучшее счёл её собрать и отправить в Фалль, куда и сам поехал. В несколько дней мост был

поставлен на месте, и когда, сняв подмостки, я увидел его на крутых берегах, как ленточку, переброшенную с одного берега на другой, я был в восторге и какой-то необъяснимой боязни. На середине моста я прибил медную доску с надписью: „от преданного и благодарного Львова, 30 августа 1833 г.“ (день именин графа Александра Христофоровича. — Д. О.). В каком был восторге добрый мой начальник, когда он увидел мост! Он не знал, как благодарить меня, всем рассказывал, что я сделал чудо, всех из Ревеля созывал смотреть мост. Император Николай Павлович, увидев мост, выразился: „Это Львов перекинул свой смычок“»76.

«Львовский» мост был одним из нескольких, связывавших две части прорезанного рекой парка. Через реку напротив главного дома стояли две избы «в русском стиле», дань увлечению царского двора «народностью». Одна из них — купальня «в роде домиков Петергофа и Павловска»; другая, подарок купца Пономарёва, использовалась как дополнительное жильё и повторяла внутренним убранством деревенский дом: лавки по стенам, киот, полка для посуды. Для полноты картины «деревенской жизни» в усадьбе были поставлены кузница, мельница, пивоварня. Были там фермы, пруды, богатые рыбой, гордость хозяйки — оранжереи «с полуденными фруктами, общей длиной в версту», а далеко у моря — «рыбацкий домик».

«Древность» новой усадьбе придавали настоящие руины — лежавшие поодаль развалины замка прежних хозяев (поместье Фалль известно со времён Ливонской войны, с XVI века). Бенкендорф лично добавил «историчности» своему поместью. Первый визит императора Николая он увековечил готической часовней на лучшей видовой площадке. Под сводами часовни находились постамент с бюстом государя и позолоченные доски с именами сопровождавших его сановников. В память о брате Константине, похороненном по завещанию в Штутгарте, рядом с женой, Александр Христофорович воздвиг суровый монумент с надписью: «Он был храбр, возвышен духом, исполнен любовью к царю и Отечеству. Он кончил службу, кончив жизнь». В память о родителях скорбящий сын возвёл часовню: далеко за рекой, в спокойном уединённом уголке парка. Там он предполагал разместить родовое кладбище…

В 1837 году Бенкендорф обратил своё имение в майорат — неделимую собственность, переходящую из поколения в поколение к старшему из наследников. Поэтому после смерти Александра Христофоровича имение стало владением его средней дочери, Марии Александровны, вышедшей замуж за князя Григория Волконского. (Старшая Дочь Бенкендорфов Анна

была замужем за представителем известного венгерского рода графом Аппоньи и по законам Российской империи лишилась права наследовать имущество отца.) Фалль стал наследственным имением Волконских.

В гости к Марии и Григорию приезжал в Фалль возвратившийся из ссылки Сергей Григорьевич Волконский — и не только в качестве нового родственника-свата. Именно тогда написал он сыну Михаилу, что нашёл себе «ещё другое утешение — поклониться могиле Александра Христофоровича Бенкендорфа», отдать долг памяти не только товарищу по службе, но и другу, «не изменившемуся в чувствах» даже в тяжёлые месяцы следствия и суда над участниками заговора77.Невозможно заподозрить декабриста в лицемерии — на дворе был самый, пожалуй, «оттепельный» 1860 год, канун освобождения крестьянства, и николаевскую эпоху принято было ругать.

Потом князь ещё вернулся в Фалль летом 1863 года, и его увлекательные истории за вечерним чаем собирали большую аудиторию потомков Бенкендорфов и Волконских. «Можно себе представить, — писал С. М. Волконский, — при хорошей памяти, при любви к рассказу, при добром общительном настроении, как он мог быть интересен… Он увлекался и каждый вечер уходил всё дальше назад. Однажды он начал обычным своим вступлением: „Это было…“ Все притаились, когда же? И вдруг он сухо и чётко выпаливает: „В первом году“. По-русски это звучит не так чётко и сухо, но по-французски — „L’annee… ми/“ — вызвало общий смех веселья своею краткостью и неожиданностью, а также определённостью сопутствующего движения указательного пальца».

Сын декабриста Михаил и внучка Бенкендорфа Елизавета Григорьевна стали новыми владельцами Фалля. За ними, уже в XX веке, «замок» и парк унаследовал Пётр Михайлович, а потом Григорий Петрович Волконский.

В Гражданскую войну над барской усадьбой вдоволь потешились бойцы Красной армии. Мраморную скульптуру Венеры работы Антонио Кановы использовали для упражнений в стрельбе. Дом в прямом смысле слова обчистили так, что уже в 1921 году Сергей Волконский со вздохом вспоминал: «Остались одни голые стены». Эти стены со всеми окрестностями «приобрела» у прежних хозяев молодая Эстонская республика за скромную сумму в 9177 крон. Усадьба была передана Министерству иностранных дел, часть окрестных земель раздали местным жителям, другую обнесли каменным забором и застроили правительственными дачами (в советское время на

этой территории парка располагалась «эстонская Барвиха» — дачи республиканской партийной элиты). Волконским «в компенсацию» был выделен небольшой участок. В 1940 году умер последний владелец Фалля, Григорий Петрович, праправнук А. Х. Бенкендорфа; остальные Волконские эмигрировали.

В годы немецкой оккупации на мызе Кейла-Йоа работала одна из диверсионных школ адмирала Канариса. После войны в усадьбе, вошедшей в закрытую погранзону, расположились воинские части противовоздушной обороны: сначала авиаполк, чей штаб разместился в главном усадебном доме, а потом ракетчики, при которых творение Штакеншнейдера стало клубом, кинотеатром и военторгом одновременно. На водопаде снимали сцены фильмов «Чёрная стрела», «Тайна чёрных дроздов», «Визит дамы», «Государственная граница»78.

Казалось, что с обретением Эстонией независимости уникальная усадьба станет выдающимся культурным центром европейского значения. «Философ, изобретатель и романтик» Вольдемар Отльцевель даже выиграл республиканский конкурс «Эстонские усадьбы», предложив проект воссоздания дворцово-паркового ансамбля «Кейла-Йоа»79. В 1994 году пресса описывала «светлое будущее» центра отдыха жителей Эстонии и, что немаловажно, иностранных туристов: «В отреставрированном замке Фалль-Шлосс — музей дворянского быта XIX века; в восстановленном во всей его красе парке — чугунные скамейки, павильоны, каменные лестницы, скульптуры, оранжереи, гроты, пруды… Запланировано было строительство гостиницы, кафе „Фалль“, „Фаллькаубахалль“ и многого другого. И всё это… осенено славной древней фамилией князей Волконских, ведущих свою родословную от самого Рюрика…»

Увы, в том же 1994 году усадьба Кейла-Йоа уже не значилась среди охраняемых законом памятников старины как не имеющая для Эстонии ни исторической, ни археологической ценности.

К началу XXI века здесь воцарилось запустение. Попытки продать замок частным владельцам, даже с разрешением перепрофилировать его, скажем, в загородный дом для новобрачных, не удались. В 2007 году они были прекращены, и усадьба поступила в распоряжение эстонского правительства. Однако идея разместить здесь летнюю загородную резиденцию президента Эстонии столкнулась с прозаической необходимостью потратить на ремонт и обустройство знаменитого дома-замка более 200 миллионов крон (около 17 миллионов долларов). В результате весной 2008 года было принято решение реставрацию не проводить, а здание ещё раз попытаться продать80.

Когда-то Элизабет Ригби писала: «Это совершенно точно не

Эстония, но и не Россия (здесь нет беспорядка); не Франция, хотя эхо откликается на французскую речь, и не Англия, хотя места очень похожи… Так что же это? Где вы? В прекрасном, дивном, уникальном Фалле, „попурри“ всех наций, квинтэссенции всех вкусов, где придворный и философ, ценитель природы и модник, поэт и художник, человек рассудительный и человек безрассудный — все будут по-своему счастливы»81. Сейчас эти строки приобретают печальный оттенок: «прекрасный, дивный, уникальный Фалль» остаётся не Эстонией и не Россией, то есть стоит бесхозным…

«Не забуду и не заменю…»

Они думали, что живут в послевоенном мире, но жили уже в предвоенном. В год шестидесятилетия Бенкендорфа со времён его партизанских будней прошло уже тридцать лет, с приключений в окрестностях Варны — почти пятнадцать, а вот до Крымской войны оставалось чуть более десяти. Противоречия между ведущими европейскими державами накапливались, а «венская система» международных отношений, на которую уповал после Наполеоновских войн император Александр I, была уже не в состоянии поддерживать равновесие интересов. Конфликт, разразившийся войной в 1853 году, зарождался в конце 1830-х — начале 1840-х годов. И хотя термина «информационная война» ещё не существовало, вовсю шло противоборство идей, которое Наполеон некогда назвал «войной перьев». Бенкендорф видел это и обращал внимание Николая I на то, что силы, предубеждённые против России, «стараются вселить к ней общую ненависть народов», которая «не может не ослабить нравственное влияние России в сношениях с другими державами»82.

В это время в ежегодных отчётах Третьего отделения появляется, а затем расширяется раздел «Дела внешние», отражавший стремление «знать и видеть те действия государств иностранных, которые могут или могли иметь влияние на наше». Для сбора информации ведомство Бенкендорфа стремилось «пробегать со вниманием все журналы, вести переписку с агентами, иметь внимательные разговоры и делать подробные расспросы всем иностранцам, прибывающим в наши пределы»83.

Аналитическая работа приводила к неприятным выводам: целясь в «деспотию», «варварство», «застой», западные публицисты попадали в Россию. Они создавали в общественном сознании образ агрессивной державы, обречённой на отставание от Западной Европы, на извечное, обусловленное особенностями самой страны и её народа, противостояние «всему цивилизованному миру».

Сравнительно недавно немецкий исследователь проделал лексический анализ образов российской действительности в немецкой публицистике 1830–1840-х годов. Получилась удручающая картина: «…Для страны — бескрайняя степь, леденящий полярный круг, Сибирь; для подданных — казаки, киргизы, калмыки, башкиры, татары, курносые, узкоглазые азиаты; для династии и царей — Танталов род, смесь рабства и деспотизма, отцеубийца, народоубийца, лицемер, персонифицированное зло; для общественной сферы —

варварство, кнут, нагайка, запах сала и дёгтя; для отношений к соседям — дремлющий великан, распластавшийся гигант, чудовище, хищная птица, борьба между светом и тьмой, солнечным пеклом и ледяным холодом»84. С горечью замечал Фёдор Тютчев, что общественное мнение немцев в конце 1830-х годов резко контрастировало с мыслями и чувствами «великого поколения 1813 года»: «Они в продолжение тридцати лет разжигали в себе это чувство враждебности к России, и чем наша политика в отношении к ним была нелепо-великодушнее, тем их не менее нелепая ненависть к нам становилась раздражительнее»85.

Во Франции складывалась похожая картина, вылившаяся в стихи Виктора Гюго:

> Россия! Ты молчишь, угрюмая служанка
> Санкт-петербургской тьмы, немая каторжанка
> Сибирских рудников, засыпанных пургой,
> Полярный каземат, империя вампира.
> Россия и Сибирь — два лика у кумира:
> Одна личина — гнёт, отчаянье — в другой.

В Британии антироссийские настроения подхлёстывались разраставшимся соперничеством империй в Азии, позже названным Р. Киплингом «большой игрой». Солидная британская «Тайме» публиковала нелепые слухи: «Супруга сына и наследника императора Николая (хотя ныне и беременная) решила оставить своего мужа и возвратиться к отцу своему в Дармштадт по причине постоянного грубого обращения, которое она претерпевает. Герцог Лейхтенбергский искренне сожалеет о том, что покинул своё счастливое пребывание в Мюнхене для женитьбы на русской великой княжне и поселился в Петербурге, где уже перенёс много неприятностей от своего тестя-императора. Неблагоприятные сведения, полученные в Мюнхене о дворе петербургском, воспрепятствовали супружеству баварского принца с русскою великою княжною Ольгою…»86

Однако самой мощной «идейной бомбой», разорвавшейся в мае 1843 года, стала публикация во Франции сочинения маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Поражающая сила взрыва была такова, что целиком на русском языке книга появилась более чем полтора века спустя!87 Западные исследователи в XX веке отмечали, что хотя книга Кюстина посвящена николаевской России, она удивительным образом может быть в той же степени применена к России эпохи Сталина и Брежнева88. Вовсе не недостатки «феодально-крепостнической

системы» выводит де Кюстин на её страницах: «Прощение было бы опасным уроком для столь чёрствого в глубине души народа, как русский. Правитель опускается до уровня своих дикарей-подданных; он так же бессердечен, как они, он смело превращает их в скотов, чтобы привязать к себе: народ и властитель состязаются в обмане, предрассудках и бесчеловечности. Отвратительное сочетание варварства и малодушия, обоюдная жестокость, взаимная ложь — всё это составляет жизнь чудовища, гниющего тела, в чьих жилах течёт не кровь, а яд — вот истинная сущность деспотизма»89.

Служба Бенкендорфа сработала чётко: едва Кюстин приступил к написанию скандальной книги, Третье отделение было предупреждено о её предполагаемой антироссийской направленности90. Когда же сочинение, наконец, вышло, его отправили в Петербург ближайшим пароходом из Гавра. И хотя всего за полгода до этого Бенкендорф писал графу Уварову, что «при свободном книгопечатании во Франции русское правительство не может оскорбляться частными неприязненными отзывами французских писателей»91, именно по его настоянию в России на книгу Кюстина было наложено «строжайшее запрещение»92. (Однако это не помешало её популярности: в течение месяца-другого «весь аристократический круг её прочёл, а кто не прочёл, не сознается в том из тона»93.) «Опасное сочинение» уподобляли «факелу, способному разжечь войну между нами и Европой», поэтому для борьбы с его воздействием на Запад был создан целый негласный комитет. В него вошли высшие сановники империи: министр иностранных дел К. В. Нессельроде, министр просвещения С. С. Уваров, министр государственных имуществ П. Д. Киселёв, управляющий Вторым отделением императорской канцелярии Д. Н. Блудов и, конечно, А. Х. Бенкендорф, которому и довелось координировать ведение полемики с разошедшимся по всей Европе сочинением.

Окунувшись в эти заботы, Бенкендорф пришёл к выводу о необходимости «продолжать опровержение книг и статей против России, печатаемых за границею», — однако «не по влиянию правительства». Куда лучше было бы, считал он, чтобы «литераторы… сами по себе следили за подобными статьями и опровергали оные. Приискивать же таких писателей и иметь их под своим влиянием неприлично достоинству нашего правительства, которое, тем не менее, всегда с благодарностью обратит внимание на писателей, трудящихся по собственной воле в пользу оного, но не может и не должно вмешиваться в это дело, дабы не показать, что правительство имеет надобность в защитниках». Такая форма «вмешательства», как подкуп журналов

и газет «для помещения в оных нам угодных статей», по мнению Бенкендорфа, не согласовывалась «с достоинством и всегдашним благородством нашего правительства»94. Однако тем публицистам, которые были готовы выступить с критикой Кюстина, ведомство Бенкендорфа всё же оказывало посильную помощь. Во Франции агент Я. Н. Толстой пристраивал в печать брошюру, вышедшую из-под пера сотрудника Министерства иностранных дел К. К. Лабенского, выискивал французских авторов, возмущённых книгой Кюстина, да и сам анонимно выступил с двумя сочинениями, направленными против «диатриб антирусской прессы»95.

В Германии у Бенкендорфа также был надёжный человек — барон Карл Швейцер. Однако при всём его мастерстве в добывании информации барон оказался посредственным агентом влияния. Зато с предложениями проплатить свои публикации в немецкой прессе к Бенкендорфу обратился видный представитель «торгового» периода русской литературы, Н. И. Греч, путешествовавший тогда с семьёй по Европе (заодно он просил возместить значительную долю своих издержек на путешествие). Бенкендорф, отказав в материальной помощи, идею вести полемику одобрил, что, однако, не пошло на пользу: тщеславный Греч в одной из статей в немецкой прессе похвастался, что ему «сверху» поручено составить опровержение на сочинение маркиза, что он уже приступил к этому труду и получает необходимые материалы из официальных источников. Получалось, что оспаривание личного мнения французского путешественника заказано и оплачено правительством России. Бенкендорф был возмущён: «До чего доводит самолюбие и хвастливость лиц, которые по своему быту в обществе обязаны были бы все свои поступки окружать приличною осторожностью!» Он просил Дубельта передать Гречу, чтобы тот поступал «как хочет и как знает», а с самим шефом жандармов переписку на эту тему прекратил96.

Поиски знающего и умелого автора, готового использовать интерес Западной Европы к сочинению Кюстина для исправления невыгодного для России общественного мнения, вывели Бенкендорфа на Фёдора Ивановича Тютчева. Тот обладал большим дипломатическим опытом, причём приобрёл его именно в Германии.

Впервые они встретились 15 августа 1843 года в Петергофе. Бенкендорф с неподдельным вниманием выслушал соображения по поводу смягчения сложившейся ситуации и создания положительного образа России в Европе. Это был готовый, продуманный проект: Тютчев, настоящий русский европеец,

становился посредником между российским обществом и германской прессой, в которой царило, как он считал, «пламенное, слепое, неистовое, враждебное настроение» по отношению к России. Греч за свой патриотизм просил денег (якобы для газетчиков), Тютчев же знал, что сама германская пресса «охотно вошла бы в сношения с нами; она это много раз предлагала и даже сулила денег тем, кто станет писать для неё о России». Недавнего дипломата возмущало, что Министерство иностранных дел «кобенилось, с презрением отвергло предложение, говоря, что ему дела нет до того, что говорят или пишут немецкие журналы о России»97. Такова была позиция министра Нессельроде, который был убеждён, что «неприлично достоинству великого государства входить в борьбу с прессой»98. Бенкендорф же считал, что задача государства более тонкая: не нанимать литераторов из клана «чего изволите», но помогать представителям общества самим отстаивать интересы России, вступая в дискуссии в прессе.

В середине 1843 года Тютчев не был поклонником Бенкендорфа. Он долго жил за границей, и доходившие до него сведения изображали высшую полицию империи отнюдь не в лучшем виде. Вот почему накануне первой встречи поэт испытывал некоторое предубеждение по отношению к главе Третьего отделения. Он сам признавался: «Бенкендорф — один из самых влиятельных людей в империи, по роду своей деятельности обладающий почти такой же абсолютной властью, как и сам государь. Это и я знал о нём, и, конечно, это не могло расположить меня в его пользу». Однако первая же встреча с графом развеяла опасения: «Тем более отрадно было убедиться, что он в то же самое время безусловно честен и добр»99.

Александр Христофорович заслужил симпатии поэтадипломата не только личным обаянием, но и деятельным участием в реализации предложенного проекта. Граф пообещал, что будет отстаивать его перед государем. Действительно, буквально на следующий день после свидания с Тютчевым глава высшей полиции встретился с Николаем I и «довёл до его сведения» обсуждавшиеся идеи. Им было уделено даже больше внимания, чем Тютчев «смел надеяться». Бенкендорф позже сообщил Тютчеву, что его мысли «были приняты довольно благосклонно и есть повод надеяться, что им будет дан ход».

На этом общение не закончилось. Александр Христофорович с «любезной настойчивостью» пригласил поэта посетить Фалль, чтобы там продолжить беседы о затеваемом предприятии. Отклонить такое предложение Тютчев счёл невежливым и вскоре оказался на борту парохода «Богатырь», менее чем за сутки

домчавшего Бенкендорфа и его спутников к готической усадьбе в окрестностях Ревеля. Тютчев стал одним из знаменитых гостей «замка», оставил самые лестные отзывы и о нём, и о его хозяине, удивившем любезностью и предупредительностью: «Немного я видал людей, которые мне с первого взгляда казались так симпатичны, как граф Бенкендорф, и я чрезвычайно польщён тем приёмом, какой он мне оказал… Всё это в соединении с его добрым нравом произвело то, что… прощаясь, мы расставались как добрые знакомые». Но особенно приятно было Тютчеву то внимание, которое Бенкендорф оказал его проекту.

В Фалле было дано окончательное, хотя и «молчаливое» благословение первых шагов по реализации задуманного. Более того, Бенкендорф предложил Тютчеву не только привлекать благожелательно настроенных к России немецких публицистов, но и писать самому100.

Было уговорено потратить наступающую зиму на проведение тщательной подготовки, использовать необходимых союзников и в Европе, и в России, а весной встретиться для «решительных соглашений»101.

Пример воздействия Тютчева на общественное мнение Европы сохранился в дневниковых записях заметных фигур немецкой общественной жизни. Видный историк и публицист Я. Фалльмайер, например, упоминал партикулярные встречи с Тютчевым за чаем, «продолжительный секретный разговор» и последовавшие «формальные предложения защищать пером [русское] дело на Западе, то есть выдвигать правильную постановку восточного вопроса в противовес Западу, как и до сих пор, не насилуя своего убеждения». Тютчев всячески подчёркивал серьёзность предложения, ибо главный организатор всего дела — Бенкендорф, и именно он «решит в следующем году дальнейшее»102.

Весной 1844 года Тютчев начал публикацию собственных политических статей, настолько тонких и продуманных, что даже далёкий от симпатий к официальной политике Иван Аксаков заметил, что это была защита именно России, а не николаевской системы: «Нельзя не признать, что… впервые раздался в Европе твёрдый и мужественный голос русского общественного мнения. Никто никогда из частных лиц России ещё не осмеливался говорить прямо с Европою таким тоном, с таким достоинством и свободой»103.

Удивительным образом публикации Тютчева заслужили не только похвалы Ивана Аксакова, но и одобрение от таких разных по политическим убеждениям людей, как император Николай I («нашёл в них свои мысли»), аристократы М. Ю. Виельгорский и

Л. А. Нарышкин, видные либералы П. А. Вяземский и А. И. Тургенев («очень умно и хорошо писаны»). Благословлённое Бенкендорфом направление деятельности сделало Тютчева, ещё недавно «задвинутого», заметной фигурой политической жизни. Осенью 1844 года он возвратился в Россию и стал «львом сезона» (так назвал его старинный знакомец Вяземский). Как писал И. С. Аксаков, «он сразу занял в обществе то особенное, видное положение, которое удерживал потом до самой своей кончины и на которое давали ему право его образованность, его ум и таланты. Пред ним открылись настежь все двери — и дворцов, и аристократических салонов, и скромных литературных гостиных: все… желали залучить к себе этого русского выходца из Европы, этого приятного собеседника, привлекавшего к себе общее внимание оригинальною грациею всего своего внешнего и духовного существа, самостоятельностью своей мысли, сверкающею остротою своих импровизированных речей»104.

Как же такой взлёт оказался возможным? Ведь за год с небольшим до того, летом 1843 года, Тютчев, отец пятерых детей, приехал в Россию поправлять сильно пошатнувшиеся дела: он нажил крупные неприятности по службе, его исключили из списка чиновников Министерства иностранных дел, лишили звания камергера — и вдруг…

Его доброго ангела звали Амалией. Она приходилась кузиной русской императрице Александре Фёдоровне и носила титулы графини Лерхенфельд, потом баронессы Крюденер, потом графини Адлерберг. Ей Тютчев посвятил свои первое и последнее стихотворения о любви. Знаменитое «Я встретил вас — и всё былое…» седовласый камергер написал в 1873 году, уже чувствуя приближение смерти. К тому времени прошло полвека после их первых баварских встреч, графиня Адлерберг приехала навестить его, и он признался в письме дочери: «…В её лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй».

Некогда «младая фея» была влюблена в Тютчева, а он даже сватался к ней. Но девушку выдали замуж не за молодого «неперспективного» дипломата, а за первого секретаря русского посольства, солидного барона Крюденера; старше жены на 22 года, он был нелюбим ею. Столкнувшись с миром расчёта, баронесса Крюденер быстро научилась жить по его правилам. Через несколько лет она уже вращалась в центре светской жизни Петербурга, сам император Николай уделял баронессе особое внимание, Гейне и Пушкин восхищались её красотой.

Похоже, что только Фёдор Иванович остался единственной бескорыстной привязанностью Амалии — причём на десятилетия! После брака с Крюденером она вышла замуж за Адлерберга,

кокетничала с императором Николаем (сожалея, что в своих ухаживаниях за дамами государь «никогда не доводит дело до конечного результата»105) и многими сановниками империи — и при этом, как могла, помогала Тютчеву (благодаря ей в пушкинском «Современнике» появились стихи молодого поэта).

…Какое отношение к этой истории имел Бенкендорф? Примерно с зимы 1838 года Амалия Крюденер сблизилась с ним и стала его последней настоящей любовью. Чувство настолько захватило графа, что он не видел (или не хотел видеть) ни прагматизма своей возлюбленной, ни осуждения их романа высшим светом.

Когда попавший в трудное положение Тютчев в 1843 году приехал в Россию, Амалия устроила его' первую встречу с Бенкендорфом в своём доме — точнее, в доме барона Крюденера. Она же, видимо, подтолкнула графа к идее пригласить Тютчева в поездку в Фалль. Конечно, остальное зависело от Бенкендорфа; но как ещё он мог встретить, испытать в беседе и оценить мысли заехавшего в Петербург бывшего дипломата, одного из многих? В этой истории государственные интересы, как это часто бывает, переплелись с личными.

Хотя со дня женитьбы даже намёки на увлечения и романы напрочь исчезли из записок нашего героя, сами увлечения никуда не делись. «Я был 40 лет коротко знаком с Александром Христофоровичем, и сношения наши были всегда самые дружеские», — записал в дневнике А. Я. Булгаков и, защитившись таким образом от обвинений в предвзятости, отметил: «Отличительная черта Бенкендорфа была волокитство. Он был ужасно падок к женщинам… любимая его мысль, любимый разговор и любимое дело были у него женщины»; впрочем, добавлял почт-директор, «это грех, который простить можно»106.

Амалия Крюденер была признанной красавицей. Приметливый женский глаз великой княжны Ольги Николаевны оставил её портрет того времени:

«Она была красива, цветущим лицом и постановкой головы напоминала великую княгиню Елену, а правильностью черт — Мама, родственное сходство было несомненным… Без её согласия её выдали замуж за старого и неприятного ей человека. Она хотела вознаградить себя за это и окружила себя блестящим обществом, в котором играла первую роль и могла повелевать. У неё и в самом деле были манеры и повадки настоящей гранддамы. Дома у неё всё было в прекрасном состоянии; уже по утрам она появлялась в элегантном туалете, всегда занятая вышиванием для алтарей или же каким-нибудь шитьём для бедных. Она была замечательной чтицей. Если её голос вначале и

звучал несколько крикливо, то потом она захватывала своей передачей»107.

А. О. Смирнова-Россет соглашалась: «Она была блистательно хороша», добавляя: «..Но не весела»108; язвительный князь Вяземский прибавил к этому мнению долю иронии: «Мюнхенская красавица Крюднерша… очень мила, жива и красива, но что-то слишком белокура лицом, духом, разговором и кокетством; всё это молочного цвета и вкуса…»

Рядом с такой баварской «молочной красавицей» Бенкендорф в свои шестьдесят выглядел, если верить цензору Никитенко, как «почтенного вида старик, с лицом важным и печальным»109. О его увлечении Крюднершей знали и друзья, и высокопоставленные сослуживцы, и царская семья, и общество… Знали и осуждали. «У него всегда было по нескольку гласных любовниц, — замечал барон Модест Корф, — но ни к которой страсть его не доходила до такого исступления»110.

«Деловые качества Бенкендорфа страдали от влияния, которое оказывала на него Амели Крюднер, — вспоминала дочь императора Ольга Николаевна. — Как во всех запоздалых увлечениях, было и в этом много трагического. Она пользовалась им холодно, расчётливо: распоряжалась его особой, его деньгами, его связями, где и как только ей это казалось выгодным, — а он и не замечал этого. …Странная женщина! Под добродушной внешностью, прелестной, часто забавной натурой, скрывалась хитрость самого высокого порядка. <…> Папа думал вначале, что мы приобрели в ней искреннего друга, но Мама скоро раскусила её. Её прямой ум натолкнулся на непроницаемость этой особы, и она всегда опасалась её. <…> Когда её отношения с Бенкендорфом стали очевидными… Папа попробовал удалить её, не вызывая особенного внимания общества»111.

На решение императора повлияли известия о «католических интригах» госпожи Крюденер: пошли толки о том, что Бенкендорф под её влиянием принял католичество. «Здесь я узнал, что Бенкендорф] более года уже был католиком, и угадал то, чево вы мне сказать не хотели (о влиянии Криднер)», — писал А. И. Тургенев И. С. Гагарину 28 октября 1844 года112. Прямых доказательств этому до сих пор не найдено; более того, на полях «Записок» Модеста Корфа рядом с пересказом такого слуха стоит пометка императора: «Всё это преувеличено до крайности и злостная клевета»113. К тому же точно известно, что до последнего дня жизни Бенкендорф оставался патроном лютеранской общины святой Екатерины в Петербурге, а хоронили его по протестантскому обряду.

Император Николай, поначалу сам увлёкшийся красавицей

Амалией, вскоре говорил о ней с неудовольствием, «жаловался на её неблагодарность и ненавистное чувство к России». Не прошла незамеченной и её «жадность к деньгам непомерная»114. Осыпая Крюднершу бесчисленными и дорогими подарками, Бенкендорф к тому же платил по её многотысячным счетам, о чём в обществе знали от дорогой столичной модистки Сихлер. Это делалось «перед глазами всей публики, не говоря уже о муже, для дамы, пользовавшейся и продолжающей пользоваться особенным расположением нашего двора»115.

Та поездка в Фалль осенью 1843 года, которая стала поворотным моментом в судьбе Тютчева и была срежиссирована Амалией, переполнила чашу терпения императора. Внешние приличия были соблюдены — Амалия гостила у Бенкендорфа вместе с мужем, однако сразу после её отъезда из Фалля император начал действовать. А. Я. Булгаков записал: «Барон Крюднер был назначен министром нашим в Стокгольм для того только (как думали все), чтобы удалить сирену из Петербурга, дать некоторое успокоение душе и телу Бенкендорфа и более свободы заниматься делами», ибо «душевные и телесные силы его были уже совершенно истощены»116.

Действительно, Александр Христофорович быстро сдавал. М. А. Корф постоянно фиксирует в своём подробном дневнике за 1843 год, как «плошает всё более и более здоровье графа Бенкендорфа», как «его пользуют теперь аллопаты вместе с гомеопатами… первые утверждают, что если он и не умрёт именно от этой болезни, то она есть, однако, начало окончательного разрушения»117.

Подчиняясь воле царя, Крюденер уехал, а вот Крюднерша… осталась в Петербурге, сославшись на то, что «доктора запретили ей следовать за её мужем, утверждая, что стокгольмский климат вреден для её здоровья». Подробности добавляет Ольга Николаевна: «В день, назначенный для отъезда, она захворала корью, требовавшей шестинедельного карантина. Конечным эффектом этой кори был Николай Адлерберг… Нике Адлерберг, отец, взял ребёнка к себе, воспитал его и дал своё имя, но правда, только после того, как Амалия стала его женой»118. Таким образом, Амалия, не прекращая использовать старого и больного Бенкендорфа, ещё подкрутила сюжет своей жизни. Она положила глаз на перспективного молодого человека, 24-летнего сына крупного николаевского сановника (отец тоже пробовал ухаживать за Крюднершей), — и добилась успеха, хотя была старше будущего супруга на 11 лет. (Официально брак будет оформлен после смерти Крюденера, в 1855 году, и принесёт Амалии стабильное положение и возможность блистать в свете в

качестве супруги генерал-губернатора Великого княжества Финляндского. Она — теперь уже не Крюднерша, а графиня Адлерберг — проживёт долгую жизнь. В 76 лет, «несмотря на очки и табакерку», Амалия будет «всё ещё хороша собой, весела, спокойна и всеми уважаема» и получит «то, что она всегда хотела, — большую роль в Гельсингфорсе»119.)

А Бенкендорфа, судя по всему, похождения возлюбленной не особо беспокоили. Он словно бросил вызов возрасту и недугам — ему хотелось как прежде, в молодости, пользоваться успехом у дам. Так как его жена, Елизавета Андреевна, подолгу жила в Париже у старшей дочери, Александр Христофорович параллельно с Крюднершей увлёкся актрисой Нимфодорой Семёновой-второй, восхищавшей некогда Петербург «более ещё красотою, нежели талантом». Гостьи попеременно приезжали «наведаться о здоровье графа», и во время их визитов к Бенкендорфу прислуге было «запрещено входить с докладом о ком и о чём бы то ни было». После таких посещений больной впадал «в совершенное расслабление», и вскоре мчались посыльные за всеми врачами, пользовавшими престарелого ловеласа120. В дневнике Корфа 5 декабря 1843 года появляется запись: «Бенкендорфу всё хуже и хуже: он теперь решительно уже слёг в постель. Государь навещает его очень часто, а вчера была у него и императрица»121.

Но нет, боевой генерал не собирался сдаваться! 13 декабря он явился посреди заседания Государственного совета бодрым, весёлым, чем вызвал заметное оживление среди присутствовавших. Более того, вечером Бенкендорф, к всеобщему удивлению, приехал насладиться итальянской оперой. «Живуч!» — записал в дневнике не жаловавший графа Модест Корф122.

Напряжения сил Бенкендорфу хватило на то, чтобы пережить необычно суровую, вьюжную зиму. А весной 1844 года стало ясно, что последняя надежда поправить здоровье — это поездка в Европу, на воды (несколько лет назад граф с помощью именно этого средства вернулся к государственной деятельности). Было решено ехать в модный тогда Карлсбад (ныне Карловы Вары в Чехии). Александр Христофорович сдал дела Орлову, формально — временно, но скорее всего догадываясь, что навсегда.

Спутницей Бенкендорфа в этом путешествии, несмотря на осуждение света, стала Амалия. Если, рассудил свет, с её стороны это и была страсть, то страсть к деньгам: стало известно, что графу «государь в щедрости своей пожаловал на эту поездку 500 000 рублей серебром», но почти всю сумму Бенкендорфу пришлось потратить на улаживание финансовых дел (в том числе и долгов Крюднерши), так что он повёз с собой не более сотой

части пожалованных денег123.

Бенкендорф приехал на воды 9 июня. А. Я. Булгаков записал в дневнике: «Новосильцов П. П., видавший гр. Бенкендорфа в Карлсбаде, сказывал, что он походит более на мертвеца, нежели на живого человека. Целительные источники могут излечивать некоторые болезни, но не могут возобновить жизненную силу там, где она безвозвратно потеряна»124.

В один из дождливых летних дней на водах появились Воронцовы125. Михаилу Семёновичу вскоре предстояло новое блистательное поприще — на Кавказе, где положение в 1844 году стало критическим. Старые боевые товарищи попрощались, понимая, что больше не встретятся.

Специально для того, чтобы увидеть своего «доброго начальника», в Карлсбад выбрался А. Ф. Львов: «Я нашёл его в положении весьма тяжёлом; воды на него не действовали, он едва ходил… Как он мне обрадовался, с каким искренним удовольствием рассказывал обо всём, что слышал обо мне в Дрездене»126. В начале осени Львов приехал в Реймс к прибытию парохода, на котором Бенкендорф возвращался в Россию. Но увидеться им уже не довелось: пароход шёл не останавливаясь, — Бенкендорф спешил в Фалль, чтобы там умереть. Рядом с графом была его старшая дочь, графиня Аппони: она провожала отца до Амстердама — города, напоминавшего о триумфе тридцатилетней давности… Дальше Бенкендорфа сопровождал племянник, Константин Константинович.

Одиннадцатого сентября 1844 года, когда до Ревеля оставалось около двух сотен миль и на горизонте показались тёмные полосы побережья Моонзундских островов, Бенкендорф понял, что до дома ему добраться живым не суждено. Он позвал Константина и взял с него обещание «испросить прощения у жены своей во всех нанесённых ей огорчениях и просить её, в знак примирения и прощения, снять с его руки кольцо и носить на себе, что и было… исполнено». Последние слова Александра Христофоровича были загадочными для присутствующих. Граф произнёс по-немецки: «Dort oben auf dem Berge» («Там наверху, на горе». — Д. О.).

А Елизавета Андреевна высматривала корабль с высокой фалльской башни. Через подзорную трубу она увидела, что «Геркулес» прошёл мимо, в Ревель. Там в Домском соборе, под укреплённым на одной из колонн родовым гербом Бенкендорфов127 гроб с телом графа простоял ночь. Горели две сальные свечи, и два жандарма несли почётный караул.

Наутро гроб доставили в Фалль. Последний обряд происходил в одной из оранжерей — лютеранской церкви в

усадьбе не было. Пастору была передана высочайшая воля Николая I: упомянуть в надгробном слове, каким роковым считает для себя государь 1844 год, унёсший у него дочь и друга128. Сам император написал в Польшу наместнику И. Ф. Паскевичу: «Тяжёлый сей год лишил меня… моего верного Бенкендорфа, которого службу и дружбу 19 лет безотлучно при мне не забуду и не заменю. Все об нём жалеют»129. Бюсты Бенкендорфа в рабочих кабинетах Зимнего дворца и петергофского Коттеджа стали молчаливым напоминанием Николаю о долгой «службе и дружбе» графа.

…Елизавета Андреевна объяснила смысл последней фразы Александра Христофоровича: он просил похоронить его в том спокойном и отдалённом уголке усадебного парка, который давно был избран супругами для родового погоста. Там пока стояла только часовня в память родителей Бенкендорфа; могила самого графа была первой.

В 1857 году рядом с могильной плитой Александра Христофоровича легла плита Елизаветы Андреевны; в 1880-м рядом обрела вечный покой их дочь Мария Александровна Волконская, в 1896-м — её супруг, светлейший князь Григорий Петрович Волконский. В 1897 году неподалёку была похоронена внучка А. Х. Бенкендорфа Елизавета Григорьевна, в 1909-м — её муж, сын декабриста Волконского Михаил Сергеевич; наконец, последним, в 1921-м, — внучатый племянник Бенкендорфа, Павел Константинович. Часовня и семь уцелевших, хотя и повреждённых, плит сохранились до наших дней и составляют семейное кладбище Бенкендорфов-Волконских.

…«Могилы расположены на уступе полугоры; вниз спускается зелёный, с двух сторон обрамлённый луг, за лугом внизу, далеко впереди, опять лес, за лесом море; сзади, на горе, наверху, огромный деревянный крест, который виден с моря»130.

Александр Христофорович должен был стать историей — а стал мифом. В большинстве учебников и исторических монографий, в работах литературоведов и уж тем более в художественных произведениях под этикеткой «граф Бенкендорф» действовал — и даже пел басом — некий вольно трактуемый художественный образ, в создание которого внесли лепту весьма авторитетные исследователи прошлого века. Осторожное, но выразительное тыняновское «остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга» («Смерть Вазир-Мухтара») со временем дополнилось обидным «цензурная сверхнянька Пушкина» (С. Я. Штрайх), ритуальным «жестокий, невежественный и бездарный генерал» академика Н. М. Дружинина, модернистским «булгаковская воландовская „осетрина второй, третьей и даже

последней свежести“» Н. Я. Эйдельмана131. Некий поэт даже назвал графа «предберией»132.

«Один умный человек сказал, что Ермолов, в понятиях русских, не человек, а популяризованная идея», — отмечал в своих воспоминаниях М. А. Корф133. Это высказывание в полной мере можно отнести к Бенкендорфу. Да и неудивительно — за полтора века не было предпринято ни одной попытки серьёзного жизнеописания этого выдающегося деятеля, а значительная часть его мемуаров заросла архивной пылью. Эта несправедливость подтолкнула автора к изучению реальной биографии Александра Христофоровича. Так появилась эта книга, цель которой — не переиначить миф с чёрного на белый, а собрать воедино факты и свидетельства, дающие более или менее прочные основания для суждений и выводов. Ибо, как написал когда-то латышский поэт Имант Зиедонис:

> Все мы бутылки, и банки, и афишные тумбы.
> Всех оклеивают и будут оклеивать.
> Это — обычай. Это необходимость.
> И всё же я говорю о диалектически неизбежной необходимости — необходимости сдирать!

Автору хотелось бы поблагодарить многих людей, чья помощь способствовала созданию этой книги. Особую признательность я выражаю А. Н. Боханову, убедившему меня серьёзно заняться биографией Александра Христофоровича, О. Ю. Захаровой, обратившей внимание на значимость в его жизни фигуры М. Ю. Воронцова, Дэвиду Схиммельпеннинку ван дер Ойе, предоставившему уникальную информацию о периоде биографии Бенкендорфа, связанном с освобождением Голландии. Большое спасибо моим учителям В. Ф. Антонову и Н. М. Пирумовой, делившимся со мной секретами исследовательского ремесла, и моей жене Наташе, без всесторонней помощи которой эта книга никогда не увидела бы свет.

Основные даты жизни

1782, 23 июня — родился в семье премьер-майора Христофора Ивановича Бенкендорфа и Анны Юлианы, урождённой баронессы Шиллинг фон Канштадт. 1793–1795— воспитывался в пансионе в Байрейте (Бавария).

1796–1798 — воспитывался в пансионе аббата Николя в Петербурге.

1797, март — смерть матери, начало покровительства со стороны императрицы Марии Фёдоровны.

1798 — начал военную службу унтер-офицером Семёновского полка.

1798, 31 декабря — прапорщик и флигель-адъютант.

1799, 7 октября — подпоручик.

1800, 22 ноября — поручик.

1801, лето — сближение с кругом гвардейских офицеров, в числе которых М. С. Воронцов и поэт С. Н. Марин.

1802–1804 — участвовал в инспекционной поездке генерала Е. М. Спренгтпортена по Поволжью, Уралу, Сибири, Забайкалью, Якутии, Кавказу, Крыму и визите в Турцию и Грецию.

1803, осень — поступил вместе с М. С. Воронцовым волонтёром под начало главнокомандующего в Грузии П. Д. Цицианова.

2 декабря — боевое крещение в бою при обложении крепости Гянджа, награждён орденом Святой Анны 3-й степени.

1804, январь — участвовал в экспедиции генерала Гулякова по защите северо-восточной границы Грузии от лезгинских набегов, награждён орденом Святого Владимира 4-й степени.

1804–1805 — командовал легионом албанских и греческих добровольцев в составе русского экспедиционного корпуса на острове Корфу.

1805, сентябрь — декабрь — участвовал в русско-австро-французской войне в составе корпуса П. А. Толстого, действовавшего в Померании, Мекленбурге и Ганновере.

1806, 29 марта — штабс-капитан.

Осень (до лета 1807) — участвовал в русско-прусско-французской войне, в том числе в сражении при Прейсиш-Эйлау 26–27 января 1807 года.

1807, 13 февраля — капитан, награждён орденом Святой Анны 2-й степени.

2 марта — полковник.

1807, 20 октября — 1808, май — пребывание в составе русского посольства в Париже. Роман с актрисой Жорж.

1809 — участвовал в Русско-турецкой войне, отмечен высочайшим благоволением.

1810 — вступил в масонскую ложу «Соединённых друзей» (состоял до 1818 года); разработал первый проект «когорты добромыслящих» — прообраза высшей тайной полиции. Начало дружбы с С. Г. Волконским.

1811 — возвратился на театр боевых действий Русско-турецкой войны, за сражение при Рущуке 22 июня награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.

1812, июнь — июль — с началом войны против Наполеона поддерживал связь между армиями Барклая де Толли и Багратиона.

Июль — октябрь — командовал отрядами «летучего корпуса» Ф. Ф. Винцингероде; за атаку при Велиже 27 июля произведён в генерал-майоры.

11 октября — стал первым комендантом освобождённой от французов Москвы.

23 октября — декабрь — преследовал неприятеля в составе отряда П. В. Голенищева-Кутузова.

1813 — участвовал в Заграничных походах русской армии, награждён орденами Святого Георгия 3-й степени, Святой Анны 1-й степени, Святого Владимира 2-й степени, золотой шпагой с алмазами «За храбрость», прусским орденом Красного орла; участвовал в Битве народов под Лейпцигом 4–6 октября 1813 года.

Ноябрь — декабрь — командовал отрядом, освободившим Голландию, и способствовал восстановлению её независимости. Награждён Большим крестом шведского ордена Меча, голландской шпагой «За Амстердам и Бреду», английской золотой саблей «За подвиги в 1813 году».

1814, январь — март — участвовал в боевых действиях во Франции под командой корпуса Винцингероде и Воронцова, в том числе в сражениях при Краоне, Лаоне и Сен-Дизье.

29 августа — командир бригады 1-й уланской дивизии, дислоцированной в Витебске.

1816, 9 апреля — начальник 2-й драгунской дивизии, дислоцированной в Гадяче (Полтавская губерния).

1817 — публикация в «Военном журнале» (№ 3 и 6) воспоминаний о войнах с Наполеоном.

Лето — расследовал по поручению императора злоупотребления властей Воронежской губернии.

19 ноября — женился на вдове Елизавете Андреевне Бибиковой (урождённой Донец-Захаржевской).

1819, 18 марта — начальник штаба гвардейского корпуса в

Петербурге.

22 июля — генерал-адъютант.

1820, октябрь — участвовал в расследовании «семёновской истории».

1821, май (или сентябрь) — передал Александру I «Записку о Союзе благоденствия» М. К. Грибовского.

20 сентября — генерал-лейтенант.

1 декабря — начальник 1-й кирасирской дивизии.

1824, 7 ноября — участвовал в спасательной операции во время наводнения в Петербурге.

1824, 8 ноября — 1825, 14 марта — временный комендант Васильевского острова, ликвидировал последствия наводнения. Награждён золотой табакеркой с портретом Александра I и 50 тысячами рублей.

1825, 14 декабря — участвовал в подавлении восстания декабристов, назначен временным комендантом Васильевского острова (до 16 декабря).

17 декабря — член следственного комитета по делу декабристов.

25 декабря — награждён орденом Святого Александра Невского.

1826, 3 июля — шеф жандармов, начальник Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, главнокомандующий Императорской главной квартирой.

6 декабря — сенатор.

1827— покупка имения Фалль под Ревелем.

1828, май — сентябрь — 1837— сопровождал и обеспечивал безопасность Николая I во всех дальних поездках.

1829, 21 апреля — генерал от кавалерии.

1830, 30 сентября — награждён орденом Святого Владимира 1-й степени.

1831, 8 февраля — член Государственного совета и Комитета министров.

1832, 10 ноября — граф Российской империи.

1837, март — июль — тяжёлая болезнь.

1839 — почётный член и попечитель Демидовского дома призрения трудящихся.

1840, 22 августа — награждён почётным знаком отличия за 40 лет беспорочной службы.

1840–1842— участвовал в работе правительственных комитетов: о дворовых людях, по преобразованию еврейского быта, об устройстве железной дороги Москва — Петербург, по делам Закавказского края.

1842, 16 сентября — 16 октября — командирован в Лифляндскую губернию для усмирения крестьянских волнений.

1844, весна — поездка на лечение в Карлсбад.

11 сентября — умер на корабле «Геркулес». Похоронен на семейном кладбище в имении Фалль.

Литература

14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. СПб.,1999. 14 декабря 1825 года и его истолкователи (Герцен и Огарёв против барона Корфа). М., 1994.

Архангельский А. Н. Александр I. М., 2005.

«Видок Фиглярин»: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение. М., 1998.

Волконский С. Г. Записки. Иркутск, 1991. Волконский С. М. Мои воспоминания: В 2 т. М., 1992. Выскочков Л. В. Николай I. М., 2003.

Гордин Я. А. Мистики и охранители: Дело о масонском заговоре. СПб., 1999.

Григорьев Б. Н., Колоколов Б. Г. Повседневная жизнь российских жандармов. М. 2007.

Давыдов Ю. В. Синие тюльпаны. М., 1995.

Записки Бенкендорфа. 1812 год. Отечественная война. 1813 год. Освобождение Нидерландов. М., 2001.

Лапин В. В. Семёновская история: 16–18 октября 1820 года. Л., 1991. Лемке М. Николаевские жандармы и литература. 1826–1855. СПб., 1909.

Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. Россия под надзором: Отчёты III отделения. 1827–1869. М., 2006. Стогов Э. И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М., 2003.

Пыпин А. Н. Масонство в России. XVIII и первая четверть XIX века. М. 1997.

Рууд Ч., Степанов С. А. Фонтанка, 16: Политический сыск при царях. М. 1993.

Сидорова М. В. «Застывшая беззаботность»: имение А. Х. Бенкендорфа «Фалль» под Ревелем // В тени «больших стилей»: Материалы VIII Царскосельской научной конференции. СПб., 2002.

Черкасов П. П. Русский агент во Франции. М., 2008. Чукарев А. Г. Тайная полиция Николая I (1826–1855). Кн. 1, 2. Ярославль, 2002.

Шильдер Н. К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. М. 1997. Кн. 1, 2.

Шумигорский Е. С. Императрица Мария Фёдоровна (1759–1828). СПб., 1892. Т. 1.

notes

Примечания

1

Цифрами обозначены сноски, текст которых, к сожалению, в исходнике отсутствовал *(прим. верстальщика)*.